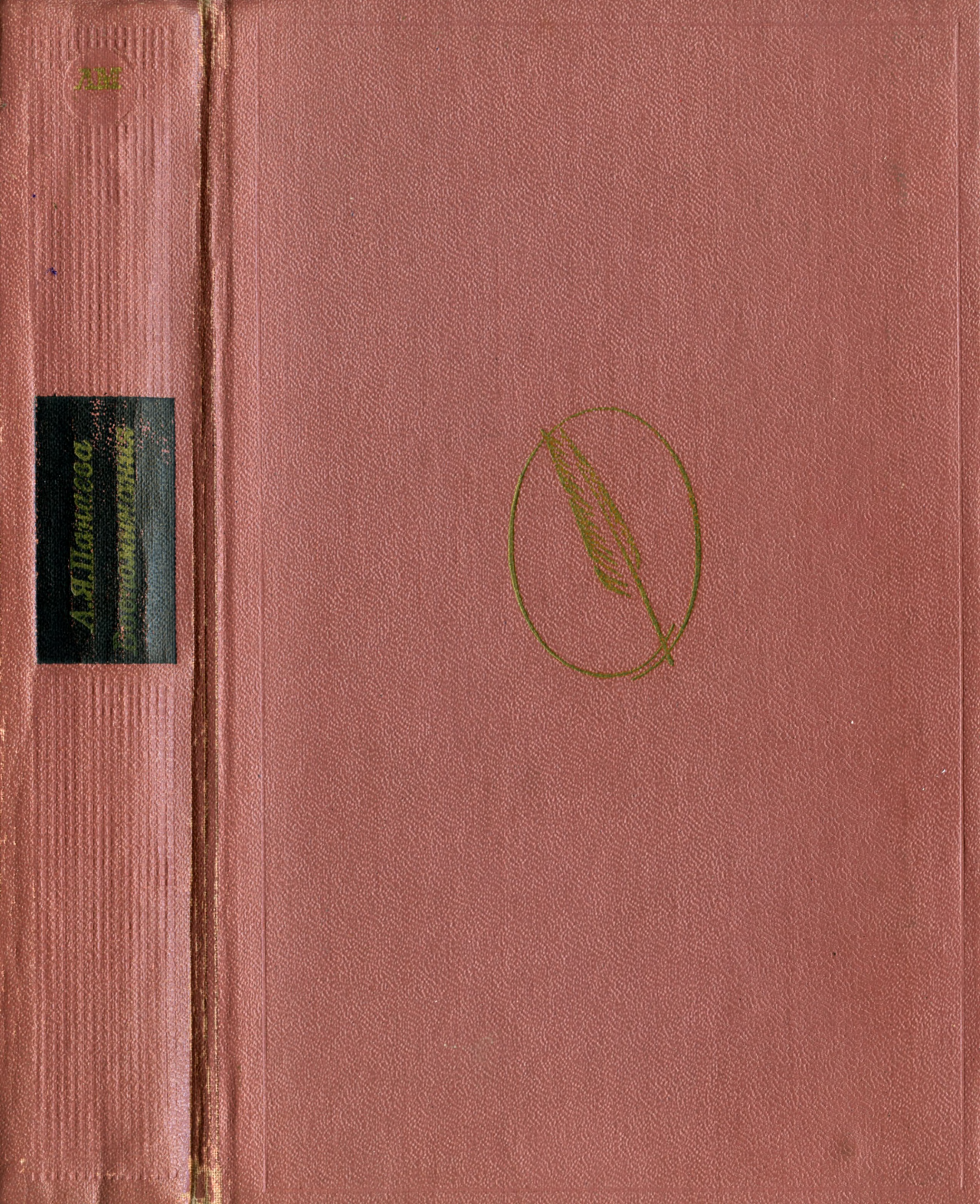

ЛМ
А.Я.Панаева
Воспоминания



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1972

Серия литературных мемуаров

Под общей редакцией:

В. В. ГРИГОРЕНКО
С. А. МАКАШИНА
С. И. МАШИНСКОГО
В. Н. ОРЛОВА



А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВАЧЕВА)

ВОСПОМИНАНИЯ

*

8Р1
П16

Вступительная статья *К. Чуковского*

Примечания *Г. В. Краснова* (вводная заметка, главы X—XVIII, «Воспоминания о домашней жизни Н. А. Некрасова») и *Н. М. Фортунатова* (главы I—IX)

Оформление художника
Н. Крылова

7—2—2
40—72



А. Я. Панаева.

Фотография 1880-х годов.

ПАНАЕВА И ЕЕ ВОСПОМИНАНИЯ

I

Воспоминания Авдотьи Яковлевны Панаевой (1819—1893) охватывают четыре десятилетия русской общественной жизни.

Главная ценность этих воспоминаний заключается в том, что они повествуют о замечательных русских писателях, группировавшихся вокруг «Современника». В течение многих лет у Панаевой была завидная возможность встречаться с ними изо дня в день. Нередкими гостями в ее доме бывали Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Тургенев, Гончаров, Писемский, Островский, Достоевский, Григорович, Слепцов. Трудно назвать большого писателя сороковых, пятидесятых или шестидесятых годов, с которым она не была бы знакома. Многие из них были дружески расположены к ней.

Но, судя по ее мемуарам, в этом кругу «Современника» она питала симпатии далеко не ко всем. С самым горячим сочувствием изображает она таких людей, как Белинский, Некрасов, Добролюбов, Чернышевский, Решетников, и не жалеет черных красок для изображения либеральных дворян, представителей правого крыла «Современника» — Григоровича, Дружинина, Анненкова.

Во время исторической распри «отцов и детей» она оказалась в союзе с «детьми». Не принадлежа по возрасту к молодежи шестидесятых годов, она вполне разделяла ее стремления и вкусы, и когда в своих «Воспоминаниях» она так сурово обличает барские замашки Василия Боткина и презрительно третирует Каткова или Болеслава Маркевича, в ней чувствуется передовая представительница той великой эпохи.

Статья печатается с незначительными сокращениями. (*Прим. ред.*)

Свою преданность любимым ею людям Панаева доказала на деле. Добролюбов, умирая, поручил ей заботу о своей осиротелой семье, и она в течение многих лет выполняла его предсмертную волю. Когда Чернышевский был заключен в Петропавловскую крепость, она, одна из немногих, навещала его.

Ее воспоминания написаны в конце восьмидесятых годов — в эпоху глубокой реакции, но по выраженным в них симпатиям и антипатиям они кажутся написанными для «Современника» 1860 или 1861 года. Многое сближает их с замечательными мемуарами ее мужа, И. И. Панаева, который отказался от взглядов и вкусов своей прежней среды и, под влиянием «новых людей», развенчивал в своих записках либеральных дворян, представителем которых был сам. Если есть в нашей литературе книга, которая могла бы внушить самому неподготовленному начинающему молодому читателю горячие симпатии к шестидесятникам, к их быту и духовному облику, это именно «Воспоминания» Панаевой.

Уже в первых главах ее мемуаров сказывается демократический склад ее мыслей: с негодованием изображает она дружно сплоченную свору театральных чиновников, которые в эпоху Николая I подвергали всевозможным унижениям талантливых, но бесправных и нищих работников сцены. Так же ненавистны ей те развращенные рабовладельческим бытом помещики, которых она изображает в четвертой главе.

Все эти люди представлены ею не в качестве случайных персонажей, изолированных от своей социальной среды, а как типичные выразители этой среды. Характеризуя их, она характеризует тем самым создавшую их эпоху. Здесь одно из важнейших достоинств ее мемуаров. Когда, например, говоря о помещиках, проживавших в Париже, она указывает, что она видела на каждом шагу «красноречивое противоречие их поступков с проповедуемыми ими возвышенными, гуманными воззрениями на вещи» (стр. 127), она тем самым изображает основную черту, присущую всему поколению либерального барства сороковых годов, — даже так называемым «лишним людям». Здесь то свойственное им противоречие между словом и делом, которое воплощено в литературе в образах Агарина и Рудина.

Такой же пылкой шестидесятницей выступает она в тех главах, где говорится о Чернышевском, о «Свистке», о петербургских пожарах, о слепцовской коммуне, о Михайлове и Сераковском; здесь передана самая атмосфера эпохи.

К сожалению, Панаева в своих мемуарах иногда слишком много внимания обращает на обывательские, ничтожные мелочи, слишком хорошо запоминает всевозможные интриги и дрязги. Порою, описывая то или другое большое событие, она не примечает его внут-

ренней сути. Таков, например, ее рассказ о разрыве Тургенева с «Современником». Ей и в голову не приходит, что это — событие огромной общественной важности, знаменующее исторически неизбежный разрыв двух враждующих классов, двух партий, что главную роль здесь сыграла идейная рознь, определяемая различием классовых позиций либерала Тургенева и вождей революционной демократии; она простодушно уверена, что, если бы цензор Бекетов не показал Тургеневу статьи Добролюбова, все могло бы остаться по-старому, особенно если бы Добролюбов хоть раз согласился побывать у Тургенева на одном из его званых обедов (см. ниже, стр. 262).

Так же обывательски поверхностно ее объяснение разрыва Достоевского с кружком Белинского (глава седьмая). По ее словам, этот разрыв объясняется исключительно такими причинами, как злословие Тургенева, коварство Григоровича, нервозная впечатлительность автора «Бедных людей». Основная же причина разрыва, которая заключается в глубоком различии идейных позиций Достоевского и Белинского, совершенно ускользнула от Панаевой.

Наиболее резко этот недостаток ее мемуаров сказался в повествовании о тех обстоятельствах, при которых возникло знаменитое письмо Белинского к Гоголю (см. комментарий к стр. 173).

То же и в главе, посвященной Слепцову. Сообщая множество подробнейших сведений о его одежде и наружности, о его причудах и привязанностях, она порой как будто забывает об идейной стороне его творческой жизни. Читая ее воспоминания о нем, иногда невозможно представить себе, что речь идет об авторе «Трудного времени».

Этому засилию бытовых мелочей немало способствует беллетристичность ее изложения, которая сама по себе является, конечно, огромным достоинством: каждый, о ком она говорит в своей книге, сызнова живет перед нею; она видит его лицо, она любит или ненавидит его, как живого. Исторические личности, давно уже отошедшие в прошлое, оживают на страницах ее книги. Вспоминая их давние беседы и споры, Панаева передает эти беседы и споры дословно, будто слышит их сейчас, сию минуту.

Жаль только, что, в большинстве случаев точно воспроизводя содержание слышанных ею речей, Панаева порою не совсем верно передает их стиль. Можно с уверенностью сказать, что она значительно вульгаризировала все речи Тургенева. Кто из читавших переписку Тургенева поверит, что он выражался таким, например, языком:

«Я, брат, при встрече с каждым субъектом делаю ему психический анализ и не ошибаюсь в диагнозе».

Вообще Тургенев в ее записках представлен в несколько карикатурном и упрощенном виде. Богатое эпистолярное наследие Тургенева и необъятная литература воспоминаний о нем рисуют нам более сложный и более привлекательный образ.

Достаточно прочитать обширную переписку Тургенева с Некрасовым, включающую более ста писем, чтобы внести коррективы в соответствующие места воспоминаний А. Я. Панаевой. Нам кажется, что, кроме причин общественного порядка, здесь сыграло немалую роль ее личное нерасположение к Тургеневу, а также и то обстоятельство, что он со своей стороны относился к ней крайне враждебно [1].

Случаи упрощенства в ее книге нередки. Но так как стержень книги надежен и прочен, так как в большинстве случаев основные оценки изображаемых ею людей вполне соответствуют исторической истине, — с указанными недостатками поневоле миришься, тем более, что они почти всегда искупаются чрезвычайной доступностью ее мемуаров для самых широких читательских масс. Это лучшее введение в литературную мемуаристику середины XIX века. Невозможно написать биографию Белинского, Некрасова, Добролюбова, Чернышевского, Слепцова, Решетникова, не пользуясь этой книгой как одним из наиболее ценных источников.

Верную характеристику «Воспоминаний» Панаевой дал академик А. Н. Пыпин, родственник и друг Чернышевского, близко стоявший к «Современнику» в шестидесятых годах: «Ее рассказам придана, так сказать, беллетристическая форма (например, в длинных разговорах, которые не могли быть удержаны памятью, а записаны в то самое время едва ли были); но в том, довольно многом, о чем я слышал также из других источников или сам знал, в этих воспоминаниях, может быть, при некоторых личных пристрастиях, много совсем справедливого» [2].

II

Авдотья Яковлевна Панаева родилась в Петербурге в 1819 году. В детстве она много страдала от жестоких притеснений своей матери. Образование получила мизерное: в казенном театральном училище. Родители ее были актерами так называемой императорской сцены. Отец — Я. Г. Брянский (Григорьев) — трагик классической школы, мать — А. М. Степанова — исполнительница разнообразных

[1] См., например, письмо Тургенева к М. Н. Толстой от 4 июля 1857 г. в сборнике «И. С. Тургенев», М. 1940, стр. 114.

[2] А. Н. Пыпин, Н. А. Некрасов, СПб. 1905, стр. 68

ролей в драме, оперетте и комедии. За И. И. Панаева Авдотья Яковлевна вышла замуж восемнадцати лет. В середине сороковых годов стала женой Некрасова и прожила с ним под одной кровлей до 1863 года.

В одном из лирических стихотворений, посвященных Панаевой, Некрасов говорит, что его сблизили с ней те страдания, которые ей пришлось пережить в ранней молодости:

Ты под своим родимым кровом
Врагов озлобленных нашла
И в отчуждении суровом
Печально детство провела.

Ты в жизнь невесело вступила...
Ценой страданья и борьбы,
Ценой кровавых слез купила
Ты каждый шаг свой у судьбы.

Ты много вынесла гонений,
Суровых бурь, враждебных встреч,
Чтобы святыню убеждений,
Свободу сердца уберечь.

Их союз был труженический: когда в 1848 году цензура уничтожила почти весь материал, предназначенный Некрасовым для «Современника», А. Я. Панаева написала для этого журнала совместно с поэтом обширный роман «Три страны света» (под псевдонимом Н. Н. Станицкий). В 1849 году ею (опять-таки вместе с Некрасовым) написан роман «Мертвое озеро»[1]. Она вообще была плодовитой писательницей и поместила в «Современнике» немало повестей и рассказов, вполне отвечающих демократической программе журнала: «Неосторожное слово», «Безобразный муж», «Жена часового мастера», «Женская доля», «Пасека», «Капризная женщина», «Необдуманный шаг», «Мелочи жизни» и другие. В романе «Семейство Тальниковых» она описала свое мучительное детство и попыталась выразить протест против тогдашней системы воспитания детей, но цензура до неузнаваемости исказила роман и в конце концов запретила его.

В 1864 году Авдотья Яковлевна, разойдясь с Некрасовым, вышла замуж за публициста А. Ф. Головачева, который вскоре скончался, оставив ее с малолетней дочерью без всяких средств к

[1] О «Трех странах света» см. отзыв Н. Г. Чернышевского в «Заметках о Некрасове» (Полное собрание сочинений, т. I, М. 1939, стр. 749); Н. А. Добролюбов упоминает «Мертвое озеро» (наряду с «Перелетными птицами» М. Л. Михайлова) в качестве источника сведений о жизни странствующих актеров (Полное собрание сочинений, т. V, М. 1941, стр. 234).

существованию. Она снова взялась за перо, стала писать романы и повести для «Нивы», «Живописного обозрения» и других второстепенных журналов. Незадолго перед смертью она написала печатаемые нами воспоминания. Скончалась на 74-м году жизни, 30 марта 1893 года.

Лучшим памятником Панаевой являются посвященные ей стихотворения Некрасова: «Прости, не помни дней паденья», «Тяжелый крест достался ей на долю», «Бьется сердце беспокойное» и многие другие. Некрасов и после разлуки с нею воспевал ее как близкого друга:

Все, чем мы в жизни дорожили,
Что было лучшего у нас,
Мы на один алтарь сложили,
И этот пламень не угас.

Лишь через сорок лет после появления в печати первого издания «Воспоминаний» А. Я. Панаевой исследователям стало известно, как высоко оценил эту книгу Н. Г. Чернышевский. Из найденного в 1928 году письма Н. Г. Чернышевского мы узнали, что великий писатель незадолго до смерти возобновил свое старинное знакомство с Панаевой и выразил готовность помогать ей в работе над ее мемуарами [1].

В третьем томе его «Литературного наследия», вышедшего в 1930 году, впервые обнародованы все относящиеся сюда материалы. Оказалось, что сын Чернышевского, Михаил Николаевич, посетивший Авдотью Яковлевну (2 ноября 1888 г.) на ее петербургской квартире, познакомился с рукописью ее мемуаров и в письме к отцу дал живую характеристику их содержания [2]. Из этого письма Н. Г. Чернышевский увидел, что Авдотья Яковлевна, ближайшая свидетельница его повседневных трудов в «Современнике» пятидесятых и шестидесятых годов, осталась верна той великой эпохе. Оттого-то в первом же своем письме к Панаевой он счел необходимым отметить идейную ценность осуществляемого ею труда. «Вы, — писал Чернышевский, — исполняете этим ⟨то есть писанием «Воспоминаний». — *К. Ч.*⟩ обязанность относительно русской публики, развитию честных понятий в которой так много содействовало Ваше влияние на русскую литературу» [3].

Едва лишь в журнале стали печататься первые главы ее мемуаров, Чернышевский написал своему сыну: «Воспоминания очень

---

[1] См. «Красная нива», 1928, № 5, стр. 22 (перепечатано в XV т. Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского, стр. 757).

[2] См. «Литературное наследие Н. Г. Чернышевского», т. III, М.—Л. 1930, стр. 607—608.

[3] Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XV, М. 1950, стр. 757.

хороший»[1]. И так как по возвращении из ссылки он имел деловые отношения с московским меценатом К. Т. Солдатенковым, он решил предложить Солдатенкову отдельное издание этой книги. Как мы знаем из бумаг Чернышевского, он намеревался написать Солдатенкову следующее:

«Вот появилось в печати начало воспоминаний такого-то русского автора; вы видите, что они интересны. Часть их продана тому журналу, в котором напечатано начало. Я полагаю, что вы окажете услугу русской публике, если примете на себя издание целого; некоторые эпизоды воспоминаний, изданием которых вы заслужите благодарность русской публики, хорошо известны мне; потому я считал бы своей обязанностью прибавить в примечаниях и в предисловии мои пояснения этих эпизодов»[2].

Узнав о намерении Н. Г. Чернышевского, А. Я. Панаева написала ему (28 марта 1889 г.):

«Если Вы можете запродать на отдельное издание мои «Воспоминания», то Вы просто спасете меня. Сижу теперь без гроша, а надо что-нибудь писать, а как будешь писать, когда голова только тем занята, чем завтра накормить семью...» «Если бы не страх, что маленькие сироты, мои внучата, умрут с голоду, то я бы ни за что не показала бы носу ни в одну редакцию со своим трудом, так тяжело переносить бесцеремонное отношение ко мне, как позабытому автору прошлой литературной эпохи»[3].

Но Чернышевский не успел оказать Авдотье Яковлевне ту литературную помощь, которую он обещал ей в письме: 17 октября 1889 года он скончался.

Да и вряд ли эта помощь могла быть реализована в те времена. Имя Чернышевского, по распоряжению правительства, еще долго оставалось под запретом, и о печатании его мемуаров (хотя бы в виде приложения к запискам Панаевой), конечно, не могло быть и речи. Учитывая это, Панаева просила его только о том, чтобы он рекомендовал ее книгу К. Т. Солдатенкову.

Но и это ее желание осталось невыполненным. Как видно из письма И. И. Барышева к Н. Г. Чернышевскому (от 31 марта 1889 г.), К. Т. Солдатенков вообще был не расположен печатать какие бы то ни было произведения А. Я. Панаевой[4].

---

[1] «Литературное наследие Н. Г. Чернышевского», т. III, М.—Л. 1930, стр. 374.

[2] Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XV, М. 1950, стр. 797.

[3] «Литературное наследие Н. Г. Чернышевского», т. III, М.—Л. 1930, стр. 595.

[4] См. там же, стр. 588.

Пишущий эти строки в свое время беседовал о ней с О. С. Чернышевской, М. Н. Чернышевским, В. А. Пыпиной, А. Ф. Кони, хорошо знавшими ее в разные периоды жизни. Они вспоминали о ней с глубокой симпатией и рассказывали, что свои последние годы она прожила на окраине города, всеми заброшенная, усиленно работая над какими-то рукописями.

По предположению В. А. Пыпиной, она готовила к печати вторую часть своих воспоминаний.

Но после ее смерти все ее рукописи пропали, равно как и ее богатый архив, главную ценность которого составляли, конечно, многочисленные письма Некрасова, не найденные и до настоящего времени.

III

Авторская рукопись «Воспоминаний» А. Я. Панаевой до нас не дошла. Впервые они появились в «Историческом вестнике» 1889 года. Этот первопечатный текст отнюдь не является полным и точным воспроизведением рукописи, так как, помимо цензуры, его сильно сокращал и урезывал по своему произволу редактор «Исторического вестника» С. Н. Шубинский. 28 марта 1889 года А. Я. Панаева сообщила Н. Г. Чернышевскому: «Редакция много выкидывала из них ⟨из «Воспоминаний». — *К. Ч.*⟩ по разным своим личным соображениям; в отдельном издании можно будет напечатать эти места» [1].

Каковы были личные соображения редакции, можно видеть хотя бы из недавно опубликованной записи в неизданном дневнике одной постоянной сотрудницы «Нового времени», которая часто встречалась в ту пору с издателем этой газеты (а также «Исторического вестника») А. С. Сувориным и была посвящена во все закулисные дрязги обоих изданий: «Когда Григорович узнал, что в «Историческом вестнике» будут печататься воспоминания Панаевой, то перепугался, что там заденут его. Полетел к Суворину говорить о том, что нельзя в порядочном журнале печатать такие вещи. Тот говорит: не мое дело; я в это не вмешиваюсь. Это ведет Шубинский, и человек, мол, он упрямый, не послушает. Тогда Григорович не поленился подняться на пятый этаж к Шубинскому, чтобы сказать ему: мой добрый друг, Вы знаете, как я Вас люблю! я пришел по дружбе предупредить Вас... И опять о Панаевой. Шубинский говорит: очень жаль, что я не знал этого раньше, но я уж ее воспоминания купил и тысячу рублей за них отдал. Но, впрочем,

---

[1] «Литературное наследие Н. Г. Чернышевского», т. III, М.—Л. 1930, стр. 595.

успокоил доброго друга, что если будет что-нибудь о нем, то он это выкинет. Григорович бросился обнимать его»[1].

Можно не сомневаться, что реакционеру С. Н. Шубинскому были не очень по вкусу те страницы мемуаров А. Я. Панаевой, где она с таким горячим сочувствием вспоминала о Чернышевском, Добролюбове, Слепцове, Решетникове. Вообще весь дух ее записок противоречил направлению «Исторического вестника». Не потому ли, например, был изъят оттуда рассказ Панаевой о деле Петрашевского и о том, как оно отразилось на тогдашней судьбе «Современника»?

Об этой купюре мы узнали из новонайденных записок А. Я. Панаевой, где она говорит: «Я уже упоминала в своих воспоминаниях, какие печальные последствия имела история Петрашевского на «Современник»[2]. Между тем в ее книге эти упоминания отсутствуют. Точно так же нет никакого сомнения, что из книги вычеркнута та часть воспоминаний, которая посвящена аресту, ссылке и трагической смерти поэта-революционера М. Л. Михайлова: слишком уж круто обрывается в тексте повествование о нем.

Как мы только что видели, Панаева в письме к Чернышевскому выражала надежду, что в отдельном издании можно будет воспроизвести те страницы, которые были исключены при печатании их в журнале.

Но надежда ее не сбылась. Отдельное издание книги вышло в еще более урезанном виде. Цензура изъяла из девятой главы то место, где говорится о цензоре-взяточнике, из тринадцатой — о цензурных мытарствах, которые претерпевал «Современник» в конце пятидесятых годов.

Книга вышла под заглавием «Русские писатели и артисты» в издании книгопродавца В. И. Губинского (СПб. 1890). Фирма эта пользовалась дурной репутацией и платила авторам гроши. Авдотья Яковлевна предоставила ей свои мемуары только под влиянием крайней нужды. Книга была издана неряшливо, на скверной бумаге, с несметным числом опечаток. Успеха она не имела и после смерти писательницы долго еще валялась на полках у книжных торговцев.

Только в советское время, когда у нового поколения читателей колоссально возрос интерес к шестидесятым годам, к великим деятелям той революционной эпохи — Н. А. Некрасову, Н. Г. Чернышевскому, М. Е. Салтыкову-Щедрину, Н. А. Добролюбову, — почти через сорок лет после появления книги А. Я. Панаевой, возникла потребность в новом издании «Записок».

---

[1] «Литературное наследство», № 49—50, «Некрасов», М. 1946, стр. 550.

[2] См. в настоящем томе, стр. 376.

Но перепечатывать их в том виде, в каком они появились в «Историческом вестнике» и в издании Губинского, не представлялось возможным. Во-первых, имена многих лиц, о которых говорилось в воспоминаниях, были в силу необходимости так зашифрованы, что рядовому читателю невозможно было догадаться о них. Вместо подлинных фамилий читатель то и дело наталкивался на какие-то непонятные буквы и неопределенные клички. Ему неоткуда было узнать, что под прозвищем «злополучный помещик» скрывается Павел Федорович Заикин; под прозвищем «льстивый К.» — Дмитрий Яковлевич Колбасин; под буквами Св. — Мария Алексеевна Сверчкова, и т. д., и т. д., и т. д. Хуже всего было то, что одной и той же буквой нередко обозначались совершенно различные лица. Так, например, в одном месте «Записок» буквой N. был обозначен Д. В. Григорович, в другом — А. Ф. Головачев, в третьем — княжна Мещерская, в четвертом — графиня А. К. Воронцова-Дашкова. Буквой К. точно таким же порядком было обозначено несколько лиц: и управляющий театральной конторой А. Д. Киреев, и помещик Клыков, и знакомый Белинского А. С. Комаров, и тот же Дмитрий (или Елисей) Колбасин. Буква Т. обозначала и Л. Н. Толстого, и министра внутренних дел А. Е. Тимашева, и казанского помещика Г. М. Толстого, и т. д. А в иных случаях одно и то же лицо на разных страницах обозначалось разными буквами: в шестой главе стихотворец Н. М. Сатин обозначен буквой В., в седьмой он же — буквой С., причем буквой В. обозначен также цензор Бекетов.

Для того чтобы «Записки» А. Я. Панаевой могли войти в научный обиход, я счел необходимым расшифровать эти буквы и клички и рядом с ними в квадратных скобках поставил подлинные имена тех людей, которые имела в виду мемуаристка. Например: «Панаев встретил во французском театре генерала Т[имашева]» или: «К нам часто ездила одна личность, компетентная в военном деле — М[илютин]» [1].

Редакция дореволюционного издания записок Панаевой не пыталась исправить те искажения имен и фамилий, которыми изобилуют эти записки. Например, Веру Аксакову автор называл Марией Аксаковой, литератора Ротчева — Рачером, чиновника Крутицкого — Круцинским, артистку Аполлонскую — Полинской, Каролину Карловну (Павлову) — Каролиной Павловной, переводчика Делаво — Делярю, Василия Матвеева — Семеном. [2]

Крупным недостатком дореволюционного издания «Воспоминаний» Панаевой были допущенные мемуаристкой чрезвычайно неточные

[1] В наст. изд. имена, расшифрованные К. Чуковским, даны без скобок. *(Прим. ред.)*

[2] К. Чуковский исправил эти ошибки; в наст. изд. все его поправки учтены. *(Прим. ред.)*

даты многих событий, о которых повествуется в них. Она сама неоднократно утверждает, что память на даты у нее очень слаба. Так, Некрасов познакомился с Белинским не в 1844 году, как утверждает Панаева, а двумя годами раньше. В четырнадцатой главе она сообщает, что известие о смерти Пиотровского Некрасов получил в присутствии Добролюбова; между тем, когда Пиотровский покончил с собой, Добролюбов был уже в могиле. В шестнадцатой главе говорится, что М. Н. Лонгинов, сделавшись начальником цензуры, стал преследовать А. В. Дружинина и запретил дальнейшее печатание в «Современнике» его «Чернокнижникова», между тем «Чернокнижников» печатался в 1850 году, а Лонгинов стал начальником Главного управления по делам печати в 1871 году, когда ни о каком «Чернокнижникове» не могло быть, конечно, и речи [1].

Все особенности языка Панаевой, характерные для ее эпохи, сохраняются нетронутыми, например: «занавесь», «сильный мигрень», «зало», «фортепьяны», «редижировал журнал», «контр-альт», «спозаранка», «пиеса», и «я взяла его дитёй» и т. д. Но мы не сочли нужным сохранять многочисленные отклонения от русской грамматики, в которых, можно думать, повинны главным образом издатели мемуаров Панаевой.

IV

Как было указано выше, Чернышевский предполагал дополнить воспоминания А. Я. Панаевой своими собственными. «Для того чтобы Ваши воспоминания, — писал он ей, — напечатанные в журнале, имеющем много читателей, могли иметь денежный успех при напечатании их отдельной книгой, надобно сделать к ним много приложений. Я думаю сделать это» [2].

Эти строки были написаны Чернышевским 12 сентября 1889 года. Как уже было сказано, смерть помешала ему осуществить это намерение. Таким образом, мы лишились одной из драгоценнейших книг: подлинных воспоминаний Н. Г. Чернышевского о том времени, когда он был властителем дум. Они служили бы необходимым дополнением к тем разрозненным воспоминаниям о Некрасове, Добролюбове, Костомарове, Тургеневе и Достоевском, которые Чернышевский в разное время сообщал в письмах к А. Н. Пыпину.

Панаева с своей стороны тоже имела намерение дополнить свои воспоминания новыми текстами.

«Я, — сообщала она Чернышевскому, — с лист оставила приба-

---

[1] В наст. изд. эти ошибки мемуаристки, исправленные К. Чуковским, оговорены в примечаниях. (*Прим. ред.*)

[2] Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XV, М. 1950, стр. 898.

вить к ним моих «Воспоминаний» о трех литераторах»[1]. Вероятно — о Некрасове, Чернышевском и Добролюбове.

О том же сообщал отцу М. Н. Чернышевский: «Листа полтора или два последних из этих воспоминаний у нее остались недоданными Суворину в надежде на отдельное издание»[2].

Кроме того, сын Чернышевского указывал, что Панаева написала воспоминания о Н. Г. Помяловском[3]. Однако никаких дополнений в издании Губинского нет. Напротив, текст этого издания подвергся новым сокращениям.

Но несколько лет назад в малораспространенной петербургской газете «Русская жизнь» были обнаружены отрывки ее мемуаров, до той поры никем не замеченные, — «Воспоминания о домашней жизни Н. А. Некрасова». Отрывки эти воспроизведены в «Литературном наследстве» № 49—50 С. А. Рейсером, под заглавием «Забытая глава из «Воспоминаний» Авдотьи Панаевой». Едва ли следует понимать это заглавие буквально, так как найденные тексты отнюдь не являются тем недоданным А. С. Суворину отрывком основных мемуаров А. Я. Панаевой, о котором она говорила сыну Н. Г. Чернышевского. Трудно предположить, чтобы это был тот дополнительный лист к основным мемуарам, который, по ее словам, она оставила для отдельного издания. Как мы знаем из ее же письма, тот лист она предполагала посвятить т р е м писателям, между тем как вся эта запись посвящена лишь о д н о м у Н. А. Некрасову. Кроме того, в новонайденном тексте она кое-где излагает то самое, о чем уже писала в основных мемуарах. Вряд ли стала бы она описывать, например, панаевского лакея «Барона», если бы считала новый текст продолжением прежнего. Ведь «Барон» был уже описан ею в девятой главе.

Судя по хронологии ее мемуаров, этот текст не мог предназначаться в самый конец ее книги, так как здесь она повествует главным образом о сороковых и пятидесятых годах, а книга завершается 1870 годом.

Словом, это совершенно отдельная запись, органически не связанная с книгой. Мы не сочли себя вправе печатать ее как заключительную (19-ю) главу «Воспоминаний» А. Я. Панаевой и даем ее в качестве особого приложения.

Корней Чуковский

1948, 1956

---

[1] «Литературное наследие Н. Г. Чернышевского», т. III, М.—Л. 1930, стр. 595; см. также стр. 355.

[2] Т а м ж е, стр. 610.

[3] См. т а м ж е, стр. 609.

ВОСПОМИНАНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Наводнение. — Восстание декабристов. — Шаховской. — Каратыгин. — Театральные нравы. — Пушкин. — Холера 1832 года.

Я родилась и выросла в театральном мире. Мои отец и мать (Брянские) были артисты императорского театра в Петербурге.

Я очень отчетливо помню свое самое раннее детство. В моей детской памяти запечатлелось множество лиц, которых я видела, разговоры, которые я слышала. Я слишком рано стала наблюдать все, что вокруг меня делалось и говорилось взрослыми.

Мы жили в казенном доме, в котором давались квартиры семейным артистам и театральным чиновникам. Контора театра помещалась в том же доме и занимала квартиру в четыре комнаты. Чиновников тогда было очень не много, и я знала их всех в лицо: Зотова — романиста, Марселя, Ситникова и еще нескольких человек, которых фамилии забыла. При театре был доктор Мароккети, маленький господин с большими черными глазами, у которого почему-то постоянно качалась голова, как у алебастровых зайчиков.

При вступлении Гедеонова в должность директора театров театральные чиновники быстро стали размножаться, так что очень скоро из них образовался целый департамент [1]. Киреев, Ротчев, Федоров — водевилист, часто бывали у нас: все они были бедняками и еще не играли той важной роли при театре, как впоследствии. Потом уже Киреев и Федоров сделались богачами, даже писец Крутицкий, которого я видела по вечерам в детстве

дежурным в конторе, ходившим босиком, чтобы не износить свои сапоги, — и тот нажил себе дома, дачу.

Казенный дом, где мы жили, был большой; он выходил на Офицерскую улицу, на Екатерининский канал у Пешеходного мостика со львами, близ Большого театра, и в маленький переулочек (не помню его названия), выходивший на Офицерскую улицу[2].

Сначала мы жили в квартире, окна которой выходили на Екатерининский канал; потом отец занимал в этом же доме обширную квартиру, и уже наши окна выходили в маленький переулок и на Офицерскую улицу.

В день наводнения в Петербурге в 1824 году[3] я смотрела на затопленные улицы из окон квартиры, выходивших на Екатерининский канал. Хотя мне было не много лет, но этот день произвел на меня такое впечатление, что глубоко врезался в моей памяти. Под водой скрылись улицы, решетки от набережной, и образовалась большая река, посреди которой быстро неслись доски, бочки, перины, кадки и разные другие вещи. Вот пронеслась собачья будка на двух досках, с собакой на цепи, которая, подняв голову, выла с лаем. Через несколько времени несло плот, на нем стояла корова и громко мычала.

Все это быстро неслось по течению, так что я не успевала хорошенько всматриваться. Но плывшая белая лошадь остановилась у самого моего окна и пыталась выскочить на улицу. Однако решетка ей мешала; она скоро выбилась из сил, и ее понесло по течению. Эту лошадь мне чрезвычайно было жаль, и я не пожелала более смотреть в окно.

Услыхав разговоры теток, что отец едет на лодке спасать утопающих, я побежала глядеть на него в окно во двор. Двор наш тоже был залит водой, поленницы были размыты, и дрова плавали по воде. Отец стоял в лодке и отпихивался багром, направляя лодку к воротам. Я посмотрела на бабушку, которая тяжко вздохнула и перекрестилась, когда лодка скрылась в воротах. По ее морщинистым щекам текли слезы. Бабушка пошла в кухню, и я последовала за ней; там сидело несколько женщин с детьми; это были жены статистов, квартиры которых в нижнем этаже затопило водой. Бабушка распоряжалась, чтоб им дали поесть, а я вышла в сени, заслышав мычание коровы. На ступеньках лестницы сидели статисты с узлами, с самоварами и образами. На верхней площадке навалены были сундуки, столы,

кровати, тюфяки и подушки, а на нижней стояла корова и корзины, обмотанные тряпьем; в них бились и кудахтали куры. Две дворовые маленькие собачки, дрожа, прижались к стене.

Не знаю, кого мне было более жаль: людей или собак? Должно быть, собак, потому что я стала их звать к себе, но меня увидела наша прислуга, зачем-то вышедшая в сени, и выпроводила в комнаты.

Это утро показалось мне бесконечно длинным и тоскливым. День был пасмурный, ветер завывал, и раздавалась пушечная пальба. Когда стало смеркаться, я заметила тревогу на лицах старших, — они поминутно смотрели в окна, а бабушка сердито ворчала: «Сумасшедший, у самого куча детей!»

Я поняла, что бабушка сердится на отца, и удивлялась — почему она боится за него. Я была уверена, что он не утонет, потому что видела раз, когда мы летом жили на даче, как он в охотничьем платье переплывал большое пространство воды с одного берега на другой, действуя одной рукой, а в другой держа вверх ружье и пороховницу. Наохотясь, он тем же порядком возвращался назад. Мать и бабушка бранили его за это, а мы, дети, были в восторге от такой выходки отца. Однако тревога старших подействовала и на меня, и я ужасно обрадовалась, когда отец вернулся домой, весь мокрый и иззябший.

Не знаю, от кого отец получил бумагу, где ему была выражена благодарность за спасение утопающих в день наводнения.

У нас постоянно бывали гости, преимущественно статские, а потому на военных гостей я всегда обращала особенное внимание, когда они приезжали к нам. С графа Милорадовича я не спускала глаз; меня удивляла его необыкновенно выпуклая грудь с орденами; его небольшие усы были черные, а коротенькие волосы на голове совершенно другого цвета. Когда он смеялся, то кисточки на его эполетах дрожали. Он играл с отцом всегда на бильярде. Потом уже я узнала, что он был большой театрал [4].

Другой военный гость, декабрист Якубович, бывал у нас чаще. Должно быть, он любил детей, потому что постоянно подзывал к себе кого-нибудь из нас. Для детей его фигура была страшна. Якубович был высокого роста,

смуглый, с большими черными усами; но главное, что нас страшило, — это черная повязка на лбу, прикрывавшая полученную им рану пулей. Я была из смелых детей, не боялась его и часто подолгу сидела у него на коленях; он давал мне играть своими часами и чугунным кольцом, которое снимал с пальца.

— Где моя храбрая девочка? — спрашивал Якубович, если не видел меня в комнате.

Якубович постоянно спорил со всеми и очень горячился, когда говорил. Часто, сильно разгорячась, он сдвигал свою черную повязку со лба на волосы, которые у него были черные, густые и стояли дыбом, и я всякий раз рассматривала круглое углубление на его лбу и даже раз ткнула пальцем в это углубление, чтобы удостовериться, есть ли там пуля. Он очень смеялся и защитил меня, когда тетки накинулись на меня и хотели наказать за мою дерзость.

Меня никто не ласкал, а потому я была очень чувствительна к ласкам.

День возмущения 14 декабря[5] я также хорошо помню.

На лицах у всех взрослых был испуг. Мать и бабушка уговаривали отца не ходить на Сенатскую площадь, но он ушел. Когда у нас задрожали стекла от пальбы, то все пришли в ужас. Наш лакей, побежавший смотреть бунт, вернулся бледный, дрожа всем телом, и рассказывал, что не мог попасть на площадь, потому что она окружена войсками, причем ему говорили, что там убито много народу. Я тоже расплакалась при виде слез бабушки и матери. В этот день никто из старших в семье не садился за обед. Все повеселели, когда отец вернулся домой. Я слушала его рассказ, как убили графа Милорадовича на площади[6], как стены домов, где стояли бунтовщики, окрасились кровью. Мне сделалось страшно после этих рассказов.

Не могу определенно сказать, чрез сколько времени, но что-то скоро, отца и актера Борецкого взяли к допросу; отца продержали с утра до поздней ночи. Все наши домашние были еще в большей тревоге, чем в день бунта. Я не могла заснуть, видя, как бабушка то молилась на коленях перед образом, у которого зажгла лампаду, то горько плакала, уткнув лицо в подушки, то бросалась к окну, заслышав стук дрожек на улице. Отец вернулся домой, а Борецкий лишь через месяц, а может

быть и более, возвратился в свое семейство. Отца допрашивали о его знакомстве с Якубовичем[7]. У Борецкого младший брат был офицером в Московском полку и в день бунта ночевал у него.

Я очень любила присутствовать при считке ролей, или при домашних репетициях, которые у нас бывали. Детям запрещено было в это время входить в кабинет отца, где собирались актеры и актрисы, но я заранее пряталась в укромный уголок, между турецким диваном и бюро, и оттуда наблюдала за всеми.

Отец не мог меня видеть, потому что сидел всегда посреди большого турецкого дивана, за круглым столом с развернутою большой тетрадью, я же находилась вдали от него и была закрыта от сидящих на диване актерами и актрисами. У всех в руках были роли; кому приходила очередь читать свою роль, тот выступал на средину комнаты; иногда по двое и по трое.

Князь Шаховской был мой крестный отец, но это не мешало мне передразнивать его в детской, как он распекал актеров и актрис, когда они читали свои монологи. Детям всегда кажутся в преувеличенном виде рост и и полнота в людях, и живот князя Шаховского представлялся мне огромным. Не могу сказать, был ли он в это время директором театра, но он всегда присутствовал на описанных выше собраниях у нас[8]. Лицо у него было широкое, щеки и подбородок висели на белой косынке, обмотанной на короткой и широкой шее. Волосы на его голове были неопределенного цвета, очень жидкие, но длинные. Когда он сердился, что плохо читают стихи, то ерошил себе волосы, и длинные жидкие пряди путались и придавали чрезвычайно смешной вид его лицу. Он слегка шепелявил.

— Ты, миленький, подлец! — подскакивал он к актеру Калинину. — По трактирам шляешься, а роль не учишь!

Калинин каждый день обедал у нас. Он запивал и имел недостаток перевирать слова в своей роли. Как актер он был из плохих, и большею частью ему давались маленькие роли.

Молодых актрис князь Шаховской часто доводил до слез, заставляя их по нескольку раз начинать свой монолог, и все кричал:

— Читай своим голосом! Пищишь! Ты, миленькая, дурища, уха у тебя нет! Где у тебя размер стиха? В прачки тебе надо было идти, а не на сцену.

Доставалось и В. А. Каратыгину от князя Шаховского. Каратыгин тогда был молод; мне он казался великаном. Выражение лица у него было хмурое, но хмурость еще более усиливалась, когда князь Шаховской распекал его.

— Зарычал, завыл! — ероша волосы, говорил князь Шаховской. — Стой, у тебя, миленький дурак, каша во рту, ни одного стиха не разберешь! На ярманках в балагане тебе играть! Повтори!

Каратыгин видимо сердился, но повиновался и повторял монолог.

Сосницкому, молодому тогда еще актеру, тоже немало доставалось от Шаховского.

— Опять зазюзюкал, миленький, — кричал князь. — Ведь ты с придворной дамой говоришь, а не с горничной, что губы сердечком складываешь. Раскрывай рот! [9]

Только когда читала свою роль Екатерина Семеновна Семенова, Шаховской не останавливал ее, а в длинном монологе, как бы слушая музыку, покачивал в такт головой.

Екатерина Семеновна считалась в то время первой трагической актрисой [10]. Она была тогда уже пожилая женщина, небольшого роста; лицо у ней было продолговатое, строгое. Я находила в ней большое сходство с женским бюстом, который стоял у отца на шкафу в кабинете: такой же прямой нос, такие же губы. Мне не нравилось в Екатерине Семеновне, что у нее была маленькая жиденькая косичка на голове, зашпиленная одной шпилькой.

Я помню ее белую турецкую с букетами шаль; тетки восхищались этой шалью и говорили, что она очень дорогая и ее можно продеть в кольцо. Екатерина Семеновна всегда была в этой шали. Она не надевала никаких драгоценностей, но из рассказов теток я слышала, что у нее много бриллиантов и что она очень богата. Я видела у нее только маленькую золотую табакерку с каменьями на крышке; она постоянно вертела ее в руках и часто из нее нюхала табак. Тогда нюханье табаку дамами так же было распространено, как теперь куренье папирос. Я заметила, что все относились к Семеновой с особенным

почтением, да и она держала себя важно со всеми. Приезжала она к нам в своей карете, с ливрейным лакеем. Кажется, она уже была тогда замужем за князем Гагариным [11].

Ее сестра, красавица Нимфодора Семеновна [12], тоже выезжала всегда в своей карете и с ливрейным лакеем. У остальных актрис ни у кого не было ливрейных лакеев.

Нимфодора Семеновна не бывала у нас; она была тоже актрисой, но, как говорили, не имела таланта [13]. Не могу сказать, была ли она тогда на сцене, когда я ее видела [14]. Она всегда приезжала на пасху к заутрени в церковь Театрального училища. Я не сводила с нее глаз — такая она была красавица: высокая, стройная, с необыкновенно нежным цветом лица, с синими большими глазами и, как смоль, черными волосами, в которых блестела бриллиантовая гребенка.

Отец купил у Грибоедова несколько актов его комедии «Горе от ума» для своего бенефиса [15]. Все, в том числе и мать, находили, что отец сделал большую ошибку, заплатив дорого автору, предрекали, что полного сбора не будет, потому что афиша не заманчива. Но их предсказание не исполнилось. За день до бенефиса билеты уже все были разобраны в кассе, и много ливрейных лакеев являлось к нам на дом за билетами, но отец никогда не брал из кассы билетов, чтобы продавать на дому, а также не развозил сам ни кресел, ни лож в свой бенефис богатым театралам и важным особам, что делали все артисты, не исключая В. А. Каратыгина. Был комический актер Величкин, так тот вползал на четвереньках к богатым купцам-театралам, положив билет себе на лысую голову [16].

В. А. Каратыгин прежде часто бывал у нас; изредка приезжала с ним в гости к нам и его жена. Но потом оба прекратили свои посещения. Моя мать и Каратыгина были на одном амплуа. Драма «Тридцать лет, или Жизнь игрока» делала большой сбор, и ее часто давали на сцене. В этой драме они чередовались. Соперничество поселило между ними вражду, которую раздували закулисные сплетники. Они даже перестали кланяться друг с другом [17]. Не знаю, как Каратыгина, но мать постоянно бранила мужа и жену Каратыгиных и жаловалась, что Каратыгин, играя с ней, нарочно пропускал реплики, чтоб сбивать ее, становился не на ту сторону, куда следовало,

и т. п. Раз мать вернулась из спектакля в слезах: по наущению Каратыгиных ей подставили надломленную скамейку, сидя на которой ей нужно было читать большой монолог. Очень может быть, что Каратыгины не были причастны к этому делу, а был просто недосмотр бутафора.

Отец и В. А. Каратыгин являлись в театре изумительным примером: в продолжение тридцати лет они одевались в одной уборной, хотя каждый из них имел право требовать себе отдельную уборную. Никогда между ними не было никаких ссор, несмотря даже на то, что их жены были во вражде между собой.

Я не слыхала, чтоб отец, приехав с репетиции или из спектакля, передавал закулисные новости, — а их всегда бывает много. Он был равнодушен, если Каратыгина вызывали лишний раз сравнительно с ним [18]. Отец ни с кем из артистов не ссорился, да и особенной дружбы не водил. Он ни к кому никогда не ходил в гости, а у него все бывали. Часто отец, приехав после спектакля, находил у себя множество гостей, играющих в карты на нескольких столах. Мать не могла обойтись вечером без карт. Отец, поужинав, отправлялся спать. Он был ленив по натуре и любил спокойствие. Он даже до непростительности отдалял от себя все заботы о детях; мать самовластно распоряжалась всем. Рассказывали, что отец в молодости был очень горяч и в гневе ничего не помнил. Вследствие этого мать не дозволяла ему вмешиваться в воспитание детей [19].

Мне кажется, что отец потому относился так равнодушно к закулисным интригам, что у него слишком много было других интересов.

Он был страстный охотник и считался лучшим стрелком в Петербурге. Тогда окрестные острова были пустынны, и водилось на них очень много дичи. Летом он ездил на эти острова охотиться; у него была своя лодка, и на все лето нанимался гребец. Зимой отец ездил на медвежью охоту и на лосей и всегда возвращался с добычей.

Он сам дрессировал своих собак. Одна собака была у него огромная, и он очень ею дорожил, но она так была зла, что постоянно сидела на цепи в кабинете, и если срывалась с цепи, то все домашние запирались от нее и ждали возвращения отца из театра, чтобы посадить

ее опять на цепь. Отец сам выводил Алмазку прогуляться по двору, причем заранее всех извещали, что Алмазку сейчас выпустят, тогда люди прятались, а остальные собаки, поджав хвост, ложились на спину, в ужасе ожидая смерти. Много хлопот и денег стоила отцу эта злая собака. Алмазка так была зла, что рычала на отца, когда он ее бил, и держалась постоянно в ошейнике с внутренними гвоздями. Нас, детей, она не допускала к себе, да и мы сами не смели приближаться к ней. Но она полюбила поваренка лет 13, которого к себе взял в обучение наш повар. Этот мальчик делал с ней, что хотел, катался на ней верхом, изо рта брал у нее кость, и она только лизала его руку.

Однажды Алмазка бросился на мать и чуть не укусил ее; тогда только отец расстался с своей злой собакой. К нам ездил охотник из-за города, который занимался дрессировкой охотничьих собак и был зажиточный человек; он выпросил у отца Алмазку; отец его предупреждал, чтоб он был осторожен с ней. Охотник обидчиво отвечал:

— Помилуйте, Яков Григорьевич, двадцать лет дрессирую собак — и не справлюсь с вашим Алмазкой! Я его вышколю так, что он у меня будет шелковый.

Через месяц этот охотник явился к отцу с перевязанной рукой.

— Что, брат, верно, Алмазка поцеловал у тебя руку? — спросил отец.

— Зато же ему и досталось от меня, отучится кусаться! — отвечал охотник.

— Алмазка — злопамятная собака, никогда не снимай с него ошейника с гвоздями, когда будешь бить его, — опять предостерегал отец охотника.

Охотник, вероятно, не послушался совета отца, и Алмазка на охоте так изгрыз его, что он долго хворал и умер.

Отец любил певчих птиц, у него было много дорогих жаворонков и соловьев. Он сам насвистывал им мотивы, закрывая клетку зеленым коленкором.

В карты отец не любил играть, а был искусный бильярдный игрок. В Петербурге был известный бильярдный игрок маркер Тюря; с ним отец иногда устраивал у себя партию, и многие любители бильярда приезжали смотреть на их бильярдный поединок, держали большое

пари кто за отца, кто за Тюрю. Очков вперед они не давали друг другу, а кидали жребий, кому начинать. Случалось, что кто первый начинал, тот и выигрывал партию.

Тюря был невзрачной наружности человек, маленького роста, с каштановыми волосами, остриженными в кружок, с жиденькой бородкой, одевался бедно, ходил в поношенном длиннополом сюртуке, с намотанным на шее бумажным платком и в высоких сапогах с кисточками.

Этого Тюрю я потом видела остриженного, завитого, расфранченного, в светло-синем фраке, с бриллиантовым перстнем на указательном пальце. Он выиграл несколько сот тысяч злот в польскую лотерею; но очень скоро прокутил их, потому что его окружали приятели, которые втянули его в азартную игру в карты, подбивали жить барином, задавать пиры. Тюря обижался, что отец не приезжал к нему на его пиры.

— Хоть бы раз посмотрели, Яков Григорьевич, как я теперь живу-с, — сказал Тюря, приехав в коляске приглашать отца на обед к себе.

— Зачем мне ехать к тебе, я и так вижу, что ты дурак дураком сделался, — отвечал отец.

Наконец приятели обыграли и обобрали его.

Долгое время после этого Тюря не был у нас, но вдруг явился к отцу и стал просить его сыграть с ним партию на большие деньги, тогда как прежде партия всегда шла на пустяки.

— Вы думаете, Яков Григорьевич, что у меня денег нет? Да у меня теперь втрое больше стало, я ведь опять выиграл в польскую лотерею, на днях должен получить свой выигрыш.

Отец смекнул, что в голове у Тюри что-то не ладно.

— Когда получишь деньги, тогда и сыграем, — ответил он, — а теперь мне некогда.

— Я вам дам расписку, если проиграю, и сейчас же уплачу, как получу деньги. Я — честный человек, Яков Григорьевич.

— Верю, приходи в другой раз.

Но Тюря не уходил и говорил:

— Я теперь проучен. Все деньги вам отдам на хранение, вы выдавайте мне проценты, а если я потребую у вас из капитала, гоните меня в шею.

Отец насилу выжил от себя Тюрю; он все твердил о миллионе злотых, которые выиграл. Скоро пришло известие, что Тюря уже сидит в сумасшедшем доме [20].

Артист Куликов написал на Тюрю водевиль в трех актах под названием «Ворона в павлиньих перьях» [21].

Однажды к отцу явился приезжий, молодой белокурый купчик, очень красивый, почти такого же большого роста, как В. А. Каратыгин, но лучше сложенный. Этот молодой купчик из провинции бежал от богатых родителей, питая непреодолимую страсть к сцене. Он знал, что богобоязненный отец лишит его наследства, если он сделается актером, но не мог побороть своей страсти к сцене. Купчик знал наизусть много монологов из ролей В. А. Каратыгина. Отец никому не отказывал в помощи поступить на сцену, если только это не была совершенная бездарность. Купчик обладал громким голосом и чуть ли не думал, что в этом только и заключается вся сила сценической игры. Отец, проходя с ним роль, которую купчик разучивал для своего дебюта, останавливал его, чтобы он не орал.

Мать была очень довольна, что готовится соперник на сцене у В. А. Каратыгина. Она принимала большое участие в дебюте купчика, который, кажется, выбрал себе фамилию Мстиславского или Ростиславского, что-то в этом роде. Дебют Мстиславского удался, ему много аплодировала публика и два раза его вызвала. Театралы-купчики поддержали дебютанта. Мать торжествовала, потому что ей передавали, что Каратыгины от злости захворали.

На другой день явился к нам дебютант с необыкновенно гордым видом и передавал отцу, что его игру нашли лучше В. А. Каратыгина.

— Далеко кулику до Петрова дня! — отвечал отец. — Сначала поработай над собой, как работал Каратыгин, да и то, брат, не с твоими мозгами быть хорошим актером!

Мстиславский очень обиделся на отца. Дебютанта приняли на театр благодаря хлопотам моей матери. Не знаю, как теперь, но прежде богатые купцы-театралы считали своею обязанностью спаивать молодых актеров. Мстиславский кутил с ними постоянно, вообразив, что учиться ему уже не нужно. Играл он очень редко; говорили,

что В. А. Каратыгин сильно интриговал против него, что при всей своей скупости он сделал обед чиновникам, чтобы не давали тех трагедий, в которых играл Мстиславский.

О скупости Каратыгина постоянно ходили анекдоты за кулисами. Рассказывали, что Каратыгин из экономии никогда не надевал перчаток в роли Чацкого, а только держал их в руках, и одна пара служила ему десять лет.

Не могу сказать, сколько времени Мстиславский находился на сцене, но что-то не долго. Он совершенно спился. Раз вечером мы сидели за чаем с тетками, отец и мать были в театре. Вдруг в комнату вошел Мстиславский. У него было такое страшное лицо, что тетки перепугались.

— Я пришел взять ружье у Якова Григорьевича, — сказал он, ни с кем не поздоровавшись. — Вы, вероятно, уже знаете, что меня хотели отравить. Я трое суток ничего в рот не брал, так в рукомойник подсыпали яду... Теперь убить меня хотят, всюду за мной ходят убийцы. Сейчас явятся сюда, но я нарочно сюда пришел, чтобы взять ружье у Якова Григорьевича, и как только они появятся...

Мстиславский прицелился, будто держит ружье, гаркнул «пиф-паф» и разразился диким смехом.

— Каратыгин останется с носом, пропадут его денежки, которые он дал убийцам.

Тетки и мы сидели в страхе. Когда Мстиславский пошел в кабинет, мы поспешили послать лакея в театр за отцом. Мстиславскому, вероятно, не удалось снять ружье со стены, он вернулся в зало и расхаживал по комнате, читая монологи.

По счастью, был антракт, и отец приехал в костюме. Он взял сумасшедшего с собой и сдал в полицейскую часть, которая находилась против нашего дома, в маленьком переулочке.

Мстиславский вскоре после этого умер.

Балетмейстера Дидло мать принимала с особенным почетом. Для него готовился всегда какой-то французский суп к обеду и покупалось дорогое белое вино. Дидло, несмотря на долгое пребывание в Петербурге, говорил плохо по-русски. Он был уже старик, худой, но необыкновенно подвижной. Нос у него был предлинный,

Я всегда отыскивала сходство в людях с зверями или птицами, и Дидло, мне казалось, походил на дупеля. У Дидло были светлые, но сердитые глаза, он постоянно кусал свои тонкие губы, и его всегда нервно передергивало. Я его терпеть не могла, зная, что он бил воспитанниц и воспитанников в театральном училище. Когда они ехали на репетицию балета или шли на его урок, то крестились и молили бога, чтобы не испробовать палки Дидло на своей спине и на носках.

В театральной школе воспитывались младшие сестры моей матери; мы часто ходили туда с тетками навещать их. Я видела, как девочки возвращались из класса танцев в слезах и показывали синяки на своих ногах и руках.

В это время Дидло уже не дозволяли ставить свои балеты с полетами маленьких воспитанниц и воспитанников, потому что случались несчастья во время спектакля. Раз канаты лопнули, и бедные дети с значительной высоты упали, страшно ушиблись, а некоторые сломали себе кто ногу, кто руку.

Дидло ужасно был смешон, когда стоял за кулисами и следил за танцовщицами и танцорами на сцене. Он перегибался, улыбался, семенил ногами и вдруг начинал злобно топать такт ногой. А когда танцевали маленькие дети, то он грозил им кулаками, и беда им была, если они путались, составляя группы. Он набрасывался на них за кулисами, как коршун: кого схватит за волосы и теребит, кого за ухо, а если кто увертывался от него, то давал ногой пинка, так что девочка или мальчик отлетали далеко. И солисткам доставалось по окончании танца. При шуме рукоплесканий счастливая танцовщица убегала за кулисы, а тут Дидло хватал ее за плечи, тряс из всей силы, осыпал бранью и, дав ей тумака в спину, выталкивал опять на сцену, если ее вызывали.

Часто Дидло гонялся за кулисами за танцовщицей, которая из предосторожности убегала со сцены в противоположную сторону, где он стоял, и пряталась от него. Взбешенного Дидло отливали водой [22].

Когда пронесся слух, что Дидло выходит в отставку по неприятностям с Гедеоновым [23], то школьные его ученики, ученицы и кордебалет с нетерпением ждали того счастливого часа, когда простятся с ним и с его неразлучной палкой. Как хороший балетмейстер и учитель Дидло пользовался известностью; он привык к почету

и не дозволял никому вмешиваться в свою часть, а Гедеонов, с своей стороны, хотел доказать, что он — полный властелин в театре и что никакие заслуги, никакой талант для него не существуют.

Моя мать сильно хлопотала, как бы поторжественнее устроить овацию Дидло в его прощальный бенефис[24]. Я знала заранее всю программу оваций, которые будут сделаны Дидло, — сколько венков будет поднесено ему, какой будет прочитан адрес от почитателей его таланта и заслуг, что все не участвующие в балете танцоры и танцорки, даже те, кто уже был на пенсии, выведут его на сцену при первом вызове и т. п.

Я с сестрами, тетками и матерью сидела в ложе в день бенефиса Дидло. Не помню, который из его балетов шел. После первого акта стали вызывать Дидло; он вышел, и за ним двинулась толпа танцоров и танцорок, весь кордебалет и все участвующие воспитанники и воспитанницы школы. При громе рукоплесканий Дидло подали из оркестра два большие венка и один маленький. Одна из солисток возложила его на голову Дидло. После прочтения адреса одним из молодых актеров все на сцене стали прощаться со стариком. Целовали Дидло, обнимали, а дети-ученики целовали у него руки. Это для меня было неожиданным зрелищем. Аплодисментам и вызовам не было конца.

Моя мать пошла на сцену в антракте, и я последовала за ней; но там происходила другая сцена: Гедеонов кричал, что он всех оштрафует за то, как смели без его позволения выйти на сцену. Мать крупно побранилась с Гедеоновым, и он ей сказал, что если б у нее не было детей, то он ее арестовал бы, но она ему отвечала со смехом: «Попробуйте, Александр Михайлович, это сделать!»

Волнение за кулисами было страшное, когда Гедеонов отдал приказание, чтоб никто не смел выходить на сцену, когда будут вызывать Дидло; но его не послушались: танцоры и танцорки на пенсии выводили Дидло; да они и были старику необходимы, потому что он так ослабел от волнения, что его надо было поддерживать.

В моем детстве артистам не подносили ни букетов, ни венков, ни подарков. На другой день бенефиса от государя присылался подарок на дом: первым артистам — бриллиантовый перстень, артисткам — серьги или фермуар.

Моду подносить букеты и подарки ввели иностранные танцовщицы, появившиеся на петербургской сцене. Хотя обыкновенно говорят, что публика поднесла артистке подарок или букеты, но [публика] тут ни при чем. Инициатива всегда идет от одного лица — друга артиста; его родственников или от обожателя артистки. Если последний не богат, то им собирается подписка на подарок за целый месяц до бенефиса артистки. За кулисами отлично знают, от какого лица получен подарок и цветы в день бенефиса артиста или артистки.

Всем заранее было известно, что один артист получит в свой бенефис два венка и два букета от своих родственников и что в его уборной широкие ленты снимутся и аккуратно сложатся, чтобы их за полцены отвезти в лавку Гостиного двора, где они были куплены; все же экономия для родственников! Один артист сам себе покупал венки и раздавал своим друзьям, чтоб они ему их подносили в бенефис.

Публика очень любит присутствовать при поднесениях цветов и подарков артистам и щедра бывает на аплодисменты. Я никогда не видала такого обилия цветов, каким была забросана танцовщица Смирнова.

Она была одного выпуска с Андреяновой, которой театральные балетоманы постоянно страшно шикали.

Это было их мщение Гедеонову, который особенно был расположен к Андреяновой[25]. На Гедеонова была зла молодежь первых рядов кресел за то, что он принял строгие меры к недопущению ее стоять у театрального подъезда, когда после спектакля воспитанницы садились в кареты и переговаривались с ними. Гедеонов дал приказание своим чиновникам сопровождать кареты воспитанниц до школы, чтобы они не могли из окон говорить с своими обожателями, ехавшими рядом. Чиновников обожатели оттискивали от окон карет, а одного чиновника, более ревностного, вывалили в грязь из дрожек. После этого одно время кареты воспитанниц сопровождали конные жандармы.

У Смирновой была сильная партия. Невахович — карикатурист — содержал ее, а потом женился на ней. Этот Невахович чуть ли не первый начал издавать еженедельные листы карикатур, под заглавием «Ералаш»[26]. Неваховичей было два брата, и они имели большой капитал, но очень скоро его прожили. Старший брат был женат на русской певице, я забыла ее фамилию;[27] когда он был женихом, то рвал сторублевые ассигнации ей на

папильотки. Прожив все деньги, старший Невахович сделался театральным чиновником[28]. Он был гораздо старше своего брата — карикатуриста и до его совершеннолетия успел прожить большую часть и его денег.

Чуть не в каждом номере «Ералаша» в карикатурах фигурировал Гедеонов, театральные чиновники, в том числе брат Неваховича, и Андреянова. Невахович был остроумен и иногда подбирал очень удачные подписи под карикатурами. Все молодые балетоманы примкнули к Неваховичу. Раз шел балет, где Андреянова танцевала первую, а Смирнова незначительную роль. Молодежь из партии Неваховича узнала, приехав в спектакль, что театральные чиновники приготовили Андреяновой букет. Сейчас же запаслись букетом и для Смирновой; чиновники, проведав это, купили еще другой. Тогда партия Неваховича, соблюдя все предосторожности, чтобы не проведали чиновники, запаслась двумя платяными корзинами цветов, заняла две литерные ложи вверху, а всех знакомых, кто сидел в боковых ложах, просила бросать букеты Смирновой. Партия Смирновой торжествовала, шуму в партере было много.

Как танцовщица Андреянова была лучше Смирновой, потому что танцевала с одушевлением и наружность имела красивее. Смирнова же была безжизненная и очень некрасива. Благодаря враждебным отношениям партий обе они сделались выдающимися танцовщицами; без этого их сценическое поприще было бы очень скромное[29].

Заговорив о балете, кстати упомяну и о танцовщице Истоминой, ученице старика Дидло, о которой Пушкин упоминает с восторгом в «Евгении Онегине»[30].

Я видела Истомину уже тяжеловесной, растолстевшей, пожилой женщиной. Желая казаться моложавой, она была всегда набелена и нарумянена. Волосы у нее были черные, как смоль: говорили, что она их красит. Глаза у Истоминой были большие, черные и блестящие. У нас она прежде не бывала, но теперь приехала просить отца приготовить к дебюту воспитанника Годунова, рослого, широкоплечего, с туповатым выражением лица юношу. Она покровительствовала ему.

Постом в театральной школе, перед выпуском, устраивались спектакли для выпускных воспитанников в присутствии Гедеонова, чиновников и родственников играющих

воспитанников и воспитанниц. Давалось по акту трагедий, опер и водевили. Истомина выхлопотала, чтобы Годунову дали роль в трагедии, для того чтобы при выпуске он мог получить побольше жалованья.

Отец прямо сказал Истоминой, что Годунов — самый бездарный юноша. Истомина не поверила и обратилась к В. А. Каратыгину. Не знаю, правда ли, будто Каратыгин получил от Истоминой значительный подарок за свои занятия с Годуновым. Отец никогда не брал денег ни с кого, кто обращался к нему с просьбой подготовить к сцене; все это знали, и никто не смел делать ему подарки.

Годунова выпустили из школы с окладом жалованья наравне с талантливыми воспитанниками: Истомина не жалела денег на подарки чиновникам.

Вскоре после этого Истомина вышла замуж за Годунова, и он быстро растолстел. Его лицо лоснилось от жиру. Когда он сидел в ложе с своей супругой, то самодовольно на всех посматривал, потому что сиял бриллиантами: шарф у него был заколот бриллиантовой булавкой, на рубашке и даже на жилете пуговицы были бриллиантовые. Он не надевал перчатку на ту руку, на пальце которой было надето кольцо с большим бриллиантом. Но недолго Истомина наслаждалась своим поздним супружеским счастием: ее здоровяк-муж схватил тиф и умер. Неутешная вдовица воздвигла дорогой памятник во цвете лет умершему супругу и даже собиралась поступить в монахини.

Случилось похищение выпускной воспитанницы Кох из театральной школы. Смятение было ужасное. Она исчезла во время ужина, отказавшись от него под предлогом головной боли, и осталась одна в дортуаре. Директор, инспектор школы, все театральные чиновники, старушка директриса, все классные дамы — пришли в ужас, потому что всем было известно, что Кох обратила на себя внимание очень важной особы.

Однако все благополучно выпутались из этой истории. Остались виновными только безгласная старушка директриса да сторож у ворот. Их отставили от службы. Похититель долго укрывал Кох в своих имениях, несмотря на строжайшее приказание государя Николая Павловича разыскать и его и похищенную. Наконец похитителя нашли — это был князь Вяземский. Его посадили в крепость. Какое наказание постигло Кох — не знаю.

П. С. Федоров, водевилист, до похищения Кох был незначительным чиновником при театре. Он сочинил юмористические куплетцы, положил их на музыку и пел у нас. После каждого куплета повторялось: «Ох, убежала Кох». Он так ловко подстроил, что начальство не подозревало, что он сочинитель этих куплетов, а приписывало их одному театралу. В этих куплетах упоминалось все театральное начальство.

Театральная школа находилась через дом от нас, на Екатерининском канале. Влюбленные в воспитанниц каждый день прохаживались бессчетное число раз по набережной канала мимо окон школы. Воспитанницы помещались в третьем этаже, а воспитанники во втором. До похищения Кох не было таких строгостей в школе, как потом. Воспитанницы постоянно смотрели в окна и вели счет, сколько раз пройдет обожатель, и мера влюбленности считалась числом прогулок мимо окон.

Пушкин тоже был влюблен в одну из воспитанниц-танцорок и также прохаживался одну весну мимо окон школы и всегда проходил по маленькому переулку, куда выходила часть нашей квартиры, и тоже поглядывал на наши окна, где всегда сидели тетки за шитьем. Они были молоденькие, недурны собой. Я подметила, что тетки всегда волновались, завидя Пушкина, и краснели, когда он смотрел на них. Я старалась заранее встать к окну, чтобы посмотреть на Пушкина. Тогда была мода носить испанские плащи, и Пушкин ходил в таком плаще, закинув одну полу на плечо[31].

Не могу определенно сказать, сколько времени прошло после того, как прогуливался Пушкин мимо наших окон; но однажды в театре я сидела в ложе с сестрами и братьями и с одной из теток. Почти к последнему акту в соседнюю ложу, где сидели две дамы и старичок, вошел курчавый, бледный и худощавый мужчина. Я сейчас же заметила, что у него на одном пальце надето что-то вроде золотого наперстка. Это меня заинтересовало. Мне казалось, что его лицо мне знакомо. Курчавый господин зевал, потягивался и не смотрел на сцену, а глядел больше на ложи, отвечал нехотя, когда с ним заговаривали дамы по-французски. Вдруг я припомнила, где я его видела, и, дернув тетку за рукав, шепнула ей: «Сзади нас сидит Пушкин». Я потому его сразу не

узнала, что никогда не видела его без шляпы. Но Пушкин скоро ушел из ложи. Более мне не удалось его видеть. Уже взрослой я узнала значение золотого наперстка на его пальце. Он отрастил себе большой ноготь и, чтоб последний не сломался, надевал золотой футляр.

Актер А. М. Максимов был в последнем классе театральной школы и ходил к отцу учиться дикции. Отец его отучал растягивать слова и говорить в нос. Он скоро приобрел расположение публики, играя в водевилях.

Я помню, что, когда ставили «Ревизора» на сцену, все участвующие артисты как-то потерялись; они чувствовали, что типы, выведенные Гоголем в пьесе, новы для них и что эту пьесу нельзя так играть, как они привыкли разыгрывать на сцене свои роли в переделанных на русские нравы французских водевилях [32].

После смерти Дюра Максимову дали роль Хлестакова; он явился к отцу, чтобы тот его прослушал.

Когда Максимов прочел свою роль, отец сказал ему:

— В глупом водевиле кривлянье нехорошо, а в такой комедии актера надо высечь. Ты запомни это.

Максимов в молодости был бы недурен собой, если б его лица не портил большой рот и скверные зубы. Говорили, что у него чахотка, когда он еще был в школе; но ошиблись. Максимов смолоду очень кутил с богатыми своими приятелями — театралами, но прожил долго. Женился он на танцовщице Аполинской, или Полинской, как только ее выпустили из школы, и получил за ней приданое, выданное ей от дирекции театра, — 40 тысяч. Впрочем, не могу наверное определить цифру. Эти выдачи приданого достались только двум танцовщицам: той, на которой женился В. В. Самойлов, и жене Максимова. Такое счастье, впрочем, обусловливалось особыми причинами... [33] Прочие артисты, женившиеся на воспитанницах театральной школы, не получали даже пособия на свои свадьбы.

Две танцовщицы, награжденные приданым, не были выдающимися артистками, но пользовались большими привилегиями при театре и получали хороший оклад жалованья. Хотя после замужества они редко появлялись на сцене, а потом и совсем не танцевали, а жалованье все-таки получали.

Певца Петрова я помню, как только он приехал в Петербург в начале тридцатых годов. Он ходил к нам в это время каждый день обедать, пил чай и ужинал. Он учился дикции у отца. Петров много работал, чтобы уничтожить малороссийский акцент в своем выговоре. Он учился петь у Кавоса, который преподавал пение в театральной школе. Говорили, что Петров был певчим у какого-то архиерея в Малороссии [34].

Петров был коренастый, плечи очень широкие, большая голова с густыми черными волосами.

Он был очень смуглый и походил на цыгана. Говорил он очень скоро, за что не раз доставалась ему головомойка от отца, когда Петров читал стихи или прозу.

— Зарубил!.. Слушая тебя, можно подумать, что капусту рубят в комнате. Мягче выговаривай слова и медленнее, придерживай свой язык, а то он у тебя вертится во рту, точно спущенный волчок.

Кто помнит певца Петрова, знает хорошо, что в его пении было явственно слышно каждое слово. Все, кого учил отец дикции, имели ясный выговор. Он следовал методе князя Шаховского, который выходил из себя, если актер или актриса неявственно выговаривали слова. При уроках дикции отец всегда добивался поставить правильно голоса, какими обладали его ученики, иногда доводил их до слез; начнет читать ученица, он ее останавливает:

— Пищишь! Сначала!.. Низко взяла!

— Яков Григорьевич! — жалобно говорит ученица. — Да я не могу-с иначе читать.

— Врешь! Когда говоришь, так голос у тебя другой!

Отец сердился, когда в монологе перевирали слова.

— Смей только перевирать слова и поправляться! Никуда не будешь годен, войдет в привычку, пропадешь! Такое брякнешь на сцене, что жизни не будешь рад. Выучи так монолог, чтобы ни на одном слове не заикнуться, а где запинаешься, так сто раз прочитай одно и то же!

Бывали такие несчастные актеры и актрисы, что постоянно перевирали слова, даже целые фразы, и в самых трагических местах своей роли, как, например: «Я теперь покоен, ключи заперты и двери в кармане» или как в «Горе от ума» лакей докладывает: «Карета в барыне и гневаться изволит». Дюр в какой-то драме, изображая королеву, долженствующую подписать смертный приго-

вор, произнесла: «Подайте мне чиро и пернила» вместо «перо и чернила».

Комика Дюра я помню с самого раннего детства. Он был высокого роста, очень худой, слегка рябоватый, с светлыми белокурыми волосами, с такими же бровями. В юных годах его считали недолговечным, находя, что у него чахотка. Ему было уже лет 35, а может быть, более, когда он влюбился в воспитанницу театральной школы, танцовщицу Новицкую, красавицу собой[35]. Как танцовщица она не особенно была хороша, да и ее высокий рост не шел к этому искусству. Красоту ее портил бескровный цвет лица. Тогда еще не обращали внимания на малокровие; страдающих этою болезнию не лечили, а приписывали бледность признакам чахотки. В Петербурге была порядочная немецкая оперная труппа, в которой особенно выделялся тенор Голанд[36]. На немецкой сцене поставлена была опера «Фенелла», и воспитаннице Новицкой дали роль Фенеллы[37]. Она так была красива в роли немой и так хорошо играла, что у нее явилось множество поклонников в первых рядах кресел из блестящих молодых людей.

Государь часто в антрактах приходил на сцену разговаривать с артистами и всякий раз обращал внимание на воспитанницу Новицкую. Когда государь бывал на сцене, за кулисами водворялась полнейшая тишина, по сцене никто не ходил, везде стояли чиновники, наблюдая, чтобы кто-нибудь по нечаянности не выскочил на сцену. Министр двора[38] и Гедеонов стояли в почтительном расстоянии, наготове, если государь пожелает сделать какой-нибудь вопрос. Наконец государю надоела эта гробовая тишина за кулисами и на сцене, и он отдал приказание, чтобы никогда не стеснялись его присутствия и все делали бы свое дело. Надо было видеть, как суетились чиновники, чтобы, например, плотники, таща кулису, не задели государя, как все артистки расхаживали по сцене в надежде, что их осчастливит государь своим вниманием. Чтобы не задерживать публику, государь приказал Гедеонову докладывать ему, когда все готово для поднятия занавеса, и немедленно уходил в свою ложу.

Красавицу Новицкую выдали замуж за Дюра. Это произвело страшный переполох. Все танцовщицы считали Новицкую необыкновенной дурой, потому что ей

представлялась блестящая карьера жить в роскоши и обеспечить себя капиталом [39].

Воспитанницы театральной школы были тогда пропитаны традициями своих предшественниц и заботились постоянно заготовить себе, еще находясь в школе, богатого поклонника, чтобы при выходе из школы прямо сесть в свою карету и ехать на заготовленную квартиру с приданым белья и богатого туалета.

Поклонники Новицкой были озлоблены на нее, что она вышла замуж за актера. Когда ей пришлось в первый раз выходить на сцену после замужества, она очень боялась, потому что за кулисами распространились слухи, что ей будут шикать. Дюр старался ободрять жену перед выходом на сцену, но сам был в страшном волнении. Присутствие государя в театре, вероятно, помешало демонстрации озлобленных ее поклонников. Они ограничились тем, что не аплодировали ей, тогда как прежде до неистовства хлопали в ладоши при ее появлении и в продолжение всего спектакля.

Дюру было немало тревог и забот с красавицей молоденькой женой. Дома он должен был умолять ее на коленях, чтобы она, как встанет, съела бы бифштекс и выпила бы стакан портеру по предписанию доктора. Он боялся, чтобы у жены не развилась чахотка. За кулисами он должен был следить, чтобы ей не попало в руки письмо с объяснением в любви и блестящими предложениями от богачей. Он сам возил ее на репетиции, и когда она ленилась делать упражнения, то уговаривал ее, как ребенка, кормил леденцами, заранее запасенными в кармане. Он был мученик, когда не мог сопровождать свою молоденькую жену в театр, потому что сам был занят в другом театре. За заботы о здоровье жены Дюр был вознагражден: малокровие ее пропало и на щеках появился нежный румянец, что еще более придавало красоты ее лицу. По мере того как жена полнела, муж чах и умер в чахотке.

Дюр осталась молодой вдовой с малолетней дочерью. Она ленилась упражняться в танцах и стала играть в балетах только роли матерей, и должна была гримировать свое красивое лицо морщинами. Она перешла на драматическое амплуа и пользовалась покровительством Гедеонова. Как актриса она была не особенно выдающаяся, но выигрывала много мимикой своего красивого лица. К тридцати годам Дюр необычайно растолстела.

но лицо оставалось красивым, а дослужив до пенсии и оставя сцену, она сделалась толстой уже до безобразия. Дюр скопила себе капиталец и вышла замуж за чиновника[40], с которым соединилась раньше гражданским браком. Но этот чиновник был картежник и проиграл ее капитал, дачу, даже заложил все ее бриллианты, да еще растратил казенные деньги. Это так подействовало на Дюр, что она слегла в постель, долго прохворала и умерла.

Известно, что в первую холеру, в 1832 году[41], среди народа распространились нелепые слухи, будто его отравляют поляки и все доктора подкуплены ими, чтобы в больницах морить людей. Я видела с балкона, как на Офицерской улице, в мелочной лавке, поймали отравителя и расправлялись с ним на улице. Как только лавочник, выскочив на улицу, закричал: «Отравитель!» — мигом образовалась толпа, и несчастного выволокли на улицу. Отец побежал спасать его. Лавочники и многие другие знали хорошо отца, и он едва уговорил толпу отвести лучше отравителя в полицию и пошел сам с толпою в часть, которая находилась в маленьком переулочке против нашего дома. Фигура у несчастного «отравителя» была самая жалкая, платье на нем изорвано, лицо в крови, волосы всклокочены, его подталкивали в спину и в бока; сам он уже не мог идти.

Это был бедный чиновник. Навлек на него подозрение кисель, которым он думал угостить своих детей. Идя со службы, он купил фунт картофельной муки и положил сверток в карман шинели; вспомнив, что забыл купить сахару, он зашел в мелочную лавку, купил полфунта сахару, сунул его в карман, бумага с картофельной мукой разорвалась и запачкала его руку. Лавочники, увидав это, и заорали «отравитель».

Описанный случай был прелюдией народного волнения на Сенной площади, которое произошло через несколько дней. Часов в шесть вечера вдруг по улице стал бежать народ, крича: «На Сенную!» Как теперь вижу рослого мужика с расстегнутым воротом рубашки, засученными рукавами, поднявшего свои кулачища и кричавшего на всю улицу: «Ребята, всех докторов изобьем!» «На Сенную, на Сенную!» — раздавались крики бежавших. Очевидцы рассказывали, что докторов стаскивали с дрожек и избивали до смерти.

Улицы и без того были пустынны в холеру, но после катастрофы на Сенной сделалось еще пустыннее. Все боялись выходить, чтобы их не приняли за докторов и не учинили бы расправу.

У нас по всем комнатам стояли плошки с дегтем и по нескольку раз в день курили можжевельником. В нашей семье никто не захворал холерой. Каждый день наша прислуга сообщала нам ходившие в народе слухи, один нелепее другого: то будто вышел приказ, чтобы в каждом доме заготовить несколько гробов, и как только кто захворает холерой, то сейчас же давать знать полиции, которая должна положить больного в гроб, заколотить крышку и прямо везти на кладбище, потому что холера тотчас же прекратится от этой меры. А то выдавали за достоверное, что каждое утро и вечер во все квартиры будет являться доктор, чтобы осматривать всех живущих; и если кто и здоров, но доктору покажется больным, то его сейчас же посадят в закрытую фуру и увезут в больницу под конвоем [42].

Нелепейших предосторожностей от холеры было множество. Находились такие субъекты, которые намазывали себе все тело жиром кошки; у всех стояли настойки из красного перцу. Пили деготь. Один господин каждый день пил по рюмке бычачьей крови.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Самойловы. — Асенкова. — Мартынов. — Театральные чиновники. — Тальони. — Андреянова.

Еще девочкой я слышала В. В. Самойлова, когда он пел в опере «Волшебный стрелок» вместе со своим отцом [1]. Первоначально молодой Самойлов поступил на сцену певцом. Все семейство Самойловых я знала, начиная с их отца, матери, взрослых их дочерей, сыновей и кончая маленькой девочкой, которая была одних лет со мной или немного помоложе меня. Старшие дочери старика Самойлова ходили в гости к теткам, а с младшими я виделась в клубном немецком саду, который на летний сезон помещался на Мойке, близ Поцелуева моста, в доме разорившегося Альбрехта, выстроившего для себя дом с разными барскими затеями: с манежем, с оранжереями и большим садом. Экономные распорядители немецкого клуба за плату на все лето пускали детей

гулять только до семи часов вечера, потому что потом собирались члены, играли в кегли и в карты.

Старший сын старика Самойлова был уже чиновником и членом клуба; он любил разговаривать со мной, кормил сладкими пирожками и защищал меня и братьев перед распорядителями клуба, которым садовник приносил жалобы на нас, что мы лазаем по крыше беседки, по заборам, таскаем яблоки с деревьев. Его две младшие сестры также приходили в сад гулять. Надежда Васильевна была уже подросток, очень бойкая, и постоянно говорила, как она поступит на сцену и какие будет играть роли. Вера Васильевна была очень молчаливая девочка, не любила бегать и все сидела на одном месте.

В сад ходила гулять и дочь актрисы Асенковой[2]. Она была лет 14, казалась взрослой, но любила еще побегать, и мы с ней до упаду бегали вперегонки. Асенкова была очень хорошенькая, и я гордилась, что большая девочка и такая хорошенькая не пренебрегает мной.

Двух Самойловых и Асенкову мне пришлось видеть впоследствии на сцене. Надежда Васильевна Самойлова и Асенкова были на одном амплуа. Обе были хорошие водевильные актрисы. Гуляя девочками в саду и разговаривая между собой, они тогда, конечно, и не думали, что наступит время, когда между ними возникнет непримиримая вражда[3]. Самая младшая сестра, Вера Васильевна Самойлова, поступила на сцену на драматические роли[4], была красива собой, высокого роста, с изящными манерами, и как актриса была талантливее своих сестер. Самая старшая сестра, Мария Васильевна Самойлова, пробыла недолго на сцене и вышла замуж. Из семейства старика Самойлова на сцене были три дочери и один сын. Надо заметить, что старики Самойловы очень заботились о воспитании своих детей. Девочек отдавали в хорошие пансионы, а мальчиков — в разные заведения. В. В. Самойлов случайно попал на сцену, он был горный офицер. За кулисами ходили слухи, что он имел какую-то неприятную историю на одном общественном собрании в провинциальном городе, где служил, и вследствие этого снял мундир, приехал к отцу и поступил на сцену[5].

Вера Васильевна Самойлова покинула сцену скоро, несмотря на то, что ее игру публика очень ценила. Даже государь Николай Павлович одно время каждый раз бывал в театре, когда она играла, и часто в антрактах

выходил на сцену и разговаривал с ней. Но Гедеонов невзлюбил Веру Васильевну. Она держала себя с ним гордо. Закулисные сплетни раздували неприязнь, и разные чиновники, разумеется, доносили Гедеонову о каждом слове, сказанном о нем В. В. Самойловой[6].

Контракт ее с дирекцией кончался, и надо было возобновлять его, но Гедеонову этого не хотелось, и он, что называется, допекал ее не мытьем, так катаньем. Самойлова потребовала новый лиф к бархатному платью для одной роли. Это такой пустяк, о котором никогда не докладывают директору, а тут услужливые чиновники доложили ему. Гедеонов велел ей ответить, что «и старый хорош для нее». На репетиции В. В. Самойлова объявила, что не выйдет на сцену в старом лифе. Сшить лиф можно было в несколько часов, тем более что бархатное платье Самойлова должна была надеть в последнем акте. Гедеонову нужно было, чтобы государь присутствовал в театре, когда Вера Васильевна исполнит свое слово и не выйдет на сцену. Он назначил танцевать в дивертисмент тех воспитанниц, которых государь любил видеть. Государь, точно, приехал в театр, но к последнему акту драмы. В то время за кулисами уже происходила история. Вера Васильевна сидела в уборной и не надевала старого лифа. Антракт затянулся. Государь послал узнать, почему не поднимают занавес. Гедеонов явился в ложу государя и доложил, что Самойлова не хочет одеваться, потому что ей не сделали нового бархатного платья, что она предъявляет такие невероятные требования по своему гардеробу, которые влекут страшные расходы.

— Скажи, что я приказываю ей выйти на сцену, — ответил государь.

Гедеонов, торжествуя, передал волю государя Самойловой. Конечно, она поспешила выйти на сцену. Если бы она знала, что государь приехал в театр, то, разумеется, не стала бы входить в препирательства с Гедеоновым.

После этого спектакля она сама не захотела возобновить условия с дирекцией и, покинув сцену, вышла замуж[7].

Смерть отца Самойловых была очень трагическая. В 1839 году он поехал с приятелями на лодке под парусами на петергофский праздник. Железных дорог тогда не было, не знаю, ходили ли тогда частные пароходы из Петербурга в Петергоф. Все желающие посмотреть

иллюминацию в Петергофе отправлялись в экипажах или на лодках. В шесть часов вечера неожиданно разыгралась страшная буря; много лодок погибло на взморье и в том числе лодка со стариком Самойловым[8].

От Александринского театра к Чернышову мосту строился ряд домов, в которых должна была поместиться вся административная часть театра, театральная школа и квартиры артистам. Первоначальный фасад домов предполагался по плану Пале-Рояля в Париже. С двух сторон шли арки, а в глубине их должны были находиться помещения для кофейных и для магазинов. Государь изменил план, находя близкое соседство магазинов и кофейных со школой невозможным. Арки заделали и превратили их в жилые комнаты, в которых устроили гардеробную и разные другие помещения; над арками поместили воспитанников, а в верхнем этаже — воспитанниц. Во дворе выстроены были большие флигели для квартир артистов. Но в это время театральные чиновники так размножились, что заняли лучшие квартиры, а для артистов остались маленькие квартиры, да и то, чтобы получить артисту или артистке квартиру, надо было иметь покровительство какого-нибудь чиновника. Отец переехал на частную квартиру.

Власть свою чиновники распространили на все; в театральной школе не оказывалось вакансий для детей бедных артистов, потому что чиновники их замещали детьми своих знакомых и тех артистов, которые делали им подарки. Чтобы дать место в школе своим протеже, чиновники придумали перед приемом детей исключать за бездарность уже взрослых воспитанников и воспитанниц, пробывших в школе несколько лет. Эти исключения были нововведением. По прежним театральным правилам, воспитанники при выпуске, если оказывались бездарными, назначались в статисты или поступали в хоры. Но и в хорах было набрано с воли множество народу. Были такие хористки, которые ни слова не знали по-русски, не понимали нот и не имели никакого голоса, а на сцене только разевали рот.

Так как к нам часто ходили играть в карты чиновники, имевшие власть, то я слышала от них, какие жертвы ими намечены для исключения. В числе этих жертв попался и воспитанник Мартынов, которому оставался

еще год до выпуска. Мне его было очень жаль; я знала, что за него некому было заступиться [9].

Программа наук в школе была хорошая, но учение было плохое, так что исключенный воспитанник не мог себе найти заработка. Других театров, кроме императорских, тогда не допускалось.

Мне потому было жаль Мартынова, что он очень меня смешил, когда я стояла за кулисами во время спектакля, а он, находясь в той же кулисе с своими товарищами, передразнивал всех артистов, которые в это время говорили на сцене: Толченова, Каратыгина, моего отца и др. Иногда Мартынов вдруг придавал своему лицу такое комическое выражение, что его товарищи бежали из-за кулисы, будучи не в силах удерживаться от смеха. Мартынов был худенький, небольшого роста, с светло-белокурыми волосами и слегка вздернутым носиком.

Наступила масленица — страда артистов. Спектакли шли утром и вечером. Водевиль в двух актах «Филатка и Мирошка» делал большие сборы; по масленичному недельному репертуару его назначили давать под конец спектакля утром и вечером. Сюжет его был из народного быта: дурачок Филатка идет в солдаты за своего брата; сначала он очень трусит, но потом храбрится. Роль Филатки всегда играл Воротников, публика его очень любила и была снисходительна к нему, когда он зачастую в последнее время выходил на сцену, едва держась на ногах.

На первых днях масленицы государь Николай Павлович привез на утренний спектакль своих детей. Государь сидел в боковой царской ложе, и я стояла за кулисами против царской ложи. Только что начали последний акт пьесы, после которой должен был пойти «Филатка и Мирошка». Вдруг сделалась суета за кулисами, все передавали что-то друг другу, чиновники бегали с потерянным видом. Оказалось, что Воротников не явился еще в театр. После розысков по трактирам его привезли в театр, но в бесчувственном состоянии. Окачивали его холодной водой, но он не отрезвлялся. Надо было доложить директору. Я как раз стояла у кулисы, где из ложи директора устроен выход на сцену. Гедеонов прибежал впопыхах и жалобно произносил:

— Зарезали, злодеи! Не могли позаботиться заранее, все ли в сборе к последней пьесе. Я вас всех! Господи, что мне делать?

Все это Гедеонов говорил вполголоса, потому что на сцене шла пьеса.

— Я знаю роль Филатки... позвольте, я сыграю! — неожиданно для всех сказал Мартынов, подойдя к директору, который сначала шепотом выругал его «дурак», но потом, как бы вспомнив с ужасом, что «Филатка и Мирошка» не может идти, приказал Мартынову отправиться за собой в фойе, чтобы посмотреть — может ли он хотя коекак сыграть Филатку. Из фойе директор вышел веселый и сказал подчиненным, которые за ним следовали:

— Может сыграть! Вот счастье! Что бы было без него!.. Одевайте его скорей.

Когда занавесь опустилась, Мартынов уже был на сцене, в пестрядинной рубахе, в лаптях и в белобрысом трепаном парике. Все с изумлением глядели на смельчака. Анонс сделали при поднятии занавеса. Мне было страшно за Мартынова, но я успокоилась, когда он начал играть. Он был так естественно комичен, изображая дураковатого парня, что царские дети заливались смехом. Государь тоже улыбался. За кулисами была тишина, все напряженно следили за импровизованным дебютантом. Когда окончилась пьеса, то из царской ложи раздались детские голоса: «Мартынова, Мартынова!» Публика также кричала: «Мартынова!» [10]

Успех дебютанта был полнейший, и Мартынов всю масленицу играл Филатку, потому что Воротников слег в постель, вероятно простудившись от усердного окачивания холодной водой, когда его старались отрезвить. Болезнь Воротникова спасла Мартынова от исключения из театральной школы. Но чиновники все-таки считали себя компетентными судьями и назначили Мартынову при выпуске самое грошовое жалованье, как бездарному артисту [11], и не давали ему хороших ролей, выпуская его на сцену только на выходных ролях. Но после смерти Воротникова [12] не было комика, и поневоле пришлось заменить его Мартыновым. С ним поступали безбожно, заставляя его играть без отдыха зараз в трех водевилях, а иногда он скакал из Александринского театра в Большой, чтобы сыграть в четвертом. Жалованья ему не прибавляли; он получал вчетверо менее, чем какая-нибудь бездарная актриса.

Мартынов очень скоро сделался любимцем публики, она всегда встречала его аплодисментами, что́ вызывало зависть к нему за кулисами. Я видела раз, как государь

громко смеялся, смотря какой-то водевиль, где играл Мартынов; это очень редко случалось с государем.

Мартынов долго бедствовал, особенно когда сделался семейным человеком. Он неспособен был, как другие актеры, заискивать расположение богатых театралов-купцов, которые давали денежные вспомоществования актерам. Некоторые артисты даже умели выпрашивать у них себе деньги на покупку дома. Имеющие власть чиновники покровительствовали тем артистам, которые в их именины и в Новый год подносили им ценные подарки. В эти дни на квартиру такого чиновника, с черной и парадной лестницы, являлось множество поздравителей с приношениями. Мартынову из своего маленького жалованья трудно было делать подарки тем, от кого зависела прибавка жалованья. Только под конец его 25-летней службы уравняли его жалованье с товарищами, да и то дали ему менее разовых, хотя он, играя в один вечер в трех пьесах, получал менее, чем другой артист получал разовых за одну им сыгранную роль в водевиле. Эти разовые придуманы были директором для того, чтобы не увеличивать жалованья, которое назначалось артисту не свыше 4000 ассигнациями в год: это жалованье шло потом в пенсию за 25 лет службы на театре. Гедеонов накинул еще два года до получения пенсии; эти два года назывались «благодарностью». Бенефиса Мартынову тоже долго не давали, тогда как многие товарищи уже получили его.

Здоровье Мартынова очень расстроилось в последние годы, да и как было не расстроиться ему, когда он проводил целые дни в театре: утром на репетиции, а вечером в спектакле. Летом играл в Петергофском или Каменноостровском театрах.

Комедии Островского дали возможность Мартынову показать, насколько он был талантливый артист, потому что, играя в пустых водевилях, он не мог вполне выказать свой талант [13].

Я была на первом представлении «Грозы» Островского [14]. Мартынов так сыграл свою роль, что дух замирал от каждого его слова в последней сцене, когда он бросился к трупу своей жены, вытащенной из воды. Все зрители были потрясены его игрой. В «Грозе» Мартынов показал, что обладает также замечательным трагическим талантом. В конце мая месяца 1860 года Мартынов взял отпуск на лето, чтобы ехать лечиться на юг, потому что

у него стала быстро развиваться чахотка. Островский отправлялся вместе с ним. Мартынов приехал проститься к Панаеву и долго просидел у нас. Он возлагал большие надежды на поправление своего здоровья от отдыха и южного климата, но его худоба, кашель и зловещий румянец на щеках пугали меня.

— Мне необходим отдых! — говорил он. — Вы не можете себе представить, до чего я устал; мне теперь очень трудно выучить роль, тогда как прежде, бывало, прочитаешь раза два свою роль — и готово! Притупил совершенно свою память в продолжение двух десятков лет заучиваньем массы глупейших ролей. Я дошел в последнее время до того, что начну играть на сцене, и вдруг чувствую, что у меня в голове перепутались роли, я начинаю импровизировать, и только благодаря хорошему суфлеру, который подавал реплики, я не сбивал других, и дело сходило с рук.

Надо заметить, что чиновники знали отлично, почему Мартынов сбивался на сцене в своей роли, но распускали слух, что он постоянно в пьяном виде выходил на сцену.

— Из-за меня ни разу не было перемен спектакля, — рассказывал Мартынов, — а зачастую приедешь вечером в театр, оказывается перемена спектакля по болезни кого-нибудь, и тебя заставляют играть в пьесе, которая давно не была на репертуаре. Почему-то я постоянно был не в милости у начальства. Все оскорбления, какие я перенес от него, может вынести только человек, испытавший их со школьной скамейки. Раз мне нездоровилось, я послал сказать, что не могу играть вечером, так мне преподнесли такого рода приказание: чтобы я отрезвился и был бы в театре вечером, а иначе у меня сделают вычет из жалованья за два месяца. Нечего делать — играл, нельзя же заставить голодать свое семейство два месяца! Или вот проделал Гедеонов со мной такого рода штуку. Приехали мы в Петергоф играть, подали обед всем артистам во дворце. Выходит директор и отдает приказание придворным лакеям, чтобы мне не давали вина за обедом, а дали бы только за ужином.

При этих словах яркий румянец вспыхнул на щеках у Мартынова, он закашлялся и опять продолжал, обращаясь ко мне:

— Вы хотя были девочкой, но, вероятно, помните, что чиновники прежде не имели такой власти над артистами... Осталось предание при театре, как ваш отец, в

своей молодости, хотел проучить директора Тюфякина, который вздумал разговаривать с ним на «ты». Тюфякин спрятался в ложе, когда ваш отец побежал за ним. Как только ваш отец заявил, что он оставляет сцену, то несколько артистов тоже объявили, что не желают оставаться при таком директоре. Тюфякин при всех артистах извинился перед вашим отцом и сделался вежлив. А теперь! Артисты только и думают о том, как бы подслужиться чиновникам, и если видят, что они кого-нибудь невзлюбили, так в угоду им наплетут всякую всячину на своего товарища. Если такие порядки будут продолжаться при театре, то русская сцена придет в упадок. Даровитые артисты долго на ней не прослужат — сбегут!.. Я теперь жить не могу без сцены, а прежде бывали минуты, что приходила в голову мысль: уйти со сцены не могу, обязан быть на ней 25 лет, не наложить ли уж руки на себя?.. Если бы был одинок, право, порешил бы с собой! Не труд расстроил мое здоровье, а попирание моего человеческого достоинства. Ведь эти теперешние чиновники при театре — просто нашествие татар.

Мартынов сильно был взволнован. Под конец он печально улыбнулся и произнес:

— Что это со мной сделалось? Столько лет виду не показывал никому, как я страдаю, а тут все выболтал!

Желая как-нибудь развлечь Мартынова, я напомнила ему о его первом дебюте в «Филатке и Мирошке».

Он, улыбаясь, произнес:

— Это была единственная благодарность, полученная мною в долголетнюю мою службу от директора.

Двадцать восьмого августа того же года получено было моим мужем из Москвы от Островского следующее письмо:

«Горе, любезнейший Иван Иванович, большое горе — нашего Мартынова не стало. Он умер в Харькове * на моих руках [15]. Без страдания, угасая день за днем, он скончался, как ребенок, не сознавая даже своего положения. Я только вчера приехал в Москву разбитый, усталый. Я вам напишу подробно в виде письма о его болезни ** в продолжение четырех месяцев его жизни, дайте мне только немного опомниться. С Мартыновым я

---

* Мартынов возвращался из Крыма в С.-Петербург. *(Прим. автора.)*

** Чтобы напечатать в «Современнике». *(Прим. автора.)*

потерял все на петербургской сцене. Теперь не знаю, когда буду в Петербурге, мне как-то не хочется туда ехать. Пиеску я выправил и посылаю вам, сделайте милость, прикажите получше просмотреть корректуру [16]. В Крыму я кой-что приготовил, а теперь засяду за работу. «Сон на Волге» постараюсь окончить поскорее [17]. До свидания.

Преданный вам *А. Островский*».

Еще до получения письма от Островского печальная весть о смерти Мартынова уже разнеслась по Петербургу.

В день прибытия тела Мартынова по Московской железной дороге собралась на площади у дебаркадера такая толпа народу, что, как говорится, негде было упасть яблоку. На протяжении всего Невского проспекта такая же сплошная масса ждала похоронной процессии. Движение экипажей было приостановлено, сама публика позаботилась не пропускать экипажей с боковых улиц, чтобы не давили народ. Полиция застигнута была врасплох, да она и не была нужна, потому что порядок везде был удивительный, с таким тактом и приличием держала себя публика [18].

Замечательно, что никаких приготовлений для встречи тела Мартынова не было, только появилось в двух или трех газетах извещение, что тогда-то гроб с телом Мартынова прибудет на Московский вокзал и последует на кладбище. Не было выбрано распорядителей. Не было подписок на венки, не устраивалось никаких депутаций, не раздавалось билетов для входа в кладбищенскую церковь. А торжественнее этих похорон трудно что-нибудь себе вообразить. В церкви было очень мало русских артистов, но зато очень много из французской и немецкой трупп, а театральные чиновники и начальство совсем не удостоили явиться на похороны Мартынова.

Много было толков о небывалых похоронах Мартынова. Некоторые даже как бы обиделись, что публика оказала ему такой почет. Я слышала, как одно значительное лицо негодовало. «Скажите пожалуйста, — говорило оно, — гроб актера везут, и нет проезда по Невскому!.. Такого беспорядка не должна была допустить полиция! Если видит, что не может сладить с толпой, требуй казаков, чтобы нагайками разогнали дураков!»

Русская сцена чуть было не лишилась в то же время еще талантливой актрисы Линской. Компетентные

судьи-чиновники также нашли ее бездарной, но мой отец защитил ее. Конечно, будь Линская смазливая личиком, то у нее нашелся бы покровитель из чиновников; но она была некрасива: маленького роста, дурно сложена, причем в ее фигуре особенно поражали коротенькие руки. Комический талант Линской был большой, она постоянно играла с Мартыновым. В «Грозе» Островского Линская показала, что может играть хорошо не одни комические роли [19].

Я привела только два примера того, как чуть было не лишилась русская сцена двух таких замечательных талантов, как Мартынов и Линская. Но кто знает, может быть, еще были такие же таланты, забракованные тогдашними ценителями сценического искусства, которые доказали свою специальность в совершенно другой отрасли искусства: наживать себе капитал при театре.

Я уже упоминала о писце Крутицком, который в моем детстве ходил босой, но, продолжая свою службу при театре, нажил себе два домика и дачу; его жена ходила в соболях и бархате; он задавал пиры с разливным морем шампанского. Все почти тогдашние чиновники при театре из предосторожности покупали дома и имения на имя своих жен и клали в банк свои капиталы. Для управляющего конторой Киреева эта предосторожность имела очень печальный конец. Киреев высмотрел себе одну очень красивую воспитанницу, немку, попавшую в школу по покровительству чиновников. При выпуске этой бездарной, но красивой воспитаннице было назначено хорошее жалованье и дана казенная квартира. Он думал, что такой награды за ее расположение к нему довольно за глаза, но ее мать, немка, не принадлежавшая к театру, была опытная и ловкая женщина; она, через несколько месяцев сожительства своей дочери с управляющим конторой, потребовала, чтобы он женился на ней, иначе грозила подать жалобу, что он еще в школе совратил ее дочь. Нечего делать, чиновник увидел, что нашла коса на камень, и женился; однако он был очень доволен своим супружеством и всем проповедовал, что для счастья семейной жизни главное — нужно выбрать себе жену глупенькую. Точно, его жена не отличалась умом. Прожил Киреев несколько лет с женой в мире и согласии, несмотря на неравенство лет. Он женился лет 40, а ей было всего 17. Как ни изощрялся управляющий

конторой театра представлять отчеты расходов, однако назначена была строгая ревизия его долголетнему управлению, и с ним сделался паралич[20]. Человеколюбивая ревизия оставила в покое несчастного, а жена отвезла его в имение, купленное на ее имя, оставила больного мужа одного, назначив ему самое скромное содержание, а сама поселилась в Петербурге, чтобы наслаждаться жизнью.

Мне пришлось изучить до тонкости жизнь воспитанниц театральной школы. Хотя я ее и так хорошо знала с самого раннего детства, слыша и видя, что там делается, но тут я более года должна была каждый день целое утро находиться в школе. Поневоле изучила дух школы и все порядки в ней.

По милости Дидло меня стали готовить в танцовщицы, что привело меня в отчаяние. Я почему-то питала отвращение к одному названию «танцовщица». Я очень охотно стала бы готовиться в певицы, в драматические актрисы, но только не в танцовщицы. Явно я не смела протестовать, раз мать захотела сделать меня танцовщицей, но решила, что не буду солисткой. В сущности, по моим годам (мне было уже 12 лет) поздно было начинать готовиться в танцовщицы; но Дидло, видя, как я передразниваю танцовщиц, находил, что для меня легко будет достичь премудрости танцевального классического искусства.

Меня и младшего брата посылали каждое утро учиться к танцору Шелехову, ученику старика Дидло. Шелехов, женатый человек, был очень занят, танцуя на сцене и давая частные уроки танцев. Видно было, что ему не до нас, и он зачастую только заглядывал в зало, где мы упражнялись. Заслышав его шаги, мы отбегали от окна, в которое смотрели, хватались за стулья и шаркали ногами по полу. Учитель успокаивался, воображая, что мы работаем. Понятно, что успехов я никаких не сделала в продолжение двух лет.

Декоратор Роллер почему-то особенно взлюбил меня. Когда я была еще маленькой девочкой, он очень интересовался моими успехами в танцах; он-то и был причиной, что я стала учиться в школе по приказанию министра двора князя Волконского. Балетмейстеру Титюсу велено было меня готовить для сцены. Прежде в театральной школе не было приходящих учениц, и только для меня

и брата сделано было исключение. Роллеру непременно захотелось поставить меня в живые картины. Для поправления сборов в посту стали давать концерты с живыми картинами. Эта новость привлекала много публики в театр. Директор приказал всем артистам участвовать в живых картинах, а если кто не явится, то распорядился высчитывать месячное жалованье.

Когда отцу прислали бумагу из конторы с этим приказанием, то он отказался расписаться, что читал ее, несмотря на уверения чиновника, что его не будут тревожить.

— Не подпишу! — твердил отец. — Сегодня вы выдумаете показывать меня в живых картинах, а завтра пришлете бумагу, чтобы я надел трико и танцевал в балете. Так и скажите Александру Михайловичу (Гедеонову), что таких глупых бумаг не буду подписывать.

В. А. Каратыгин последовал примеру отца. Только они двое и были освобождены от живых картин. Директор сначала покипятился за ослушание его воли, но скоро успокоился.

Все артисты роптали, особенно бедные хористки, которые лишены были отдыха в посту.

Роллер выпросил позволение у матери поставить меня в живые картины и очень был доволен, получив от нее разрешение. Я должна была изображать девочку-цыганку с цветком в руке, на который я смотрела, улыбаясь. Роллер сам придумал мне костюм и прическу. Когда я стояла в своей раме перед поднятием занавеси, Роллер в сопровождении министра двора подошел ко мне.

Я знала князя Волконского в лицо, когда еще мне было лет семь. Я его видела на нашей лестнице; он приезжал к актрисе Азаревич, жившей против нас. Я всегда знала, когда должен приехать князь Волконский, потому что дворник тщательно мел двор, а лестницы посыпал песком. Как только въезжала карета во двор, я выбегала в сени, чтобы посмотреть на важного гостя Азаревич. Он всегда приезжал часов в десять утра.

Подойдя ко мне, князь Волконский спросил, сколько мне лет, у кого я учусь танцевать, и закончил словами: «Скорей поступайте на сцену, вас будет учить Титюс». Немецкое добродушное лицо Роллера сияло радостью, а я едва удерживала слезы от досады на Роллера, и когда он вернулся, чтобы усадить меня, то я накинулась на него, зачем он приводил министра смотреть на меня, и объявила ему, что никогда не буду солисткой, хотя бы

меня учили пять Титюсов. Роллер упрашивал меня успокоиться, потому что сейчас будет очередь моей картины.

Я ощутила странное чувство, когда раздались аплодисменты. Публика два раза требовала повторения моей картины. Роллер был ужасно доволен.

На третий же день меня с братом отправили в театральную школу. Многие воспитанницы знали меня, но все-таки обступили и стали расспрашивать, каким образом я попала в школу. Узнав, что я тоже буду ходить в классы на уроки, они заявили мне, чтобы я подчинилась их установленным правилам: «никогда не отвечать уроков учителям». Но когда я заметила, что учителя могут пожаловаться на меня, они уверяли, что не посмеют! Я была поражена, как взрослые воспитанницы обходятся с учителями. Если учитель их спрашивал урок, то они все только восклицали: *«Да, страсти, девицы!»* — и отворачивались с презрением от него. Если же он настаивал, то ему все разом восклицали: *«Да, девицы! — несчастный!..»* — и потом прибавляли: «Мы ваших уроков не учили и не будем учить». Учитель пожимал плечами, развлекал учениц посторонним разговором, чтобы только они не разбежались из класса.

Ко мне, как к новенькой, учителя попробовали было обратиться с вопросами, но воспитанницы хором заявили, что я также не готовила уроков.

В младших классах, по примеру старших, также не учили уроков, отговариваясь тем, что не было времени. Впрочем, иногда точно им не было времени учиться: утром их возили на репетицию балета, а вечером в спектакль, откуда они возвращались в час ночи. Взрослые воспитанницы-танцовщицы совсем не ходили в классы.

Я приводила Титюса в совершенное отчаяние, потому что изображала из себя самую неуклюжую фигуру, когда он заставлял меня упражняться перед собой. Я притворялась, что у меня дрожат ноги. Титюс был уже пожилой, довольно полный господин, с большими бледноголубоватыми сонными глазами, но эти глаза гневно блестели, смотря на меня, и он восклицал по-французски: «Что я могу сделать с этим бревном?» В самом деле, положение Титюса было очень неприятное: ему было приказано от высшего начальства как можно скорее выпустить меня на сцену, а я представлялась никуда не годной для танцев.

Приехала в Петербург знаменитая балерина Тальони с своим отцом, маленьким старичком[21], и являлась с ним в школу упражняться. Директор и другие чиновники очень ухаживали за обоими иностранцами; им подавался в школе отличный завтрак.

Тальони днем была очень некрасива, худенькая-прехуденькая, с маленьким желтым лицом в мелких морщинках. Я краснела за воспитанниц, которые после танцев окружали Тальони и, придавая своему голосу умиленное выражение, говорили ей: «Какая ты рожа! какая ты сморщенная!»

Тальони, воображая, что они говорят ей комплименты, кивала им с улыбкой головой и отвечала:

— Merci, mes enfants!*

Тальони сделала мне большую неприятность. Раз Титюс не пришел в класс, и никто не упражнялся без него. Воспитанницы стали упрашивать меня представить им Тальони, которую я очень удачно передразнивала. Все воспитанницы знали, что я нарочно корчу из себя неуклюжую фигуру перед Титюсом, и очень были довольны, что я его злю в классе. Для их потехи я стала ходить по зале на носках, делала антраша и, как Тальони, стояла долго на одной ноге, а другую держала высоко и вдруг, встав на носок, делала пируэт; потом оправляла платье, как Тальони после танца, и раскланивалась с мнимой публикой.

— Сапристи! — вдруг раздался в дверях голос Титюса, которого никто не заметил и который, как оказалось, видел мое представление. Я, конечно, страшно перепугалась. Титюс грозно подошел ко мне и то по-французски, то на ломаном русском языке стал меня бранить:

— Ноги у нее дрожат, горбится, носки, как тряпки, когда в классе! А оказывается, что у нее стальной носок. Хорошо же, я пожалуюсь на вас.

И точно, Титюс пожаловался моей матери, и мне страшно досталось за мою проделку. Меня в наказание заставили упражняться еще по вечерам дома. Но я хитрила и вместо упражнения читала книги, которые были в спальне матери. Я прочитала Марлинского, Р. Зотова, а чтобы показать вид, будто упражнялась в танцах до поту лица, смачивала передние волосы водой и растирала руками докрасна себе щеки.

---

* Благодарю вас, дети! *(франц.)*

Я стала допекать Титюса другим способом. Притворялась, что у меня нет уха, и никак не попадала в такт, когда он заставлял меня делать какое-нибудь па под скрипку.

Брат кончал свои уроки в отделении воспитанников позже часом, и я ждала его, сидя в дортуаре. Это был час обеда воспитанниц, и дортуар был пустой, оставались только я и Андреянова; в это время всегда являлся к ней директор; их тихого разговора я не могла слышать, потому что сидела совершенно в другом конце огромного дортуара, да и садилась на скамейку между кроватями, так что меня не было видно. Андреянова иногда кричала на Гедеонова, выгоняла его вон и даже раз пустила в него танцевальным башмаком. Меня удивляла смелость Андреяновой, но в то же время мне было приятно видеть, как гроза всех артистов смиренно повиновался ее приказанию.

Андреянова обедала отдельно от других воспитанниц: Гедеонов присылал к ней обед от себя с дорогим вином. Через несколько времени и Смирновой стали давать такой же обед, чтобы прекратить толки при театре о привилегии Андреяновой.

Окна в дортуаре были громадные, все меры были приняты, чтобы воспитанницы не могли смотреть в них на своих обожателей, катавшихся по целым часам мимо школы. Окна были очень высоко от полу, а подоконники так узки, что едва можно было поставить ноги; три стекла были закрашены белой масляной краской, только самое верхнее стекло оставалось чистым. Воспитанницы ухитрялись все-таки взбираться на окна и выскоблили в краске два кружка для глаз и смотрели на проезжающих. Только и были слышны восклицания: «Да, девицы, счастливая! мой сегодня на вороных!», «Да, девицы, несчастная! мой в одиночку сегодня!», «Девицы, ай страсти, опять штафирка едет: урод!»

Пока воспитанницы смотрели в окна, в дверях дежурила одна из товарок, обожатель которой в этот день не катался. Она тотчас извещала, если в коридоре появлялся инспектор. Все соскакивали с окон, восклицая: «Девицы, да, страсти!», или: «Да, девицы, черт противный!».

Гедеонов всячески оберегал Андреянову. Он приказал инспектору школы находиться в дортуаре в те часы, когда происходили катания офицеров мимо школы. Но инспектор часто манкировал своей обязанностью, потому что любезничал сам с одной воспитанницей в классной комнате.

Гедеоновым был отдан приказ, чтобы у родственников, приходивших по праздникам навещать воспитанниц, осматривали корзины и свертки, в которых они всегда приносили пироги и другие лакомства, потому что обожатели, пользуясь случаем, пересылали своим «предметам» записочки и разные вещи. Несмотря на это, контрабанда была развита в сильной степени.

Я знала все знаки, которыми переговаривались воспитанницы-танцовщицы со сцены с своими поклонниками, сидевшими в первых рядах кресел. Если проведет пальцем по губам, означает, что желает конфет или фруктов; возьмется за ухо — желает серьги; за руку — браслета. Если же возьмется обеими руками за голову, как бы поправляя прическу, то, значит, была головомойка за разговоры с обожателем на сцене. Множество было и других знаков, но я их уже забыла.

Андреянова могла бы делать много неприятностей своим товаркам, зная все уловки, каким образом они получали от своих обожателей лакомства и подарки, но она никогда не выдавала их.

За кулисами всем было известно, что Андреянова пользуется особенным расположением Гедеонова, а потому все были очень любезны с ней, особенно театральные чиновники.

Выйдя из школы, Андреянова не воспользовалась своим могуществом и никого не притесняла.

Не то было, когда впоследствии французская актриса Мила́ заняла место Андреяновой[22]. Тогда все театральные чиновники должны были раскошеливаться на дорогие подарки для нее на Новый год. Мила́ сделалась полновластным лицом в театре, ангажементы французской, немецкой труппы зависели от нее, назначение бенефисов также. Если нужно было кому-нибудь из артистов ее покровительство, то все знали, что с пустыми руками нечего и идти к ней.

Мила́ поступила сначала на французскую сцену на скромное жалованье и играла маленькие роли в водевильчиках. Она была очень красивая и талантливая актриса. Как только она получила власть, то выписала свою сестру, некрасивую и бездарную актрису, но которой назначено было хорошее жалованье и бенефис.

Прежде французский репертуар состоял исключительно из серьезных комедий и драм, а теперь они заменились трехактными водевилями для Мила́, которая выжила со сцены Аллан, мужа и жену, за то, что они не хотели искать ее покровительства.

Раз Мила́ захотелось иметь маленькую болоночку. Все чиновники сбились с ног, ища, где бы купить такую собачку. Управляющий конторой нарочно послал за границу своего подчиненного, чтобы там купить крошечную болоночку, и за это поднесение ему было оказано особое покровительство. Мила́ жила роскошно; на счет конторы ей выписывали из Парижа мебель, наряды, белье. Она требовала из конторы куски бархату и других материй. Мила́ скопила себе хорошее состояние, у нее было много бриллиантов, и она выручила хорошие деньги, распродав дорогую обстановку своей квартиры при отъезде из Петербурга. Как только Гедеонов вышел в отставку, она стала третировать его, как лакея.

Профессора пения Кавоса в школе я знала с раннего детства. До него, кажется, считали невозможным ставить серьезные оперы с русскими певцами; все были такого убеждения, что у русских не может быть больших голосов и нет вовсе музыкальных способностей. В Петербурге тогда была единственная школа пения в театральном училище; оттуда выходили певцы и певицы для маленьких опер. Но ларчик просто открывался: не было хорошего профессора пения, и Кавос это блистательно доказал. В одном выпуске он дал двух певиц с большими голосами: Степанову и Воробьеву; у последней был такой замечательный контр-альт, что если бы она была иностранка, то сделалась бы европейской знаменитостью [23] и нажила бы себе богатство.

Кавос начал ставить большие оперы с русскими певцами. Публика охотно слушала их. Но, к несчастью, Воробьева недолго пела на сцене, она потеряла голос по следующему обстоятельству: на репетиции Воробьева почувствовала неловкость в горле и заявила, что не может петь вечером в «Семирамиде». Но Гедеонов раскричался на нее:

— Ты воображаешь, что я для тебя стану делать перемену спектакля? Изволь петь.

Гедеонов всем артистам говорил «ты», исключая моего отца, вероятно, зная его историю с Тюфякиным.

Воробьева расплакалась и пела вполголоса на репетиции. Приехав вечером в театр, она чувствовала себя

хуже и просила хоть сделать анонс, чтобы публика была снисходительна к ней. Гедеонов снова раскричался и погрозился, что на неделю засадит ее в бутафорскую и сделает вычет из жалованья. Артисток никогда не сажали в бутафорскую, но для Гедеонова закона не существовало.

— Я проучу всех, кто у меня вздумает капризничать! Смотри, не важничай у меня, я тебя вышколю! — грозя пальцем у лица Воробьевой, говорил Гедеонов перед поднятием занавеса.

Воробьева выдержала всю оперу и пела так, что публика пришла в восторг и аплодировала ей без конца.

Гедеонов в антракте продолжал допекать Воробьеву:

— Что, не могла петь? Я тебя, голубушка, отучу ломаться передо мной!

На другое утро Воробьева не могла взять ни одной ноты, и голос у нее пропал навсегда [24].

Воробьева была тогда уже замужем за певцом Петровым.

Отец мой проходил со Степановой роль, когда она первый год по выпуске должна была играть графиню в оперетке «Водовоз». Кажется, что так называлась эта маленькая опера [25]. Сюжет ее состоял в том, что фея, покровительница одного графа, исправляет его капризную жену, превращая ее на несколько часов в жену водовоза, который бьет ее плеткой за неповиновение. Степанова никак не могла естественно вскрикнуть, когда водовоз должен ее ударить. Отец бился с ней долго. Тогда он приготовил заранее арапник и, когда дело дошло до момента, что графине надо вскрикнуть, неожиданно ударил Степанову арапником. Степанова на этот раз очень натурально вскрикнула. Она расплакалась, а отец, улыбаясь, ей сказал:

— Заживет! зато ты теперь знаешь, как надо на сцене вскрикивать от боли!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бахтурин. — Кукольник. — Дурова. — Верстовский. — Глинка. — Щепкин. — Знакомство с Белинским. — Аксаковы. — Гоголь.

Выбор пьесы для бенефиса всегда очень озабочивает артистов, и обыкновенно хлопоты начинаются за три месяца.

Был писатель-драматург Бахтурин, которому многие артисты заказывали пьесы для своего бенефиса [1]. Мать

моя тоже заказала Бахтурину драму для своего бенефиса. Он был мастер составлять эффектные афиши, — в его пьесах всегда было много действий с разными названиями. Бахтурин взял вперед деньги, но запил и ничего не писал. Тогда моя мать поступила с ним очень энергично. Она пригласила его обедать и заарестовала у себя. От Бахтурина были отобраны сапоги, сюртук; ему дали халат и туфли отца и заперли в кабинет, посылая для вдохновения утром и вечером по большому графину настойки. Бахтурин в несколько дней написал драму и был освобожден из-под ареста.

Меня очень интриговало, как это мать посадила под арест сочинителя и как он там сочиняет. Я выпросила у лакея графин с водкой, чтобы войти в кабинет.

Бахтурин был небольшого роста, с одутловатым лицом и всклокоченными, длинными, густыми каштановыми волосами.

Завидев меня с графином, он встал со стула и, потирая руки, сказал:

— Вот спасибо, умная девочка, что принесла графинчик. Меня ваша мамаша наказала... А вас наказывают?

— Да, только водки не дают! — отвечала я.

Бахтурин засмеялся и, налив рюмку водки, продолжал:

— Пью за ваше здоровье! Вырастете большой, и если вам придется тоже заказывать писать пьесы для вашего бенефиса, так вы не арестовывайте сочинителя, как ваша мамаша. Право, это нехорошо!.. Приносите мне всегда графинчик; я поболтаю с вами, это мне будет отдыхом, а то сиди один да все пиши.

Но мне не дозволили более носить графин Бахтурину и даже побранили лакея за то, что он исполнил мою глупую просьбу.

К отцу приезжал также Кукольник, когда ставили на сцену его трагедию «Рука всевышнего отечество спасла», кажется, в бенефис В. А. Каратыгина; впрочем, наверно не помню [2]. Наружность Кукольника была замечательно неуклюжа. Он был очень высокого роста, с узкими плечами, и держал голову нагнувши; лицо у него было длинное, узкое, с крупными неправильными чертами; глаза маленькие, с насупленными бровями; уши огромные, тем более бросавшиеся в глаза, что голова была слишком мала по его росту.

В первый год моего замужества он был у Панаева несколько раз вечером, вместе с своим братом, очень похожим на него, и с Брюлловым, знаменитым художником. Бывали и другие литераторы, но я их не помню. Я не присутствовала на этих вечерах, но, разливая чай в столовой, слышала, как ораторствовал Кукольник своим протяжным, громким голосом.

У Кукольника назначены были дни раз в неделю, и Панаев сначала посещал его, но потом перестал бывать. Панаев рассказывал, что на этих вечерах Кукольник за ужином, выпив вина, говорил: «Кукольник велик! Кукольника потомство оценит!» У Кукольника на этих вечерах было очень мало литераторов, собирался преимущественно чиновный люд, который преклонялся перед ним, считая его великим талантом [3].

Не могу сказать, как отец познакомился с девицей-кавалеристом Александровой (Дуровой) [4]. Она приехала к нему и пожелала видеть всех его детей. Мать привела ее в нашу комнату. Я знала, что она была на войне и ранена. Александрова уже была пожилая и поразила меня своей некрасивой наружностью. Она была среднего роста, худая, лицо земляного цвета, кожа рябоватая и в морщинах; форма лица длинная, черты некрасивые; она щурила глаза, и без того небольшие. Костюм ее был оригинальный: на ее плоской фигуре надет был черный суконный казакин с стоячим воротником и черная юбка. Волосы были коротко острижены и причесаны, как у мужчин. Манеры у нее были мужские; она села на диван, положив одну ногу на другую, уперла одну руку в колено, а в другой держала длинный чубук и покуривала.

Композитор Верстовский, когда приезжал в Петербург, бывал у нас. Он тогда был директором московского театра [5]. Репина, актриса московского театра, всегда приезжала вместе с Верстовским. Она считалась хорошей артисткой [6]. Оба они уже были пожилых лет [7]. Наружность Верстовского как-то стушевалась в моей памяти; помню одно, что в его наружности ничего не было особенного: росту он был среднего, сухощав, с зачесанными височками, и на лбу небольшой хохолок.

Я больше рассматривала Репину. Она была брюнетка, среднего роста, ни толста, ни худа. Черты лица некрупные, глаза черные или темные, но блестящие, зубы белые, и когда она улыбалась, то ее лицо делалось красивым.

Говорили, что Репина имеет большое значение в московском театре и что по ее милости дочь Щепкина не была принята на московскую сцену.

Но возвращаюсь назад. Отец был очень озабочен выбором пьесы для своего бенефиса и очень обрадовался, когда молодой литератор Иван Иванович Панаев привез ему свой перевод «Отелло» Шекспира [8]. Отец виноват в том, что над Панаевым впоследствии смеялись, что он, не зная английского языка, поставил на афише: «Отелло, перевод с английского». Панаев сказал отцу, что переводил с французского, но что его приятель, знающий хорошо английский язык, проверял с ним каждую фразу с английским текстом. На афише и был выставлен перевод с английского [9].

Отец не знал, кому дать роль Дездемоны. Молодые артистки того времени усвоили себе водевильную дикцию и манеры. Не могу сказать, сам ли отец надумал, или ему кто подал мысль, но он дал разучить роль Дездемоны старшей моей сестре [10] и, прослушав ее, решил, что она может сыграть эту роль. Отец много с ней занимался.

В. А. Каратыгин играл Отелло, отец — Яго, мать — его жену. Наружность сестры подходила к роли Дездемоны; она была очень красива, высокого роста, голос имела звучный, так что дебют сошел очень удачно [11]. Сестра была принята на сцену, но недолго оставалась, потому что вышла замуж [12].

Старшие мои сестры и тетки вели затворническую жизнь, всегда сидели в своей комнате, им не дозволялось входить в зало, когда по вечерам собирались гости. Отец и мать обедали с гостями отдельно. Этот порядок мать завела давно, как только дети стали подрастать. Но Глинка нарушил это затворничество. Панаев его познакомил с отцом. Глинка ставил свою оперу «Жизнь за царя» [13], и у нас устраивались спевки и репетиции; приезжали Петров, Воробьева, Леонов, Степанова, Панаев, младший сын Гедеонова (еще студент), камер-юнкер Хрущев, состоявший по особым поручениям у министра двора, автор либретто оперы барон Розен, не пропустивший ни разу этих собраний. Он упивался своими стихами и посматривал многозначительно на Панаева, как на литератора, который должен оценить его стихи. Розен преемственно приписывал успех оперы Глинки своим стихам [14].

Когда Глинка стоял возле барона Розена, то выходил сильный контраст. Глинка был маленького роста, смуглый, живой, с хохолком на лбу, а барон Розен — тип немца, высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение.

Глинка иногда посреди пения тенора Леонова с силой ударял по клавишам рояля, вскакивал со стула и начинал ходить по комнате, закинув голову и заложив пальцы за жилет. Поуспокоясь немного, он выпивал стакан красного вина, бутылка которого всегда стояла перед ним на рояли. После этих репетиций Глинка очень уставал. Я слышала, как он говорил отцу после ухода певцов, что его опера не может иметь успеха, только одна Воробьева споет роль Вани как следует.

— Это редкая певица, — говорил он, — такие голоса появляются на сцене веками. Надо ее беречь, как драгоценность! А она вот в дождь, в слякоть поехала домой на извозчике, ну, долго ли ей простудить горло! Дирекция ваша — олухи, такой певице надо было бы назначить большое жалованье, а не грошовое, чтоб она имела комфорт! Дураки!..

Глинка горячился, говоря это.

— Разве Петровым вы не довольны? — спросил отец.

— Чувства нет, голос деревянный!..[15] Степанова поет верно, и голос большой — огня нет! А уж кто провалит меня, так это Леонов. Где нужна сила голоса — а он сипит.

Однако успех «Жизни за царя» был блистательный.

В первые годы моего замужества, то есть в начале сороковых годов, Глинка как-то периодически бывал у нас: то зачастит ходить каждый день, то перестанет. У нас он сочинил романс «В крови горит огонь желанья». Мы сидели за вечерним чаем, было несколько человек гостей. Панаев любил читать стихи и прочел это стихотворение между другими стихами Пушкина. Глинка, расхаживавший по комнате, сел за фортепьяно и стал брать аккорды, что-то мурлыча про себя. Через несколько минут он сказал: «Панаев, замолчи!» — и пропел романс[16].

Голоса у Глинки совсем не было, но он пел мастерски и выразительно.

Глинка не мог обойтись без вина, и когда приходил, то требовал себе коньяку и попивал его рюмка за рюмкой вместо чая.

Раз Глинка приехал к нам вечером, поспешно поздоровался, сейчас же сел за фортепьяно и стал играть «Лезгинку» из «Руслана». Проиграв ее, он встал и сказал:

— Ехал к вам, не давал мне покоя этот мотив, так вот и звенит в ушах.

В 1844 году, в первую мою поездку за границу с мужем, в Париже мы встретились с Глинкой; [17] он приходил к нам по вечерам с несколькими общими знакомыми, русскими путешественниками, пить чай и, по русскому обыкновению, засиживался до двух и трех часов ночи. В Париже по окончании театра улицы делаются пустыми, в домах все жильцы ложатся спать и водворяется тишина; а у нас при уходе гостей всегда происходил шум, потому что Глинка, выпив, не мог идти сам по винтовой деревянной лестнице, сильно навощенной. Он сердился, зачем его ведут под руки с лестницы. В глубокой тишине гулко раздавались голоса. Двери у жильцов открывались, высовывались головы, повязанные пестрым фуляром или в белых колпаках, и в ужасе спрашивали: «Пожар в доме?», «Горит?» Их успокаивали, и головы исчезали с бранью.

Иногда я отказывалась давать много вина Глинке, но он приставал к Панаеву, который и исполнял его желание.

Глинка жалел, что в нашей парижской квартире не было фортепьян; ему часто приходила охота петь. Иногда он жаловался, что вдохновение его оставило.

— Бывало, покоя нет, так и звучат в ушах разные мелодии, а теперь только пустой шум гудит.

Глинка гораздо ранее нас уехал из Парижа [18].

Весной, в пятидесятом году, я поехала, по предписанию докторов, брать морские ванны [19]. В Варшаве я остановилась отдохнуть. Утром я поехала осматривать город; проводник из отеля, сопровождавший меня, привез меня в Саксонский сад, расположенный в центре города. В известные часы в Саксонском саду много гуляющих, и я встретила петербургского знакомого Голицына, которого более года не видала, хотя и знала, что он сделался варшавским жителем, но не нашла нужным извещать его о своем прибытии, так как на другой же день намеревалась уехать. После обычных расспросов Голицын сказал мне:

— Знаете ли вы, что Глинка здесь?

Голицын был большой поклонник Глинки, они вместе бывали у нас в Петербурге. Я знала о плохом состоянии здоровья Глинки и спросила о нем [20].

— Очень плохо! — с грустью ответил Голицын, — вы его не узнаете, так изменился он и физически и нравственно. Он наверно захочет вас видеть, когда узнает, что вы здесь.

— И я буду рада его повидать, — отвечала я, — пусть приезжает вечером, потому что я завтра уеду из Варшавы.

— Нет, вы должны остаться хоть еще на день, потому что я вас буду просить свести Глинку в театр посмотреть, как танцуют мазурку на варшавской сцене. Я его упрашивал, но он не хочет, а вам не откажет.

Я согласилась остаться еще на день, чтобы ехать в театр.

Вечером Голицын приехал ко мне с Глинкой. Я не могла скрыть своего удивления при виде Глинки: это был совершенно другой человек. Он казался полным, лицо его было одутловато и желто-синеватого цвета; взгляд апатичный, прически прежней не было, волосы лежали прямо, и вдобавок он отрастил себе усы. Прежней живости в его движениях не было и помину; он тяжело дышал, поднявшись в мой номер, тогда как нужно было сделать всего несколько ступенек; голос у него был глухой, сиповатый, и он уже не закидывал задорно своей головы.

— Что, я сильно изменился? — спросил Глинка меня. — Я очень обрадовался, узнав, что вы здесь, ведь до меня дошел слух, что вы уж скончались. Я очень жалел.

— Да, зимой я была опасно больна, но отдумала умирать, — смеясь, ответила я.

— И отлично сделали, скверно умирать, — сказал Глинка.

Я предложила ему красного вина. Глинка улыбнулся и заметил:

— По-старому думаете, что Глинка и вино неразлучны!.. Нет, спасибо, я теперь на стакан воды чуточку наливаю красного вина.

Подали самовар, я стала разливать чай. Глинка, до этого разговаривавший как-то вяло, как бы одушевился и сказал:

— Как вы мне напомнили прошлое, когда я пивал у вас чай, впрочем, вернее сказать — коньяк... А помните нашу встречу в Париже? как мы у вас засиживались до двух, трех часов... Вы часто хитрили, говоря, что нет больше вина, а оказывалось, что оно есть... И хорошо бы вы сделали, если бы не давали мне пить столько вина!.. На что я теперь похож!

Я поспешила переменить разговор и напомнила ему, как он ставил свою первую оперу и репетировал ее с певцами у моего отца.

— Как не помнить, тогда во мне жизнь била ключом, я тогда воображал, что десятки опер сочиню... Как только выздоровлю, запрусь в деревне и наверстаю потерянное время... Удивлю всех, мои оперы за оперой будут ставить на сцене... Только бы мне стряхнуть с себя эту мерзостную полноту.

Голицын завел разговор о театре в Варшаве. Я стала просить Глинку поехать со мной в театр, но он на это ответил:

— По правде вам сказать, меня теперь ничто не интересует.

Но я продолжала его упрашивать.

— Хорошо. Я поеду с вами, только с одним условием: вы несколько дней поживете в Варшаве, а я к вам вечером буду приезжать пить чай да вспоминать прошлое.

На другой день утром Голицын заехал ко мне на минутку известить, что он с Глинкой заедет за мной и мы вместе поедем в театр.

— Мазурку будут танцевать после драмы, — объявил он мне.

Я решила ехать попозже в спектакль, чтобы не утомить Глинку.

Глинка не заметил нашей хитрости, что мы за самоваром просидели довольно долго, стараясь развлечь его разговором.

Мы приехали к последнему акту драмы. Ложа наша была у самого края сцены, так что у нас только с одной стороны были соседи. Голицын сказал нам, что возле нашей ложи будет сидеть жена наместника с сыном. Я слышала, что она была сестра Грибоедова, и посматривала на нее, отыскивая в ней сходство с братом, но не нашла [21]. Княгиня Паскевич была рослая и полная женщина, пожилых лет, брюнетка, с резкими чертами и с надменным выражением лица. Ее сын, очень худенький, но

красивый юноша, казался еще тоньше перед матерью. Он был в офицерском мундире.

Я заметила, что из лож и из первых кресел партера зрители смотрят в бинокль на Глинку; но он этого не видел. Усевшись рядом со мной на первом месте, он положил руки на борт ложи и сонливо смотрел на всех.

Голицын разговаривал с нашими соседями. Глинка безучастно глядел на игру артистов и даже, как мне казалось, подремывал. Публика в партере преобладала военная, и в ложах сидело много русских дам.

Кончилась драма. Глинка, как бы обрадовавшись, спросил меня: «Домой едем?» Но я ему объявила, что непременно хочу видеть, как танцуют мазурку поляки.

— Вот деспотка! — заметил Глинка и опять принял свою прежнюю позу. Но при первых звуках оркестра, который заиграл мазурку из «Жизни за царя», Глинка встрепенулся, апатия его исчезла. Как только оркестр умолк, в первых рядах кресел все встали и, обратясь к нашей ложе, начали аплодировать.

Глинка сначала не понял, что ему делают овацию, и с удивлением вопросительно поглядел вокруг. Я поспешила встать и оставить его одного. Княгиня Паскевич, смотря на Глинку, слегка похлопала в ладоши. Глинка поклонился публике, тогда еще сильнее раздались аплодисменты; русские дамы в ложах последовали примеру княгини и тоже аплодировали.

Видя сияющее лицо Голицына, я догадалась, что все это устроил он; вот почему ему так и хотелось затащить Глинку в театр.

Голицыну было легко устроить овацию; он принадлежал к высшему кругу по своему титулу и по своему богатству и в Варшаве был свой человек в доме наместника, имел много знакомых между военными, и ему стоило только оповестить всех, что Глинка будет в театре и ему следует оказать приветствие от русских.

Непосвященные зрители остались в недоумении, что значат эти аплодисменты.

Когда начались танцы, Глинка мне сказал:

— Не стыдно вам делать заговоры против вашего старого знакомого?

Он не поверил, что я не была участницей в этом деле.

После мазурки аплодисменты были оглушительные, потому что и непосвященная публика аплодировала своему национальному танцу и требовала повторения. Глинка,

видимо, был утомлен, и мы вышли из ложи. Он молчал дорогой, может быть от слабости, и дремал. Ночь была очень темная, на неосвещенной театральной площади двигались как бы блуждающие огоньки. Голицын объяснил мне, что это — проводники с фонарями, которых нанимает пешеходная публика, возвращаясь из театра домой, потому что тогда варшавские улицы и переулки были так темны, что можно было поломать себе ноги. На площади у дворца, где жил наместник, пылали два большие костра, около них стояли и сидели казаки; оседланные лошади находились тут же недалеко от костра. Это был патруль, который целую ночь объезжал вокруг дворца. Когда меня подвезли к отелю, Глинка, прощаясь со мною, сказал:

— До завтра, заговорщица!

Но я более не видела Глинки. Он прихворнул, и доктор запретил ему выходить из дому несколько дней, а я уехала из Варшавы.

Это была последняя моя встреча с Глинкой.

Со дня моей свадьбы, бывшей в 1839 году, я рассталась с театральным миром. Впрочем, в Москве, куда мы с мужем поехали тотчас после венца, я в доме Михаила Семеновича Щепкина видела московских артистов. Шумский тогда был молодым человеком.

Я слышала из соседней комнаты, как Щепкин учил его дикции и отучал от природного недостатка в выговоре. Шумский тогда заметно шепелявил. Щепкин заставлял его по нескольку раз повторять одно и то же слово.

— Михаил Семенович, — говорил Шумский, — право, не могу лучше выговорить!

— Врешь, трудом можешь поправить природный свой недостаток, будешь произносить хорошо.

И точно, Шумский впоследствии едва заметно шепелявил [22].

Я познакомилась с комиком Живокини и с некоторыми второстепенными артистами, фамилии которых не помню.

Из семейства Щепкина я знала одну младшую его дочь, которую застала в постели; у нее развилась сильнейшая чахотка. У Щепкина было несколько взрослых сыновей, уже студентов, а старший сын окончил университетский курс. Но, кроме сыновей, Щепкин воспитывал

троих племянников [23], оставшихся малолетними сиротами после смерти своих родителей. Племянники тоже были студенты. Старшая дочь Щепкина была болезненная девушка.

У жены Щепкина было очень доброе, оригинальное лицо. Она была турчанка и маленькой привезена каким-то барином в Россию; ее окрестили в православную веру, она воспитывалась в барском доме и из него вышла замуж за Щепкина.

В семействе Щепкина жили две пожилые его сестры, которые меня поразили, когда меня привели наверх в их комнату познакомиться с ними. Они сидели на кроватях, поджав ноги по-турецки, с длинными чубуками; обе они были маленького роста, очень полные и имели вид огромных мячиков. Не понравились они мне; потом я узнала, что эти две пожилые девицы много делали неприятностей своим племянницам и их кроткой матери. У Щепкина жила тоже и его старушка мать; она уже превратилась в ребенка от старости лет и целыми днями играла в дурачки, для чего при ней находилась бедная старушка компаньонка, которая должна была всегда оставаться в дураках, иначе ей доставалось от капризной благодетельницы, выгонявшей ее вон из комнаты и попрекавшей куском хлеба.

Сыновья Щепкина предупредили меня, чтоб я на вопрос их бабушки отвечала, что не умею играть в дурачки, а то она сейчас же засадит играть с собой. Бабушка удивила меня своим вопросом, когда меня отрекомендовали:

— Чьих?

Внуки ей отвечали что-то за меня. Бабушка, бывши сама прежде крепостная, задавала этот вопрос всякому новому лицу.

Она обижалась, если ее не знакомили с гостями, но за старостью на другой же день забывала гостью и снова обращалась к ней с вопросом:

— Чьих? [24]

Я привыкла в своем большом семействе видеть огромные блюда за столом, но и меня удивила громадность блюд в доме Щепкина. Впрочем, за столом сидело множество народа; кроме своего большого семейства, всегда обедали гости и бедные студенты, являвшиеся каждый день, по три, по четыре человека, обедать к Щепкину. В прежнее время учащийся бедняк всегда находил, где

пообедать. К нашему отцу тоже ходили два студента каждый день обедать года два подряд, но им подавался обед отдельно.

Самовар подавался у Щепкиных такой громадный, что пар от него валил, как из тендера.

У Панаева было много знакомых в Москве, и он утром делал визиты, а вечером был приглашаем к кому-нибудь в гости. Панаев очень много хлопотал, чтобы московские писатели доставляли свои статьи в «Отечественные записки» [25].

Я видела многих московских литераторов, которые сотрудничали в «Отечественных записках»: Павлова, его жену [26], Мельгунова, Перевощикова, Хомякова, Каткова и Аксакова. С ними со всеми я хотя познакомилась, но ни с кем не вступала в разговоры по своей робости.

С первым из литераторов я познакомилась с Белинским, на другой же день моего приезда в Москву. Панаев завез меня к Щепкиным, а сам отправился к кому-то на вечер, где должны были собраться московские литераторы. Старшая дочь Щепкина чувствовала себя нездоровой, лежала в постели у себя в комнате наверху и прислала брата за мной. Я нашла в ее комнате молодежь. У печки, прислонясь, стоял белокурый господин; мне его представили, — это был Белинский. Он не принимал участия в общем разговоре, только понюхивал табак, но когда зашел разговор об игре Мочалова, Белинский заговорил, и я запомнила его сравнение игры двух артистов.

— Смотря на Каратыгина, — сказал он, — ни на минуту не забываешь, что он актер; а в Мочалове представляется человек со всеми его достоинствами и пороками.

С Белинским я стала видаться каждый день, он приходил к нам утром, пока еще Панаев не уезжал с визитами, и постоянно беседовал о литературе [27].

Белинский смотрел на меня, как на девочку, чем я тогда в сущности и была, поддразнивал меня, чем мог. Я сердилась, ссорилась с ним, но скоро мирилась [28].

Мы жили на Арбате. Белинский нанял себе комнату от жильцов — против нашего дома во дворе — и пригласил нас на новоселье пить чай. Комната была у него в одно окно, очень плохо меблированная.

Я вошла и удивилась, увидя на окне и на полу у письменного стола множество цветов. Белинский, самодовольно улыбаясь, сказал:

— Что-с, хорошо?.. А каковы лилии? Весело будет работать, не буду видеть из окна грязного двора.

Любуясь лилиями, я спросила Белинского:

— А, должно быть, вам дорого стоило так украсить свою комнату?

Белинский вспыхнул (он при малейшем волнении всегда мгновенно краснел).

— Ах, зачем вы меня спросили об этом? — с досадою воскликнул он. — Вот и отравили мне все! Я теперь вместо наслаждения буду казниться, смотря на эти цветы.

Панаев его спросил:

— Почему вы будете казниться?

— Да разве можно такому пролетарию, как я, позволять себе такую роскошь! Точно мальчишка: не мог воздержать себя от соблазна!

Денежные средства Белинского тогда были очень плохи [29]. Панаеву очень хотелось, чтобы Белинский сделался постоянным сотрудником «Отечественных записок» [30], в успехе которых он принимал самое живое участие. Панаев тогда отдавал в этот журнал свои повести даром. Впрочем, не он один, а были другие литераторы, которые делали то же самое. Вот какие были в те времена аркадские взгляды в литературе.

Константин Сергеевич Аксаков привез свою старшую сестру познакомиться со мною. Я была очень сконфужена, принимая в первый раз визит, но они оба сумели побороть мою робость. Аксаков мне с первого раза очень понравился, в его лице было такое открытое выражение, такая простота в манерах, что моя робость исчезла. Аксаков был рослый, широкоплечий молодой человек; его каштановые волосы слегка курчавились. Его нельзя было назвать красивым, но лучше всякой наружной красоты отражались на его лице душевные качества. Вера Сергеевна тоже была очень симпатичная [31]. Они нас пригласили обедать от имени матери и отца. Как ни понравились мне оба молодые Аксаковы, я чувствовала робость ехать к старикам Аксаковым, но должна была ехать, потому что Панаев сказал мне, что это необходимо.

Собственный дом Аксаковых, кажется, был на Арбатской площади. Я помню хорошо, что против их дома стояли большие весы и валялись клоки сена на площади.

В зале нас встретили старики Аксаковы и были очень приветливы ко мне. Пришла Вера Сергеевна и сказала отцу и матери:

— Идите к гостю в кабинет, а мы пойдем в сад.

Сад для города был очень большой, и в нем было множество белых махровых роз.

Мы уселись в беседке и заговорили о сочинениях Гоголя.

Вера Сергеевна благоговела перед его талантом и сказала мне:

— К нам неожиданно сегодня приехал обедать Гоголь; вот вы увидите самого автора.

Нас позвали обедать. Вера Сергеевна, идя в комнаты, сказала:

— Я вас должна предупредить, чтобы вы не удивились, если вам не представят Гоголя. Он не любит теперь никаких новых знакомств, особенно с дамами. Он такой стал болезненный, нервный, не может выносить даже за столом шума, так что меньшие мои братья и сестры сегодня обедают отдельно.

Я была очень довольна, что избавлюсь от представления мне Гоголя. Я очень конфузилась в такие минуты. Мы вошли в столовую одновременно, как в нее входил Гоголь с хозяином дома и Панаевым. Хозяйка дома усадила меня возле себя, а по другую сторону посадила Гоголя; ему было поставлено вольтеровское кресло. На противоположной стороне сидел хозяин дома с сыном и Панаевым. Трудно было иметь более сходства, какое я нашла у Аксакова-сына с отцом. Подростки-сыновья сидели между Панаевым и Гоголем, а возле меня Вера Сергеевна и ее сестра лет четырнадцати.

У прибора Гоголя стоял особенный граненый большой стакан и в графине красное вино. Ему подали особенный пирог, жаркое тоже он ел другое, нежели все. Хозяйка дома потчевала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном. Гоголь все время сидел сгорбившись, молчал, мрачно поглядывая на всех. Изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка, когда о чем-то горячо стали спорить Панаев с младшим Аксаковым.

Когда встали из-за стола, Гоголь сейчас же удалился опять в кабинет отдыхать после обеда. А мы все уселись на большой террасе пить кофе. Хозяйка дома отдала приказание прислуге, чтобы не шумели, убирая со стола [32].

Вера Сергеевна пригласила меня пойти посмотреть, как дети на лужайке играют в серсо. Я пошла с ней; она меня спросила, какое на меня произвел впечатление Гоголь. Я с наивной откровенностью ответила, что он, должно быть, очень сердитый и капризный. Она стала разуверять меня, что он от болезни сделался такой молчаливый и раздражительный и что сегодня он был особенно не в духе.

Я, Вера Сергеевна, молодой Аксаков и Панаев приняли участие в игре детей, а старики Аксаковы сидели на скамейке и смотрели на нашу игру. Через полчаса мы распростились с радушными хозяевами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Раздел наследства. — Крестьянские волнения. — Переезд Белинского в Петербург. — Одоевский. — Кольцов. — Лермонтов. — Соллогуб.

Прожив в Москве около двух месяцев, мы отправились в Казанскую губернию: Панаеву уже года два как досталось наследство от дальнего родственника, Страхова. Наследников было много, и они никак не могли до этого времени съехаться разом, чтобы приступить к разделу [1].

Теперь съездить в Казань ничего не стоит, а тогда это было продолжительное и небезопасное путешествие; переправлялись через реки в дырявых барках или на паромах. Мы чуть не утонули, когда поднялась на Волге буря и нас было понесло бог весть куда от пристани, потому что перевозчики струсили, бросили весла, руль, стали плакать и молиться. Нас спас ямщик-татарин, который не только ругал перевозчиков, заставляя их грести, но даже бил их, а сам управлял рулем.

Остановки на станциях в ожидании лошадей были продолжительные, едой надо было запасаться в больших городах, иначе можно было наголодоваться. Но меня не утомляло длинное путешествие; мне, никогда не выезжавшей из Петербурга, на каждом шагу представлялось столько нового и любопытного.

От Казани надо было еще ехать двести верст до имения, где собрались сонаследники[2]. Мы приехали в него рано утром. Двор был громадный, и от барского дома тянулись с двух сторон бесконечные постройки для дворовых, которых было до двухсот душ. Когда въезжал наш тарантас во двор, множество дворовых выскочило смотреть на нового прибывшего наследника. На крыльце барского дома появилось несколько рослых лакеев, с всклоченными волосами и плохо бритыми подбородками, в длиннополых сюртуках из толстого сукна травяного цвета. Я узнала потом, что наследники разрешили сшить эти сюртуки из сукна, большой запас которого нашелся у умершего помещика для обивки пола. Лакеи износили свои фраки из тонкого сукна, в которых постоянно ходили при покойном барине.

Старик в молодости путешествовал по Европе, жил долго в Англии, что тогда было редкостью между русскими помещиками. По всему было видно, что он желал подражать по возможности английским лордам. Завел конский завод английских скаковых лошадей, к обеду надевал фрак и имел большой погреб, выписывая вина из Англии, Франции и Германии.

В его теплицах было много дорогих растений, в оранжерее зрели сливы, персики, виноград и ананасы. Конечно, был оркестр из крепостных музыкантов; не знаю, хороши ли были музыканты, но инструменты были дорогие: при разделе Панаеву досталась скрипка одного старинного мастера, которую Панаев продал за четыре тысячи, причем некоторые уверяли, что он очень продешевил.

Наш ранний приезд нарушил мирный сон наследников; все они поднялись ранее обыкновенного.

Хотя Панаев был еще молодой человек сравнительно с другими наследниками, но тогда литераторов было немного, и на них смотрели в провинции как на любопытную редкость и побаивались их, думая, что они сейчас опишут всех в смешном виде.

К тому же Панаев был петербургский житель, а это тоже имело значение в глазах помещиков, живших десятки лет безвыездно в своих деревнях, как сурки в норах.

Фамилия Панаевых отличалась литературными дарованиями. Об этом упоминается в «Хронике» С. Т. Аксакова[3]. Даже две тетки Панаева сотрудничали в журнале «Благонамеренный»[4], дядя Панаева, Владимир Иванович,

тоже был литератор; он писал стихи об аркадских пастушках. Дядя не приехал на раздел, потому что служил директором канцелярии министерства двора. Его заменял чиновник из губернии, которому за это был обещан орден, дающий право на личное дворянство. Перед Владимиром Ивановичем Панаевым все родственники благоговели [5].

До завтрака я уже познакомилась со всеми родственниками, оказавшимися большими оригиналами. Один старик холостяк, помещик двух тысяч душ, маленький, прыщавый, в камлотовом милиционном мундире, носил в боковом кармане часы с репу, которые каждый час играли разные пьесы. Этот старик жил султаном в своем имении и даже выстроил каменный дом в два этажа для гарема, в котором находилось несколько десятков крепостных девушек. С некоторыми из них он даже приехал на раздел [6].

Младший его брат был добряк, гораздо моложе его и женатый. Супруга его приводила меня в ужас тем, что она проделывала со своим семилетним сыном. Она предназначала его в лейб-гусары и, чтобы приготовить к придворным балам, каждое утро на четверть часа ставила мальчика в устроенную деревянную форму, где были сделаны следки так, что ноги приходились пятка с пяткой. Мальчик, стоя в этой позиции, от скуки развлекал себя тем, что плевал в лицо и кусал руки дворовой девушке, которая обязана была держать его за руки.

Для упражнения будущего офицера помещица приказывала созывать всех дворовых детей на лужайку в сад, а сынок, вооруженный длинным гибким прутом, бил немилосердно детей, которые плохо маршировали перед ним. Панаев, увидев такие упражнения будущего офицера, надрал ему уши и освободил дворовых детей от пытки. Сынок заорал благим матом, а маменька, вся красная, выбежала спасать его. Тогда она придумала более мирное развлечение для сыночка. Ему давался ящик, где хранились его дареные деньги; мальчик играл золотыми и серебряными монетами. Этот семилетний мальчик заливался горькими слезами, когда родилась у него сестра. «О чем ты плачешь?» — спросила я его. «Как же мне не плакать, — отвечал будущий лейб-гусар, — теперь я должен буду отдать из наследства седьмую часть». Мать очень восхищалась сообразительным умом своего сыночка.

Все наследники приехали с своей дворней. Помещица привезла пять дворовых девушек, которых каждый день била и щипала при своем туалете. В бане она мылась несколько часов и в такой жаре, что девушек выносили замертво. В бане помещица подкрепляла свои силы завтраком и чаем, а дворовые девушки должны были находиться без еды. Помещице было с лишком тридцать лет, но она скрывала свои года и очень заботилась о своей красоте. Лицо у нее было очень красное, покрытое веснушками; на ночь она обкладывала лицо парным мясом, вырезав в холсте дыры для глаз, ноздрей и рта, и в этой маске ложилась или, вернее, садилась в постель, потому что клала под голову целую массу подушек, чтобы к утру лицо ее не было так красно. Помещица была очень ревнива; она приказала своему мужу спать в соседней комнате, а так как это была бильярдная, то ему клалась перина на бильярде. Все-таки, опасаясь измены, ревнивая супруга сажала под бильярд на всю ночь старую дворовую женщину, для того чтобы она извещала ее немедленно, если супруг уйдет из комнаты. Раз ночью старуха чихнула под бильярдом и разбудила помещика, которому вообразилось, что под бильярдом сидит убийца, и он поднял страшную тревогу.

Испуг помещика имел некоторое основание, потому что в Казанской губернии в этот год было сильное возбуждение крепостных крестьян против помещиков, совершались убийства помещиков из засад, а одного помещика сожгли на костре. В имении графа Блудова стояла сотня казаков для усмирения бунтующих крестьян, которые до полусмерти избили немца-управляющего. Новый управляющий иначе не выезжал в поле к работающим мужикам, как с заряженными пистолетами и в сопровождении казаков [7]. В печать тогда подобного рода известия не могли попасть. Было сделано строгое распоряжение тщательно скрывать эти волнения и следить за частной перепиской, чтоб печальные происшествия не могли распространяться.

Казанские помещики, знавшие за собой грехи, были перепуганы, переодевались в купеческое платье, если им приходилось ехать в дорогу; ложась спать, баррикадировали двери и окна комодами, столами и стульями, имели наготове заряженные пистолеты и ружья.

В первый день завтрака меня очень занимал оригинальный вид столовой.

Все наследники (а их было с детьми человек двадцать) завтракали и обедали вместе до раздела. За каждым стулом стоял рослый лакей с большой веткой в руках и, медленно помахивая ею над головой сидящих, отгонял мух. Лакеи злобно и мрачно поглядывали на всех наследников, зная, что теперь скоро решится их судьба — и многих навсегда оторвут от родины и родных.

В самый же день приезда я была посвящена в семейные тайны двух родственниц; каждая убеждала меня не верить в наружное расположение ко мне другой родственницы. Я не намеревалась входить в близкие отношения ни с худой, чахоточной женой одного из дядей Панаева, ни с помещицей, готовившей своего сына в лейб-гусары, потому что обе они мне не понравились. Я решила удалиться от их общества, тем более что жена другого дяди мне с первого взгляда понравилась; у нее было такое приятное, красивое лицо, она так хорошо обращалась с своими сыновьями, да и ее дети были хорошие мальчики, лет 14, 15, и мне было весело в их обществе [8].

Сначала приступили к разделу громадных сундуков, в которых хранилось много всякого хлама и разного старинного гардероба от сестер Страхова. Дикие, смешные сцены происходили при этом дележе; турецкие шали резались на пять кусков, чтобы поровну досталось наследникам, разбивали топором подносы и другое серебро, взвешивая его на весах. Несчастный посредник до хрипоты в горле урезонивал наследников, чтобы они не ссорились из-за каждой тряпки и не затягивали дележа. Разделенные части должны были доставаться наследникам по жребию. При вынимании билетов на имение было ужасно смотреть на наследников: все стояли бледные, дрожащие, шептали молитвы, глаза их сверкали, следя за рукой дворового мальчика, который, обливаясь горькими слезами от испуга, вынимал билеты.

Почти все наследники были в отчаянии, что им выпал жребий не на ту деревню, которую им хотелось, и завидовали друг другу, высчитывая преимущества одной деревни перед другой.

Но самое потрясающее впечатление произвел на меня раздел дворовых.

Посредник сначала хотел разделить дворовых по семействам; но все наследники восстали против этого.

— Помилуйте, — кричал один, — мне достанутся старики да малые дети!

Другой возражал:

— Благодарю покорно, у Маланьи пять дочерей и ни одного сына. Нет-с, это неправильно: вдруг мне выпадет жребий на Маланью.

Порешили разделить по ровной части сперва молодых дворовых мужского пола, затем взрослых девушек и, наконец, стариков и детей.

Когда настало время вынимать жребий, то вся дворня окружила барский дом, и огромная передняя переполнилась народом. Когда сделалось известным, что матери и отцы разлучены с дочерьми и сыновьями, то всюду раздались вопли, стоны, рыдания... Матери, забыв всякий страх, врывались в зало, бросались в ноги наследникам, умоляя не разлучать их с детьми. Я долго не могла прийти в себя от таких потрясающих сцен. Мне так опротивело пребывание в деревне, что я нетерпеливо ждала дня, когда мы уедем отсюда.

Панаеву удалось обменяться с дядями, отдав им рослого молодого лакея за тщедушную девочку, чтобы не разлучить семьи.

Дяди подсмеивались над своим нерасчетливым молодым племянником и охотно соглашались на обмен. Одну взрослую дворовую девушку Панаев уступил даром, потому что мать умоляла его не разлучать ее с единственным детищем.

Я забыла упомянуть о разделе винного погреба: сначала разделили заграничные вина в бутылках, потом приступили к дележу домашних наливок, различных во множество громадных бутылей. Наливку сливали с ягод, чтобы пришлось поровну каждому наследнику. Воздух в зале, где производилась разливка, пропитался винным спиртом, от которого можно было опьянеть. У некоторых наследников лица раскраснелись от пробы наливок, у лакеев также лица были красны: как ни следили за ними господа, они успевали тоже попробовать наливки, которую сливали, да и винные пары действовали на них. На другое утро произошла страшная суматоха между наследниками при известии, что неразделенные еще гуси, свиньи и утки за ночь подохли. Это известие вызвало целую бурю: кто заподозривал в отравлении дворовых, кто помещицу, которой при ее богатстве ничего не стоило потерпеть убыток, кто кривую крепостную

султаншу старшего дяди, находившегося в постоянной вражде с меньшим братом. За завтраком между наследниками начались колкости, как вдруг явилась птичница с радостным известием, что одна свинья начинает дрыгать ногами, а два гуся уже встали и бродят.

Некоторые наследники выскочили из-за стола, чтобы удостовериться собственными глазами в странном явлении. Дело объяснилось просто: лакеи утащили бутыли с ягодами к себе в избу, повыжали их хорошенько, добывая наливку, а выжимки выбросили на задний двор; свиньи наелись, а птицы наклевались этих выжимок и все опьянели.

При дележе лошадей тоже произошла суматоха. Лошадей было много на заводе, надо было их всех вывести из конюшни; конюхов не хватило, и потому приказано было лакеям держать лошадей в поводу. Все наследники с детьми отправились на двор завода и стояли посредине, окруженные выведенными лошадьми. Ржанье было страшное; жеребцы рвались, становясь на дыбы. У одного лакея вырвался жеребец и пустился скакать по двору. От испуга и другие лакеи бросили повода. Поднялся гвалт, наследники спасались от бегающих по воле лошадей, дамы в паническом страхе дико визжали, дети плакали, конюхи орали. По счастью, я не пошла на середину двора, а стояла на крыльце флигеля и издали видела эту суматоху. В этот день дележ лошадей не состоялся.

Наконец мы собрались уезжать в Москву, но Панаеву надо было заехать в доставшуюся ему деревню, чтобы сделать разные распоряжения.

Мне грустно было расставаться с одной только теткой и ее сыновьями; я их очень полюбила, а со всеми другими родственниками я с удовольствием простилась навсегда.

В доставшейся Панаеву деревне не было ни барского дома, ни дворовых людей. Вид деревни был довольно благообразный, потому что лет шесть тому назад она дотла сгорела и заново обстроилась. Мы остановились в чистой избе старосты, плутоватого мужика, который успел накопить себе достаточно денег и помышлял выкупиться на волю с семейством, что вскоре и сделал.

Сначала к нам явились на поклон бабы с приношениями: медом, яйцами, курами. Они по очереди отвешивали мне низкие поклоны и, по тамошнему обычаю,

клали руку на руку, чтобы поцеловать у меня руку. Я целовалась с ними в губы, не давая своей руки. Бабы пугливо смотрели на меня, а некоторые плакали, только не от умиления; матери боялись, что новая помещица, вероятно, увезет у них юных сыновей или дочерей для своей дворни.

Затем явились мужики. Панаев вышел к ним на крыльцо и держал речь. С первого его слова «господа» я подумала, что мужики ничего не поймут в этой речи, говоренной литературным слогом. Мужики молча слушали его, и я не заметила на их лицах выражения радости, что они лицезреют своего нового помещика; напротив, они бросали на Панаева мрачные взгляды. После речи мужики отошли от избы старосты на несколько шагов и в каком-то недоумении тихо разговаривали между собой.

Я заметила, что плутоватый староста ухмылялся, когда Панаев держал речь к мужикам. Панаев в речи предложил мужикам избрать немедленно из своей среды старосту, которому они доверяли. Целый день мужики толпились на улице, о чем-то горячо толковали, но старосту не выбрали. Я послала купить орехов, пряников и вина для угощения крестьян. Панаеву пришлось взять в посредники плутоватого старосту, чтобы он торопил мужиков скорей избирать себе старосту.

Угощение привело крестьян в более приятное расположение духа, женщины пели песни около нашей избы. Старостой выбрали себе крестьяне какого-то глуповатого, забитого мужика. Видно было по всему, что они воспользовались данным им правом и нашли для себя выгодным иметь глуповатого старосту, которым могли вертеть, как им угодно. Так оно и оказалось впоследствии.

Панаев долго толковал новому старосте об его обязанностях: не притеснять крестьян и аккуратно собирать с них оброк. Проводы крестьян, когда мы уезжали, были гораздо приветливее, чем их встреча. Панаев отменил барщину, отдав все поля и угодья крестьянам, с баб запретил брать побор холстом и живностью, так что оброку мужикам приходилось платить вполовину менее, чем прежде.

Узнав о таких распоряжениях Панаева, все соседние помещики вознегодовали на него, в том числе и родственники, укоряя его, что он подрывает помещичью власть,

По возвращении в Москву мы прожили в ней несколько недель[9]. Младшая дочь Щепкина[10] встретила меня с счастливой улыбкой, протянув мне исхудалую свою руку. Я увидала на ее пальце обручальное кольцо.

От Белинского я слышала, что в нее был влюблен молодой человек Б... и сделал ей предложение, но она отказала ему. В свою поездку вместе с отцом в Казань, где она играла, она познакомилась с адъютантом губернатора, который сделал ей предложение. Она была очень счастлива, и уже было условлено, что зимой жених должен приехать в Москву, чтобы жениться на ней. Невесте стали шить приданое, как вдруг адъютант раздумал и женился на дочери богатого помещика. Это так потрясло девушку, что она заболела и у нее развилась чахотка. Странно, что старики Щепкины были крепкого здоровья, а их старший сын и младшая дочь[11] умерли от чахотки, старшая же дочь, болезненная, у которой также были все признаки чахотки, пережила младшую сестру и вышла замуж за одного из воспитанников своего отца[12]. Б..., узнав о поступке адъютанта, вторично предложил свою руку Щепкиной, и на этот раз предложение его было принято, хотя дни невесты были сочтены. Больная сказала мне:

— Я сделалась невестой, пока вы были в деревне. Как встану, сейчас же будет моя свадьба. Ах, какая я была дурная, тщеславная и ветреная прежде! Как я могла не любить такого хорошего человека! Как выйду за него замуж, только и буду думать об одном, чтоб он был счастлив.

Понятно, что умирающую тешили, сделав обручение.

Раз я приехала к Щепкиным и застала в горьких слезах жену Михаила Семеновича; она послала меня скорей к больной, чтобы я развлекла ее.

— Все плачет и не говорит мне, чем она огорчена, — сказала мне несчастная мать.

Больная потребовала, чтобы я поклялась перед образом, что отвечу ей искренно на ее вопрос. Я исполнила ее желание.

— Утром я посмотрела на себя в зеркало, — произнесла она в слезах, — и показалась себе такой страшной. Скажите, страшная я?

Я смело могла разуверить ее, что она вовсе не страшная, потому что, несмотря на болезнь, ее исхудалое

хорошенькое личико было все-таки красиво, и сделала ей выговор за то, что она попусту расстраивает себя.

Больная радостно улыбнулась и произнесла:

— Не буду, не буду больше плакать! В самом деле, как глупо расстраивать себя, когда мне надо быть покойной, чтобы скорее встать. Позовите маму ко мне.

Когда мать вошла, больная раздражительно сказала ей:

— Знаешь, что я не могу видеть слез, мне делается страшно тяжело!

Мать, едва сдерживая рыдания, уверяла дочь, что она вовсе не плакала.

— Пожалуйста, будьте все веселые вокруг меня и не огорчайтесь моими капризами, да их и не будет теперь; дайте сюда мои кофты, я хочу показать, какое приданое мне шьется.

Умирающая невеста рассматривала свое приданое и спрашивала моего совета, какое лучше сделать себе венчальное платье.

Белинский поехал в Петербург с нами вместе, остановился у нас и прожил недели две, пока не устроился на своей квартире[13]. Ему очень не нравилась обстановка барского дома матери Панаева и множество крепостной прислуги.

Панаев мог быть очень богатым человеком. Он наследовал прекрасное состояние от бабушки и дедушки Берниковых. Они были ему не родные, но мать Панаева была их приемная дочь; они воспитывали ее, выдали замуж, и после своего скорого вдовства она жила с ними. Дедушка и бабушка до безумия любили Панаева, который за месяц до своего появления на свет потерял отца. Дедушка и бабушка оставили ему хорошее наследство; близ Петербурга ему принадлежал берег Невы версты на четыре; землю брали в аренду и строили на ней фабрики и разные другие торговые заведения. Получался хороший доход, который с каждым годом мог увеличиваться. На этой земле, кроме того, находился барский дом, полный всякого добра: мебели, белья и серебра. Панаеву достался и капитал тысяч в пятьдесят. Все это опекунша-мать прожила, окружив себя приживалками и мошенниками-управляющими, так что когда Панаев женился и пожелал сам управлять своим наследством, то оказалось, что часть земли была продана,

другая заложена и долгов было столько, что надо было скорей продать оставшуюся землю, чтобы развязаться с долгами.

Мать Панаева после смерти дедушки переселилась в Петербург и жила по-барски. Она так умела обойти слабохарактерного своего сына, что он жил в полном неведении, откуда берутся деньги для богатой обстановки жизни матери.

Чиновник-делец, выбранный матерью, умел всегда заставить Панаева, когда было нужно, подписывать бумаги на продажу или залог участков земли; да и сам Панаев с детства привык жить по-барски и не мог ограничивать себя в своих ненужных прихотях.

В эту зиму по вечерам к Панаеву на его половине собирались литераторы. Иногда Кукольник с своими поклонниками, Сахаров, Брюллов и другие. Но чаще собирался другой небольшой кружок: Белинский, В. П. Боткин, бывшие школьные товарищи Панаева, и Бакунин, приехавший из Москвы, который знакомил этот кружок с сочинениями тогдашних немецких философов.

Бакунин был замечательным диалектиком, и я заслушивалась его из своей комнаты, отделявшейся только драпировкой от кабинета.

Наружность Бакунина была эффектная, он был огромного роста, выражение лица энергическое, с густыми, длинными, темными, курчавыми волосами. Голова его напоминала голову льва.

Когда мы переехали на отдельную квартиру, то Белинский очень часто ходил обедать к нам. Мы жили у Пяти Углов, против Коммерческого училища. Осенью в 1841 году у нас жил Катков. Панаев в своих воспоминаниях писал о его житье у нас [14]. В эту зиму у Панаева были частые и многолюдные собрания по вечерам. Между прочими являлись приехавшие в Петербург Кольцов [15], Огарев и другие московские писатели. Белинский находился под впечатлением стихов Кольцова и постоянно читал их наизусть. Тогда хлопотали об издании стихотворений Кольцова. Автор дал право Белинскому печатать те стихи, которые он найдет лучшими [16]. На эти литературные вечера являлся и князь Одоевский, — в карете с ливрейным лакеем. Это был единственный

литератор, всюду выезжавший с лакеем. Над ним подсмеивались, но все его любили, потому что такого отзывчивого, благодушного человека трудно было отыскать. Он был предан всей душой русской литературе и музыке. Кто бы из литераторов ни обратился к нему, он принимал в нем искреннее участие и всегда по возможности исполнял просьбы; если же ему это не удавалось, то он первый сильно огорчался и стыдился, что ничего не мог сделать [17]. Манеры Одоевского были мягкие, он точно все спешил куда-то и со всеми был равно приветлив. Ему тогда, наверное, было лет сорок, но у него сохранились белизна и румянец, как на лице юноши. Наружность Кольцова была совершенно иная: коренастый, небольшого роста, с круглым загорелым лицом и белокурыми волосами, зачесанными в височки. Одет он был постоянно в длинный сюртук, застегнутый наглухо, с черной косынкой, обмотанной вокруг плотной шеи. Я не выходила из своей комнаты на эти литературные собрания, да притом же была очень занята разливанием бесчисленного числа стаканов чая и распоряжениями об ужине. Раз Кольцов пил у нас чай; кроме него, были только Белинский и Катков. Кольцов был очень разговорчив и, между прочим, рассказывал, как в первый раз сочинил стихи. «Я ночевал с гуртом отца в степи, ночь была темная-претемная и такая тишина, что слышался шелест травы, небо надо мною было тоже темное, высокое, с яркими мигающими звездами. Мне не спалось, я лежал и смотрел на небо. Вдруг у меня стали в голове слагаться стихи; до этого у меня постоянно вертелись отрывочные, без связи рифмы, а тут приняли определенную форму. Я вскочил на ноги в каком-то лихорадочном состоянии; чтобы удостовериться, что это не сон, я прочел вслух свои стихи. Странное я испытывал ощущение, прислушиваясь сам к своим стихам».

Кольцов рассказал, как он самоучкой выучился читать по лубочным книжкам, которые он покупал тихонько от отца. Он также комично описывал, как ехал в коляске по Воронежу с Жуковским и какое смятение произвело в городе, что с такой важной особой едет мещанин Кольцов [18]. Жуковский тогда путешествовал по России с наследником, цесаревичем Александром Николаевичем.

Я видела Лермонтова один только раз — перед его отъездом на Кавказ — в кабинете моего зятя, А. А. Краевского, к которому он пришел проститься [19]. Лермонтов предложил мне передать письмо моему брату, служившему на Кавказе. У меня остался в памяти проницательный взгляд его черных глаз.

Лермонтов школьничал в кабинете Краевского, переворошил у него на столе все бумаги, книги на полках. Он удивил меня своей живостью и веселостью и нисколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась.

В Петербург приехала жена Огарева и привезла Каткову посылку от его матери. Но она потребовала, чтобы сам Катков приехал к ней за посылкой, желая с ним познакомиться [20]. Жена Огарева была светская барыня, и к ней надо было явиться с визитом во фраке. Но у Каткова его не имелось. Смешно было видеть Каткова во фраке и во всем остальном платье Панаева, который был очень худой, а Катков плотного сложения.

Панаев снаряжал Каткова на этот визит, как невесту: сам ему повязывал галстук и пришел в отчаяние, что Катков перед одеванием пошел в парикмахерскую у Пяти Углов и явился оттуда круто завитой и жирно напомаженный какой-то дешевой душистой помадой. Панаев доказывал Каткову, что нельзя с такой вонючей помадой явиться в салон светской дамы, и Катков, веруя в знание светских приличий Панаева, покорился, смыл помаду с волос. Катков в узком платье не смел сделать движения, боясь, что на нем лопнет фрак. Меня удивило, что Катков так волнуется от визита к светской барыне. Он сам не раз говорил при мне, что презирает светское общество, что он студент-бурш, и подтрунивал над слабостью Панаева к франтовству и светскому обществу. Катков возвратился домой в ужасном огорчении, с посылкой в руках, которую с досадой швырнул на пол. Его мать через какого-то знакомого просила Огареву передать сыну несколько пар белевых носков своей собственной работы и три пары нижнего белья из тонкого холста; все это было завязано в узелок старого носового платка, так что можно было видеть все в нем содержащееся. При узелке было письмо на серой бумаге, сложенное треугольником и запечатанное вместо печати наперстком.

Катков считал себя страшно скомпрометированным в глазах светской дамы этой посылкой; но он ошибся: вскоре Огарева пригласила его к себе на вечер очень любезной запиской. Я слышала разноречивые мнения о жене Огарева: одни говорили, что она пустая, напыщенная, светская барыня, совсем неподходящая к поэтической натуре ее мужа; другие, напротив, восхищались ею, находя в ней возвышенные стремления. Катков нашел Огареву очень образованной женщиной, интересующейся наукой, литературой и музыкой.

Вскоре после этого Катков уехал за границу. Не могу определительно сказать, долго ли он там пробыл, но не более года[21]. Вернувшись из-за границы, Катков был у нас с визитом. В нем уже не было и тени прежнего студента-бурша, напротив, он имел вид величаво-глубокомысленный. Катков, пробыв в Петербурге только несколько дней, уехал в Москву. В продолжение долгой нашей жизни мы более с ним уже не встречались.

То время, о котором я вспоминаю, было очень тяжелое для литературы. Например, существовал цензор Красовский, настоящий бич литераторов; когда к нему попадали стихи или статьи, он не только калечил их, но еще делал свои примечания и затем представлял высшему начальству. Помимо тупоумия, Красовский был страшный ханжа и в каждом литераторе видел атеиста и развратника.

Панаев добыл примечания Красовского на одно стихотворение Олина и всем их читал[22].

Вот эти примечания:

2-я строфа

О, сладостно, клянусь, с тобою было жить,
Сливать с душой твоей все мысли, разговоры,
Улыбку уст твоих небесную ловить.

Примечание Красовского: «Слишком сильно сказано! Женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть *небесною*».

И молча на тебе свои покоить взоры.

Примечание: «Тут есть какая-то двусмысленность».

7-я строфа

О дева милая! из смертных всех лишь ты
Под бурей страшною меня не покидала,
Не верила речам презренной клеветы
И поняла, чего душа моя искала.

Примечание: «Надобно сказать, чего именно, ибо здесь дело идет о *душе»*.

10-я строфа

Что в мненье мне людей. Один твой нежный взгляд
Дороже для меня *вниманья всей вселенной.*

Примечание: «Сильно сказано; к тому ж во вселенной есть и цари, и законные власти, вниманием которых дорожить должно».

12-я строфа

О! как бы я желал пустынных стран в тиши,
Безвестный, близ тебя *к блаженству приучаться,*
И кроткою твоей мелодией души,
Во взоре дышащей, безмолвствуя, пленяться.

Примечание: «Таких мыслей никогда рассеевать не должно: это значит, что автор не хочет продолжать своей службы государю, для того только, чтоб быть всегда с своею любовницей; сверх сего, к блаженству можно только приучаться близ Евангелия, а не близ женщины».

13-я строфа

О! как бы я желал *всю* жизнь тебе отдать!

Примечание: «Что ж останется богу?»

У *ног твоих* порой для песней лиру строить.

Примечание: «Слишком грешно и унизительно для христианина сидеть у ног женщины».

И на груди твоей главу мою покоить.

Примечание: «Стих чрезвычайно сладострастный».

14-я строфа

Тебе лишь посвящать, разлуки не страшась,
Дыханье каждое и каждое мгновенье
И, сердцем близ тебя, друг милый, обновясь,
В улыбке уст твоих печалей пить забвенье.

Примечание: «Все эти мысли противны духу христианства, ибо в Евангелии сказано: «кто любит отца своего или мать паче мене, тот несть мене достоин».

Мы переехали к Аничкину мосту в угловой дом, против дома Белосельского. Белинский тоже переехал в этот дом, заняв во дворе маленькую квартирку о двух комнатах по черной лестнице[23]. Его квартира выходила окнами на конюшни и на навозные кучи. Солнце никогда не заглядывало в эти окна. Нанимая раньше комнату от жильцов, Белинский жаловался, что ему мешали работать. Здесь же он не слышал постоянных разговоров и шума, да и ему нужно было жить поближе к редакции «Отечественных записок». Белинский каждый день обедал у нас. Его очень утомляли разборы глупейших книжонок, которыми он должен был заниматься для ежемесячного обозрения. В то время библиография играла важную роль в журналах, о каждой вышедшей книжонке надо было сделать отзыв, и иногда приходилось читать штук двадцать таких книжонок. Белинский приходил к обеду в нервном раздражении и говорил: «Положительно тупею! строчишь, строчишь о всякой пошлости и одуреешь!»

Белинский никуда не ходил в гости, но любил очень театр и очень волновался, если хорошую пьесу плохо разыгрывали. Утром до обеда он писал или читал серьезные книги, после обеда опять уходил работать, а вечером, часов в десять, приходил к нам играть в преферанс, к которому очень пристрастился, сильно горячась за картами[24]. Он все приставал ко мне, чтобы я также выучилась играть в преферанс.

— Гораздо было бы лучше играть с нами в преферанс, чем все читать вашу Жорж-Занд, — твердил он.

В воспоминаниях Панаева упоминается, какого мнения был Белинский об этом авторе, пока сам не стал читать Жорж-Занд в подлиннике[25].

— Мы и так с вами бранимся, а за картами просто подеремся, — отвечала я. — К тому же вам вредно играть в преферанс: вы слишком волнуетесь, тогда как вам нужен отдых.

— Мои волнения за картами пустяки; вот вредное для меня волнение, как, например, сегодня я взволновался, когда мне принесли лист моей статьи, окровавленной

цензором: изволь печатать изуродованную статью! От таких волнений грудь ноет, дышать трудно!

Партнерами Белинского были не литераторы, но эти личности постоянно вертелись в кружке литераторов, который собирался у Панаева[26].

В начале 40-х годов мы несколько лет подряд жили на даче в Павловске, и у нас после музыки обыкновенно собиралось много гостей. Здесь я познакомилась с Соллогубом, который только что написал «Тарантас»[27]. Эта повесть имела большой успех. Если бы Соллогуб не ломался, то был бы приятным собеседником. Но часто он был невыносим, вечно корча из себя то дерптского студента, то аристократа. В светском обществе он кичился званием литератора, а в литературном — своим графством. Если его знакомили с простым смертным, он подавал ему два пальца и на другой день при встрече делал вид, что не узнает его[28]. Отец Соллогуба тоже бывал у нас; по манерам самой утонченной вежливости это был настоящий маркиз, и когда его писатель-сын выкидывал при нем какую-нибудь невежливость, то отец в ужасе восклицал: «Вольдемар! это верх неприличия!» Но сын не обращал внимания на замечания своего отца. Странно было видеть меньшого брата Соллогуба, скромного, простого человека, который не заимствовал ни утонченности в манерах своего отца, ни глупой кичливости аристократизма своего брата.

Бывал у нас также граф Виельгорский, полный, румяный старик, любимец императрицы Александры Феодоровны. Виельгорский был дилетант музыки, играл на виолончели и сочинял романсы; в молодости он хорошо пел. У Виельгорского постоянно бывали музыкальные вечера, и он сам участвовал в квартетах. Все знаменитые концертанты, приезжавшие давать концерты в Петербурге, сперва играли на его музыкальных вечерах, а потом уже давали публичные концерты.

Виельгорский иногда пел у нас свои романсы, а Булгаков, известный повеса того времени, садился за фортепиано вслед за ним и так искусно передразнивал его, что из другой комнаты трудно было различить, что это поет молодой человек, а не старик. Виельгорский сам аплодировал ему и смеялся от души. Булгаков был очень даровитый человек: имел большие способности к

музыке, рисовал отлично карандашом и акварелью и был необыкновенно остроумен; но все свои способности он загубил, ведя ненормальную жизнь[29]. Когда он бывал у нас с Глинкой, то за чаем оба выпивали бессчетное число рюмок коньяку, и на них это не имело никакого влияния, точно они пили воду.

Булгакову предстояла блестящая карьера; его мать была всеми уважаемая статс-дама при дворе, сестры — фрейлины, он сам прежде вращался в высшем кругу; но Булгаков предпочел аристократическим салонам кутежи, пил с утра до утра на холостых пирушках и давно был бы переведен в армию и даже разжалован в солдаты за свои разные повесничества, если бы великий князь Михаил Павлович, которого Булгаков умел всегда рассмешить каким-нибудь каламбуром, не питал к нему особенного расположения. Если Булгакова не было видно утром на Невском проспекте, а вечером в балете, то все знали, что он посажен на гауптвахту великим князем.

В прежнее время вся царская фамилия каталась по Невскому в известные часы. Государь Николай Павлович и великий князь имели зоркий глаз: замечали малейшую небрежность в форме у офицера или солдата; даже если один из крючков на воротнике не был застегнут, то строго взыскивали с провинившегося.

Булгаков в один мартовский день явился на Невском без шинели и обращал внимание всех гуляющих своим сюртуком ярко-зеленого цвета, с длинными полами. Дело в том, что вышел приказ заменить черное сукно на военных сюртуках зеленоватым и полы сделать несколько подлиннее. Булгаков первый сделал себе новую форму, но преднамеренно утрировал ее.

Великий князь, проезжая по Невскому, заметил Булгакова, подозвал его к себе и грозно велел сесть в сани, сказав:

— Я тебя отвезу к государю.

Булгаков, садясь в сани, сделал вид, что зацепился, и уткнулся носом в полость, проговорив:

— Вот что значит садиться не в свои сани!

Великий князь рассмеялся и ответил:

— Так пошел, садись в свои сани и прямо поезжай на гауптвахту на Сенную.

Между офицерами считалось как бы обязанностью быть влюбленным в танцовщиц, особенно в воспитанниц

театральной школы. Булгаков тоже ухаживал за одной из них и однажды уехал с дежурства в балет.

Великий князь неожиданно тоже приехал в театр. Он знал всегда, кто из офицеров дежурит на гауптвахте, а также и кто из них ухаживает за кем в балете. Великий князь, увидав в креслах Булгакова, даже не сел, а сейчас же поехал на гауптвахту, на которой должен был находиться в карауле Булгаков. Каково же было его удивление, когда, приехав на гауптвахту, он увидел Булгакова стоявшим перед ним.

— Ты был сейчас в балете... как ты очутился здесь? — с удивлением спросил его великий князь.

— Виноват, был-с, но вы сами, ваше высочество, изволили меня привезти из театра, — отвечал Булгаков.

При этом он рассказал великому князю, что, догадавшись, что великий князь поехал на гауптвахту, он выбежал из театра и успел вскочить на запятки саней великого князя.

Великий князь посадил Булгакова на месяц под арест, сказав: «Ты целый месяц не будешь в балете», — но потом смиловался и наполовину убавил наказание.

Повесничеству Булгакова не было конца. Он раз при мне на музыке в Павловске держал пари с одной моей знакомой, что пройдется сейчас же мимо нее под руку с великим князем; конечно, наше общество было уверено, что Булгаков проиграет, но он выиграл. Мы видели, как Булгаков подошел к великому князю, что-то ему сказал, и великий князь дозволил ему взять себя под руку. Булгаков сознался великому князю, что он до безумия влюблен в одну особу, что если великий князь удостоит его пройтись мимо этой особы, то он сделает его счастливейшим человеком.

В Павловске в сороковых годах не жило такое огромное количество дачников, да и великий князь, которому принадлежал тогда Павловск, сам вычеркивал фамилии сомнительных дачниц, желавших поселиться летом в Павловске; ему подавали каждый день список лиц, нанимавших дачи весной. Публики из города приезжало мало в будничные дни, так что все обычные посетители на музыке знали друг друга в лицо и по фамилии. Часто царская фамилия приезжала из Царского Села слушать музыку и сидела в экипаже за речкой или подъезжала

к самому входу сада. В эти дни на музыке собиралось много аристократической публики. Великий князь жил в своем дворце с Сверчковой, бывшей фрейлиной. У нее была выстроена в Павловске великолепная дача, принадлежащая теперь А. А. Краевскому.

Булгаков нарисовал акварелью довольно большую картину, где в карикатуре были изображены все обычные посетители музыки, в том числе и великий князь, стоящий спиной, а возле него в уменьшенном виде изображена на цыпочках Сверчкова с ее язвительной улыбочкой. Между прочими был очень смешон Соллогуб с важной гримасой и со стеклышком в глазу. Тогда только что появилась мода носить стеклышко, и Соллогуб носил его, закинув голову назад и смотря на всех величаво-презрительно. Панаев был тогда очень худ, и Булгаков сделал ему ноги не толще карандашей, а возле него поместил Виельгорского с большим животом. Булгаков изобразил и себя в карикатуре. Все были так похожи, что можно было сейчас же узнать даже тех, кто были нарисованы стоящими спиной. Сверчковой донесли, что Булгаков нарисовал на нее карикатуру, она обиделась и потребовала уничтожения картины. Великий князь приказал Булгакову самому привезти картину к себе. Прежде чем исполнить это, Булгаков сделал перемену в картине: он придал Сверчковой ангельскую улыбочку, приделав ей прозрачные крылышки к спине, так что она походила на эльфу, собирающуюся улететь. Булгаков знал, что Сверчкова претендует на воздушность своей фигуры. Великому князю так понравилась картинка, что он ее оставил у себя.

В 1842 году у нас часто собирались по вечерам обыкновенные и «светские» литераторы; к светским я причисляю Соллогуба, Одоевского, Соболевского и Башуцкого. Наружность Башуцкого, в прилизанном черном парике, с румяными щеками и большими серо-голубоватыми глазами, оставалась неподвижна, когда он говорил скоро и явственно, а слог его речи был так правилен, что можно было отличить все знаки препинания; он не запинался ни на одном слове, точно говорящий автомат. Зато Соллогуб резко отличался от него своими небрежными манерами, растягиванием слов и рассеянным видом.

Белинский был очень доволен, что я иногда обрывала Соллогуба, если он с нашими несветскими гостями дозволял себе быть невежливым. Странно, Соллогуб вовсе не был так глуп, чтобы не понимать, как смешно кичиться своим аристократизмом. Он, в сущности, был добрый человек; если его просили похлопотать о ком-нибудь, то он охотно брался за хлопоты и радовался в случае успеха. В характере Соллогуба была хорошая черта: он никогда не передавал никаких сплетен, тогда как многие литераторы лишены были этого хорошего качества. Соллогуб после женитьбы ударился в другую крайность: он сделался студентом-буршем, не стыдился уже говорить о своих плохих средствах к жизни, которые прежде скрывал, и часто повторял фразу, когда касались денежных трат:

— Ну, куда нам с генералами чай пить!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Тургенев. — Некрасов. — Женитьба Белинского. — Аполлон Григорьев. — Варламов. — Булгарин. — Межевичи.

Если не ошибаюсь, в 1842 году я познакомилась с Тургеневым, который также жил летом на даче в Павловске. Он только что начал свое литературное поприще[1]. На музыке, в вокзале, он и Соллогуб резко выделялись в толпе: оба высокого роста и оба со стеклышками в глазу, они с презрительной гримасой смотрели на простых смертных. После музыки Тургенев очень часто пил чай у меня. У Панаева развелось столько знакомых в Павловске, что он редко приходил домой с музыки. Тургенев занимал меня разговором о своей поездке за границу и однажды рассказал о пожаре на пароходе, на котором он ехал из Штеттина, причем, не потеряв присутствия духа, успокаивал плачущих женщин и ободрял их мужей, обезумевших от паники. В самом деле, необходимо было сохранить большое хладнокровие, чтобы запомнить столько мелких подробностей в сценах, какие происходили на горевшем пароходе. Я уже слышала раньше об этой катастрофе от одного знакомого, который тоже был пассажиром на этом пароходе, да еще с женой и с маленькой дочерью; между прочим, знакомый рассказал мне, как один молоденький пассажир был наказан капитаном парохода за то, что

он, когда спустили лодку, чтобы первых свезти с горевшего парохода женщин и детей, толкал их, желая сесть раньше всех в лодку, и надоедал всем жалобами на капитана, что тот не дозволяет ему сесть в лодку, причем жалобно восклицал: «Mourir si jeune!» * На музыке я показала этому знакомому, — так как он был деревенский житель, — всех сколько-нибудь замечательных личностей, в том числе Соллогуба и Тургенева. «Боже мой! — воскликнул мой гость, — да это тот самый молодой человек, который кричал на пароходе «mourir si jeune». Я была уверена, что он ошибся, но меня удивило, когда он прибавил: «У него тоненький голос, что очень поражает в первую минуту при таком большом росте и плотном телосложении» [2].

Мне все-таки казалось невероятным, чтоб это был Тургенев, но через несколько времени я имела случай убедиться, что Тургенев способен к импровизации.

Идя в темный вечер домой с музыки, надо было переходить дорогу, а из ворот, которые ведут из вокзала в город, неожиданно выехала карета. Сделалось смятение; многочисленное общество дам и кавалеров, шедшее впереди нас, разделилось на две части: одна успела перебежать через дорогу, а другая осталась с нами, и одна дама вскрикнула от испуга, перебегая дорогу. Карета проехала, и мы спокойно продолжали свой путь. На другой день, на музыке, я шла в толпе по аллее; впереди меня шел Тургенев с дамами и рассказывал им, что он будто бы вчера спас какую-то даму, которую чуть не задавила карета, остановив лошадей; будто бы с дамой сделалось дурно, и он на руках перенес ее и передал кавалерам, которые рассыпались в благодарностях за спасение их дамы. Когда я стала стыдить Тургенева, зачем он присочинил небывалую историю, то он мне на это ответил, улыбаясь: «Надо было чем-нибудь занять своих дам».

С этих пор я уже не верила, если Тургенев рассказывал о себе что-нибудь. Он в молодости часто импровизировал и слишком увлекался. Иногда Белинский с досадой говорил ему:

— Когда вы, Тургенев, перестанете быть Хлестаковым? Это возмутительно видеть в умном и образованном человеке.

---

* Умереть таким молодым! (*франц.*)

Тургенев остерегался при Белинском увлекаться в импровизации и искал более снисходительных слушателей.

От Белинского Тургеневу досталась сильная головомойка, когда дошло до его сведения, что Тургенев в светских дамских салончиках говорил, что не унизит себя, чтобы брать деньги за свои сочинения; что он их дарит редакторам журнала.

— Так вы считаете позором сознаться, что вам платят деньги за ваш умственный труд? Стыдно и больно мне за вас, Тургенев! — упрекал его Белинский.

Тургенев чистосердечно покаялся в своем грехе и сам удивлялся, как мог говорить такую пошлость[3].

Белинский для своего кружка был нравственной уздой, так что после его смерти все, как школьники, освободясь от надзора своего наставника, почувствовали свободу. Им более не нужно было идеализировать перед Белинским свои поступки, которые на деле были далеки от идеальности, или впадать в самобичевание своих слабостей.

У Тургенева в молодости была слабость к аристократическим знакомствам, и он, бывало, все уши прожужжит, если попадал в светский салон[4]. Он также во всеуслышание рассказывал, когда влюблялся или побеждал сердце женщины. Впрочем, последней слабостью страдали в кружке почти все, хвастались своими победами, и часто опоэтизированная в их рассказах женщина вдруг превращалась в самую прозаическую денежную интрижку. Но иногда их болтливость о сердечных тайнах порядочных женщин влекла за собой печальные последствия.

Панаев упоминает в своих воспоминаниях о том, как Тургенев знакомил Белинского с английской и немецкой литературой, сообщая ему все, что выходило хорошего за границей. Пока Белинский не достиг того, что мог свободно сам читать по-французски, Панаев переводил для него целые тетради из Ламартина, Луи Блана и др.

В начале сороковых годов по утрам в праздничные дни к Панаеву приходил правовед Иван Сергеевич Аксаков и читал ему свои стихи. Панаев с большим сочувствием относился к юному поэту. Он познакомил его с Белинским, который поощрял юношу к литературной деятельности и находил, что Иван Сергеевич Аксаков

гораздо умнее и талантливее своего брата Константина. Белинский раз, по уходе Ивана Сергеевича, сказал:

— Ах, если бы побольше было таких отцов у нас в России, как старик Аксаков, который сумел дать такое честное направление своим сыновьям, тогда бы можно было умереть спокойно, [веруя,] что новое поколение побольше нашего принесет пользы России.

Первый раз я увидела Некрасова в 1842 году зимой. Белинский привел его к нам, чтобы он прочитал свои «Петербургские углы»[5]. Белинского ждали играть в преферанс его партнеры; приехавший из Москвы В. П. Боткин тоже сидел у нас. После рекомендации Некрасова мне и тем, кто его не знал, Белинский заторопил его, чтоб он начал чтение. Панаев уже встречался с Некрасовым где-то[6].

Некрасов, видимо, был сконфужен при начале чтения; голос у него был всегда слабый, и он читал очень тихо, но потом разошелся. Некрасов имел вид болезненный и казался на вид гораздо старее своих лет, манеры у него были оригинальные: он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опускал опять ее. Этот машинальный жест так и остался у него, когда он читал свои стихи.

Белинский уже прочел «Петербургские углы», но слушал чтение с большим вниманием и посматривал на слушателей, желая знать, какое впечатление производит на них чтение.

Я заметила, что реальность «Петербургских углов» коробит слушателей.

По окончании чтения раздались похвалы автору, Белинский, расхаживая по комнате, сказал:

— Да-с, господа! Литература обязана знакомить читателей со всеми сторонами нашей общественной жизни. Давно пора коснуться материальных вопросов жизни, ведь важную роль они играют в развитии общества.

На эту тему Белинский говорил довольно долго.

Сели за преферанс, и Некрасов всех обыграл, потому что его партнеры были плохие игроки. Проигрыш всех не превышал трех рублей. Белинский сказал Некрасову:

— С вами играть опасно, без сапог нас оставите!

По уходе Белинского и Некрасова В. П. Боткин начал ораторствовать. Он считался в кружке за тонкого ценителя всех изящных искусств. Боткин развивал мысль, что такую реальность в литературе нельзя допускать, что она зловредна, что обязанность литературы развивать в читателях эстетический вкус и т. п.

Перешли и к внешности автора, подтрунивали над его несветскими манерами, находили, что его литературная деятельность низменна.

Некрасов переделывал французские водевили на русские нравы с куплетами для бенефисов плохих актеров, вращался в кругу всякого сброда и сотрудничал в мелких газетах.

На другой день, за обедом у нас, у Белинского с Боткиным произошел горячий спор о Некрасове. Белинский возражал Боткину.

— Здоров будет организм ребенка, если его питать одними сладостями! — говорил Белинский. — Наше общество еще находится в детстве, и если литература будет скрывать от него всю грубость, невежество и мрак, которые его окружают, то нечего и ждать прогресса.

Когда коснулись низменной литературной деятельности Некрасова, то Белинский на это ответил:

— Эх, господа! вы вот радуетесь, что проголодались и с аппетитом будете есть вкусный обед, а Некрасов чувствовал боль в желудке от голода, и у него черствого куска хлеба не было, чтобы заглушить эту боль!.. Вы все дилетанты в литературе, а я на себе испытал поденщину. Вот мне давно пора приняться за разбор глупых книжонок, а я отлынивают, хочется писать что-нибудь дельное, к чему лежит душа, ан нет! надо притуплять свой мозг над пошлостью, тратить свои силы на чепуху. Если бы у меня было что жрать, так я бы не стал изводить свои умственные и физические силы на поденщине... Я дам голову на отсечение, что у Некрасова есть талант и, главное, знание русского народа, непониманием которого мы все отличаемся... Я беседовал с Некрасовым и убежден, что он будет иметь значение в литературе. У вас у всех есть недостаток: вам нужна внешняя сторона в человеке, чтобы вы протянули ему руку, а для меня главное — его внутренние качества. Хоть пруд пруди людьми с внешним-то лоском, да что пользы-то от них?!

Боткин стоял на своем, что грубого реализма в литературе нельзя допускать.

Некрасов очень редко бывал у нас в эту зиму, но зато виделся часто с Белинским и стал писать разборы в отделе библиографии «Отечественных записок».

Раз вышла очень смешная сцена. Боткину очень понравился разбор одной книги в библиографии, и он говорил: «Тонко, умно Белинский разобрал книгу, живо, остроумно, прекрасно!» — и при свидании стал хвалить Белинскому его разбор.

— Находите, тонко, остроумно я написал? — спросил его Белинский.

— Прелестно, изящно! — отвечал Боткин.

Белинский рассмеялся и сказал:

— Передам вашу похвалу Некрасову, это он разобрал книгу [7].

В эту зиму Панаев познакомился где-то с Маркевичем, приехавшим в Петербург делать себе карьеру. Он был замечательно красив собой и сознавал это. О литературе тогда он и не помышлял, все его помыслы были сосредоточены на том, чтобы попасть в высший светский круг. Кроме красивой наружности, Маркевич имел светскую полировку. Его взяла под свое покровительство одна придворная старушка, Потемкина, игравшая видную роль в аристократическом кругу, и Маркевич сделался бальным танцором, получал приглашения на балы в высшем обществе. Ему страшно хотелось попасть на бал к княгине Белосельской; на ее балах всегда присутствовали государь и наследник и самое избранное аристократическое общество. Маркевич часто бывал у Панаева и рассказывал ему о своих успехах в светском кругу. Он прибежал, весь сияющий, чтобы показать ему пригласительный билет на бал от Белосельских. В день бала он спозаранка приехал к нам в бальном туалете и поминутно посматривал в окна — начинается ли приезд экипажей. Мы жили против дома князей Белосельских. Увидав карету какого-то посланника, он решил, что теперь может тоже сесть в наемную карету и переехать улицу, стал натягивать перчатки, и вдруг, о ужас! одна перчатка лопнула. Его школьный приятель, принимавший большое участие в успехах Маркевича в светском кругу, поскакал за перчатками, а Маркевич страшно волновался и, чуть не плача, глядел в окно и с ужасом говорил: «Боже мой, такая вереница экипажей уже стоит на

улице, и мне придется целый час сидеть в карете, дожидаясь очереди». И точно, долго пришлось Маркевичу ждать, когда дошла до него очередь.

Денежные средства его были очень ничтожные для светского молодого человека, и я не знаю, откуда он их добывал. Впрочем, его школьный приятель очень был богат, сам не порывался в высший круг и всей душой желал, чтобы его друг сделал себе блестящую карьеру по службе и в высшем кругу. Но вскоре его друг уехал на Кавказ и там был убит. Маркевичу не удалось себе сделать карьеру в Петербурге, он переехал в Москву, служил у генерал-губернатора Закревского, сделался домашним человеком в его семействе и вращался в высшем московском кругу. Но и в Москве ему не удалась служебная карьера, и тогда уже он сделался литератором [8].

Белинский часто начал прихварывать, очень тяготился своим одиночеством и раз сказал мне:

— Право, околеешь ночью, и никто не узнает! Мне одну ночь так было скверно, что я не мог протянуть руки, чтобы зажечь свечу.

У Белинского не было прислуги, дворник утром убирал ему комнаты, ставил самовар, чистил платье. Я посоветовала ему жениться, потому что видела в нем все задатки хорошего семьянина. Но Белинский мне на это отвечал:

— А чем я буду кормить свою семью? Да и где я найду такую женщину, которая согласилась бы связать свою участь с таким бедняком, как я, да еще хворым? Нет, уж придется мне околеть одинокому!..

Раз Белинский пришел обедать к нам, и я так хорошо изучила его лицо, что сейчас же догадалась, что он в очень хорошем настроении духа, и не ошиблась, потому что он мне объявил, что получил утром письмо из Москвы от неизвестной ему особы, которая интересуется очень его литературной деятельностью.

— Вот и моей особой заинтересовалась женщина, — сказал Белинский.

Я поняла, что это намек на тех лиц кружка, которые трезвонят о своих победах.

— Я никак не ожидал, чтобы мои статьи читали женщины; а по письму моей почитательницы я вижу, что она все их прочла.

— Будете ей отвечать? — спросила я.

— Непременно!

Переписка Белинского с незнакомой ему особой очень заинтересовала его кружок; об этом толковали между собой его друзья и приставали к нему с расспросами. Я всегда догадывалась по лицу Белинского, когда он получал письмо из Москвы.

Приехал в Петербург Лажечников. Белинский еще в Москве хорошо был с ним знаком и привел его к нам обедать[9].

Я очень удивилась, увидя Лажечникова уже седого и почтенных лет. Хотя он был бодрый и живой старик, но все-таки, по тем рассказам о нем, какие я слышала от некоторых литераторов в нашем кружке, я не могла поверить, чтобы Лажечников не прекращал своих ловеласовских похождений. В. П. Боткин привез из Москвы новость о нем, что будто бы Лажечников соблазнил какую-то молоденькую барышню, и она бежала из родительского дома.

Белинский на неделю[10] поехал в Москву с Лажечниковым, чтобы немного отдохнуть от работы. Он вернулся оттуда веселым, бодрым, так что все удивились, но я больше всех была поражена, когда Белинский мне сказал:

— Я вас удивлю сейчас, я послушался вашего совета и женюсь!.. Не верите?.. Я ведь затем и поехал в Москву, чтобы все кончить там.

Я догадалась, что невеста Белинского была та особа, с которой он долго переписывался.

— Пожалуйста, только никому не выдавайте моего секрета, начнут приставать ко мне с расспросами. Я знаю, что в нашем кружке любят почесать язычки друг о друге. Пусть узнают тогда, когда женюсь... Как все приготовлю здесь, она приедет — на другой день повенчаемся. Я вас прошу закупить, что нужно для хозяйства, все самое дешевое и только самое необходимое. Мы оба пролетарии... Моя будущая жена не молоденькая и требований никаких не заявит. Теперь мне надо вдвое работать, чтобы покрыть расходы на свадьбу.

Веселое настроение Белинского, его охлаждение к преферансу, наши совещания о хозяйственных покупках и записки, которые он мне присылал иногда поздно вечером такого содержания: «Умираю с голоду, пришлите что-нибудь поесть; так заработался, что обедать не хотелось, а теперь чувствую волчий аппетит», — все это породило

в кружке сплетни на мой счет. Делались тонкие намеки, что Белинский с некоторых пор изменился, что сейчас видно, когда человек счастлив взаимностью и прочее. Я посмеивалась в душе над предположением друзей, но когда, — конечно, из дружбы, — довели до сведения Панаева о моем особенном расположении к Белинскому, то я возмутилась, тем более что это же лицо с наслаждением выдавало все секреты Панаева мне, думая расположить меня к себе, но достигало совершенно противоположного результата, потому что я из многих фактов уже видела, что нельзя верить в дружбу, что приятели Панаева в глаза ему поощряют его слабости, а за глаза возмущаются ими и, выманив у него его тайны, разглашают их всюду. Вследствие этого я держала себя довольно далеко от всех и не пускалась ни с кем в откровенности.

Я сообщила Белинскому о сплетнях его друзей.

— Вот охота вам волноваться о таких пустяках, — отвечал он. — Сами в дураках останутся. Какой это народ странный... нет, что ли, у них других интересов, как заниматься сплетнями, точно простые бабы!

Для свадьбы у Белинского все было готово, он ждал только приезда невесты. Белинский венчался в церкви Строительного училища, на Обуховском проспекте, близ 1-й роты Измайловского полка [11]. Часов в 10 утра он пришел известить меня, что невеста его приехала, и просил, чтоб я отвезла ее в церковь к 12 часам. Панаева ошеломила просьба Белинского приехать в церковь и захватить кого-нибудь еще в свидетели из общих коротких знакомых. «Кто же женится?» — спросил Панаев. «Я, я женюсь!» — смеясь, ответил Белинский. Когда Панаев начал приставать с расспросами, то Белинский ему ответил: «В церкви увидите!» Белинский не мог нанять другую квартиру и остался на своей холостой [12]. Я пришла к Белинскому и познакомилась с его невестой. Он шутя говорил: «Задал я теперь своим приятелям работу, без конца будут судить и рядить о моей женитьбе».

Панаев не утерпел и вместо одного свидетеля привез в церковь троих, хотя Белинский и просил его до завтра не объявлять никому о его женитьбе. В церкви Белинский был весел, но когда я возвращалась домой в карете с молодыми, то он сделался молчалив, у него заболела грудь; но боль скоро прошла, и он опять повеселел. Молодые непременно хотели, чтоб я выпила с ними чаю.

Молодая села разливать чай, а Белинский, расхаживая по комнате, шутливо говорил:

— Вот я теперь женатый человек, все свои дебоширства должен бросить и сделаться филистером.

Смешно было слышать, что Белинский говорил о своих дебоширствах; я в том же шуточном тоне отвечала, что ему надо бросить разорительную игру в преферанс.

— Ну, уж наставление мне читаете, как почтенная посаженая мать! — смеялся он.

Белинский всегда писал стоя у конторки; долго сидеть он не мог, потому что у него тотчас разбаливалась грудь. Когда он подошел к конторке и взялся за перо, я его спросила, неужели он хочет писать.

— Не хочу, а должен, в типографии ждут набора, терпеть не могу, когда за мной остановка. Находите, что молодому неприлично работать? Успокойтесь, у меня жена не девочка, не надуется на меня за это. Вы разговаривайте, мне еще веселее будет писать.

Но Белинскому не удалось заняться: кухарка, нанятая мной для молодых, так начадила в кухне, которая была возле, что Белинский закашлялся, бросил работу, и мы удалились в другую комнату, — надо было отворить форточку и двери в сени, чтобы уничтожить чад.

Белинский, смеясь, сказал мне:

— Вами рекомендованная кухарка, должно быть, нарочно начадила, найдя тоже, что молодому неприлично в день свадьбы работать.

Женитьба Белинского произвела сильное волнение в кружке; все были поражены такой новостью, некоторые его приятели даже обиделись на то, что Белинский скрыл от них свое намерение. Разговорам об этом не было конца.

Теснота квартиры, частая перемена дешевых кухарок и всякие хозяйственные мелочи, неизбежные в том хозяйстве, где должны беречь каждую копейку, волновали Белинского, и он иногда задавал мне вопрос: «Да неужели нельзя найти порядочную кухарку, не пьяницу, не крикунью-грубиянку?»

Я ему растолковывала, что хорошая кухарка будет дорога, да и не станет спать у самой плиты и стряпать в полутемной кухоньке.

— А-а!.. значит, я должен помириться с своей домашней обстановкой! Нечего мне и волноваться, что в два месяца у нас переменилось восемь кухарок. Теперь на

их грязь и грубости я буду смотреть спокойно, только приму меры, буду затыкать уши канатом, когда начнется руготня в кухне.

Через год у Белинского родилась дочь, расходы увеличились. На лето он переехал на дачу около Лесного или куда-то недалеко от города. Что это была за дача! Изба, перегороженная не до потолка, в которой с одной стороны была кухня, а с другой — его комната, вроде чуланчика, где он работал и спал. В жаркие дни можно было задохнуться от духоты на этой даче, а в дождливые — продрогнуть до костей от сырости и сквозного ветра, дувшего из щелей пола и из стен.

Те литераторы, которые не видели Белинского в этой обстановке, только и могут писать в своих воспоминаниях о нем, что в нем развилась чахотка не от лишений, а от его нервного характера. В кружке близких его друзей были некоторые лица с хорошими средствами, но им в голову не приходило прийти на помощь Белинскому, когда он нуждался, а Белинскому также не приходило в голову обращаться к ним [13]. Если ему не хватало денег, чтобы дотянуть месяц, он всегда сначала осведомлялся у меня: «Есть ли у Панаева лишние деньги?» — и, заняв, спешил отдать свой ничтожный долг, как только получал сам деньги за работу.

Я имела также случай видеть некоторых лиц, не принадлежавших к литературному кружку Белинского, например, Булгарина, на которого большинство литераторов смотрело как на прокаженного, гнушаясь с ним кланяться на улице, а тем более быть с ним в одном обществе.

Я была очень дружна с женой Межевича, которую знала еще в девушках; она была очень хорошенькая, образованная и умная и была не пара Межевичу, человеку доброму, но без всяких принципов. Межевич давно был влюблен в мою приятельницу и делал ей предложение, когда жил в Москве. Через год по приезде своем в Петербург, устроившись редактором «Полицейской газеты» [14], он во второй раз сделал предложение и писал своему московскому другу, что если получит отказ от давно любимой им девушки, то застрелится. Это письмо друг Межевича показал моей приятельнице, у которой был свой несчастный роман, и она, не рассчитывая более

на личное свое счастье и не желая быть причиной смерти Межевича, вышла за него замуж.

Приезд Белинского в Петербург и его непосредственное сотрудничество в «Отечественных записках» обидели Межевича; он не мог рассчитывать на работу в журнале, как прежде, и перебежал к Булгарину. В доме Межевича мне случилось встретить Булгарина. Он считал своею обязанностью являться с поздравлением к жене Межевича в торжественные дни года. Черты его лица были вообще непривлекательны, а гнойные, воспаленные глаза, огромный рост и вся фигура производили неприятное впечатление. Голос у него был грубый, отрывистый; говорил он нескладно, как бы заикался на словах.

Мне рассказывал Межевич, что Булгарин в своей семейной жизни был точно чужой, как хозяин дома не имел никакого значения, сидел всегда у себя в кабинете. Его жена немка и ее тетка распоряжались по своему произволу домом, детьми, деньгами. Булгарину давалась ничтожная сумма на карманные расходы, а все доходы от газеты от него отбирались. Булгарин тщательно скрывал от жены свои мелкие доходцы, получаемые от фруктовых магазинов, лавочек и винных погребов, восхваляемых им в своей газете.

У той же моей приятельницы я встречала Строева. Она, зная его печальную семейную обстановку, относилась к нему с участием. Строев жил уже несколько лет в гражданском браке с необразованной, грубой по натуре женщиной, имел от нее несколько человек детей и, несмотря на все безобразные сцены, какие ему делала его сожительница, не бросал ее.

Строев был хорошо воспитан и образован, говорил по-французски, как парижанин, манеры его были изящные, и он умел занять интересным разговором. Строев страшно нуждался и брал всякую работу, только бы добыть денег на содержание своей семьи. А известно, что если знают, что человек нуждается в работе, то его прижимают, и Строев переводил книги для книгопродавцев за баснословно дешевую цену.

В доме Межевича при мне возникла мысль издавать журнал «Пантеон». Это придумали Межевич, Строев и Аполлон Григорьев [15].

У их приятеля Песоцкого были деньги, они и подбили его издавать журнал.

Песоцкий был человек совсем неподготовленный к литературной деятельности, даже вовсе необразованный, но ему лестно было видеть свое имя на обертке журнала, притом же ему наобещали большие барыши. Программа «Пантеона» исключительно была посвящена сценическому искусству. Журналом редижировали Межевич, Строев и еще кто-то, а Песоцкий только платил деньги. При выпуске первого номера «Пантеона» задан был торжественный обед в ресторане, где пировали все сотрудники и посторонние гости, говорились речи, провозглашали тосты за Песоцкого и качали его на руках. Но подписка на журнал была плохая, а расходов на него много. Песоцкий был щедр, скоро ухлопал все свои деньги и передал «Пантеон», кажется, Кони.

Григорьев доверял все свои сокровенные тайны жене Межевича. Он платонически был влюблен в общую их знакомую даму, находил в ней сходство с Офелией, и когда сходился с ней у Межевичей, то садился на скамейке у ее ног, декламировал монологи из «Гамлета» и посвящал ей свои стихи. Только Григорьев и мог находить в своем предмете сходство с Офелией. Это была женщина лет под тридцать, очень полная, с круглым красивым лицом, с светлыми жидкими волосами. Впрочем, у Григорьева была очень сильная фантазия. Он вдруг из западника превратился в ярого славянофила, надел красную рубаху, плисовую поддевку и в этом костюме садился в первые ряды кресел в Александринском театре, обращая на себя всеобщее внимание[16].

У моей приятельницы я познакомилась также с Варламовым, композитором романсов. Моя приятельница знала его самого и его жену в Москве до их женитьбы. Варламовы почему-то переселились в Петербург на житье. У Варламова были уроки пения в богатых домах, но он очень манкировал уроками. Я редко встречала супругов, которые так были бы сходны по характеру: оба добрые, готовые всегда помочь нуждающимся, когда у них были деньги. Они не думали о завтрашнем дне, а наслаждались жизнью при всяком удобном случае. Если Варламов получал деньги за уроки или за продажу своего нового романса, то задавал пир горой, а вскоре затем приходил к жене Межевича мрачный, потому что его жена и дети сидят без обеда, лавочники не отпускали более в кредит провизии, требуя уплаты долга.

— Ехали бы домой, сочинили бы романс, продали бы его, вот и будут у вас деньги, — советовала Варламову моя приятельница.

Варламов ударял себя по лбу и просил ее выбрать коротенькие стихи какого-нибудь поэта. С книгой он отправлялся в зало, садился за фортепиано и сочинял музыку. Домой он боялся идти, опасаясь атаки лавочников. Через некоторое время Варламов являлся в комнату, где мы сидели, и пел новый свой романс, уже положенный на ноты. Варламову было тогда лет под 50, голоса у него уже не было никакого, а в молодости, говорили, у него был очень приятный тенор. Варламов торопливо прощался, спеша в музыкальный магазин запродать свой романс. Через три часа муж и жена Варламовы приезжали уже в коляске с корзиной вина и приглашали Межевичей на вечер.

Когда моя приятельница вышла замуж за Межевича, я предполагала с огорчением, что она непременно должна раскаяться в том, что связала свою судьбу с Межевичем, но вышло наоборот. Она страшно мучилась, что погубила его жизнь и ему пришлось жить с такой болезненной женой. Моя приятельница через месяц после свадьбы захворала и в продолжение пяти лет не выходила из своей комнаты, испытывая страшные физические и нравственные страдания. Ее хорошенькое личико было неузнаваемо от болезни, да и весь ее организм разрушился; доктора уверяли ее, что она страшно золотушна и петербургский климат вызвал болезнь наружу. У моей приятельницы была необыкновенная сила воли; в присутствии мужа она скрывала свои страдания, всегда была кротка и весела; только мне она доверяла, как нетерпеливо ждет смерти, чтобы освободить своего мужа. Она упрашивала его, чтобы он положил ее в больницу, но Межевич и слышать не хотел об этом. Он чувствовал, что пропадет без жены, потому что она не раз выпутывала его из критического положения. Около Межевича всегда юлила какая-нибудь подозрительная личность, прикидываясь его закадычным другом, брала на честное слово на три дня у него деньги из подписки на «Полицейскую газету», тысячи две, и исчезала. Межевич приходил в отчаяние, которым и ограничивались его меры к пополнению кассы. Тогда его жена писала в Москву к своим знакомым, прося в долг денег, пополняла кассу, а сама день и ночь переводила романы и

всякую всячину для книгопродавцев и уплачивала долг. Бывало, придешь к ней, она едва сдерживает стоны от боли в ногах, но работает и говорит в отчаянии: «Только бы мне уплатить последние деньги своего долга, пусть тогда приходит смерть, я ее радостно встречу».

Зачастую Межевич засиживался в гостях и не являлся к 12 часам ночи домой, чтобы проредактировать и сдать в типографию номер газеты. Тогда его больная жена исполняла обязанности редактора.

Межевич нередко получал выговоры, и его даже сажали под арест за разные недосмотры в «Полицейской газете». Раз его посадили под арест по следующему случаю. Какой-то шутник принес объявление о сбежавшем у него бульдоге и описал приметы, очень схожие с личностью одного тогдашнего значительного лица в администрации, и приложил адрес дома, где это лицо занимало казенную квартиру, прибавив: «Кто доставит сбежавшего бульдога, тот получит приличное вознаграждение».

Через несколько месяцев Межевича снова посадили под арест, но уже на две недели, за то, что он в официальном известии напечатал вместо «его высочество великий князь Михаил Павлович» просто «князь Михаил Павлович». Межевич подал запрос в канцелярию оберполицеймейстера: «кому передать редактирование газеты?», и получил ответ: «тому же лицу, кто редактировал газету, когда он три дня сидел под арестом». Так как редактировала жена Межевича, то и теперь, в течение двух недель, она распоряжалась газетой и не сделала ни одного промаха. Я стала ее звать «редакторшей». Тогда казалось смешным и диким, чтобы женщина могла носить такое название. Межевич сделался врагом Панаева после того, как Панаев напечатал рассказ «Литературная тля», где, по правде сказать, он не поцеремонился и описал слишком верно наружность Межевича, даже его привычку часто поправлять очки, и разные факты из его частной и литературной жизни [17]. Но эта вражда мужей не мешала нашей дружбе. Впрочем, и впоследствии, когда издавался «Современник», я не входила в литературные распри и не прекращала своего знакомства с сотрудниками «Отечественных записок», с которыми была знакома до «Современника», — конечно, если только эти сотрудники не занимались сплетнями, перенося их из одной редакции в другую.

После смерти жены Межевича, само собою разумеется, я уже не видала сотрудников Булгарина и самого Межевича, который через несколько месяцев сам умер от холеры. И в какой печальной обстановке! Девица, с которой он свел интрижку, увидав, что ночью у Межевича началась холера, вместо того чтобы разбудить прислугу, которая находилась далеко от комнат, и послать за доктором, взяла бумажник с деньгами, часы, серебро и убежала через парадный ход. Утром прислуга нашла Межевича уже полумертвого, и докторская помощь оказалась бесполезной. Да и кстати покончил свое существование Межевич, потому что после смерти жены нашелся такой человек, который из дружбы взялся заведовать хозяйственною частью «Полицейской газеты» и типографиею, набивал себе карман, а долги свалил на умершего Межевича. Этот господин, как бы в награду за свои способности к наживе, пошел в гору по службе и разбогател.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пешель. — Полина Виардо. — Бозио. — Фестиваль у Тургенева. — Белинский о крепостном праве. — Поездка за границу. — Гарибальди. — Бакунин.

В сороковых годах состав итальянской оперы в Петербурге был замечательный; в ней пели знаменитые европейские певцы: Рубини, Тамбурини, Лаблаш; хотя их блестящее сценическое поприще уже было на закате, но все-таки они своим пением доставляли большое наслаждение.

Тогда в партер не ходили женщины; но нашлась одна пионерка, которая своим появлением производила большое волнение в театре; из лож и в партере все смотрели на нее в бинокли, и даже гул пробегал по зрительной зале, так как каждый делал свое замечание о смелой особе. Это была барышня Пешèль, бывшая институтка Смольного института, генеральская дочь. Пешель величаво проходила к своему креслу третьего ряда, как бы гордясь своей храбростью. Наружность ее шла к роли пионерки: она была высокого роста, довольно полная, с резкими чертами лица и сильная брюнетка. Она была русская, но тип ее лица был иностранный. Вообще Пешель проявила себя пионеркой не в одном партере

итальянской оперы, а и в образе своей жизни. Тогда русские женщины боялись афишировать себя дамами полусвета и всегда старались запастись мужем. Пешель хотя жила с матерью, но вдова-генеральша играла такую ничтожную роль в салоне своей дочери, что все равно как бы ее не было. Пешель задавала обеды, вечера с итальянскими второстепенными певцами и певицами. На ее обеды и вечера собиралось много светского мужского общества. Всех интересовало знать: кто дает ей средства жить так богато? Кроме пенсии, вдова и ее дочь ничего не имели. Но Пешель умела скрывать имя своего покровителя. Когда она начала сходить с ума от запутанных своих денежных дел, то и высказала имя своего покровителя, удивив всех, потому что он был важное чиновное лицо, уже имевшее внучат и постоянно проповедовавшее строгую нравственность в семейной жизни. Панаев познакомился с ней через своих приятелей, и В. П. Боткин приставал к Панаеву, чтобы он познакомил его с Пешель.

Приехав с обеда Пешель, которая угостила их трюфелями и шампанским, Боткин находился в самом приятном настроении духа, а это всегда выражалось тем, что он склонял свою лысую голову набок и умильным тоном говорил:

— Милая женственная натура! Общество такой женщины доставляет эстетическое наслаждение, как-то освежает тебя, нет этой сухоты, прозы, какую выносишь после общества добродетельных женщин. Ты, Панаев, счастливчик, что она оказывает тебе особенное внимание.

Тогда писатели выказывали большое сочувствие к женскому вопросу тем, что старались опоэтизировать падших женщин, «Магдалин XIX века», как они выражались.

Появилась в итальянской опере примадонна Виардо, которая сделалась любимицей публики. Такого крикливого влюбленного, как Тургенев, я думаю, трудно было найти другого. Он громогласно всюду и всех оповещал о своей любви к Виардо, а в кружке своих приятелей ни о чем другом не говорил, как о Виардо, с которой он познакомился[1]. Но в первый год знакомства Тургенева с Виардо из рассказов его и других лиц, которые бывали у Виардо, видно было, что она не особенно была внимательна к Тургеневу. В те дни, когда Виардо знала, что у нее будут с визитом аристократические посетители,

Тургенев должен был сидеть у мужа в кабинете, беседовать с ним об охоте и посвящать его в русскую литературу. На званые вечера к Виардо его тоже не приглашали. После получения наследства[2] Тургенев приобрел право равенства с другими гостями в салоне у Виардо. Зато сначала как дорожил Тургенев малейшим вниманием Виардо! Я помню, раз вечером Тургенев явился к нам в каком-то экстазе.

— Господа, я так счастлив сегодня, что не может быть на свете другого человека счастливее меня! — говорил он.

Приход Тургенева остановил игру в преферанс, за которым сидели Белинский, Боткин и другие. Боткин стал приставать к Тургеневу, чтобы он поскорее рассказал о своем счастье, да и другие очень заинтересовались. Оказалось, что у Тургенева очень болела голова, и сама Виардо потерла ему виски одеколоном. Тургенев описывал свои ощущения, когда почувствовал прикосновение ее пальчиков к своим вискам. Белинский не любил, когда прерывали его игру, бросал сердитые взгляды на оратора и его слушателей и, наконец, воскликнул нетерпеливо:

— Хотите, господа, продолжать игру или смешать карты?

Игру стали продолжать, а Тургенев, расхаживая по комнате, продолжал еще говорить о своем счастье. Белинский поставил ремиз и с сердцем сказал Тургеневу:

— Ну, можно ли верить в такую трескучую любовь, как ваша?

Любовь Тургенева к Виардо мне тоже надоедала, потому что он, не имея денег абонироваться в кресла, без приглашения являлся в ложу, на которую я абонировалась в складчину с своими знакомыми. Наша ложа в третьем ярусе и так была набита битком, а колоссальной фигуре Тургенева требовалось много места. Он бесцеремонно садился в ложе, тогда как те, кто заплатил деньги, стояли за его широкой спиной и не видали ничего происходившего на сцене. Но этого мало; Тургенев так неистово аплодировал и вслух восторгался пением Виардо, что возбуждал ропот в соседях нашей ложи.

Виардо отлично пела и играла, но была очень некрасива, особенно неприятен был ее огромный рот. В типе ее лица было что-то еврейское; хотя Тургенев клялся всем, что она родом испанка, но жадность к деньгам в Виардо выдавала ее происхождение. За кулисами очень

скоро сделалось это известно. Умерла одна бедная хористка; после нее осталась мать-старушка и маленькие дети, которых умершая кормила своим трудом. Все итальянские певцы и певицы пожертвовали на похороны несчастной труженицы, даже хористы и хористки из своего скудного жалованья дали денег, сколько кто мог, одна Виардо не дала ни гроша. Она также отказалась даром петь в спектакле или концерте, не помню хорошо, который давался в пользу хора и в которых всегда первые итальянские певцы и певицы считали как бы обязанностью принять участие, чтобы сделать полный сбор. Жадность Виардо сделалась известной всей публике, посещавшей итальянскую оперу. Князь Воронцов-Дашков давал у себя вечер и пригласил итальянских певцов; тогда была мода давать вечера с итальянскими певцами. Князь Воронцов-Дашков был между аристократами самым видным лицом. Никто из итальянских певцов не подумал, принимая приглашение, предъявлять ему условия, одна Виардо письменно заявила, что не будет петь менее, как за 500 рублей, и получила ответ, что князь согласен заплатить ей эти деньги. Хозяин и хозяйка очень любезно разговаривали со всеми итальянскими певцами; но с Виардо ограничились поклоном; как только она окончила свое пение, то лакей поднес ей на подносе пакет с деньгами, и ее не пригласили остаться на вечере, как других артистов. Это происшествие быстро разнеслось по Петербургу, все удивлялись бестактности Виардо, да, я думаю, и она сама очень досадовала, потому что все, кто пел на вечере у князя Воронцова-Дашкова, получили подарки тысячи по две. Тургенев божился, клялся, что виноват во всем муж Виардо, забыв, что прежде сам восхищался, как Виардо умела поставить себя в такую независимость относительно мужа, что он побаивался ее и не смел вмешиваться в ее денежные дела.

Не припомню, через сколько лет Виардо опять приехала петь в итальянской опере[3]. Но она уже потеряла свежесть своего голоса, а о наружности нечего и говорить: с летами ее лицо сделалось еще некрасивее. Публика принимала ее холодно. Тургенев находил, что Виардо гораздо лучше стала петь и играть, чем прежде, а что петербургская публика настолько глупа и невежественна в музыке, что не умеет ценить такую замечательную артистку[4].

Другая итальянская певица, Бозио, даже поплатилась жизнью за свою скупость. Она также производила большой фурор в итальянской опере; ей также подносили ценные подарки. Кроме того, она получила множество бриллиантов и всяких драгоценностей от одного важного старика, графа Орлова, который влюбился в нее и вел себя, как мальчишка. Если Бозио сидела в театре в ложе, то старик не смотрел на сцену, а не сводил глаз с своего кумира, делал ей мимические знаки, прикладывал руку к губам, посылая ей поцелуи, и т. п. Бозио кокетливо ему улыбалась. Впрочем, как ей было не улыбаться такому важному и щедрому старичку, который почти каждое утро, посещая ее, преподносил ей большую коробку конфект, где только сверху были конфекты, а внизу лежало много русского золота, или нитка жемчуга, или нитка бриллиантов. Для Бозио ничего не значило потерять 5 или 6 тысяч, но она ни за что не хотела лишиться их и, больная, постом поехала в Москву в сильный мороз, чтобы дать там два или три концерта. Доктор предупреждал ее, что она рискует заболеть, но она не послушалась и поплатилась жизнью, получив во время поездки воспаление в легких. После смерти Бозио ее супруг сделал выгодную аферу, распродав все ее вещи по дорогой цене. Поклонники Бозио раскупали ее имущество нарасхват, и один мой знакомый, большой ее поклонник, но небогатый человек, купил сломанную гребенку Бозио за десять рублей и очень сердился, когда я доказывала ему, что аферист, муж Бозио, продал ему сломанную свою гребенку или ее горничной.

Как-то раз я сказала Белинскому, в критическую минуту его денежного затруднения, отчего он не займет денег у своего приятеля Анненкова, у которого был капитал. Белинский улыбнулся и ответил:

— Какая вы наивная, право! Разве не видите, что он русский кулак!

Тогда я указала на В. П. Боткина.

— Покорно благодарю, тоже придумали; душу всю вымотает своими разговорами, что он нуждается в деньгах. Нет, уж я лучше буду иметь дело с ростовщиком, чем с кем-нибудь из них. Ростовщику дал жидовские проценты — и конец, а тут еще считай себя обязанным.

— Хотите, я как бы от себя скажу им, что вы нуждаетесь в деньгах? — спросила я Белинского.

— Сохрани вас бог! — я тогда рассорюсь с вами навек!.. не надо, я извернусь как-нибудь.

Я все-таки не послушалась Белинского и в присутствии Анненкова и В. П. Боткина сказала, что Белинский очень нуждается в деньгах. «Ах, бедный! тяжело ему теперь жить с семейством!» — заметил сочувственно один, а другой нашел, что Белинскому вовсе не следовало жениться. Я все-таки надеялась, что кто-нибудь из них предложит денег Белинскому, но ошиблась[5]. Панаев сидел без гроша, но занял для Белинского сто рублей; надо было хитрить, чтоб Белинский не узнал, что для него заняты деньги. Я наврала ему, что Панаев получил из деревни деньги, и если Белинский займет у него, то еще сделает этим одолжение, потому что Панаев растратит их, и когда придется платить за квартиру, то денег, наверно, у него не окажется.

— Я слышал, Панаев, что вы разбогатели деньгами? — спросил Белинский.

— Разбогател, да боюсь за себя, что скоро их истрачу.

— Что значит русский помещик! Жгут им руки деньги! Дайте мне взаймы сто рублей на три месяца, я по частям вам уплачу.

Вот к каким хитростям надо было прибегать, чтобы дать Белинскому взаймы сто рублей, и как обрадовался он, когда уплатил свой долг Панаеву.

В сороковых годах наложена была плата на заграничный паспорт в 500 рублей, с целью ограничить число уезжающих русских, стремившихся пожить в Европе. Только те освобождались от этой платы, кто представлял свидетельство от авторитетных докторов, что болезнь их пациента безотлагательно требует лечения заграничными водами. Понятно, что все богатые люди добывали себе легко такие свидетельства и даром получали паспорты. Панаев мечтал давно о путешествии за границу, тем более что его приятели, бывшие в Париже, описывали парижскую жизнь, как магометов рай.

В то время все русские помещики, когда им нужны были деньги, закладывали в Опекунский совет своих

мужиков; то же сделал и Панаев для своей поездки за границу. Программу путешествия он составил обширную: ему хотелось побывать во всех замечательных городах Франции, Италии, Германии и Англии.

Пока совершалась формальная процедура заклада крестьянских душ, некоторые знакомые из кружка уже поехали за границу: Огарев, В. П. Боткин, два знакомых помещика, которые также ехали на деньги заложенных своих крестьян. Оба помещика не знали ни одного иностранного языка и, как маленькие дети, заучивали французские фразы, самые необходимые для разговоров с отельной прислугой. Впрочем, они ехали с В. П. Боткиным, перед которым до смешного благоговели, и каждое его слово для них было законом. Белинский, слушая толки о поездках за границу, сказал:

— Счастливцы, а нашему брату батраку разве во сне придется видеть Европу! А что, господа, если бы какого-нибудь иностранного литератора переселить в мою шкуру хотя бы на месяц — интересно было бы посмотреть, что бы он написал? Уж на что я привык под обухом писать, а и то иногда перо выпадает из рук от мучительного недоумения: как затемнить свою мысль, чтобы она избегла инквизиционной пытки цензора. Чуть увлечешься, распишешься, ка́к вдруг известная тебе физиономия злорадно шепчет на ухо: «Строчи, голубчик, строчи, как попадется мне корректура твоей статьи, я вот тут и поставлю красный крест и обезображу до неузнаваемости твою мысль». Злость берет, делаешь вопрос самому себе: и какой же ты писатель, что не смеешь ясно излагать свою мысль на бумаге? Лучше иди рубить дрова, таскай кули на пристани После такого физического труда хоть спал бы мертвым сном, а после своей работы до изнеможения сил — ляжешь и целую ночь глаз не сомкнешь от разных скверных мыслей. Ведь в самом деле, какую пользу можешь принести своим писаньем, если уподобляешься белке в клетке, скачущей на колесе

Перед отъездом за границу лето мы проводили в Петербурге, и Белинский также[6]. Тургенев жил на даче в Парголове, часто приезжал в город и останавливался у нас, так как не имел городской квартиры.

Тургенев восхищался своим поваром, которого нанял на лето, описывал, какие тонкие обеды он готовил,

когда Тургенев приглашал к себе на дачу своих знакомых.

— Небось графов и баронов угощаете тонкими обедами, а своих приятелей — литераторов не приглашаете к себе, — шутя заметил Белинский.

Тургенев обрадовался этой мысли и пригласил всех к себе на дачу на обед, говоря, что он сделает такой фестиваль, какого мы не ожидаем. День он назначил сам и требовал от всех честного слова, что приедут к нему.

— Мы-то приедем, а вот вы-то не удерите с нами такую штуку, как зимой: созвали нас всех на вечер, а сами не явились домой! — сказал Белинский.

С Тургеневым не раз случалось, что он пригласит приятелей к себе и по рассеянности забудет и не окажется дома.

Белинский сказал, прощаясь, Тургеневу: «Я за день до нашего приезда напишу вам, чтобы вы не забыли своего приглашения».

День был жаркий, когда мы в 11 часов, все шесть человек приглашенных, отправились в коляске в Парголово. Все были утомлены от жары и пыли в дороге. Подъехав к даче Тургенева, все радостно вздохнули и стали выходить из коляски; но всех поразило, что Тургенев не вышел нас встретить. Мы вошли в палисадник и стали стучаться в двери стеклянной террасы. Мертвая тишина царила в доме. У всех лица повытянулись. Белинский воскликнул: «Неужели Тургенев опять сыграл с нами такую мерзкую штуку, как зимой?»

Но его успокаивали, предполагая, что Тургенев, вероятно, не ожидал так рано нашего приезда.

— Да я писал ему, что мы в час будем у него. Это черт знает, что такое! Хоть бы в комнату нас впустили, а то жарились в дороге на солнце и стой теперь на припеке, — горячился Белинский.

Наконец, выскочил из ворот какой-то мальчик, и все на него набросились с вопросами. Оказалось, что барин ушел, а его повар сидит в трактире. Дали мальчику денег, чтобы он сбегал за поваром и привел его отворить дверь. Мальчик убежал, а мы в ожидании уселись на ступеньках террасы. Повар не являлся. Белинский настаивал ехать домой. Мы уехали бы, но кучер нашей коляски не соглашался везти нас обратно, пока не от-

дохнут его измученные лошади. Поневоле надо было сидеть у запертой дачи. Все проголодались; Панаев и двое из приехавших отправились в трактир посмотреть, нельзя ли достать чего-нибудь поесть. Тогда Парголово было настоящей деревней, еду трудно было достать. Панаев вернулся и объявил, что в трактире никакой еды нет, да и такая грязь, что противно кусок хлеба взять в рот. Все еще питали надежду, что Тургенев вернется домой. Я не рассчитывала на обед, понимая, что если повара нет дома, так какой же можно приготовить обед, когда уже был второй час, да и провизии негде достать: в Парголове только рано утром запасались всем у разносчиков, объезжавших дачи. Я пошла в избу к хозяйке дачи, купила у нее яиц, молока, хлеба. В это время явился повар. Белинский накинулся на него с вопросом, где его барин. Повар отвечал, что не знает.

— А обед тебе сегодня заказан барином? — допрашивал Белинский.

— Никак нет-с!

Изумление и испуг выразились на всех лицах. Белинский весь вспыхнул, многозначительно посмотрел на всех и неожиданно разразился смехом, воскликнув:

— Вот так задал же нам фестиваль Тургенев!

Все тоже рассмеялись над комическим своим положением.

— Я-то дурак! — говорил Белинский, — хотел провести приятно день на даче! — и, обратясь к повару, продолжал: — Иди, любезный, отыщи своего барина, где хочешь, и приведи его домой.

Панаев и другие послали повара к священнику, так как Тургенев уже сообщил им, что он ухаживает, не без успеха, за хорошенькой дочерью священника и постоянно там сидит.

Мы пошли на берег озера, в ожидании прихода Тургенева уселись в тени под деревом и любовались природой. Белинский лежал на траве и вдруг произнес:

— Как легко мне дышится, не то что в городе. Какая обида, что и одного дня не мог провести как добрые люди; что-нибудь да взбесит тебя.

Вскоре пришел Тургенев и стал божиться, что мы сами виноваты, что он ждал нас завтра. Его спросили о письме Белинского. Тургенев уверял, что никакого письма не получил.

— Хорошо, — сказал Белинский, — без оправданий обойдемся. Благодарите бога, что вы мне не попались на глаза в первую минуту, я бы вас раскостил на все корки. Теперь нервы мои успокоились, и я не хочу вновь их раздражать. Сейчас уедем в город.

Тургенев начал упрашивать остаться и сказал, что обед уже заказан.

— А в котором часу вы нас накормите? чай, вечером? — спросил Белинский шутливым тоном.

Тургенев отвечал в том же тоне, что его повар всемогущий и обед будет готов к пяти часам. Тургенев употребил все усилия, чтобы занять гостей, и успел в этом; между прочим он предложил стрелять в цель. Все пошли на его дачу, и Тургенев нарисовал углем на задах старого сарая человека и обозначил точкой сердце. Никто из его гостей не умел стрелять. Белинский каким-то образом с первого выстрела попал в самую точку, где было обозначено сердце. Он, как ребенок, обрадовался и воскликнул: «Я теперь сделаюсь бретером, господа!» Но затем стрелял так неудачно, что даже ни разу не попадал в фигуру. Стрельба продолжалась долго; легкий завтрак дал себя почувствовать, и все ждали нетерпеливо обеда. В шесть часов Белинский обратился к Тургеневу с вопросом:

— Что же ваш всемогущий повар не подает обед? Мы голодны, как волки.

По обеду, приготовленному на скорую руку исключительно из старых тощих куриц, нельзя было судить о кулинарном таланте повара. Тургенев, сознавая это, сказал:

— Господа, в воскресенье приезжайте ко...

Но ему не дали окончить фразы, все покатились со смеху, и сам Тургенев присоединился к общему смеху. Белинский едва мог отдышаться от хохота, воскликнув:

— Тургенев, вы наивны, как младенец! Нет! уж старого воробья на мякине не надуете.

Новое приглашение Тургенева всех развеселило, и шуткам не было конца. Тургенев смешил, рассказывая свое положение, когда его повар в испуге прибежал и объявил, что гости приехали к нему на обед, и в каком он страхе шел к озеру.

Погуляв по парку, выпив чаю, мы поехали в город и продолжали смеяться над фестивалем, который нам задал Тургенев [7].

Перед отъездом за границу Панаев находился в очень затруднительном положении с крепостной прислугой, которая энергически протестовала, когда он хотел им дать паспорты с тем, чтобы они шли на места, пока он будет находиться за границей; оброка с них он не требовал. Я упрашивала Панаева дать им всем волю. На меня раздел дворовых произвел такое неприятное впечатление, что я тяготилась видеть около себя крепостных, да и эгоистическое чувство подсказывало мне — избавиться от грубой, ленивой и пьющей прислуги, которая вечно была недовольна, вечно заявляла массу требований. Панаев отпустил на волю всю свою прислугу. Белинский, узнав об этом, сказал Панаеву:

— За это, Панаев, вам отпустится много грехов. Признаюсь вам, всякий раз, как ваш мрачный Андрей отворял мне дверь, я опускал свои глаза долу, чтоб не видеть его озлобленного, протестующего взгляда на свое рабство.

В нашем кружке все считали крепостное право бесчеловечным с гуманной точки зрения, но относились к помещичьей власти пассивно, так как большинство состояло из помещиков. Впрочем, и в интеллигентном обществе России сороковых годов тоже преобладал элемент помещиков. Гуманные помещики старались не входить в близкие отношения с своими крепостными мужиками и имели дело с ними через посредство своих управляющих и старост. В кружке же писателей все были поглощены литературными интересами и общечеловеческими вопросами. Встречались и такие помещики в кружке, которые из гуманности своих воззрений считали долгом иметь непосредственные сношения с своими крепостными мужиками и жили в своих имениях, наезжая только зимой в Петербург. Один из таких гуманных помещиков бывал в кружке литераторов и всегда докторальным тоном ораторствовал о своих многотрудных обязанностях, о невежестве мужика и не без гордости рассказывал свои столкновения с губернской администрацией, которая вмешивалась в его помещичьи права и мешала ему в его предприятиях для блага своих крестьян.

Раз гуманный помещик долго ораторствовал о своей борьбе с чиновниками и сказал:

— Меня утешает одно, что на меня мои мужики смотрят, как на родного их отца, видя, что я пекусь о них, как о своих детях.

— А я не верю в возможность человеческих отношений раба с рабовладельцем! — возразил Белинский. — Рабство такая бесчеловечная и безобразная вещь и такое имеет развращающее влияние на людей, что смешно слушать тех, кто идеальничает, стоя лицом к лицу с ним. Этот злокачественный нарыв в России похищает все лучшие силы для ее развития. Поверьте мне, как ни невежествен русский народ, но он отлично понимает, что для того, чтобы прекратить свои страдания, нужно вскрыть этот нарыв, очистить заражающий, скопившийся в нем гной. Конечно, может, наши внуки или правнуки будут свидетелями, как исчезнет этот злокачественный нарыв: или народ сам грубо проткнет его, или умелая рука сделает эту операцию. Когда это совершится, мои кости в земле от радости зашевелятся!

Лицо Белинского имело при этом какое-то вдохновенное выражение.

Гуманный помещик заметил ему:

— Вы говорите о будущем, а я — о настоящем и считаю себя более компетентным судьей, так как посвятил себя для защиты беспомощного мужика, находящегося в совершенно диком невежестве, иначе из него высосало бы всю кровь уездное крапивное семя.

— А вы не высасываете пот и кровь из своих крепостных? Да что об этом толковать! Позорное рабство никакими красками не прикрасишь.

Гуманный помещик разгорячился и возразил:

— Сейчас видно, что вы, сидя в Петербурге, сплеча рубите все самые сложные общественные вопросы. Без подготовки нельзя дать свободу русскому мужику, это все равно что дать нож в руки ребенку, который едва умеет стоять на ногах, он сам себя порежет.

— Пусть его порежется сам, чем другие пытают его, вырезывая по куску мяса из его тела да еще хвастая, что эту пытку делают для его же блага!

Гуманный помещик быстро встал и дрожащим голосом сказал:

— Вы сегодня в таком раздраженном состоянии, что с вами невозможно ни о чем говорить.

Затем он взял шляпу, простился со всеми и ушел. По его уходе все набросились на Белинского, обвиняя его в резкости. В. П. Боткин начал читать Белинскому нотацию о приличии и уверял, что он не знает

русского мужика так хорошо, как его знает гуманный помещик.

Белинский расхаживал по комнате и вдруг, остановившись, произнес:

А глядишь: наш Лафайет,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей! [8]

— Давно меня мутило слушать этого краснобая-помещика, и я вовсе не сожалею, что оборвал его нахальное хвастовство. Пусть знает, что не всех можно дурачить! Светскости во мне нет, так нечего об этом и разговаривать, господа!

По уходе Белинского приятели долго еще рассуждали о его резкости, и В. П. Боткин предложил завтра же всем сделать визит гуманному помещику.

Я не буду описывать наше продолжительное путешествие от Петербурга до Берлина. Тогда железных дорог не было, и надо было совершить долгий путь на лошадях. Была осень, и Берлин очень походил на Петербург [9]. На улицах, да и везде, большинство публики состояло из военных; за табельдотом в гостинице, где мы остановились, обедало много прусских офицеров, и меня удивило, что все они были точно деревянные, игрушечные солдаты, все на одно лицо: рыжие, рослые, с неподвижным гордым воинственным выражением в лице. Все сидели молча.

В Берлине мы нашли русских знакомых: Огарева и злосчастного помещика Заикина, приятеля В. П. Боткина. Я потом объясню — почему его я назвала «злосчастным».

Они оба пришли обедать с нами. Тогда русские не могли обойтись без шампанского и выискивали всякий предлог выпить его. Наши соотечественники нашли, что надо поздравить нас с благополучным приездом в Берлин. Рыжие офицеры бросали гордые взгляды на наше общество, которое нарушило молчание за столом и оживленно разговаривало.

Помещик Заикин имел несчастие попасть в неприятное дело в Берлине, его не выпускала полиция из города, а попутчик его В. П. Боткин не захотел ждать его и уехал в Париж. Не зная ни слова ни по-немецки,

ни по-французски, злосчастный помещик находился в очень затруднительном положении. Он при первой встрече с Панаевым жаловался на В. П. Боткина, который сам его подбил ехать изучать Европу и бросил в самую критическую минуту. На первом шагу своего изучения Европы Заикин должен был заплатить за свою любознательность 400 талеров. Дело в том, что, не зная прусских законов, помещик пригласил к себе с улицы женщину, и она прожила у него в номере с неделю. Он думал, что за глаза довольно заплатить ей 25 талеров, но она потребовала сто. Нахальство немки озлило Заикина, и он выгнал ее вон, а она принесла жалобу полиции, требуя уже по закону себе 400 талеров, представив свидетелей, что прожила в номере у русского путешественника с неделю. Эти 400 талеров обеспечивали прокормление будущего ребенка, который мог родиться у этой женщины. Помещик не хотел платить, но все-таки с него взыскали 400 талеров, да 100 талеров ему стоили адвокат и переводчик.

— Другу и недругу буду отсоветовать ступать ногой в этот Берлин, — говорил злосчастный помещик. — Это дневной грабеж, какая это Европа, да у нас в Москве ничего подобного нет! Да мне не так жалко 500 талеров, как жалко то, что я так верил в гуманность В. П. Боткина, перед которым преклонялся, а он бросил меня, спеша в Париж, куда мы вместе должны были ехать; это не гуманно-с!

В Берлине лежал в постели поэт Сатин;[10] ему делали операцию в ноге, которая у него давно болела. Через Огарева он просил нас навестить его, и мы поехали к нему. У больного мы застали сидящих двух дам, с которыми он нас познакомил. Молодая дама была жена Огарева, а худенькая, маленькая, живая старушка еще с блестящими глазами и с коротенькими, полуседыми волосами — была знаменитая Беттина, друг Гете.

Беттина мне сказала, что она очень рада познакомиться еще с одной русской женщиной, которых она очень полюбила, узнав теплоту их сердца и отзывчивость к добрым делам. Беттина без умолку говорила о своем благотворительном обществе, которое она учредила в Берлине. Она говорила очень скоро, мешая французский язык с немецкими фразами и пересыпая их словами: баронесса, графиня и принцесса, которые состояли

членами ее благотворительного общества. Она передавала нам, как представлялась прусской королеве, прося ее быть покровительницей ее общества, и восхваляла щедрость Огаревой, которая пожертвовала на лотерею ее общества дорогую свою турецкую шаль и бриллиантовую брошь. Из слов Беттины было видно, что берлинские баронессы и принцессы не очень-то расщедрились на пожертвования вещей для лотереи и что щедрость русской барыни всех поразила. Беттина несколько раз вставляла фразу: «Мой друг Гете». Беттина с Огаревой торопились в заседание благотворительного общества, и Беттина приглашала меня ехать с ними; когда я заметила, что я не член этого общества, то она мне ответила: «Это ничего не значит, вы пожертвуйте какую-нибудь из ваших бижу для нашей лотереи и будете иметь право находиться в нашем заседании». Но я не имела никаких бижу для пожертвования, да и для меня не могло быть интересным сидеть в обществе берлинской аристократии.

Сатин восхищался щедростью Огаревой и говорил, что она делает большой фурор в аристократических берлинских салонах своим умным и живым разговором, что Беттина в восторге от нее и удивляется, как многосторонне образованны русские женщины.

Огарева не была красива, но в ее глазах было какое-то особенное выражение пытливости и пылкости, когда она разговаривала.

Огарева на другой день мне сделала визит, но не застала меня дома. Я сочла за лучшее оказаться невежливой, чем заводить знакомство с светской барыней, и не отдала ей визита. Однако мне пришлось все-таки еще раз встретиться с ней в театре.

В иностранных театрах можно брать по два места в ложе, и случилось так, что другие два места заняла Огарева и ее кавалер, какой-то прусский барон, который указывал нам на сидящих в ложах берлинских аристократов и знакомил с их биографиями. Огарева рассказывала мне, как она познакомилась с Беттиной и как не может добиться от этой болтливой старушки никаких сведений о ее дружбе с Гете, до такой степени она вся отдалась своему благотворительному обществу. «Приезжайте завтра вечером ко мне, — сказала Огарева, — у меня будет Беттина, и кстати увидите высшее берлинское общество». Но я на другой день уехала из Берлина.

Пробыв немного в Дрездене и Брюсселе, мы отправились в Париж, куда тянуло Панаева. В нашем вагоне поместился какой-то высокий молодой итальянец. Черты его лица были неправильны, но очень выразительны: его черные глаза сидели глубоко и имели мягкое выражение. Мы разговорились с ним, и он, узнав о нашем намерении ехать в Италию, стал описывать эту страну, и глаза его зажглись огнем. Панаев коснулся политического положения Италии; тогда итальянец преобразился, его лицо дышало гневом, глаза метали искры, и он сказал:

— Вся Европа заключила, что итальянский народ до того развращен, что никогда не освободится от иноземного тиранства; но она ошибается; Италию продали патеры и развращенный класс сановников, но как они ни стараются поработить в народе любовь к своей родине подкупом и тиранством, он еще покажет всем, что в нем есть сила сбросить с себя иноземное и патерское иго!

Панаев его спросил, какой город его родина.

— Вся Италия! Я не имею постоянного пребывания, а кочую по всей Италии, да и повсюду в Европе. Я недавно вернулся из далекого путешествия и еду на короткое время в Париж, и еще не знаю, где буду через месяц.

Мне попала, по моей неосторожности, в глаз искра; я высовывалась из окна вагона смотреть на мелькавшие деревни. Мы ехали в экстренном поезде с минутными остановками, так что нам почти не было времени поесть. Итальянец ухитрился все-таки достать на первой станции, где мы простояли не более двух минут, воды, чтобы я примачивала глаз. Приехав вечером в Париж, мы дружески простились с итальянцем; он усадил нас в омнибус отеля, где мы намеревались остановиться.

Панаев на другое же утро отправился разыскивать В. П. Боткина, а мне сделал визит итальянец и принес какую-то примочку для глаза, который почти прошел у меня. Итальянец торопился на свидание с своими соотечественниками в кафе, куда собирались завтракать итальянские эмигранты. Итальянец оставил мне свой адрес; он остановился на частной квартире у своего знакомого.

Панаев вернулся домой к 6 часам вечера вместе с В. П. Боткиным, который повел нас обедать в дешевенький ресторан, где мы нашли Огарева[11], Бакунина,

злополучного помещика Заикина и другого приятеля Боткина, тоже помещика, Клыкова. Боткин учил нас и помещиков, как надо заказывать обед, чтобы он обошелся дешевле. Но первый обед все-таки стоил дорого, потому что Огарев потребовал бутылку шампанского, помещики тоже спросили бутылку, чтобы отплатить Огареву; Панаеву также надо было потребовать бутылку. В. П. Боткин сердился на такую роскошь, хотя пил шампанское, которым его угощали.

В. П. Боткин и Огарев повели Панаева и помещиков смотреть на какой-то бал, где веселятся гризетки, а Бакунин пошел проводить меня домой, и мы провели вечер за чаем. Бакунин расспрашивал меня о Белинском, о Петербурге и, уходя, обещался принести мне книг. Итальянец еще раз заходил к нам с визитом, но опять не мог застать Панаева, которым завладел В. П. Боткин, знакомя его с Парижем. Через неделю итальянец пришел ко мне проститься. Он имел очень печальный вид, и я спросила его, что с ним.

— Я ехал в Париж, — отвечал он, — с большими надеждами, но мои соотечественники интересуются теперь больше парижской политикой, чем своей несчастной Италией. Утопистом меня нашли! Напрасно я рисковал многим, чтобы поговорить с ними о своей родине.

В это время пришел Бакунин, и я была в затруднении, потому что забыла фамилию итальянца. Насколько я была памятлива на лица, настолько же забывчива на имена и фамилии. Но дело обошлось, и Бакунин заговорил о политическом положении Италии. Итальянец был удивлен, что русский так хорошо знает современное социальное и политическое состояние Италии; он пожалел, что ему надо спешить по делам, и раскланялся. Бакунин заинтересовался молодым итальянцем, стал расспрашивать меня, где я познакомилась с ним, и полюбопытствовал узнать его фамилию. Я принесла ему адрес, оставленный мне итальянцем. Бакунин прочел: «Жозеф Гарибальди». Пока я не увидела портрета Гарибальди, когда он уже сражался за свободу Италии, до тех пор я никак не воображала, что это был знакомый мне итальянец в Париже, фамилию которого я позабыла.

Гарибальди на портрете, конечно, был уже возмужалым человеком, но характерные черты его лица не изменились [12].

Дешевый ресторан, куда мы ходили обедать, сделался сборным пунктом русских путешественников. Часто удостаивал являться туда Сазонов, уже четыре года как поселившийся в Париже. Он корчил аристократа, брюзжал на то, что невозможно обедать в таком кабаке, сердился на гарсона за то, что тот плохо ему сервирует обед, заказывал всегда себе дорогие блюда. Между Сазоновым и Бакуниным происходили горячие споры о французской политике. В. П. Боткин был мучеником в это время, ему всюду мерещились шпионы, которые будто бы следят за русскими в Париже, и в каждом посетителе, обедающем одиноко за столом, он видел шпиона и страшно сердился на спорящих. Его воображение разыгрывалось иногда до того, что он от страха убегал из ресторана.

В. П. Боткин до смешного претендовал казаться парижанином; он удивил меня, спрятав в карман два куска сахару, который остался у него от поданного ему кофе. Я спросила, для чего он это делает, и получила в ответ, что настоящие парижане всегда так делают, одни русские стыдятся экономии. Я проверяла его слова, но не заметила парижан, прячущих кусочки сахару в карманы.

В. П. Боткин сердился на меня за то, что я говорю по-русски на улице и в ресторанах, доказывая, что этого нельзя делать, потому что русских считают дикими, татарами и везде берут с них дороже, чем с других иностранцев. Но эти аргументы меня не пугали, и я продолжала говорить по-русски, к его огорчению. Зато два его приятеля, помещики, раболепно исполняли все его требования и в публике адресовались к нему с смешными французскими заученными фразами. Для практики французского языка помещики свели знакомство с гризетками и восторгались как их веселостью, так и своими успехами во французском языке.

Мне надоело ходить обедать в ресторан, тем более что я иногда должна была оставаться без обеда до 8 часов вечера, потому что Панаев с В. П. Боткиным нередко пропадали с утра на весь день и запаздывали прийти за мной. Я сговорилась с квартирной хозяйкой, чтобы она готовила нам обед, но этим только наделала себе хлопот, потому что к нашему обеду, как в Петербурге, стали неожиданно являться гости по два, по три человека. В. П. Боткин восхищался моей мыслью иметь

домашний стол в Париже. Он являлся к обеду с хреном для вареной говядины, потому что хрен продавался только в аптеке. Он потирал от удовольствия руки, если, придя к обеду, узнавал, что будут свежие щи или уха, которые я научила готовить квартирную хозяйку. Кушая щи или уху, он восхвалял мои кулинарные способности, но я испортила его благоволение к себе. Раз за обедом он стал укорять в попрошайстве Бакунина, который, не получая денег из России, сидел без копейки и занял у него 50 франков. Меня это страшно возмутило, и я высказала, что приятелям Бакунина стыдно не помочь ему, когда они сами тратят по сто рублей на ужины и обеды для первой встречной на улице француженки. Все пришли в изумление от моих слов, привыкнув, что я всегда молчала; но мое терпение лопнуло.

На каждом шагу я видела красноречивое противоречие их поступков с проповедуемыми ими возвышенными, гуманными воззрениями на вещи. Но, главное, все присутствующие знали, что Бакунин потому сидел без копейки, что спас одно русское семейство от голодной смерти; он заплатил долг соотечественника, который давно уже жил в Париже на трудовые гроши, но заболел, пролежал больной два месяца, вследствие чего задолжал, и его хотели посадить в тюрьму; тогда жена и дети должны были бы идти просить милостыню.

Я не намерена описывать здесь все подробности моего пребывания в Париже. Скажу только, что постоянные сплетни и дрязги, господствовавшие в среде приятелей, окружавших Панаева, надоели и опротивели мне страшным образом. Я была очень рада, что могла от них удалиться, познакомившись через Бакунина с двумя братьями Толстыми, казанскими помещиками, людьми очень образованными и чуждавшимися тех парижских развлечений, до которых так падко большинство русских путешественников. Я часто проводила вечера в обществе Бакунина и братьев Толстых и за чаем с наслаждением слушала их беседы, всегда интересные и для меня совершенно новые[13].

В одно прекрасное утро Панаев был поражен неожиданным сюрпризом: оказалось, что он уже забрал и истратил почти все свои деньги, хранившиеся у парижского банкира. Нечего было и думать об исполнении задуманной программы путешествия, то есть о посеще-

нии Швейцарии и Италии, и нам пришлось поспешить возвращением в Россию.

Бакунин при прощании просил меня сообщить Белинскому об одном проекте, который он задумал. Он часто говорил со мной о Белинском и сожалел, что тот напрасно тратит свои силы и способности, пытаясь втиснуть в узкую рамку литературы свою деятельность, что его могут удовлетворять односторонние литературные интересы.

— Он жестоко ошибается, — говорил Бакунин. — В нем клокочут самые животрепещущие общечеловеческие вопросы. Он преждевременно истлеет от внутреннего огня, который постоянно должен тушить в себе. Непростительно такому даровитому человеку, подобно беспутному моту, расточать свое духовное богатство без пользы. Возможно ли человеку свободно излагать свои мысли, убеждения, когда его мозг сдавлен тисками, когда он может каждую минуту ожидать, что к нему явится будочник, схватит его за шиворот и посадит в будку! Право, смешно и даже обидно смотреть, что человек при такой обстановке лезет из кожи, дурачит самого себя надеждами, что может что-нибудь сделать для общей пользы. Ужасная минута ожидает Белинского, когда он, искалеченный физически и нравственно, вдруг прозрит, что его деятельность, над которой он столько лет медленно изнывал, гроша не стоит!

Когда мы вернулись в Петербург [14], Белинский пришел к нам в тот же вечер.

Я нашла в нем большую перемену: он похудел, сгорбился и сильно кашлял; какая-то апатия появилась в нем. Мне удалось только на другое утро сообщить ему то, что просил меня передать Бакунин. Белинский выслушал меня и сказал:

— Я знаю без него, что истлею преждевременно при тех условиях, в которых нахожусь; но все-таки не намерен осуществить его план. Между ним и мной огромная разница: во-первых, он космополит в душе; во-вторых, с своим знанием языков и энциклопедическим образованием, он может чувствовать твердую почву под своими ногами, где бы он ни очутился. А что же я-то буду делать, если меня оторвать от моей почвы и от моей деятельности, в которую я вложил свою душу? Я так же

прекрасно вижу, что не могу принести той пользы, к которой порываюсь, но лучше сделать мало, чем ничего!.. Это он зафантазировался! Ведь это было бы одно и то же, что захотеть развести в Италии березовую рощу, привезти отсюда с корнями большие деревья и посадить на плодотворную почву. Ну, что бы вышло? Завяли бы все деревья! Такова и его фантазия о колонии русских в Париже. Бакунин — блестящий теоретик и слишком увлекается своими отвлеченными фантазиями. Он воображает, что все делается, как в сказке: окунулся Ванька-дурак в чан и вынырнул оттуда красавцем, весь в золоте, и зажил царем!

Белинский круто изменил разговор и начал расспрашивать об общих знакомых русских, которые проживали в Париже.

Белинский приходил каждый день, и мы подолгу беседовали, так как накопилось много разных предметов для разговоров. На мое замечание, откуда у него появилась такая апатия, он ответил:

— Вы молоды, здоровы, у вас надежды есть, а у меня впереди нет просвета да еще никуда не годным калекой становлюсь.

Белинский, узнав, что мы скоро опять уезжаем из Петербурга на лето в Казанскую губернию, так как Панаеву непременно нужно было ехать в свою деревню, с завистью сказал:

— Эк вас носит — из Европы к татарам, а я так привинчен к Петербургу, что даже летом должен задыхаться от духоты, вони и глотать пыль, потому что нанял попросторнее квартиру, и о даче нечего думать. Неужели я никогда не выбьюсь из этой каторжной жизни батрака?.. Тьфу, пропасть! из-за этих пакостных денег — каких только гадостей не испытывает человек!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Грановский. — Герцен. — Кетчер. — «Петербургские углы». — Достоевский и его «Бедные люди». — Альманах Белинского «Левиафан». — Публичные лекции Грановского.

Проездом в Казань мы остановились в Москве, и я познакомилась с Грановским; он приехал пригласить нас обедать к себе. Я много уже слышала о нем, о Герцене и об их женах от их приятелей. Жену Герцена возносили

до небес, а о жене Грановского говорили, что она — «тупица», даже удивлялись, как мог Грановский жениться на такой неуклюжей немке, которая, кроме хозяйства, ничем не интересовалась.

Заводить новое дамское знакомство мне вовсе не хотелось, но сам Грановский так мне понравился и так мило сказал, что ему очень хотелось бы, чтобы я познакомилась с его женой, что я не могла отказаться. В взгляде и в манерах Грановского было столько мягкости, что он мгновенно располагал к себе человека.

Жена Грановского не отличалась красотой; она была необычайно застенчива, но зато в каждом ее слове чувствовалась искренняя простота. С первого же разу мы так сошлись, точно давно уже были знакомы. У нас оказалось много общего во взглядах на вещи; я очень приятно провела с ней время и дала слово на другой день опять приехать.

Семейство Щепкиных было на даче, Аксаковы уехали в свое имение, так что у меня в Москве не было знакомых, и Грановские уговорили меня приезжать к ним обедать всякий раз, когда Панаев был приглашен куда-нибудь. Бывая почти целый день у Грановских, я могла узнать их домашнюю жизнь. Приятно было видеть согласие между мужем и женой; без всяких особенных нежностей они оба искренно любили друг друга. Жена Грановского не говорила мне о своей любви к мужу, но она выражалась в ее заботах, чтобы ему было спокойно, чтобы никакие хозяйственные дрязги не доходили до него. Грановский очень любил чистоту в доме и хороший стол, и жена усердно заботилась об этом. Доходы Грановского ограничивались профессорским жалованьем, а потому жене его поневоле нужно было самой входить в хозяйство. Оказалось, что жена Грановского отлично знала немецкую литературу, читала много, была хорошая музыкантша, так что, по своему образованию и развитию, выделялась между другими женщинами, но, по скромности характера, ей и в голову не приходило, что следовало заявлять об этом в кружке, куда она попала, выйдя замуж за Грановского.

С Герценом я познакомилась у Грановских.

— Мы старые знакомые, хоть не видали друг друга в лицо, — сказал мне Герцен. — Вы забыли, может быть,

а я нет, что по вашей инициативе мне разрешили снова жить в Москве[1].

Я ответила, что это была скорее случайность, нежели моя инициатива.

— Скромность одна из добродетелей, которая украшает человека, — банальным тоном заметил Герцен.

— А я из наблюдения вывела заключение, что скромность причислена к восьмому смертному греху.

Герцен приехал перед обедом приглашать к себе Грановских вечером, так как у него намеревались собраться общие их знакомые: он, обращаясь ко мне, сказал:

— Надеюсь, мы можем обойтись и без официальных визитов, и вы приедете с Грановскими к нам. Панаев у меня обедает и просил меня передать вам, чтобы вы непременно приезжали. Помните, что сказано: «Жена должна следовать всюду за мужем!»

— Я помню и гражданский закон, что муж имеет право требовать к себе жену по этапу.

— Грановский и Лизавета Богдановна! — повелительно провозгласил Герцен, — предписывается вам конвоировать жену казанского дворянина Панаева и доставить ее на место нахождения ее мужа сегодня же вечером!

В продолжение своего визита он поражал меня блеском остроумия и неожиданными парадоксами в своем разговоре. Смотря на него и на Грановского, я не знала, кому отдать преимущество: кипучей живости и блеску остроумия Герцена или спокойной задумчивости и ясному уму Грановского. Выражения их лиц резко отличались одно от другого. Герцен был ниже Грановского, с блестящими, живыми, большими проницательными серыми глазами, с подвижными манерами, говорил скоро, звонким голосом. В карих же глазах Грановского просвечивала необычайная мягкость, все движения его были спокойны, а негромкий голос, как говорится, был бархатный. Грановский иногда как будто заикался слегка, но это пропадало, если он одушевлялся в разговоре. За обедом жена Грановского стала отговариваться от поездки к Герценам. Грановский обратился ко мне:

— Посмотрите, на что похожа ее застенчивость? — сказал он. — Нигде не хочет бывать, даже неловко за нее. Каролина Карловна[2] три раза была у нее с визитом, чтобы поближе сойтись с ней. Такая детская

робость даже смешна в взрослой женщине и вредна; ты одичаешь, — продолжал он, обращаясь к жене, — сидя все одна, да и это очень нехорошо для здоровья твоего; оттого всякие страхи тебе приходят в голову, если меня нет дома... Надо вам выдать ее и пристыдить: она ведь перетрусила, что я вас пригласил на обед.

Мы обе рассмеялись, потому что сообщили уже друг другу наше обоюдное нежелание знакомиться, и я серьезным тоном сказала, что и я также боюсь ехать к жене Герцена, потому что она, по рассказам, такая возвышенная женщина, что я не знаю, о чем мне, прозаической женщине, и говорить с ней.

— Вы шутите, а я серьезно говорю, — сказал Грановский, — и надеюсь, что вы будете на моей стороне и уговорите жену сбросить с себя смешную застенчивость.

— Не надейтесь, я всегда против деспотов мужей.

Грановский рассмеялся и ответил:

— Хорошо, что высказались, я буду при вас умерять свой деспотизм.

Я, однако, уговорила жену Грановского ехать к Герценам, несмотря на то, что она призналась мне, что ей тяжело находиться в обществе, где присутствие ее переносят только потому, что она жена Грановского.

Герцен жил в доме своего отца, но совершенно отдельно: комнаты были большие, дом старинной постройки, простору было много, обстановка помещичья, прислуги много. Я слышала из рассказов Грановского о причудах старика отца Герцена и его немки-матери, забитой женщины. Мать Герцена имела отдаленную половину в доме, где помещалась с глухонемым трехлетним внуком. Старший сын Герцена, семилетний мальчик, был хорошенький, умный, но страшно избалованный. Старик, отец Герцена, никуда не выходил из комнаты, вечно лечился и брюзжал на окружающих, деспотически распоряжался всеми и поминутно жаловался, что он больной человек, брошенный всеми, что все нетерпеливо ждут его смерти. Мать Герцена была предобродушная женщина и, должно быть, была смолоду красавица; но она была необразованная женщина, забитая так, что не имела никакого значения в семье; даже я нашла, что с ней обходились слишком пренебрежительно и не давали ей промолвить слова. Если она делала какое-нибудь очень разумное замечание по хозяйству или по воспитанию детей, то с какой-то насмешливой

снисходительностью ей отвечали: «Хорошо, хорошо, замолчите».

В доме жила еще бедная вдова с молоденькой дочерью, которые обязаны были ухаживать за своим больным благодетелем.

Раздеваясь в передней, мы слышали из столовой крики Кетчера, покрывавшие голоса других гостей. Кетчера, переводчика Шекспира, я знала коротко; он года два жил в Петербурге[3].

Когда собирались вместе общие знакомые, то Кетчер на этих вечерах сам себе избирал должность разливателя шампанского, без которого он не мог обойтись. Чуть сходилось несколько человек, он овладевал бутылкой и с наслаждением разливал вино и наблюдал, чтобы его пили. Только что мы переступили порог, как Кетчер уже встретил нас с бокалами вина, крича: «Берите и пейте, успеете проделать китайские церемонии!»

За длинным столом сидело много гостей; пили чай. Хозяйка дома не разливала; эту обязанность исполняла за нее молоденькая дочь бедной вдовы.

Жена Герцена была хорошенькая, но в ее лице не было жизни; она говорила плавно, не возвышая и не понижая голоса. Сначала меня познакомили с дамами, а потом с мужчинами.

Знакомя меня с последними, Герцен говорил:

— Е. Ф. Корш, соперник Иакова по многочисленности своего потомства, а сей ученый муж (указывая на профессора Редкина), мнящий каждую минуту, что умрет, доживет до Мафусаиловых лет и все будет мнить, что он умрет во цвете лет (Редкин страшно был мнителен). — Представляя мне Кавелина, Герцен сказал: «Это трижды молодой — как по своим летам, как профессор и как человек, который только что связал себя узами Гименея».

— Прибавь: к несчастью и по глупости! — заикаясь, проговорил Е. Ф. Корш.

Кавелин женился на младшей сестре его.

Хозяйка дома не заботилась занимать дам разговорами. Когда кончился чай, то все перешли в гостиную. Кетчер захватил бутылку и покрикивал на всех, чтобы брали свои стаканы.

— Как жаль, что Кетчер не генерал, как бы на месте был его голос на смотру при командовании полком, — заметил Корш.

Его коробили резкости в Кетчере, особенно возмущало, что тот дозволяет себе читать нотации всем, как какой-нибудь ментор, и, словно неумолимый судья, изрекает свои приговоры о поступках других. Кетчер пользовался особенным благоволением жены Герцена и с своей стороны восхвалял ее до небес и часто говорил при всех Герцену: «Ты дрянь перед своей женой».

Когда перешли в гостиную, то хозяйка дома пригласила меня сесть возле себя в укромном уголке, вдали от всех, и своим плавным, тихим голосом завела разговор о возвышенных предметах, точно экзаменуя меня. Она прочитала мне целую лекцию о высоком назначении женщины.

Мы беседовали под страшный шум спорящих голосов мужчин. За ужином все сидели очень долго, шли горячие споры о положении Франции, так как на нее обращено было общее внимание, как на лабораторию, в которой совершались химические опыты над разными современными общественными и политическими вопросами.

На другой день за обедом Грановский спросил меня: как понравилась мне жена Герцена?

Я откровенно созналась, что нашла в ней что-то неестественное и мне не понравилось слишком явное ее самомнение, будто она стоит выше всех ее окружающих женщин. Я пошутила, прибавив, что, должно быть, провалилась на сделанном ею мне экзамене и получила единицу за свои прозаические взгляды на жизнь.

— Она хорошая женщина, это все ей искусственно привито, — заметил Грановский, — чрезмерными похвалами ее окружающих. Все это она сбросит с себя, когда будет иметь столкновение с людьми вне своего маленького кружка. Понятно, что она считает себя выше других женщин, если все кругом стараются доказать ей, что она непогрешима во всех своих поступках. А ведь это мешает человеку анализировать свои поступки. Мы знаем факт, где она поступила далеко не так, как решились бы поступить многие женщины с менее идеальным взглядом на жизнь, а между тем окружающие старались из этого факта выставить ее в каком-то возвышенном свете. Как же можно требовать от нее, чтобы она была естественна, — скорее другие виноваты в этом недостатке в ней. Ей самой будет тяжело, когда жизнь ей покажет ложную сторону ее заблуждения.

Через неделю после вечера у Герцена поэт Сатин с удивлением спросил меня, почему я не еду к жене Герцена и неужели я предпочитаю ей общество жены Грановского. Я не скрыла предпочтение, питаемое мной к Грановской. Он передал это Кетчеру, который явился ко мне с резкими наставлениями, но я так же резко отвечала ему, что мне более симпатична жена Грановского; что я не намерена подчиняться чужому мнению; что, может быть, жена Герцена стоит во всех отношениях выше всех женщин по своему развитию, уму и высоким дарованиям, но я все-таки нахожу более приятным проводить время с женой Грановского.

Кетчер нашел, что я оригинальничаю.

Еще более удивило всех, что я переехала к Грановским жить, когда Панаев поехал в деревню один, оставив меня в Москве. Грановский, узнав, что мне очень не хочется ехать в Казанскую губернию, стал упрашивать меня, чтобы я, на время отсутствия Панаева, переехала к ним, у них была свободная комната наверху, и я их не могла стеснить.

— Вы мне сделаете большое одолжение, если переедете к нам. Вы гораздо лучше сумели в короткое время повлиять на застенчивость моей жены, чем я; я бесполезно трудился над этим так долго. У меня мало времени быть около нее. Такую робкую натуру, как у нее, скорее запугают в нашем кружке, чем ободрят.

И Грановский рассказал при этом о воспитании своей жены и о деспотизме своего тестя, который доходил просто до тиранства в обращении с своими детьми. Он отдавал справедливость тестю, что тот заботился об образовании детей, но зато нелепыми строгостями испортил их здоровье.

Старший брат жены Грановского умер от чахотки, только что окончив курс в университете.

— Ведь Лиза до смешного боится своего отца до сих пор, — говорил Грановский. — Она скрывает от меня, что он по-прежнему мудрит над нею и распекает ее, как девочку, за всякие пустяки, которые найдет в нашем хозяйстве. Волнение и слезы очень вредны для ее слабой груди, а он всегда доведет ее до слез. На другой день после его посещения у нее кровь идет горлом. Мое положение ужасное: попросить старика прекратить делать выговоры дочери, — обидится, перестанет бывать у нас; это Лизу еще хуже будет мучить, да и жаль ее

младшую сестру, которой запретят бывать у нас, где она отдыхает от деспотизма отца и где видит людей.

В самом деле, когда я переехала к Грановским[4], то увидела, до чего волновалась жена Грановского в ожидании посещения своего отца, который аккуратно два раза в неделю в известный час являлся к ней утром завтракать и потом пил чай. У нее руки дрожали, когда она ему наливала чай, потому что отец бросал на нее грозные взгляды, если она нечаянно стукала ложечкой о чашку или случайно капала на блюдечко. Сохрани боже, если происходило замедление в завтраке или он был приготовлен не по вкусу; отец даже делал ей выговоры за то, если стул стоял не спинкой к окну. После завтрака, когда старик допекал дочь строжайшими выговорами, она должна была стоять перед ним целый час.

Когда я переехала жить к Грановским и несколько раз заметила у нее заплаканные глаза после продолжительной аудиенции с отцом, я начала стыдить ее, что она придает такую важность причудам старика, и уверяла, что он бросит делать ей выговоры, если она в его присутствии не будет дрожать перед ним. Старик терпеть не мог, чтобы смеялись и говорили, когда он ест, а я нарочно шутила, болтала все время. Сначала он бросал на меня удивленные, строгие взгляды, а я делала вид, что не замечаю их, и продолжала свое. Через несколько времени старик уже улыбался на мои шутки и даже удостоил меня пригласить обедать к себе. Это было такое чудо, что Грановский потешался над моей победой.

У Грановских я встретила Каролину Карловну Павлову и слышала ее чтение стихов, которые она только что сочинила и наизусть прочла во время своего визита. В разговоре она вставляла постоянно строфы стихов на немецком языке — из Гете, из Байрона — на английском, из Данте — на итальянском, а по-испански привела какую-то пословицу. Она больше говорила с Грановским, нежели с нами. Павлова была уже немолода и некрасива, очень худенькая, но с величественными манерами. Я познакомилась также с женой Кавелина и с женой профессора Крылова, тоже сестрой Корша. Крылов был несимпатичен: худой, с желтовато-бледным цветом лица; он с какой-то злой улыбочкой смотрел на свою жену, когда она говорила[5].

У Грановского часто обедали Перевощиков, Редкин, Кавелин.

Над Редкиным я с женой Грановского много потешалась; мы нарочно заводили разговор о болезнях и о покойниках, и всякий раз, когда он приходил, говорили ему, будто он страшно изменился и имеет болезненный вид.

Несколько раз я видела Чичерина в студенческом мундире; он вместе с своей матерью приезжал с визитом к Грановским. Грановский руководил подготовлением Чичерина к поступлению в университет.

Впрочем, к Грановскому являлось много студентов, кто за советами по занятиям, кто по личным своим делам; ко всем он относился с участием; нуждающийся студент всегда находил у него помощь.

У Грановского постоянно жили в доме один или двое бесприютных бедных студентов. Он был необыкновенно внимателен к ним, за столом разговаривал, шутил с ними и постоянно спрашивал жену, позаботилась ли она напоить и накормить их перед уходом на лекции. Помимо расположения студентов к Грановскому как отличному профессору, они еще ценили его как человека, относящегося с отцовской любовью к студентам.

Мне жилось хорошо у Грановских, приятно было видеть такое согласие между мужем и женой. По утрам, если Грановский не был на лекции, то читал и работал у себя в кабинете, а я с его женой тоже занимались чтением или шитьем. По вечерам, если Грановский не уезжал в гости или в клуб, то приходил в зало и слушал игру жены на фортепьяно; он очень любил Бетховена. Надо было видеть — каким счастьем озарялось лицо жены, когда Грановский подходил к ней, гладил по голове и напоминал, что доктор запретил ей долго заниматься музыкой.

Жена Грановского всегда страшно волновалась, если муж запаздывал возвращением домой, и, как бы он поздно ни вернулся, она не ложилась в постель. Она мне говорила, что ею овладевает какой-то безотчетный страх, и она не в силах уничтожить в своей голове мрачных картин, которые рисуются ей перед глазами при мысли о разных несчастьях, какие бывают от падения из экипажа. Точно она предчувствовала заранее, что Грановский за два года до своей смерти будет разбит при падении из экипажа и его без чувств принесут домой. У него была повреждена челюсть и на одной щеке осталась впадина, которая, впрочем, нисколько его не обезобразила.

Иногда Грановский, приехав из клуба, долго сидел с нами, рассказывая о своей студенческой жизни, о поездке за границу, о своем отце, которого он очень любил. Отец Грановского имел страсть к картам и проиграл все свое состояние. Грановский говорил, что он чувствует в себе наследственную страсть к игре, но никогда не дозволяет себе играть в азартные игры.

В конце августа Панаев вернулся из деревни, и я перебралась от Грановских.

Я нашла большую перемену в жене Щепкина; она сильно постарела от горя. Потеряв недавно младшую дочь, она ожидала новой потери: старший сын ее доживал последние дни своей жизни, тоже умирая от чахотки [6].

Каждый день у кого-нибудь из наших знакомых собирались гости, и нам не приходилось сидеть дома.

Раз все собрались к Грановским вечером. Кетчер не мог покойно сидеть, потому что не было шампанского; он тихонько от Грановского собрал от всех гостей денег, исчез, вернулся сияющий с полдюжиной шампанского, с хохотом выставил на стол батарею бутылок и стал разливать вино. Заметно было по лицу Грановского, что выходка Кетчера покоробила его. Из этого вышла история. На другое же утро Грановский отдал последние свои деньги за шампанское Кетчеру, потребовал, чтобы он их роздал всем, у кого набрал, и просил его впредь не распоряжаться в его доме подобным образом. Кетчер обиделся, за него заступились приятели, находя смешной такую щепетильность Грановского. Последний объяснял, что находит вообще странным вкоренившийся обычай, как только все соберутся вместе, непременно пить без меры шампанское, что и так в Москве распространяются слухи о безобразных попойках в их кружке.

— Когда ехали ко мне, — говорил Грановский, — то все знали, что у меня нет денег на угощение шампанским, и потому со стороны Кетчера было глупо и неделикатно заставлять меня смотреть, как мои гости пьют вино, купленное на свои же деньги.

Кетчер кричал, бранился, и его едва помирили с Грановским.

Вскоре между ними произошла новая стычка из-за Белинского, которого Кетчер начал бранить за ужином у Герцена: зачем Белинский остается в подлом Петер-

бурге, где только могут жить одни чиновники да эксплуататоры, что Белинский унижает себя, имея дело со всякой дрянью, получает гроши за то, что из него тянут жилы, и что он должен вернуться в Москву.

— А вы гарантируете ему, Кетчер, хоть эти гроши, когда он бросит Петербург и переселится в Москву? — спросила я Кетчера.

Он раскричался на меня, что я защищаю мерзопакостный Петербург, пропитанный эгоизмом и бюрократией, что всякий порядочный человек должен бежать из него, что позорно Белинскому дышать даже петербургским воздухом, что это непременно отзовется на его нравственных принципах, что его не ценят в Петербурге и т. п.

— А в Москве его оценили? — опять спросила я.

Кетчер опять набросился было на меня, крича, что я, не понимая вещей, беру смелость судить о них, но Грановский вступился за меня и стал доказывать, что я совершенно права и что Белинский прекрасно сделал, что переселился в Петербург, потому что в Москве для него нет деятельности, что он сам москвич и любит Москву, но сознает преимущество Петербурга перед Москвой, потому что там жизненный пульс сильнее бьется у людей, а в Москве осталось еще слишком много снотворных элементов от старого времени.

— Так уезжай из Москвы!.. зачем здесь сидишь?.. поезжай в подлый Петербург! — заорал Кетчер.

Грановский своим мягким голосом спокойно отвечал:

— Зачем мне ехать в Петербург, когда я имею здесь деятельность, без которой для меня уже немыслимо мое существование. Московский университет так мне дорог, что нет той жертвы, которой я не принес бы ему. Вы все это знаете, а также и мою любовь к Москве, но все-таки это мне не мешает видеть смешную сторону в некоторых москвичах, которые утверждают, что в Петербурге могут только жить одни подлецы и чиновники. К чему поддерживать нелепый антагонизм между Москвой и Петербургом, тогда как следовало бы уничтожить его, потому что у интеллигентных людей обеих столиц одинаковая цель — трудиться для просвещения России.

Надо было удерживать Кетчера, чтобы он не мешал говорить Грановскому. Но зато, когда тот замолчал, Кетчер разразился страшною бранью на защитников

Петербурга. Его старались остановить возражениями, но он пришел в такой азарт, что огулом начал бранить всех окружающих. Корш воскликнул:

— Господа, оставьте его, пусть кричит и ругается. Он, как дервиш, пока сам не упадет от головокружения, его нам не остановить.

Все засмеялись. Кетчер обиделся, схватил свою фуражку и хотел уйти, но жена Герцена остановила его, увела в другую комнату и насилу успокоила. После этого вечера Кетчер почему-то считал меня виновной в происшедшем, дулся на меня и постоянно делал мне шпильки. Грановский советовал мне не обращать внимания на него, говоря, что Кетчер и на него сердится, что он всегда дуется на тех, кто противоречит его мнению или сделает ему замечание, а сам позволяет себе делать неуместные и даже грубые замечания всем, что он усвоил себе такую привычку, и трудно растолковать ему, что она вовсе не красива в развитом человеке.

Мы вернулись в Петербург, и у нас почти каждый вечер собирались литераторы и нелитераторы. В числе первых появились начинающие свое литературное поприще: Григорович, совсем еще юный — не столько годами, сколько своим характером; Некрасов, который уже сделался близким человеком к Белинскому и был непременным его партнером в преферанс; П. В. Анненков, который тогда еще не был литератором, но очень ухаживал за всеми литераторами [7].

В Анненкове была одна замечательная черта: в спорах о чем бы то ни было нельзя было никак понять, с кем он согласен из авторитетных лиц; он поддакивал то одному, то другому, и если с кем находился глаз на глаз, то оказывалось, что он разделяет мнение собеседника.

Анненков имел обеспеченное состояние, не служил, но был очень расчетлив. Белинский говорил:

— Я желал бы иметь в своем характере голубиную кротость Майкова и расчетливость Анненкова, которому, если попадет грош в руку, то он его не выпустит, да еще из этого гроша сделает алтын.

Некрасов задумал издать «Петербургский сборник» [8]. Им уже были куплены статьи у некоторых литераторов. Белинский принял горячее участие в этом издании,

упросил Панаева написать что-нибудь для сборника, и Панаев написал «Парижские увеселения».

Белинский находил, что тем литераторам, которые имеют средства, не следует брать денег с Некрасова. Он проповедовал, что обязанность каждого писателя помочь нуждающемуся собрату выкарабкаться из затруднительного положения, дать ему средства свободно вздохнуть и работать — что́ ему по душе. Он написал в Москву Герцену и просил его прислать что-нибудь в «Петербургский сборник». Герцен, Панаев, Одоевский и даже Соллогуб отдали свои статьи без денег. Кронеберг и другие литераторы сами очень нуждались, им Некрасов заплатил[9]. Тургенев тоже отдал даром своего «Помещика» в стихах[10], но Некрасову обошлось это гораздо дороже, потому что Тургенев, по обыкновению, истратив деньги, присланные ему из дому, сидел без гроша и поминутно занимал у Некрасова деньги. Об этих займах передали Белинскому. Он, придя к нам, как нарочно, встретил Тургенева, поджидавшего возвращения Панаева домой, чтобы вместе с ним идти обедать к Дюссо. Белинский знал, что обыкновенно по четвергам в этот модный ресторан собиралось много аристократической молодежи обедать, и накинулся на Тургенева.

— К чему вы разыграли барича? Гораздо было бы проще взять деньги за свою работу, чем, сделав одолжение человеку, обращаться сейчас же к нему с займами денег. Понятно, что Некрасову неловко вам отказывать, и он сам занимает для вас деньги, платя жидовские проценты. Добро бы вам нужны были деньги на что-нибудь путное, а то пошикарить у Дюссо! Непостижимо! как человек, с таким анализом разбирающий неуловимые штрихи в поступках других людей, не может анализировать таких крупных, бестактных своих отношений к людям. Эта распущенность непростительна в таком умном человеке, как вы. Ведь вас заслушаешься, не нарадуешься, как вы рассуждаете о нравственных принципах, которыми обязан руководиться развитой человек, а сами вдруг выкидываете такие коленцы, которые впору ремонтеру. Подтяните, ради Христа, свою распущенность, ведь можно сделаться нравственным уродом. Мальчишество какое-то у вас, как бы тихонько напроказить, зная, что делаете скверно. Сколько раз вас уличали в разных пошлых проделках на стороне, когда вы думали, что избежали надзора. Бичуете в других

фанфаронство, а сами не хотите его бросить. Другие фанфаронят бессознательно, у них не хватает ума; а вам-то разве можно дозволять себе такую распущенность!

Тургенев очень походил на провинившегося школьника и возразил:

— Да ведь не преступление я сделал, я ведь отдам Некрасову эти деньги!.. Просто необдуманно поступил.

— Так вперед и обдумывайте хорошенько, что делаете, я для этого и говорю вам так резко, чтобы вы позорче следили за собой.

Белинский сильно привязывался к молодым даровитым людям; ему хотелось, чтобы они заслуживали общее уважение помимо своего таланта, как безукоризненные, хорошие и честные люди, чтобы никто не мог упрекнуть их в каком-нибудь нравственном недостатке. Он говорил: «Господа, человеческие слабости всем присущи и прощаются, а с нас взыщут с неумолимой строгостью за них, да и имеют право относиться так к нам, потому что мы обличаем печатно пошлость, развращение, эгоизм общественной жизни; значит, мы объявили себя непричастными к этим недостаткам, так и надо быть осмотрительными в своих поступках; иначе какой прок выйдет из того, что мы пишем? — мы сами будем подрывать веру в наши слова!»

Тургенев не простил лицу, выболтавшему Белинскому о его займах у Некрасова, и отплатил болтливому господину той же монетой, да еще с ростовщичьими процентами, разгласив один его некрасивый поступок вне кружка. Меня удивляло, как подобные сплетни друг на друга не мешали их наружным приятельским отношениям. К чему было это лицемерие?

Панаев в своих «Воспоминаниях» рассказывает об эффекте, произведенном «Бедными людьми» Достоевского, и я об этом не буду распространяться [11]. Достоевский пришел к нам в первый раз вечером с Некрасовым и Григоровичем, который только что вступал на литературное поприще. С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались.

Почти все присутствовавшие тогда у нас уже были ему знакомы, но он, видимо, был сконфужен и не вмешивался в общий разговор. Все старались занять его, чтобы уничтожить его застенчивость и показать ему, что он член кружка. С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам [12]. Застенчивость его прошла, он даже выказывал какую-то задорность, со всеми заводил споры, очевидно, из одного упрямства противоречил другим. По молодости и нервности, он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и самомнение о своем писательском таланте. Ошеломленный неожиданным блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступили на это поприще с своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался [13].

У Достоевского явилась страшная подозрительность вследствие того, что один приятель передавал ему все, что говорилось в кружке лично о нем и о его «Бедных людях». Приятель Достоевского [14], как говорят, из любви к искусству, передавал всем, кто о ком что сказал. Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду.

Он приходил уже к нам с накипевшей злобой, придирался к словам, чтобы излить на завистников всю желчь, душившую его. Вместо того чтобы снисходительнее смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками.

Достоевский претендовал на Белинского за то, что он играет в преферанс, а не говорит с ним о его «Бедных людях».

— Как можно умному человеку просидеть даже десять минут за таким идиотским занятием, как карты!.. а он сидит по два и по три часа! — говорил Достоевский с каким-то озлоблением. — Право, ничем не отличишь общества чиновников от литераторов: то же тупоумное препровождение времени!

Белинский избегал всяких серьезных разговоров, чтобы не волноваться. Достоевский приписывал это охлаждению к нему Белинского, который иногда, слыша разгорячившегося Достоевского в споре с Тургеневым, потихоньку говорил Некрасову, игравшему с ним в карты: «Что это с Достоевским! говорит какую-то бессмыслицу, да еще с таким азартом». Когда Тургенев, по уходе Достоевского, рассказывал Белинскому о резких и неправильных суждениях Достоевского о каком-нибудь русском писателе, то Белинский ему замечал:

— Ну, да вы хороши, сцепились с больным человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не понимает, что говорит.

Когда Белинскому передавали, что Достоевский считает себя уже гением, то он пожимал плечами и с грустью говорил:

— Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдет вперед. Ему непременно надо лечиться, все это происходит от страшного раздражения нервов. Должно быть, потрепала его, бедного, жизнь! Тяжелое настало время, надо иметь воловьи нервы, чтобы они выдержали все условия нынешней жизни. Если не будет просвета, так, чего доброго, все поголовно будут психически больны!

Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком, и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем: к чему изводить так Достоевского? Но Тургенев был в самом веселом настроении, увлек и других, так что никто не придал значения быстрому уходу Достоевского. Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя «Бедных людей», будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому [за то], что он оповестил

всю Россию об его существовании, и в стихах повторялось часто «маточка»[15].

С этого вечера Достоевский уже более не показывался к нам и даже избегал встречи на улице с кем-нибудь из кружка. Раз, встретив его на улице, Панаев хотел остановиться и спросить, почему его давно не видно, но Достоевский быстро перебежал на другую сторону. Он виделся только с одним своим приятелем, бывшим в кружке[16], и тот сообщал, что Достоевский страшно бранит всех и не хочет ни с кем из кружка продолжать знакомства, что он разочаровался во всех, что все завистники, бессердечные и ничтожные люди.

«Петербургский сборник», изданный Некрасовым, быстро разошелся, и он очень сожалел, что не рискнул напечатать его в большом числе экземпляров[17].

Белинский очень радовался, что благодаря этому Некрасов может освободиться на несколько месяцев от поденщины и писать стихи. Я спросила Белинского, почему он также не издаст подобного сборника, что наверное все московские и петербургские писатели, его друзья, с готовностью дадут материал для его издания.

— Вот что придумали, — отвечал Белинский, — разве я способен на такие дела? Тут надо уменье; без кредита, типографии и бумаги нельзя приступить к делу, надо вести с разными лицами разговоры и коммерческие переговоры. Я вот до сих пор не сумел и с одним-то сладить, чтобы за свой труд получить прибавку в месяц. Да и я буду мучеником от мысли: вдруг издание не окупится, и у меня на шее очутятся долги. Благодарю покорно, недоставало еще, чтобы я испытал эту пытку. Кому что на роду написано, то и будет; мне, вероятно, выпала доля весь век остаться батраком в литературе и работать на хозяев, чтобы они разживались да подсмеивались надо мной: ишь какой вахлак, жарит каштаны, а мы у него из-под носу тащим, оставляем ему одну шелуху.

Однако я сказала Некрасову: почему бы Белинскому тоже не заняться изданием книги? Некрасов горячо ухватился за эту мысль, стал уговаривать Белинского, долго его уламывал, наконец уломал. Я догадывалась, что Белинскому не хотелось обращаться к своим приятелям за одолжением лично себе, для других же

он охотно это делал. Некрасов взял на себя все хлопоты по изданию и переговоры о кредите.

— Ну, смотрите, Некрасов, если только окажутся у меня долги от этого издания, то я вас прокляну, умирать буду, но не прощу вас.

Некрасов предлагал, что будет кредитоваться на свое имя в типографии и за бумагу, так он уверен, что убытка не будет. Белинский верил, как он выражался, в «спекулятивную жилку Некрасова» и заметно приободрился, когда получил известие из Москвы, что все пишущие его приятели с радостию дадут ему статьи. Некрасов подбивал Белинского издать книгу как можно объемистее и придумал уже название «Альманах Левиафан»[18]. Раз, находясь у нас, Некрасов высчитывал расходы по изданию альманаха, а Белинский расхаживал по комнате и слушал; когда же Некрасов высчитал, сколько за всеми расходами может остаться барыша, Белинский остановился и воскликнул:

— Да я буду Крез!.. О, тогда, имея обеспеченное существование на год, я не позволю себя держать в черном теле, предложу свои условия: — Не угодно? Прощайте! — Господи, да неужели настанет такая счастливая минута в моей жизни, что я сброшу с себя ярмо батрака!

Белинский уже торопил Панаева засесть за повесть для его альманаха, говоря:

— Полно вам шляться без дела, пишите. Не забудьте, весь материал мне нужен к началу сентября, надо, чтобы не было задержки в типографии. Боюсь, чтобы в Москве не было задержки, здесь-то я вас всех, как школьников, засажу работать, а там, за глазами, начнут откладывать, завтра да завтра, и выйдет задержка.

Белинский уже волновался, и когда Тургенев уезжал в деревню, то говорил ему:

— Вы уж, пожалуйста, это лето не увлекайтесь так охотой, а пишите, чтобы рассказ ваш не был с куриный носок, напишите как следует; слава богу, времени у вас будет много, достаточно пошалберничали в Петербурге... Ах, если б вас всех судьба посадила в мою шкуру!

Он рассмеялся от мысли, что было бы с ними.

— Сознайтесь, господа, — продолжал Белинский, — что если бы хорошенько вас засадить за работу, то вы бы прокляли всю литературу! Испробуйте-ка хоть на короткое время — я поеду за вас в деревню, а вы остань-

тесь в Петербурге да работайте за меня, а я буду наслаждаться и пописывать, как дилетант.

Панаев хлопотал, чтобы набрать побольше петербургских литераторов, которые бы дали свои статьи в альманах Белинского, и с радостью объявлял, получив от кого-нибудь из них обещание. Когда Панаев сказал, что Соллогуб обещался тоже написать что-нибудь для альманаха, то Белинский заметил:

— Наверно, с ножом к горлу к нему пристали, ну, и обещал, чтобы отвязаться от вас!.. Вот в Одоевском я уверен, что он от чистого сердца пообещал написать для меня.

Панаев божился, что Соллогуб также охотно пообещался написать.

— Ну, хорошо, верю вам!.. Если все сдержат обещание, то мой альманах оправдает свое чудовищное название.

Весной я торопила Панаева скорее уехать в Москву, так как мне очень хотелось попасть хоть на одну публичную лекцию, которые читал Грановский. Эти лекции, по известиям из Москвы, производили фурор и среди студентов, и среди публики [19]. Я попала лишь на последнюю лекцию Грановского. Он читал в университете. Публики в зале была такая масса, что положительно нельзя было шевельнуться. Конечно, присутствовали и все его приятели. Герцен указал мне на Погодина, на Шевырева, на Хомякова, который был в суконной поддевке, красной рубашке, с волосами, остриженными в кружок.

Хомяков вовсе не походил на русского мужика, тип его лица был чисто цыганский.

Когда Грановский взошел на кафедру, то долго не мог приступить к чтению от шумных аплодисментов; при начале заметно было, что он взволнован, но потом он одушевился и блистательно читал. Голос у него был не сильный, но необыкновенно гармоничный, и его симпатичное лицо озарено было вдохновением. Я боялась за его жену; она судорожно сжимала мою руку, вся дрожала, слезы текли из ее глаз, устремленных на мужа, и столько счастья и любви светилось на ее лице!

По окончании лекции поднялся страшный и продолжительный шум аплодисментов. Студенты бросились к

Грановскому, жали ему руки, подняли его и на руках понесли по зале к выходу; на университетском дворе они спустили его на землю, окружили и стали говорить ему речи. Герцен посоветовал нам ехать домой, потому что студенты не скоро отпустят Грановского.

На другой день вечером все собрались к Грановскому. Огарев вернулся из-за границы, но один. Его жена осталась в Италии. По этому я могла заключить, что примирение супругов не состоялось. Кетчер приехал с Огаревым и корзиной шампанского. Герцен предупредил Грановского об этом, сказав ему: «Ты, брат, сегодня предоставь нам право похозяйничать у тебя в доме и выпить за твое здоровье». Но оказалось, что Грановский сам распорядился, чтобы гости выпили за его здоровье. Кетчер от восторга захохотал, узнав про такой большой запас шампанского. Все как-то особенно были одушевлены. Герцен сыпал остротами, точно блестящим фейерверком. Щепкин за ужином рассказывал забавные малороссийские анекдоты. Кетчер, против своего обыкновения, никому не прочитал нотации, так что Корш предложил тост за его кротость и сказал: «Если бы ты, Кетчер, побрился да причесался, то был бы похож на ангела, такую кротость ты проявил сегодня...»

Разошлись от Грановских, когда уже рассвело. Огарев, Герцен, Кетчер пошли провожать нас до гостиницы, в которой мы остановились. Мы шли очень долго, потому что на бульварах останавливались: Огарев читал свои стихи, Герцен от серьезных вопросов перескакивал к шарадам. Хохот Кетчера в утреннем воздухе казался еще громче. Герцен останавливал его, говоря, что от его смеха у всех младенцев сделается родимчик.

Проводив нас до гостиницы, Огарев предложил Панаеву и остальным товарищам погулять еще немного, а потом идти пить чай в трактир, что и было ими исполнено.

Почти каждый вечер все собирались вместе, большею частью у Герцена. Щепкин был постоянным собеседником в этом кружке. Раз он не явился к Герцену, и Кетчер отправился за ним. Оказалось, что Щепкин поехал в баню. Кетчер притащил его из бани, красного как рак. Щепкин любил париться на полке и зимой на дворе обливался холодной водой. Корш укоризненно сказал Щепкину:

— Ах, Михаил Семенович, как это вы не воспользовались случаем, что Кетчер чуть ли не после двадцатипятилетия очутился в бане; ну, что бы вам было приказать банщикам помыть его — уж вместе с его сюртуком. Какую бы вы заслужили благодарность от нас всех!

Все знали, что Кетчер не любил ходить в баню, и, конечно, рассмеялись.

За ужином Щепкина всегда просили рассказать что-нибудь из его молодости, когда он еще был провинциальным актером и служил у антрепренеров. Между прочим Щепкин рассказал однажды печальную историю одной молоденькой актрисы, и этот рассказ послужил Герцену сюжетом для повести «Сорока-воровка». На этих собраниях часто рассуждали о затруднительном денежном положении Белинского и эксплуатации его труда. Меня раздражало это бесполезное участие к человеку, когда многие из соболезновавших имели полную возможность давным-давно помочь ему. Я спросила Грановского, почему те личности, которые имеют средства, не хотят сами издавать журнал и этим дать возможность Белинскому выйти из его скверного положения?

Грановский ответил на это, что никто из них не способен на такое хлопотливое дело, да и не захочет рисковать деньгами.

— Пусть несколько человек сложатся и дадут возможность Белинскому самому издавать журнал! — заметила я.

— Белинский менее, чем кто-нибудь, может вести хозяйственную часть журнала, разве он способен будет отказать кому-нибудь из своих сотрудников!.. Раздаст деньги вперед и сам останется без гроша; да и вряд ли он взялся бы за дело с ответственностью за чужие деньги.

— Значит, для Белинского нет выхода? — задала я вопрос.

— Нет, нет! — в испуге ответил Грановский. — Непременно надо придумать что-нибудь.

— Так придумывайте скорее, — закончила я разговор, — потому что здоровье Белинского заметно ухудшается.

Вскоре приехал в Москву Некрасов, чтобы вместе с нами ехать в Казанскую губернию, в имение Толстых[20].

Московский кружок был в восторге от его стихотворений. По просьбе всех присутствующих он читал свои

новые произведения. У Некрасова была манера читать стихи слегка заунывным тоном, но этот гон не портил впечатления, какое стихи производили на слушателей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Толстые. — Возникновение журнала «Современник». — Поэт Щербина. — Писемский. — Герцен в Петербурге. — Белинский за границей. — «Иллюстрированный альманах». — Гоголь.

В имении Толстых нам всем жилось хорошо[1]. Хозяева старались предоставить своим гостям все удобства деревенских развлечений и полную свободу проводить время, как кто желал: Некрасов охотился, Панаев, любитель длинных прогулок, выхаживал по 25 верст и был в восхищении от живописных видов в окрестностях. Я ездила верхом и удила рыбу. Книг, журналов, газет было вдоволь, а за обедом и ужином, когда все собирались вместе, завязывались жаркие разговоры о разных тогдашних вопросах. Сами хозяева целое утро были заняты; у них много было дела, потому что они не держали управляющего, находя, что помещики обязаны иметь непосредственное сношение с своими крестьянами и что трудно уследить, чтобы управляющий не злоупотреблял своей властью над крестьянами. Кроме деревенского хозяйства, Толстые были заняты еще лечением; множество больных отовсюду являлись к ним. Они пробовали нанимать фельдшера для своих крестьян, но постоянно попадался или пьяница, или лентяй, или грубый в обхождении с больными, с которых не дозволялось брать никаких поборов. Толстые сами прочли множество руководств о домашнем лечении, а живя два года за границей, прошли фельдшерский курс, учились в заграничных больницах перевязывать раны, пускать кровь, одним словом, подавать первоначальную помощь в несчастных случаях. В их аптеке был обширный запас лекарств и даже заведен был тарантас, приспособленный для спокойного отправления больного в городскую больницу. Зимой на барском дворе во флигеле открывалась школа, куда крестьяне, если хотели, могли посылать своих детей учиться. Толстые предоставили самим крестьянам разбирать возникавшие между ними тяжебные дела и подвергать виновных взысканиям, но крестьяне по привычке шли судиться к помещикам и этим отнимали у них много

времени. Дворни у Толстых было немного, и каждый служащий получал жалованье как вольная прислуга. Барщины и каких-либо поборов с баб, конечно, не существовало. Такие нововведения в управлении крестьянами возбуждали бесконечные толки в губернии; все соседи Толстых, крепостники-помещики, были страшно озлоблены на них, находя, что они подрывают помещичью власть. На Толстых сыпались нелепые доносы, будто они, под видом лечения, собирают к себе народ и толкуют о воле, возбуждают к неповиновению и т. п.

Толстые знали о доносах и о том, что за ними зорко следят, и потому были осторожны.

Некрасов получил письмо от Белинского, который совершенно случайно уехал из Петербурга с Щепкиным, отправившимся на два месяца гастролировать в большие южные города. Перед нашим отъездом из Москвы Щепкин сообщил нам о своем намерении совершить прогулку в провинцию.

— Вот вы бы, Михаил Семенович, — сказал Панаев, — захватили Белинского с собой, ему необходимо проехаться и освежиться.

Щепкин очень обрадовался этой мысли и написал Белинскому, который охотно принял его предложение, тем более что на эту поездку не требовалось расходов[2]. За ужином, по поводу письма, полученного от Белинского, речь зашла о нем. Толстые высказали свое удивление, каким образом до сих пор в кружке Белинского никто из литераторов не начал издавать журнала, хотя бы на паях, как это делается в Париже. Некрасов заметил на это, что многое, применимое за границей, еще недоступно для России.

— Если бы русские литераторы надумали издавать на паях журнал, — прибавил он, — то оправдали бы пословицу: у семи нянек всегда дитя без глазу. Я много раз рассуждал с Белинским об основании нового журнала, но осуществить нашу заветную мечту, к несчастию, невозможно без денег.

— Предприимчивости, как видно, нет в вас, господа,— сказал Толстой.

— Денег нет, да и трудно конкурировать теперь с «Отечественными записками», упрочившими себе твердое положение, — возразил Панаев.

— Да кто его упрочил? Белинский и большая часть сотрудников из его кружка, — заметили Толстые.

— Смешно бояться конкуренции, — подсказал Некрасов, — у «Отечественных записок» могут быть свои подписчики, а у нового журнала — свои. Не испугался же Краевский конкуренции «Библиотеки для чтения» и с грошами начал издавать «Отечественные записки».

— Ему легко было, — возразил Панаев. — Он первые годы даром получал большую часть материала для своего журнала, а если и платил сотрудникам, то ничтожную плату.

— Если такое бескорыстное участие принимали литераторы в успехе «Отечественных записок», как же не рассчитывать на еще большую поддержку новому журналу, где во главе сотрудников будет Белинский? — заметил Толстой.

— Ну, теперь рассчитывать на даровой материал не следует, — сказал Некрасов. — Да не в этом дело, а в том, что без денег нельзя начинать издания.

— А много нужно для начала? — спросил Толстой.

Некрасов стал считать, во что должна приблизительно обойтись каждая книжка журнала.

— За печать и бумагу, — прибавил он, — можно уплачивать половину каждый месяц, а остальную часть перевести на следующий год.

— А если подписка на журнал на следующий год будет плохая, чем же уплачивать долг? — заметил Панаев.

— Почему же не рассчитывать на успех журнала, если добросовестно издавать его и если все друзья-литераторы Белинского приложат свои старания? Риск — дело благородное, потребность к чтению сильно развилась за последние годы. Ведь мне от «Петербургского сборника» предсказывали одни убытки, а если бы я не струсил и напечатал на полторы тысячи экземпляров больше, то все были бы раскуплены. Если бы явился новый журнал с современным направлением, то читатели нашлись бы. С каждым днем заметно назревают все новые и новые общественные вопросы; надо заняться ими не с снотворным педантизмом, а с огнем, чтобы он наэлектризировал читателей, пробудил бы в них жажду к деятельности. Лиха беда начать дело, а продолжать его будет уже легко.

Белинский и Панаев сильно уверовали в литературную предприимчивость Некрасова после изданного им «Петербургского сборника», который быстро раскупался.

Оба они знали, с какими ничтожными деньгами он предпринял это издание и как сумел извернуться и добыть кредит.

— Если бы у меня были деньги, — произнес со вздохом Панаев, — я ни минуты не задумался бы издавать журнал вместе с Некрасовым. Один я не способен на такое хлопотливое дело, а тем более вести хозяйственную часть.

— Была бы охота, а деньги у тебя есть! — сказала я, не придавая никакого серьезного значения своим словам.

— Какие деньги? — спросил с удивлением меня Панаев.

— Продай лес и на эти деньги издавай журнал.

Толстые подхватили мои слова и стали приставать к Панаеву, почему бы ему в самом деле не употребить свои деньги на хорошее дело.

— Не увидите, как проживете их, — говорили они.

— Нет, нет! — возразил Панаев, — эти деньги по вашему же совету я внесу в Опекунский совет, чтобы не так тяжело было бы платить проценты за заложенное имение.

Пока у него не было денег в руках, он всегда благоразумно рассуждал об экономии.

— Разрешите Панаеву употребить деньги, вырученные за продажу леса, на журнал, как на дело хорошее? — обратился ко мне Толстой.

— Охотно! — отвечала я.

— Так, господа, по рукам! — воскликнули Толстые, — что тут раздумывать.

— Разве хватит таких денег? — обратился Панаев с вопросом к Некрасову.

— Хватит, хватит! — ответил тот. — Кредитоваться будем.

Панаев протянул руку Некрасову и произнес:

— Идет! Будем вместе издавать.

Толстые розняли руки по русскому обычаю и радостно произнесли «ура!».

Мне не верилось, что из этого разговора выйдет что-нибудь.

Некрасов, весь сияющий, сказал Панаеву:

— Деньги не пропадут, только надо энергически взяться за дело.

Панаев тотчас же заговорил, что надо написать Белинскому, но Некрасов возразил, что прежде надо хорошенько обсудить дело и лучше всего лично переговорить

с Белинским. Он упросил Панаева никому из своих приятелей не писать об их планах.

Мы засиделись почти до рассвета, ведя разговоры о новом журнале. Возник вопрос, у кого купить право, так как новых журналов в то время не разрешали издавать. Перебирали разные журналы, которые находились в летаргическом сне, но ни один не оказывался подходящим. Уже стали прощаться, чтобы идти спать, как вдруг Панаев воскликнул:

— Нашел! «Современник»!

Некрасов радостно сказал:

— Чего же лучше! как это сразу не пришел нам в голову «Современник»? — И снова затянулся разговор [3].

Право на «Современник» принадлежало Плетневу, с которым Панаев давно был знаком. Все так были возбуждены, что забыли о сне. Толстые вставали рано и нашли, что не стоит ложиться спать на каких-нибудь два часа, и потребовали чаю, так что солнце совсем взошло, когда мы стали расходиться. Некрасов, выйдя на террасу, сказал:

— Посмотрите, господа, как великолепно сегодня сияет солнце! После трех дней пасмурной погоды оно предсказывает успех нашему журналу.

Некрасов решил ехать скорее в Петербург, чтобы переговорить с Белинским и начать хлопоты по журналу. Толстые шутили над ним, уговаривая его остаться еще недельки на две, так как в конце августа была самая лучшая охота [4].

— До охоты ли мне теперь! — отвечал Некрасов, не поняв шутки. — Не знаю, как дождаться того дня, как увижу первый номер «Современника»!

Панаеву же надо было дожидаться денег от продажи леса.

Уезжая из деревни, Некрасов просил Панаева не засиживаться в Москве и не проболтаться о затеваемом деле.

Однако мы прожили в Москве с неделю; от Белинского Панаев получил письмо, где он делал ему строгий выговор за то, что он бьет баклуши в Москве, когда нужно скорее дело делать. Белинский боялся, чтобы Панаев по своей барской привычке не истратил деньги на пустяки. Он убеждал его быть экономным, брать пример с Некрасова, который всецело отдался делу. Белинский писал, что ему иногда не верится, что издание журнала

не сон, а действительность, что он ожил и снова почувствовал рвение к работе. «Скорей, скорей приезжайте в Петербург, — писал Белинский, — и сейчас же поезжайте к Плетневу. Так и знайте, Панаев, что, если вы по своей ветрености не приобретете от Плетнева «Современника», я вас прокляну! Я ночи не сплю от страха: ну, если кто-нибудь уже купил у Плетнева право на «Современник»! Легко может случиться, что кому-нибудь другому также пришла мысль издавать журнал. Конечно, «Современник» единственный журнал, который самый подходящий по своей литературной репутации. Пока не покончите с Плетневым, до тех пор не буду спать покойно. Я так напуган всякими скверностями, какие проделывает со мной моя мачеха-судьба, что мне все кажется: какая-нибудь каверза подвернется, и все дело пропадет!.. Дрожь пробирает меня, когда подобная мысль приходит мне в голову. Вы ведь не можете понять, что значило бы для меня теперь расстаться с надеждой работать для «Современника» [5].

Белинский встретил Панаева в день его приезда из Москвы со словами:

— Черт вас знает, зачем вы застряли в Москве. Завтра же отправляйтесь к Плетневу!

Я не нашла, чтобы поездка с Щепкиным принесла Белинскому пользу; хотя он был необыкновенно оживлен, но припадки кашля очень усилились, так что он долго не мог отдышаться после приступа кашля. Я спросила Белинского, доволен ли он своим путешествием.

— Сто раз каялся, что поехал; хорош отдых — из одного города в другой скакать; всю грудь, все бока отколотило. Приехав в Петербург, думал, что слягу в постель, да Некрасов явился с радостным известием, я и ожил.

В самом деле, никто не сообразил, что для здоровья Белинского утомление от дорог было вредно; тогда еще не было удобных сообщений, и приходилось путешествовать на лошадях.

— Да-с, — самодовольно улыбаясь, говорил Белинский, — и на нашей улице будет праздник! Просветлела моя жизнь, точно тяжелый камень сняли у меня с груди. Теперь я опять почувствовал энергию к работе, в моей голове снова прояснилось, а то она будто была набита рубленой соломой.

— Нет, хороши московские приятели! — заметил Белинский, когда зашла речь о Москве. — Хоть бы один исполнил свое обещание, что по возвращении моем в Москву с Щепкиным они мне вручат свои рукописи для моего альманаха. Ну, хорошо, что подоспел «Современник», а то славно они меня прихлопнули бы. Добро бы люди были занятые, а то сидят сложа руки. Нет, с такими людьми поговорить приятно, но дело с ними иметь беда.

Некрасов купил для «Современника» у Белинского все статьи, обещанные ему его московскими и петербургскими приятелями[6]. За сотрудничество Белинского в «Современнике» была положена плата восемь тысяч рублей в год. Эта цифра сорок лет тому назад казалась баснословной. Сами друзья Белинского удивлялись щедрости издателей журнала, а один из них с жалостью говорил Панаеву:

— Это сумасшествие с твоей стороны — так швырять деньгами.

— Если хорошо пойдет журнал, — отвечал Панаев, — мы еще прибавим; мы сами литераторы, стыдно усчитывать сотрудников.

— Так я тебе предсказываю, что ты гроша не будешь иметь барыша от журнала, если так будешь роскошничать. И что это Некрасов смотрит? — он человек коммерческий. Нельзя, нельзя так вести денежные дела, будет банкротство журнала, помянете меня, да поздно будет, что не послушались моего благоразумного совета. Жаль, очень жаль тебя, любезнейший Панаев, — там, где люди наживают деньги, ты прогоришь!

Но за первую же статью, которую поместил в «Современнике», этот благоразумный советник потребовал прибавки за лист, говоря Некрасову:

— Если я отнесу мою статью в «Отечественные записки», так мне с радостью еще дороже дадут, чем я вам назначил цену.

С появлением «Современника» быстро поднялась цена на литературный труд.

На другой же день своего приезда — утром — Панаев отправился к Плетневу. Белинский, в ожидании возвращения Панаева домой, все время страшно волновался, и когда Панаев вернулся, то выскочил в переднюю с вопросом:

— Наш «Современник»?

— Наш, наш! — отвечал Панаев.

Белинский радостно вздохнул.

— Уф! — воскликнул он, — я измучился... мне все казалось, что уже у нас его кто-нибудь переб...

Он не окончил фразы.

Сильный приступ кашля стал душить его. Он весь побагровел от натуги и махал рукой Панаеву, который начал было передавать Некрасову свой разговор с Плетневым. После этих приступов кашля Белинский всегда долго не мог отдышаться и с передышкой произнес:

— Ну... теперь рассказывайте[7].

Белинский возмутился, услышав, что Плетнев выговаривал себе четыре тысячи в год за право и едва согласился на три.

— Нелепое запрещение издавать новые журналы развивает в литературе ростовщичество, но что поделаешь! Надо, господа, соглашаться — пусть его подавится этими тремя тысячами!

Страшным ударом для Белинского было, когда в цензурном комитете нашли, что Панаев и Некрасов не настолько благонадежные люди, чтобы их можно было утвердить редакторами. О редакторстве Белинского нечего было и думать, потому что «Северная пчела» уже несколько лет постоянно печатно твердила о зловредном направлении его статей; беспрестанно писались куда следует доносы, с указанием на статьи, в которых он будто бы проповедует безбожие, безнравственность и глумится над патриархальными чувствами русских и т. д.

Надо было приискать подходящего человека, которому разрешили бы редактировать «Современник». Обратились к Никитенке, он согласился[8]. Белинский кипятился, что прибавится еще новый тысячный расход от фиктивного редактора, но делать было нечего.

Понятно, что слухи о намерении Некрасова и Панаева издавать «Современник» породили толки в разных литературных кружках. Сначала многие не верили, но потом стали смеяться, говоря, что ничего дельного не выйдет из планов Некрасова и Панаева. Белинскому передавали эти сплетни, и он говорил: «Пусть их смеются и не верят, а как мы им преподнесем первый номер «Современника», так позеленеют от злости». Белинский письменно отказался от сотрудничества в «Отечественных записках», но это была только одна формальность, потому что все знали, что он будет сотрудничать в «Современнике».

Некрасов велел печатать объявления об издании «Современника» в громадном числе; они помещались почти во всех тогдашних журналах и газетах. Панаев находил, что это стоит очень дорого и вовсе не нужно, но Белинский ему возражал:

— Нам с вами нечего учить Некрасова; ну, что мы смыслим! мы младенцы в коммерческом расчете: сумели ли бы мы с вами устроить такой кредит в типографии и с бумажным фабрикантом, как он? Нам на рубль не дали бы кредиту, а он устроил так, что на тысячи может кредитоваться. Нам уж в хозяйственную часть нечего и соваться.

Такая масса объявлений об издании «Современника» дала повод литературным врагам глумиться печатно над издателями. Говорили, например, что они апраксинские молодцы, которые с нахальством тащат в свою лавку всякого проходящего и расхваливают свой товар и т. д. Панаев вкусил первые кислые плоды журнальной деятельности; притом же ему задал головомойку его превосходительный дядюшка В. И. Панаев, бывший литератор, воспевавший аркадских пастушков и пастушек. Дядя-генерал находил, что его племянник позорит старинную потомственную дворянскую фамилию, которую имел счастие носить, связавшись с разночинцами и торгашами. В. И. Панаев не признавал современную литературу; по его мнению, Гоголю надо было запретить писать, потому что от всех его сочинений пахнет тем же запахом, как от лакея Чичикова. Он приходил в ужас от того, что «Ревизора» дозволили играть на сцене. По его мнению, это была безобразная карикатура на администрацию всей России, которая охраняет общественный порядок, трудится для пользы отечества, и вдруг какой-то коллежский регистраторишка дерзает осмеивать не только низший класс чиновников, но даже самих губернаторов.

В. И. Панаев занимал видное место по службе, был в генеральском чине, считал себя очень важным лицом в администрации и очень заботился о сохранении почета, который обязаны все оказывать таким лицам.

О Белинском он не мог иначе говорить, как с пеной у рта, потому что тот в своих статьях осмеял прежних слащавых писателей, воспевавших пастушков и пастушек. Авторское самолюбие В. И. Панаева было страшно оскорблено: как осмелился какой-то недоучившийся раз-

ночинец смеяться над его литературными заслугами! «Намордник следует надеть такому писаке, — твердил он, — на цепь его посадить, а ему дозволяют печатать. До чего теперь дошла литература! появились в ней разночинцы, мещане! Прежде все литераторы были из привилегированного класса, и потому в ней была благонадежность, сюжеты брались сочинителями нравственные, а теперь мерзость, грязь одну описывают. Распущенность, страшная распущенность допущена, необходимо надо наложить узду на нынешних писак! Просто срам — такое лицо, как Жуковский, сажает мужика в свою коляску, потому что он, видите ли, мужицкие стишки пописывает» [9].

Впрочем, такое мнение о распущенности в литературе высказывал тогда не один В. И. Панаев [10].

Подписка на «Современник» шла хорошо. Некрасов хотел было значительно понизить подписную годовую плату, но Белинский побоялся, что не хватит денег, и потому плата была назначена в 16 руб. 50 коп. в год, тогда как плата за «Отечественные записки» была 17 руб. 50 коп.

Недоброжелатели всеми способами старались повредить успеху дела, распускали самые неблагоприятные слухи, будто бы издатели нового журнала люди несостоятельные, что деньги подписчиков пропадут и т. д., но это очень мало влияло на ход подписки.

Тургенев, вернувшись поздней осенью из деревни, шумно выражал свою радость по поводу задуманного издания «Современника». Белинский ему заметил:

— Вы не словами высказывайте свое участие, а на деле.

— Даю вам честное слово, что я буду самым ревностным сотрудником будущего «Современника».

— Не такое ли даете слово, какое вы мне дали, уезжая в деревню, что, возвратясь, вручите мне ваш рассказ для моего альманаха? — спросил ироническим тоном Белинский.

— Он у меня написан для вас, только надо его обделать...

— Лучше уж прямо бы сознались, что он не окончен, чем вилять.

— Клянусь вам, что осталось работы не более как на неделю.

— Знаю я вас, пойдете шляться по светским салончикам! Кажется, немало времени сидели в деревне, и то не могли окончить!

Тургенев клялся, что с завтрашнего утра засядет за работу и, пока не окончит, сам никуда не выйдет и к себе никого не примет.

Белинский на это ответил:

— Все вы одного поля ягодки; на словах любите разводить бобы, а чуть коснулось дела, так не шевельнут и пальцем... да и я-то хорош гусь! кажется, не первый день вас всех знаю, а имел глупость рассчитывать на ваше обещание... Ну, смотрите, Тургенев, если вы не сдержите своего обещания, что все вами написанное будет исключительно печататься в «Современнике», то так и знайте: я вам руки не подам, не пущу на порог своего дома!

Все присутствующие улыбались на угрозы Белинского.

— Я вас ведь лучше знаю, чем вы сами себя! — продолжал он. — Когда вам приспичит пофорсить перед вашими знакомыми, а в кармане не будет денег, так вы не только побежите запродать свой рассказ в «Отечественные записки», но даже в «Северную пчелу»!

Все расхохотались. Белинский также засмеялся над своими словами и потом продолжал:

— Без шуток, господа, надо всем нам приложить все старание, чтобы «Современник» был хорошим журналом. Вспомните, как все мы вздыхали да охали, что у нас нет своего журнала: ну вот, наше желание исполнилось, так нам и надо сообща стараться, чтобы каждый номер «Современника» был бы полон жизни и честного направления.

— Господа, я первый даю клятву, что ни одной строки моей не будет нигде напечатано, кроме «Современника»! — воскликнул Тургенев и, обращаясь к Белинскому, сказал: — Неверующий Фома, довольны?

Белинский, улыбаясь, произнес:

— Посмотрим, сдержите ли вы свою клятву.

Панаев поступил легкомысленно в одном деле, которое, в сущности, вредило только ему самому. В его отсутствие приятели заговорили об этом с Белинским.

— Господа! — заметил Белинский — Я думаю, никто из вас так не озлоблялся, как я, на легкомысленность

Панаева. Он страшно вредит сам себе и дает ничтожным людишкам, не стоящим подметок его сапогов, повод глумиться над ним. Незлобивостью характера Панаев уподобляется младенцу, теплота его сердца самая редкая в наше время, в которое эгоизм заглушает в людях все человеческие чувства. Я эту сердечную теплоту Панаева испытал на себе. Да, господа, никто из моих приятелей не сделал мне лично столько услуг, как Панаев! Когда я бедствовал в Москве, кто принял во мне самое горячее участие? — Панаев! Заметьте, он только что меня узнал! Ничего не значит, что я часто ругаю его за его мальчишеские замашки и, вероятно, немало еще буду бранить, но в душе я высоко ценю его сердечную теплоту к людям... Вот и теперь, господа, из всего нашего кружка кто осуществил наше желание издавать журнал? Все тот же легкомысленный Панаев! Я не говорю о себе, какое важное значение для меня имеет это предприятие, но оно важно и для всех литераторов, потому что «Современник» положит конец тем ненормальным отношениям сотрудников к журналисту, в которых мы все находились. Необходимо должна быть нравственная связь между журналистом и его сотрудниками, а не хозяина к поденщикам. В нашем кружке находятся люди посолиднее и побогаче Панаева, однако никто не рискнул своими деньгами, никому не пришло в голову издавать журнал. А потому, господа, мы все должны сказать от чистого сердца: «Да отпустятся ему все его вольные и невольные грехи за его отзывчивую и бескорыстную теплоту души!»

Всех присутствующих поразила речь Белинского, потому что никто не обращал внимания на хорошие черты характера Панаева, а все подмечали лишь одни его слабые стороны и почему-то относились к ним с беспощадной строгостью,— особенно те люди, которые сами имели эти же слабости, но в еще большей степени. Беспощадная строгость в кружке к Панаеву легко объяснялась тем, что он не был способен мстить, тогда как о слабостях других боялись и заикнуться, зная наверно, что это не пройдет даром. Белинский раз сердился на Панаева за то, что он хлопотал о месте для одной плутоватой личности.

— Приди к Панаеву его самый злейший враг и попроси похлопотать о нем, он все забудет и будет лезть

из кожи, чтобы оказать ему услугу, — заметил при этом случае Белинский.

Все считали как бы обязанностью Панаева оказывать услуги и, кроме него, не обращались ни к кому другому.

Поэту Щербине передали, что Панаев посмеялся над его манишками и пестрыми жилетами. Щербина очень оскорбился и мстил ему за это эпиграммами и рассказами о его слабости к франтовству, но когда Щербина бедствовал, то обратился к Панаеву с просьбой, чтобы он съездил к одному важному лицу и отрекомендовал бы его на вакантное место. Панаев сейчас же исполнил его просьбу, дал самую лучшую о нем рекомендацию и даже прибавил, что Щербина его очень хороший приятель. Панаеву в голову не приходило рисоваться своими хорошими поступками или окружить себя приживальщиками, которые бы трезвонили о них на всех перекрестках. Кажется, он мог бы, по крайней мере, требовать от тех, которые постоянно ели и пили у него, чтобы они хоть не сплетничали на него. Я думаю, не было другого литератора, у которого для всех нуждающихся всегда были бы готовы приют, помощь и всякие услуги.

Когда в 1857 году морское министерство обратилось к Панаеву с просьбой рекомендовать благонадежных и способных писателей для командировки их на чрезвычайно выгодных условиях по окраинам России с целью описания разных местностей, Панаев в числе других рекомендовал Писемского, по усиленной просьбе последнего. Писемский уехал и затем не подавал о себе никаких вестей. Наконец, возвратясь в Петербург, он не представил в морское ведомство ни одной строки. По этому поводу Панаеву делали запросы, и он, в свою очередь, стал напоминать Писемскому.

— Что вы ко мне пристаете, Панаев! — отвечал тот. — Угодничаете там, а я должен для вас бросить начатый свой роман! Черта с два!

Панаев доказывал Писемскому, что на нем лежит нравственная обязанность доставить описание своей поездки в морское ведомство, и при этом сослался на других литераторов, приславших свои рукописи даже с места своей командировки.

— Мне не указ другие! Наплевать, что на меня претендует ваше морское ведомство. Когда захочу, тогда и

пошлю свою статью. Я не намерен ни перед кем вилять хвостом.

В самом деле, Писемскому трудно было приняться за описание местности, куда он был командирован: он пробыл в ней всего с неделю, так как застрял где-то по дороге, истратил все деньги, и ему не с чем было разъезжать для осмотра и изучения того, что было нужно[11].

Писемский, как известно, отличался бесцеремонностью в своих манерах и разговорах.

Тургенев более всех возмущался этими качествами Писемского. После вечера в одном светском салончике, где Писемский читал свой новый роман, Тургенев, явившись на другой день к Панаеву, в отчаянии говорил:

— Нет, господа, я более ни за какие блага в мире нигде не буду присутствовать при чтении Писемского, кроме как в нашем кружке. Это из рук вон, до чего он неприличен! Я готов был сквозь землю провалиться от стыда. Вообразите, явился читать свой роман, страдая расстройством желудка, по обыкновению рыгал поминутно, выскакивал из комнаты и, возвращаясь, оправлял свой туалет — при дамах! Наконец, к довершению всего, потребовал себе рюмку водки, каково? Судите, господа, мое положение! — плачевным голосом произнес Тургенев. — И какая бестактность, валяет себе главу за главой, все утомились, зевают, а он читает да читает. Хозяйку дома довел до мигреня... Боже мой, уродятся же на свете такие оболтусы. Мне, право, стыдно, теперь показаться в этот дом. И какая у Писемского убийственная страсть всюду навязываться читать свои произведения? Нет!.. Я теперь проучен, не покажусь нигде в обществе, если узнаю, что там находится Писемский.

Что касается Писемского, то он остался очень доволен своим чтением и рассказывал, что произвел фурор.

— Спросите Тургенева! — ссылался он. — Когда мы вышли вместе, то дорогой он мне передал, что мой роман пронял даже бабье. Он уверяет, что этот роман в тысячу раз будет выше моего «Тюфяка». Да я и сам сознаю, что создал важную вещь.

После ужина Писемский заговорил с важностью:

— Господа, намотайте себе на ус, я ведь за этот роман назначу высокую плату за лист. Дудки, я теперь

цену себе знаю. Уж разведчики засылались ко мне из «Отечественных записок» выпытать, сколько я хочу взять за роман. Тургеневу вы платите дороже с листа, потому что он умеет, шельма, облапошивать вас, и я согласен с ним, что надо с вас лупить побольше! Ведь, в сущности, Тургенев только эпизодики пишет, а я создаю цельную жизнь в своем романе — это поважнее. Значит, я-то еще более имею права содрать с вас хорошую деньгу. Баста, больше простофилей не буду... нажмем вас! ведь без нас вы пропадете... Тургенев тонкий дипломат, он вразумил меня, что вам пальца в рот не клади.

Так как Писемский говорил это после ужина, то его словам о Тургеневе не придали никакого значения и посмеялись. Когда затем рассказ Писемского был сообщен в виде шутки Тургеневу, последний ужасно взбесился.

— Да этот оболтус еще враль, хвастунишка! Нет, я отобью у него охоту выставлять меня своим другом!

Тургенева успокаивали, но он в волнении шагал по комнате и продолжал говорить:

— Только мне такое несчастье выпадает: все лезут ко мне в дружбу. Этот оболтус вздумал чуть не каждое утро являться ко мне; не знаешь, как его спровадить от себя, до такой степени он надоедает своей грубой руготней; нет человека из нашего кружка, которого бы он не выругал площадным образом. Это, господа, литературный Собакевич.

Тургенев находил, что произведения Писемского так же топорны, как и он сам.

— Заметьте, — горячился он, — что все его героини выражают благородство своей души пощечинами; меня удивляет, как его героини еще не ругаются площадными словами в поэтических сценах со своими возлюбленными. К чему он берется описывать порядочных женщин и общество, о котором не имеет никакого понятия?

Когда вышел первый номер «Современника», то Белинский смотрел на книжку с таким умилением, с каким смотрит отец на своего первенца, только что появившегося на свет. По случаю выхода «Современника» был дан обед в редакции, и с тех пор установился обычай, продолжавшийся много лет, — делать обеды сотрудникам каждый месяц.

По тесноте квартиры не было возможности скрыть что-либо, происходившее в редакции «Современника». Любители-вестовщики передавали в редакцию «Отечественных записок», какие статьи заготовляются на будущий номер и что говорится при этом, а затем, прибегая из редакции «Отечественных записок», передавали, что там говорилось о «Современнике» и его издателях, конечно, с разными прибавлениями; все это делалось под видом живого участия.

Белинский сердился, что у Панаева бывает так много гостей.

— Придешь поговорить о деле, а у вас непротолченная труба народу!

Для меня как хозяйки дома было много хлопот. Я должна была принимать гостей, выслушивать всевозможные сплетни, заботиться об обедах, об ужинах и при этом по возможности экономить.

Не помню, в каком месяце, феврале или марте, приехал в Петербург Герцен[12] и остановился у нас. Я удивлялась, как Герцен мог обходиться без сна, потому что выпадали дни, когда он положительно не ложился в постель. Бывало, гости засидятся до двух, трех часов ночи, а он вдруг вздумает идти освежиться на воздух, возвращается часов в восемь утра и начинает стучаться ко мне в дверь, стыдя, что я так долго сплю, что уже пора пить чай. Когда я выходила, он пресерьезно говорил:

— Знаете ли, самая здоровая вещь — вставать рано утром; посмотрите, какой у меня свежий цвет лица, а все оттого, что я рано встаю.

Когда между Белинским и Герценом завязывался спор, то все присутствующие внимательно их слушали. Герцен, по живости своей натуры, не мог долго усидеть на одном месте и разговаривал всегда стоя. Если Белинский сильно горячился и закашливался, Герцен говорил какую-нибудь остроту, которая смешила Белинского и других, и спор делался хладнокровнее.

Как-то раз, по уходе Белинского, Герцен заметил:

— Господа, а ведь у Белинского кашель-то скверный.

— Да, — отвечал Некрасов, — его кашель пугает нас; необходимо отправить его за границу лечиться.

— Как же вы обойдетесь без него? — спросил Герцен.

— Что делать, как-нибудь обойдемся, нельзя же

запускать такой кашель. Ему вредно всякое волнение, а он из всякого пустяка в «Современнике» кипятится.

— Но ведь на отправку его понадобится порядочная сумма денег? — заметил Герцен.

— В этом году трудно будет его отправить, — сказал Панаев, — но на будущий год, вероятно, подписка на журнал увеличится, тогда и явится возможность отправить его лечиться. Только поедет ли?

— Это почему не поедет? — спросил Герцен.

— Точно вы не знаете его деликатности, — отвечал Панаев. — Я было попробовал заговорить с ним о заграничной поездке, так он даже рассердился, укоряя, что мы уже вообразили себя капиталистами; да и «Современник» он ни за что не оставит, хотя Некрасов имеет все данные для того, чтобы хорошо вести журнальное дело, но все-таки может, по неопытности, сделать промах, а при той враждебности, с которой многие литераторы смотрят на «Современник», этот промах даст им возможность разгуляться вовсю над журналом.

Герцен советовал устроить консультацию из лучших докторов, но Некрасов заметил на это, что таким предложением можно очень напугать Белинского.

— Употребите хитрость, пригласите докторов, а его заманите к себе — будто бы по делу.

— Догадается, — сказал Некрасов.

— Можно сказать... ну, хоть... что я для себя созвал докторов, —ответил Герцен.

Все засмеялись.

— Что вы смеетесь, господа, — продолжал он, — право, у меня очень серьезная болезнь — ведь вы сами знаете, что я не сплю по ночам!

Трудно было исполнить совет Герцена относительно консультации докторов, потому что Белинский был убежден, что его кашель происходит просто от застаревшего желудочного катара, и находился постоянно в такой возбужденной деятельности, что не обращал внимания на свое здоровье, а если чувствовал упадок сил, то приписывал это простуде или нервному раздражению от неприятностей.

После отъезда Герцена у нас водворилась какая-то тишина и пустота, потому что он необыкновенной живостью своего характера оживлял всех, а после его остроумных разговоров казалось, что все другие говорят вяло, как-то размазывают свою мысль, тогда как Герцен

передавал ее всегда сжато, рельефно и блестяще; она сверкала, точно молния.

Герцен приезжал в Петербург по делам и, кстати, хлопотал о разрешении ехать за границу, чего вскоре и добился.

С первого же года «Современнику» повезло. В февральской книжке 1847 года был напечатан роман Гончарова «Обыкновенная история», имевший огромный успех [13]. Боже мой! как заволновались любознательные литераторы. Они старались разведать настоящую и прошлую жизнь нового писателя, к какому сословию он принадлежит по рождению, в какой среде вращается и т. п. Многие были недовольны сдержанностью характера Гончарова и приписывали это его апатичности. Тургенев объявил, что он со всех сторон «штудировал» Гончарова и пришел к заключению, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в его натуре нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром и его не интересуют никакие общественные вопросы, «он даже как-то боится разговаривать о них, чтоб не потерять благонамеренность чиновника. Такой человек далеко не пойдет! — посмотрите, что он застрянет на первом своем произведении».

Странно, что предсказания Тургенева о литературной будущности его современников почти никогда не оправдывались. Например, приведя к Панаеву знакомиться Апухтина, тогда еще юного правоведа, он предсказывал, что такой поэтический талант, каким обладает Апухтин, составит в литературе эпоху и что Апухтин своими стихами приобретет такую же известность, как Пушкин и Лермонтов. Объяснить подобную странность в Тургеневе можно тем, что он сильно увлекался первыми впечатлениями, потому что никак нельзя было заподозрить его в отсутствии художнического литературного понимания. Он был прекрасно образован, много читал, сам был тонким художником в своих произведениях, и когда говорил об иностранной или русской литературе, то видно было, что он тонкий и строгий ценитель. Расскажу один эпизод, случившийся с Тургеневым. Он знал, что на следующий номер «Современника» не имелось ничего хорошего для отдела беллетристики, приходилось печатать плохонькую повесть, и вот он прибегает в редакцию и радостно объявляет Некрасову, что вчера в одном свет-

ском обществе он присутствовал при чтении одним молодым автором его первого произведения, что это такая прелесть, после которой он должен изломать свое перо, чтобы не осрамиться перед таким новым талантом, и советовал Некрасову поспешить приобрести эту повесть, заверяя, что она сразу прибавит 500 подписчиков. Некрасов обрадовался, просил Тургенева похлопотать, чтобы эта повесть попала в «Современник», и даже сделал распоряжение в типографии, чтобы прекратили набор данной им раньше повести. Оказалось, что хваленая повесть еще была не окончена, и автор сам через полторы недели привез ее в редакцию. Это был московский молодой франтик, подъехавший в карете четверней, потому что остановился у своей тетушки-старушки, которая иначе не выезжала, как с форейтором. Некрасов, не прочитав рукописи, немедленно послал в типографию набирать, потому что ожидание этой повести и так задержало выход книжки. Когда принесли из типографии корректуру, Некрасов пришел в отчаяние. Все действующие лица в повести были графы, камергеры, графини, княгини; герой и героиня выражались до того высокопарно, что возбуждали смех; кроме вычурного слога, повесть была пересыпана массой каких-то туманных философских рассуждений.

Когда Тургенев пришел к обеду, Некрасов, не говоря ни слова, прочел ему выдержки из этой повести. Тургенев смеялся до слез и наконец сказал: «Это, наверно, Панаев выкинул такую штуку, не решился отказать какому-нибудь из своих аристократов, который пустился в литературу». Тогда Некрасов объявил, что не Панаев, а он рекомендовал эту повесть. Тургенев привскочил с места и с удивлением воскликнул: «Да это не может быть!» Когда же убедился, что это верно, то схватил себя за голову и жалобно произнес: «Что за помрачение нашло на меня! Как я так опростоволосился?» Тургенев объяснил, что он слушал чтение этой повести в блаженном одурении, сидя близко к одной барыне, которая ему очень нравилась, что он упивался ароматом ее головы, блаженствовал, когда она поворачивала свою голову к нему и тихо сообщала свои восторги от повести, что ее губки так близко были к его щеке. Он был мастер описывать свои ощущения в этом роде.

Некрасов в наказание засадил Тургенева исправлять высокопарные разговоры героини и героя в его хваленой

повести. Тургенев, проработав немного, встал из-за стола, сказав: «Хорошенько надо было бы высечь автора, чтобы он не смел никогда браться за перо! Да уж и меня кстати!»

Сожалею, что не могу вспомнить название этой повести; помню одно, что она была напечатана в начале пятидесятых годов.

С тех пор Некрасов был осторожен и не полагался на похвалы Тургенева, когда тот брал под свое покровительство молодых людей, начинавших свое литературное поприще.

П. В. Анненков выступил на литературное поприще, кажется в 1848 году, рассказом под названием «Кирюша». Тургенев стыдил Некрасова, что он срамит журнал, печатая такую бездарность, и за глаза иначе не называл Анненкова, как «наш Кирюша». Кажется, в беллетристическом роде он ничего более не писал [14].

Весной 1847 года Белинский уехал за границу, но неожиданно вернулся в конце августа [15], тогда как должен был пробыть там до тех пор, пока не установится зима.

Белинский пришел ко мне на третий день по своем возвращении. Я очень порадовалась, найдя, что он казался бодрее.

— Таким ли я был молодцом! — сказал мне Белинский. — Я еще измучился от дороги; шутка ли, скакал без передышки в Петербург и в страшном испуге, такую получил из дома телеграмму, думал бог знает что, а оказались все живы и здоровы, только напрасно перепугали меня. Впрочем, теперь я доволен; если уж вернулся, то надо засесть за работу; просто совестно, как я мало наработал в «Современник».

Я не советовала ему слишком налегать на работу.

— Надо же мне поквитаться, — твердил он, — я ужаснулся, когда сосчитал, сколько прожил денег.

Я переменила разговор, чтобы отвлечь Белинского от его личных денежных дел.

— Каков Некрасов, — сказал он, — предлагает какую штуку — издание «Иллюстрированного альманаха»! Ну, коммерческая голова у него! Одного боюсь, что такой альманах будет стоить очень дорого; как бы они не зарвались, и так уже каждая книжка «Современника» обходится почти вдвое дороже против первоначально

составленной сметы расходов по журналу. Сколько теперь остается денег, чтобы дотянуть год? — спросил он меня.

Я не имела никаких сведений о хозяйственной части журнала. Белинский с самого начала издания «Современника» очень озабочивался денежными делами журнала, боясь, чтобы он не прекратился по недостатку средств. Мысль давать при «Современнике» приложения была новостью в литературе и произвела сенсацию в литературном мире: одни одобряли выдумку Некрасова, другие же печатно набросились на издателей «Современника», обвиняя их в том, что они прибегают к непозволительным средствам для приманки подписчиков, унижают журналистику в глазах публики, вероятно, скоро будут обещать своим читателям по бочонку селедок, по куску мыла и т. п. Можно судить, как обрадовались враги «Современника», когда объемистый «Иллюстрированный альманах», уже процензурованный, был задержан и его вновь начали пересматривать в главном цензурном комитете [16].

Переворот в Париже 1848 года печально отозвался на русской литературе. Граф Бутурлин был назначен председателем цензурного комитета и получил, как говорили, самые строгие инструкции. «Альманах» в руках цензуры стал чахнуть: из него выбрасывались целые статьи и калечились те, которые оставались. Мое первое произведение «Семейство Тальниковых», помещенное в «Альманахе», обратило особенное внимание Бутурлина. Он собственноручно делал заметки на страницах: «цинично», «неправдоподобно», «безнравственно», и в заключение подписал: «не позволяю за безнравственность и подрыв родительской власти». Бесконечные задержки и перепечатки статей требовали много расходов, но в особенности было неприятно, что старые подписчики за 1847 год и новые за 1848 год сильно претендовали, не получая обещанного приложения, присылали в редакцию запросы и ругательные письма, а цензура не дозволяла напечатать никаких оправданий в задержке обещанного приложения. Газеты и журналы поджигали подписчиков «Современника», уверяя, что издатели их надули, хотя все литераторы отлично знали причины задержки выпуска «Иллюстрированного альманаха». Некрасову и Панаеву, после усиленных просьб, дозволили только напечатать в журнале просьбу к подписчикам, чтобы они потерпели еще некоторое время, что ре-

дакция непременно выдаст приложение под названием «Литературный сборник». Даже прежнего названия не дозволила цензура *. Наконец только в 1849 году было разослано подписчикам приложение. Но вся эта кутерьма с «Иллюстрированным альманахом» и глумление печати над «надувательством» «Современника» повлияли на подписку, так что из трех с половиною тысяч подписчиков убыло почти две тысячи [17]. Притом же в публике распространялись слухи, что «Современник» прекращается. Не помогли даже письма, разосланные всем подписчикам от издателей, что приложение вышло несвоевременно не по их вине. Некрасов страшно рисковал рассылкой таких писем, но это делалось очень секретно и письма адресовались с разбором.

Я уже сказала, что мое первое произведение было запрещено. Никто из литераторов не знал, что я пишу, и я не хотела, чтобы об этом преждевременно толковали. Когда Белинскому, по обыкновению, были отосланы набранные листы «Семейства Тальниковых», то он потребовал, чтобы Некрасов немедленно пришел к нему. Белинский уже был так болен, что не выходил более из дому. Литературные передряги и страшные гонения на литературу надорвали окончательно его силы, и чахотка развивалась с необычайной быстротой.

Поэтому я была крайне изумлена, когда вдруг совершенно неожиданно Белинский явился ко мне. Он долго не мог отдышаться, чтобы заговорить.

— Я сначала не хотел верить Некрасову, что это вы написали «Семейство Тальниковых», — сказал он, — как же вам не стыдно было давно не начать писать? В литературе никто еще не касался столь важного вопроса, как отношение детей к их воспитателям, и всех безобразий, какие проделывают с бедными детьми. Если бы Некрасов не назвал вас, а потребовал бы, чтобы я угадал, кто

* Через 20 лет я узнала случайно, что «Альманах» с «Семейством Тальниковых» можно достать в библиотеках для чтения. Так как он сначала был дозволен цензурой, то никто не знал, что это контрабанда. «Альманах» появился в продаже следующим образом: когда он был запрещен, то листы были свалены на чердаке при квартире редакции. Когда надо было переезжать на другую квартиру, я пошла на чердак и удивилась, заметя, что пачки листов развязаны и валяются в беспорядке. Прислуга объяснила мне, что бывший лакей Некрасова водил на чердак букинистов и продавал им бумагу на вес. Ясно, что из этих листов составлялись книжки и втихомолку распродавались. *(Прим. автора.)*

из моих знакомых женщин написал «Семейство Тальниковых», уж извините, я ни за что не подумал бы, что это вы.

— Почему? — спросила я.

— Такой у вас вид: вечно в хлопотах о хозяйстве.

Я рассмеялась и добавила:

— А ведь я вечно только думаю об одних нарядах, как это все рассказывают.

— Я, грешный человек, тоже думал, что вы только о нарядах думаете. Да плюньте вы на всех, пишите и пишите!

Белинский стал меня расспрашивать, что я намерена еще написать.

— Да пока еще ничего, очень может быть, что не буду в состоянии еще написать что-нибудь.

— Вздор! сейчас же пишите что-нибудь... Давайте мне честное слово, что засядете писать!

Для его успокоения я дала слово скоро приняться за работу. Белинский, разговаривая, поминутно должен был останавливаться от кашля. Он просидел у меня довольно долго.

— А мне хорошо у вас... Как-то вспомнилось все прошлое, как я познакомился с вами, как вас дразнил, как мы приехали в Петербург. Каким я был тогда и чем сделался теперь! И думал ли я, что увижу такое гонение на литературу.

Белинский печально понурил голову.

— Ну, пора домой! И так без конца ворчали на меня, что я захотел выйти из дому; я во что бы то ни стало хотел видеть вас. Вернусь, и опять на меня будут ворчать, зачем я долго засиделся у вас.

И, медленно встав с дивана, он протянул мне руку, говоря: «Прощайте, выполните же ваше честное слово — пишите! Бог знает, когда мы еще увидимся».

Я проводила Белинского до передней, и лакей свел его с лестницы и усадил на извозчика, хотя он жил очень близко от нас. Это было наше последнее прощание. Я уже более его не видала.

Последнее время я прекратила свои посещения в семейные дома, где собирался по вечерам кружок общих знакомых. Мне опротивели постоянные сплетни, и после одной из них, где был замешан Белинский, я сказала ему, что прекращаю свои посещения ко всем нашим общим

знакомым, в том числе и к нему. Он одобрил мое намерение, сказав:

— В самом деле, это будет лучше. Меньше будет всяких разговоров и неприятностей.

Очень долго никто не догадывался о моем решении. Все приписывали случайности, что я не бывала ни у кого. Но зато, когда догадались, что я прекратила всякое сношение с дамским кружком, то так озлобились на меня, что перестали даже кланяться со мной на улице, оскорбясь тем, что не догадались раньше и бывали у меня. Мое писательство раздражило их еще более, и все кричали, что пишу не я, а Панаев и Некрасов, по моему желанию, выдают меня за писательницу.

Смерть Белинского, может быть, избавила его от больших неприятностей. Только по удостоверению его доктора Тильмана, что дни больного сочтены, Белинского оставили в покое. Носились слухи, что ему грозила высылка из Петербурга и запрещение писать. Не было ли это для него равносильно смерти?

Я забыла упомянуть, что в 1847 году, не помню в каком месяце, в Петербурге проездом был Гоголь [18]. Он изъявил Панаеву желание приехать к нему вечером посмотреть на молодых сотрудников «Современника», причем, конечно, сделал свою обычную оговорку, чтобы ни посторонних лиц, ни дам не было. За час до прибытия Гоголя в кабинете Панаева собрались: Гончаров, Григорович, Кронеберг и еще кто-то, а из старых московских знакомых Гоголя были Боткин и Белинский. Гоголь просидел недолго; когда он уехал, я вышла в кабинет и заметила, что у всех на лицах было недоумевающее выражение и все молчали, один Белинский, расхаживая по комнате, находился в возбужденном состоянии и говорил:

— Не хотел выслушать правды — убежал!.. еще лучше. Я в письме изложу ему все!.. Нет, с Гоголем что-то творится... И что за тон он принял на себя, точно директор департамента, которому представляют его подчиненных чиновников... Зачем приезжал?

На другой же день вечером Белинский пришел к Панаеву и прочитал свое известное теперь письмо к Гоголю. При чтении письма находилось несколько человек приятелей, и копия с него тут же была списана. Письмо было передано частным образом Гоголю [19].

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Петрашевский. — Цензурный террор. — «Три страны света». — Столкновение Некрасова с Достоевским. — Дружинин и его первая повесть. — Тургенев и «Современник».

В 1848 году мы жили летом в Парголове; там же на даче жил Петрашевский, и к нему из города приезжало много молодежи. Достоевский, Плещеев и Толль иногда гостили у него[1]. Достоевский уже не бывал у нас с тех пор, как Белинский напечатал в «Современнике» критику на его «Двойника» и «Прохарчина». Достоевский оскорбился этим разбором[2]. Он даже перестал кланяться и гордо и насмешливо смотрел на Некрасова и Панаева; они удивлялись таким выходкам Достоевского[3].

Петрашевский не бывал у нас, но знал Панаева и иногда при встрече разговаривал с ним. Петрашевский имел всегда вид мрачный; он был небольшого роста, с большой черной бородой, длинными волосами, всегда ходил в плаще и в мягкой шляпе с большими полями и с толстой палкой. Дачников тогда в Парголове проживало немного, так что все знали не только друг друга в лицо, но и образ жизни каждого. Частые сборища молодежи у Петрашевского были известны всем дачникам. Петрашевского часто можно было встретить на прогулках, окруженного молодыми людьми.

В 1848 году Кавелин и Редкин оставили Московский университет и переселились в Петербург искать себе другого рода службу[4]. Многие винили Грановского за то, что он остался при университете. Но Грановский прямо заявлял, что никогда не оставит Московского университета, что бы там ни творилось. «Я не могу жить без Московского университета, — твердил он, — и никакие перемены в нем не заставят меня бросить его!» В это время Грановский приехал на короткое время в Петербург по делам. Он прогостил у нас на даче два дня вместе с Кавелиным.

В 1848 году строгость цензуры дошла до того, что из шести повестей, назначенных в «Современник», ни одна не была пропущена, так что нечего было набирать для ближайшей книжки.

В самом невинном рассказе о бедном чиновнике цензор усмотрел намерение автора выставить плачевное положение чиновников в России. Приходилось печатать в отделе беллетристики переводы. Роман Евгения Сю не был дозволен, оставалось пробавляться Ламартином [5]. Некрасову пришла мысль написать роман во французском вкусе, в сотрудничестве со мной и с Григоровичем. Мы долго не могли придумать сюжета. Некрасов предложил, чтобы каждый из трех написал по главе, и чья глава будет лучше для завязки романа, то разработать сюжет, разделив главы по вкусу каждого. Я написала первую главу о подкинутом младенце, находя, что его можно сделать героем романа, описав разные его похождения в жизни. Григорович принес две странички описания природы, а Некрасов ничего не написал. Моя первая глава и послужила завязкой романа; мы стали придумывать сюжет уже вдвоем, потому что Григорович положительно не мог ничего придумать. Когда было написано несколько глав, то Некрасов сдал их в типографию набирать для октябрьской книжки «Современника», хотя мы не знали, что будет далее в нашем романе; но так как писалось легко, то и не боялись за продолжение. Некрасов дал название роману «Три страны света», решив, что герой романа будет странствовать. Цензор [6] потребовал, чтобы ему представили весь роман, не соглашаясь иначе пропустить первые главы. Некрасов объяснил, что роман еще не весь написан. Цензор донес об этом в Главный цензурный комитет, который потребовал от авторов письменного удостоверения, что продолжение романа будет нравственное. Я ответила, что в романе «Три страны света» «порок будет наказан, а добродетель восторжествует», Некрасов подтвердил своею подписью то же самое, и тогда Главное цензурное управление разрешило напечатать начало романа [7].

До этого времени в русской литературе еще не было примера, чтобы роман писался вдвоем, и по этому поводу В. П. Боткин говорил Панаеву: «Нельзя, любезный друг, нельзя срамить так свой журнал — это балаганство, это унижает литературу»*.

Бедный Панаев потерялся, так как от других слышал, напротив, похвалы о начале романа. Я предложила,

* Впрочем, я должна оговорить, что две главы в романе написаны, по просьбе Некрасова, Ипполитом Панаевым [8]. *(Прим. автора.)*

чтобы Некрасов один ставил свое имя, но он не согласился. К удивлению нашему, в конце ноября подписка на «Современник» возобновилась, а на Новый год в декабре иногородние подписчики стали требовать высылки им и 1848 года, так что все оставшиеся экземпляры этого года разошлись; их даже не хватило для удовлетворения всех требований. В. П. Боткин изменил свое мнение и с участием осведомлялся о ходе нашей работы. В редакции было получено много писем от иногородних подписчиков с благодарностями за «Три страны света», но получались и такие письма, в которых редакции предлагали роман, написанный десятью авторами, под названием «В пяти частях света», и писали, «что этот роман будет не чета вашему мизерному бездарнейшему роману» [9].

Мы встречали немало досадных препятствий со стороны цензора: пошлют ему отпечатанные листы, а он вымарает половину главы, и надо вновь переделывать. Пришлось бросить целую часть и заменить ее другой. Некрасов писал роман по ночам, потому что днем ему было некогда, вследствие множества хлопот по журналу; ему пришлось прочитать массу разных путешествий и книг, когда герой романа должен был отправиться в путешествие. Я писала те главы, действие которых происходило в Петербурге [10]. Иногда выдавались такие минуты, что мы положительно не знали, как продолжать роман, потому что приходилось приноравливаться к цензуре. Боже мой, как легко стало, когда мы закончили «Три страны света». Но Некрасов тотчас же уговорил меня писать новый роман «Мертвое озеро» [11].

Однажды явился в редакцию Достоевский, пожелавший переговорить с Некрасовым. Он был в очень возбужденном состоянии. Я ушла из кабинета Некрасова и слышала из столовой, что оба они страшно горячились; когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгоряченном состоянии.

— Достоевский просто сошел с ума! — сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом. — Явился

ко мне с угрозами, чтобы я не смел печатать мой разбор его сочинения в следующем номере. И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! До бешенства дошел [12].

В апреле месяце, не могу припомнить какого числа, я была с Панаевым в гостях у одних приезжих знакомых; там между прочими лицами был Спешнев. Я его мало знала, но здесь долго разговаривала с ним. Из гостей мы втроем отправились домой, часу во втором ночи; мы шли пешком, весело разговаривая; ночь была светлая, и уже начинало всходить солнце. Спешнев был в очень веселом настроении духа и проводил нас до самого нашего дома; мы были уверены, что скоро увидимся, потому что он обещался прийти обедать к нам на неделе. Но на другой же день мы узнали, что Спешнев в эту самую ночь был арестован [13], следовательно, как только вернулся домой, проводив нас. Одновременно с ним были взяты Петрашевский, Достоевский, Плещеев и Толль. Каждый день мы узнавали о новых арестах. Ходили слухи, что у Петрашевского нашли документы и письма, сильно компрометирующие его самого и всех его приятелей.

Цензурные строгости дошли до чего-то невероятного; нас уверяли, что «Современник» непременно запретят; в редакции каждую минуту ждали ночного посещения жандармов. Никитенко еще осенью 1848 года отказался от редакторства, и Панаева утвердили редактором [14].

Тридцать первого октября Панаеву и Некрасову была прислана от Дубельта бумага, чтобы они на другой день, к 10 часам утра явились к шефу жандармов графу Орлову [15]. Оба ожидали, что им объявят запрещение издавать журнал, а может быть, даже арестуют. Но они благополучно вернулись домой и рассказали, что граф Орлов призывал их затем, чтобы предупредить, что если журнал будет держаться прежнего направления, то им несдобровать.

— Будьте осторожны, господа! тогда я уже ничего не буду в состоянии сделать для вас, — сказал граф Орлов.

Мы узнали впоследствии, что графу Орлову была подана докладная записка с выписками из разных статей, напечатанных в журнале, в доказательство зловредного его направления.

У нас служил мальчик, лет 16, круглый сирота. Я взяла его еще дитёй. Из замухрышки образовался такой отчаянный франт, что иногда он задерживал обед, потому что не хотел являться к столу иначе как завитой, ругался с прачкой, если она ему нехорошо накрахмалила рубашку, не хотел чистить ножи и вилки, находя, что у него испортятся руки; вообще он держал себя с такою важностью, что один господин прозвал его «бароном». Этот мальчик вдруг начал по вечерам пропадать из дому. Я сперва молчала, но потом рассердилась и объявила ему, что если он еще раз уйдет без спросу, то я более его держать не буду. Он побледнел и горько зарыдал, повторяя: «Я не виноват, ей-богу, не виноват; мне велят, я не смею». Меня удивили его слова, испуг и слезы, и я начала его расспрашивать, кто ему велит уходить из дому, но он не отвечал и только горько плакал. Он любил меня, да и я возилась с ним много, уча его читать, писать и ухаживая во время болезни. Я дала ему слово, что никто не узнает, если он мне откроет, кто велит ему каждый день убегать из дому. Оказалось, какие-то личности настращали его и обязали каждый день доносить обо всем, что делается у нас.

— Ну, что же, ты все пересказываешь? — спросила я.

— Все-с, — рыдая, отвечал он.

Так как все мы были очень осторожны в разговорах и у нас не было никаких тайных сборищ, то я и разрешила ему передавать бюллетени о нашем поведении каждый вечер. Василий (так звали мальчика) по секрету сообщил мне, что дворник нашего дома тоже доносит, кто бывает у нас. Мы догадывались об этом ранее, потому что дворник опрашивал каждого, кто проходил к нам или выходил от нас, и всегда торчал под воротами около нашей лестницы. Прежде дворники никогда не дежурили у ворот, и такое добровольное дежурство не могло не обратить нашего внимания.

Я уже говорила раньше, что еще в Париже В. П. Боткину всюду мерещилось, что за ним следят подозрительные личности. Можно судить, что с ним происходило теперь. Он, по обыкновению, остановился у нас и надоедал своими наставлениями, что мы слишком неосторожно говорим при прислуге. Вдруг ему вообразилось, что Достоевский непременно запутает его, что в бумагах Достоевского могут найти какую-нибудь записку, писан-

ную к нему года два тому назад, и Боткин озлобленно говорил:

— Нечестно, подло не уничтожать записок знакомых. Можешь рисковать собой сколько угодно, но других обязан не вмешивать в свое дело.

Он боялся оставаться в Москве, потому что в одном доме, где собиралось много молодежи, он имел несчастье высказать свою радость по поводу переворота в Париже в 1848 году и вследствие этого прослыл демократом.

— Боюсь я теперь этих мальчишек, — говорил он, — попадутся и запутают тебя!

Боткин потребовал, чтобы Панаев отыскал все его письма и записки и отдал бы ему для уничтожения.

— Мало ли что я мог несколько лет тому назад написать! Захватят с твоими бумагами мои письма и притянут меня! Изволь непременно отыскать все мои письма и подай мне: я их сожгу в камине.

Раз, в два часа ночи, мы сидели и слушали рассказ Панаева, только что вернувшегося домой с новостями о деле Петрашевского и его соучастников. В эту самую минуту раздался сильный звонок в парадной двери. У всех мелькнула одна и та же мысль: какой мог быть посетитель в такую пору?

Боткин так испугался, что начал умолять не отворять двери и дать ему время убежать с черного хода. Ему доказывали, что его задержат и там и он этим может хуже повредить себе. При втором звонке он скрылся из комнаты.

Тревога оказалась напрасной. Это был Лонгинов, вздумавший заехать к нам, воображая, что у нас засиделись гости, так как он увидел с улицы свет в окнах. Пошли успокаивать В. П. Боткина и открыли его лежащим на своей постели закутанным с головой одеялом. Он накинулся самым неистовым образом на своего милейшего друга, как он называл всегда Лонгинова, и принялся читать ему наставление, что порядочные люди в такие часы не являются в гости. Даже по уходе Лонгинова он долго не прекращал изливать свою злобу на него.

Никто не мог ожидать, что из тогдашнего добряка, лентяя, вечно острящего над цензорами, Лонгинова, сделается через несколько лет самый ужасный преследователь печати[16].

В. П. Боткин и во многих других случаях выказывал свой трусливый характер.

Иногда жалко было смотреть на него, как он сам себе отравлял жизнь разными нелепыми страхами. Мелочность и расчетливость его переходили часто в скупость.

Когда Боткин останавливался у нас, то всегда выходили истории с лакеями; он жаловался на них и удивлялся, что я держу таких воров, а лакеи приходили ко мне также с жалобами, что Василий Петрович подозревает их в краже у него леденцов и тому подобной дряни. Раз из-за перочинного грошового ножичка, пропавшего с письменного стола, поднялась целая буря. Лакей хотел отходить, обиженный, что его заподозрили в краже ножичка, который скоро нашелся, — сам же Василий Петрович положил его в жилетный карман и позабыл вынуть, а через два дня, надевая жилет, нашел ножичек.

Надо было жить с Боткиным, чтобы убедиться, до какой степени этот умный, образованный человек был мелочен, труслив, расчетлив и как быстро менял свои мнения о людях и вещах.

В последний год своей жизни он отбросил свою мелочную расчетливость, окружил себя комфортом, нанял хорошую квартиру, купил тысячные картины, взял дорогого повара. Но все это уже было поздно; он почти потерял зрение и не мог любоваться своими картинами, а болезнь отнимала у него возможность наслаждаться кушаньем, приготовляемым его поваром. Весь расслабленный, он сидел в креслах и дремал под голос чтицы, которую нанимал, чтобы она ему читала французские журналы.

Панаев вернулся однажды от больного В. П. Боткина расстроенный и рассказывал, какое тяжелое впечатление произвел на него Василий Петрович, упрекавший самого себя за то, что ранее не хотел пользоваться своими средствами: он говорил, что ему горько и обидно сознавать, что он бесцельно отказывал себе во всем и делал глупость, не желая даже проживать процентов с своего капитала; что теперь он денег не жалеет, но у него уже нет сил чем-либо наслаждаться.

Я позабыла упомянуть о Дружинине, который в конце 1848 года выступил на литературное поприще с первым своим произведением, повестью «Полинька

Сакс»[17]. Это было большим счастьем для «Современника», потому что в цензурном отношении произведение Дружинина безупречно.

«Современнику» дали цензора Крылова — человека страшно трусливого, который просто был мучеником, когда Некрасов упрашивал его пропустить зачеркнутые им места в статье, вследствие чего выходила бессмыслица.

Крылов ничего не хотел слышать, зажимал уши и в отчаянии восклицал:

— Господи, подвести меня хотят, только два года мне надо дотянуть до пенсии, а они хотят лишить меня ее. Я из-за журнала потерял здоровье, а у меня жена, дети!

Крылов в самом деле был страдальцем от постоянного страха. Он иногда не разрешал рассылать подписчикам уже отпечатанную книжку, потому что ему приходило в голову, что Некрасов схитрил и восстановил зачеркнутые им фразы, или ему казалось, что пропущенная им статья грозит ему опалой, и он перечитывал снова все статьи и кричал на посланного Некрасова:

— Так и скажи Николаю Алексеевичу, что, пока я не прочту и не обдумаю хорошо, не дам разрешения на выпуск номера, не смей и ходить ко мне!

А между тем подписчики роптали за поздний выход книжек.

Крылова сменил цензор Бекетов; этот не был так простодушен и труслив. Бекетов тонко намекнул Некрасову и Панаеву, что им гораздо выгоднее жить с ним в ладу. Он очень любил хорошо поесть и в особенности хорошо выпить и после обеда делался откровенным.

— Быть цензором «Современника» — дело не легкое и рискованное, — говорил он. — Я, знаете, такой прямой человек, что во всяком деле люблю определять обоюдные соглашения. Задержек и придирок с моей стороны не будет. Я не из трусливых, да и знаю, где раки зимуют; писатель меня не проведет, как бы ни хитрил в своей статье. Чутье у меня тонкое! Не прогневайтесь, если я просто-напросто всю статью не пропущу, — к чему ее пестрить красными чернилами; может быть, найдется простофиля, который поставит два-три креста и пропустит! — И он смеялся. — Вы только цените меня, и мы дружно заживем.

Бекетова невозможно было уломать, чтобы он пропустил вещь, которую находил для себя опасной. Он на это отвечал: «Нет-с, своя рубашка ближе к телу!»

По выходе каждой книжки «Современника» Бекетов говорил, смеясь:

— После трудов надо, господа, и отдохнуть. Я завтра приеду обедать к вам, только по-семейному, чтобы можно было побеседовать по душе, а то когда народу много за обедом, так душа не может быть нараспашку!

Раз после семейного обеда Бекетов сказал:

— Эх, господа писатели, несправедливо вы относитесь к нам, побыли бы на нашем месте, так не так бы еще красные кресты ставили. Уж на что я дока, сами убедились, а вот какой со мной был случай: пропустил я одну брошюру, самую невинную. Вдруг в комитет бумага от одного ведомства: сделать строжайший выговор цензору за пропуск брошюры, в которой допущены такие-то и такие-то нарекания на наши распоряжения. Фу ты, господи! ничего подобного не было в брошюре... Бац, из другого ведомства бумага: сделать строжайший выговор цензору за ту же брошюру, — и совершенно другое толкование ее смысла. Вот какое наше положение. Будь хоть семи пядей во лбу, а не убережешься от взысканий, потому что нет возможности предугадать, кому какое придет в голову толкование одной и той же книги! Я ведь недолго просижу цензором: как подыщу другое место — и распрощаюсь с вами. Ох, не раз пожалеете, господа, теперь вы мало цените меня!

Но Бекетов был несправедлив; он имел вещественные доказательства дорогой оценки своей особы.

Когда было напечатано первое произведение Дружинина в «Современнике» в 1848 году, то Тургенев говорил Некрасову и Панаеву:

— Положительно везет «Современнику»! Вот это талант, не чета вашему *«литературному прыщу»* [18] и вознесенному до небес вами апатичному чиновнику Ивану Александровичу Гончарову. Эти, по-вашему, светилы — слепорожденные кроты, выползшие из-под земли: что они могут создать? А у Дружинина знание общества; обрисовка Полиньки Сакс художественная, видишь гетевские тонкие штрихи, а никто в мире, кроме Гете, не обладал таким искусством создавать грациозные типы

женщин. Я прозакладываю голову, что Дружинин быстро займет место передового писателя в современной литературе... И как я порадовался, когда он явился ко мне вчера с визитом — джентльмен!.. Надо, к сожалению, сознаться, что от новых литераторов пахнет мещанской средой... Я оттого перестал бывать по субботам у Одоевского, что мне просто стыдно, до чего не умеют себя держать прилично новые литераторы. И какой чудак Одоевский, сам себе задает каждую субботу порку, как будто он находится в школе. Я вижу, как его шокируют манеры дурного тона *«литературного прыща»*, когда он бывает у него. Дорого же обходится Одоевскому желание заслужить популярность между литераторами! Я понимаю княгиню, что она не дозволяет Одоевскому вводить в ее салон всех его субботних гостей... Да, господа, низко упали литераторы, от них со страхом сторонится светское общество, тогда как с прежними литераторами все светские женщины добивались сближения, потому что тогда литераторы вполне были джентльменами, а те, кто не принадлежал к высшему кругу, смирнехонько себе жили в своей среде. А теперь все с гонором, с претензиями, что мы, мол, плюем на все светские приличия!

Тургеневское соболезнование, что литераторы потеряли прежний престиж в светском обществе, скоро выяснилось для меня. К Панаеву приехал с визитом один молодой человек из высшего круга и при мне сожалел, что ему не удалось исполнить просьбу Тургенева: ввести его в салон к графине М..., потому что она не желает видеть в своем доме литераторов... Она, чудачка, почему-то боится русских литераторов, а благоволит только к французским.

Всегда как-то случайно приходилось узнавать о тургеневских хлопотах попасть в светские салоны.

Так как Дружинин не только бывал у Панаева, но одно время прожил у него на квартире более месяца, то нам можно было хорошо узнать его характер. Дружинин был всегда ровен, никогда не горячился в разговоре, относился ко всему довольно индифферентно, скучал, если завязывался при нем продолжительный разговор о политике и об общественных вопросах.

— Ну, что это, господа! — говорил он. — Охота вам рассуждать о таких сухих предметах, гораздо лучше

поговорим о доньях. (Доньями он почему-то называл женщин.)

Дружинин находил, что в журнале не следует печатать повести и рассказы с сюжетами из народной жизни.

— Подписчики у журнала люди образованные, — говорил он. — За что же преподносить им чтение о той среде, которая для них чужда? Ну, интересно ли образованному читателю знать, что Ерема ест мякину, а Матрешка воет над павшей коровой. Право, все, что пишут о русском мужике, преувеличено. Какие это у него потребности могут быть к другой жизни? Он совершенно доволен и счастлив, если ему удастся в праздник опиться до опухоли брагой или до скотского состояния водкой.

Когда Дружинина упрекали, что он безучастно относится ко всем современным вопросам, то он отвечал:

— Целесообразнее будет, если я стану видеть одни хорошие стороны жизни. К чему мне портить свою кровь разными волнениями! Я лучше буду наслаждаться своей молодостью. От наших разговоров и волнений мужик не перестанет есть мякину, общественный строй не изменится, за что же я сам себе буду отравлять жизнь? Все это происходит у вас от пессимистического взгляда на жизнь, а у меня оптимистический взгляд.

Дружинину ошибочно приписывают мысль об основании Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Этот проект зародился в голове одного моего знакомого, вовсе не литератора, над которым подсмеивались, когда он доказывал необходимость устроить Литературный фонд. Особенно подсмеивался над этим проектом Дружинин; но не прошло и года, как он осуществил его.

Когда на обеде, данном по поводу этого Дружинину, за его мысль об учреждении Литературного фонда, провозглашались тосты и говорились ему хвалебные спичи, я ожидала, что он упомянет, что заимствовал эту мысль у человека, который в это время уже был в Сибири; но Дружинин, вероятно, позабыл за давностью времени [19].

За 1848 и 1849 годы на «Современнике» накопилось много долгов, надо было их выплачивать, и потому среди 1850 года денег не было, а между тем Тургеневу вдруг

понадобились две тысячи рублей. Приходилось занять, чтобы скорее удовлетворить Тургенева, который объявил Некрасову: «Мне деньги нужны до зарезу, если не дашь, то, к моему крайнему прискорбию, я должен буду идти в «Отечественные записки» и запродать себя, и «Современник» долго не получит от меня моих произведений». Эта угроза страшно перепугала Панаева и Некрасова. Они нашли деньги при моем посредстве и за моим поручительством.

Не прошло и года, как из-за Тургенева произошла остановка в печатании книжки «Современника». Он должен был дать рассказ, но не прислал его и даже с неделю не показывался в редакцию, что было необыкновенно, так как он если не обедал у нас, то непременно приходил вечером. Некрасов волновался, два раза ездил к нему, но не заставал дома; наконец, написал ему записку, убедительно прося тотчас прислать рукопись. Тургенев явился и, войдя в комнату, сказал:

— Браните меня, господа, как хотите, я даже сам знаю, что сыграл с вами скверную штуку, но что делать, вышла со мной пренеприятная история... Я не могу дать вам этого рассказа, а напишу другой к следующему номеру.

Такое неожиданное заявление ошеломило Некрасова и Панаева; сначала они совсем растерялись и молчали, но потом разом закидали Тургенева вопросами: как? почему?

— Мне было стыдно показываться вам на глаза, — отвечал он,—но я счел мальчишеством далее водить вас и задерживать выход книжки. Я пришел просить, чтобы вы поместили что-нибудь вместо моего рассказа. Я вам даю честное слово написать рассказ к следующему номеру.

Некрасов и Панаев пристали, чтоб он объяснил им причину.

— Дайте заранее мне слово никогда не попрекать меня?

— Даем, даем, — торопливо ответили ему оба.

— Теперь мне самому гадко, —произнес Тургенев, и его как бы передернуло; тяжело вздохнув, он прибавил: — Я запродал этот рассказ в «Отечественные записки»! Ну, казните меня.

Некрасов даже побледнел, а Панаев жалобно воскликнул:

— Тургенев, что ты наделал!

— Знаю, знаю! все теперь понимаю, но вот! — и Тургенев провел рукой по горлу, — мне нужно было пятьсот рублей. Идти просить к вам — невежливо, потому что из взятых у вас двух тысяч я заработал слишком мало.

Некрасов дрожащим голосом заметил:

— Неуместная деликатность!

— Думал, может, у вас денег нет.

— Да пятьсот рублей всегда бы достали, если бы даже их и не было! — в отчаянии воскликнул Панаев. — Как ты мог!..

Некрасов в раздражении перебил Панаева:

— Что сделано, то сделано, нечего об этом и разговаривать... Тургенев, тебе надо возвратить пятьсот рублей Краевскому.

Тургенев замахал руками:

— Нет, не могу, не могу! если б вы знали, что со мной было, когда я вышел от Краевского... точно меня сквозь строй прогнали! Я, должно быть, находился в лунатизме, проделал все это в бессознательном состоянии; только когда взял деньги, то почувствовал нестерпимую боль в руке, точно от обжога, и убежал скорей. Мне теперь противно вспомнить о моем визите!

— Рукопись у Краевского? — спросил поспешно Некрасов.

— Нет еще!

Некрасов просиял, отпер письменный стол, вынул оттуда деньги и, подавая их Тургеневу, сказал:

— Напиши извинительное письмо.

Тургенева долго пришлось упрашивать; наконец он воскликнул:

— Вы, господа, ставите меня в самое дурацкое положение... Я несчастнейший человек!.. Меня надо высечь за мой слабый характер!.. Пусть Некрасов сейчас же мне сочинит письмо, я не в состоянии! Я перепишу письмо и пошлю с деньгами. — И Тургенев, шагая по комнате, жалобным тоном восклицал: — Боже мой, к чему я все это наделал? Одно мне теперь ясно, что где замешается женщина, там человек делается непозволительным дураком! Некрасов, помажь по губам Краевского, пообещай, что я ему дам скоро другой рассказ!—Тургенев засмеялся и продолжал: — Мне живо представляется мрачное лицо Краевского, когда он будет читать мое письмо!—

И, передразнивая голос Краевского, он произнес: —«Бесхарактерный мальчишка, вертят им как хотят в «Современнике»!» Придется мне, господа, теперь удирать куда ни попало, если завижу на улице Краевского... О господа, что вы со мной делаете! [20]

Когда Некрасов прочитал черновое письмо, то Тургенев воскликнул:

— Ну, где бы мне так ловко написать. Я бы просто бухнул, что находился в умопомешательстве, оттого и был у Краевского, а когда припадок прошел, то и возвращаю деньги.

С тех пор Тургеневу был открыт неограниченный кредит в «Современнике».

Раз, после выпуска книжки, у нас собралось обедать особенно много гостей. После обеда зашел общий разговор о том, как было бы хорошо, если бы разрешили издать сочинения Белинского, — тогда дочь его была бы обеспечена.

— Господа, — воскликнул вдруг Тургенев, — я считаю своим долгом обеспечить дочь Белинского. Я ей дарю деревню в двести пятьдесят душ, как только получу наследство.

Это великодушное заявление произвело большой эффект. В честь Тургенева был провозглашен тост. Один из литераторов даже прослезился и, пожимая руку Тургенева, проговорил: «Великодушный порыв, голубчик, великодушный!» [21]

Когда восторги приутихли, я обратилась к сидевшему рядом со мной Арапетову и сказала ему:

— Я думала, что уже сделалось анахронизмом дарить человеческие души; однако, как вижу, ошиблась.

Мое замечание произвело эффект совсем другого рода. Многие из гостей посмотрели на меня с нескрываемой злобой, а Некрасов и Панаев сконфуженно пожали плечами. Иногда я была не в силах совладать с собой; бывало, долго слушаю, что говорят кругом, и неожиданно для самой себя выскажу какое-нибудь замечание, хотя я вполне сознавала всю бесполезность моих замечаний; кроме неприятностей, из этого ничего не выходило.

Полистная плата Тургеневу с каждым новым произведением увеличивалась. Сдав набирать свою повесть или рассказ, Тургенев спрашивал Некрасова, сколько им

забрано вперед денег. Он никогда не помнил, что должен журналу.

— Да сочтемся! — отвечал Некрасов.

— Нет! Я хочу, наконец, вести аккуратно свои денежные дела.

Некрасов говорил цифру тургеневского долга.

— Ой, ой! — восклицал Тургенев. — Я, кажется, никогда не добьюсь того, чтобы, дав повесть, получить деньги: вечно должен «Современнику»! Как хочешь, Некрасов, а я хочу скорей расквитаться, а потому ты высчитай на этот раз из моего долга дороже за лист; меня тяготит этот долг.

Некрасов хотя морщился, но соглашался, а Тургенев говорил: «Напишу еще повесть и буду чист!»

Но не проходило и трех дней, как получалась записка от Тургенева, что он зайдет завтра и чтоб Некрасов приготовил ему пятьсот рублей, — «до зарезу мне нужны эти деньги», — писал он.

Случалось, что такой суммы не было у Некрасова; я поневоле узнавала об этом, потому что у меня была знакомая, которая не отказывала лично мне в кредите, и не раз в критические минуты я доставала деньги для «Современника». Почему-то я пользовалась общим доверием. Бывало, Панаев задолжает, с него настойчиво требуют уплаты, он в отчаянии прибегает ко мне, чтоб я уговорила его кредитора, и тот соглашается ждать уплаты. Правда, что я немало волновалась и хлопотала об уплате долгов, как только заводились деньги в конторе.

Во время Крымской войны подписка на все журналы была плоха. Старые долги по «Современнику» не были еще уплачены, и надо было вновь кредитоваться в типографии. Прац, хозяин типографии, у которого с самого начала печатался «Современник», вдруг заупрямился и не хотел выпускать из типографии отпечатанных листов, пока не дадут ему тысячу рублей. Некрасов, бледный, приехал домой из типографии, ругая Праца на чем свет стоит.

— Дурак, немец, идиот! не верит нам, а требует, чтоб вы поручились в том, что через неделю дадут ему тысячу рублей. Поезжайте к этому идиоту, переговорите с ним, денег я достану, надо избежать скандала! Он упрям, как осел.

Я поехала к Працу, и он тотчас же согласился

выдать из типографии листы переплетчику, объявив, что хочет иметь дело со мной и больше ни с кем! Надо было исполнить каприз немца и вести расчет по типографии, пока не поправились денежные дела «Современника».

За год до смерти Грановского я две недели прогостила у него в Москве [22].

Я нашла огромную перемену в отношениях кружка к жене Грановского. Она была поставлена на пьедестал, и все знакомые преклонялись перед ней.

По утрам у Грановской постоянно были гости с визитами, привозили ей варенье, фрукты, дорогие вина. Кетчер командовал гостями: «Уезжайте-ка, господа; надо отдохнуть Лизавете Богдановне, всякое утомление ей вредно!» — и гости повиновались.

Жена Грановского, потрясенная несчастным случаем с мужем, когда он при падении с дрожек расшибся, лежала в постели по приказанию докторов. Кетчер следил с необычайною строгостию, чтобы больная аккуратно выполняла все предписания врачей. В первый же день моего приезда к Грановским Кетчер отозвал меня в другую комнату и прочел наставление, чтобы я не смешила больную, не дозволяла бы ей много говорить и т. п. Я стала расспрашивать его о болезни Грановской.

— Признаки наследственной чахотки! Но можно предупредить развитие строгим режимом, — отвечал Кетчер.

Грановский очень был огорчен болезнью жены и жаловался мне, что Кетчер от излишней заботливости и усердия развил в его жене страшную мнительность.

— Такая тоска теперь у нас в доме! Вы, пожалуйста, не обращайте внимания на ворчанье Кетчера, — отвлекайте Лизу от ее мрачных мыслей. Она все говорит о своей смерти. Все усиливают в ней это мрачное настроение тем, что смотрят на нее, как на умирающую. Право, не знаю, что и делать мне с этим участием.

Мы обедали вдвоем; я заметила Грановскому, что у него прежде был всегда хороший аппетит.

— А теперь кусок в горло нейдет, — отвечал он. — Вот еще при вас съешь что-нибудь, а то ни до чего не дотронешься, так и встанешь из-за стола!

Я настояла на том, чтобы Грановская выходила к обеду, уверив ее, что это будет ей полезно и что

постоянным лежанием в постели она расслабляет себя. Она, может быть, и не послушалась бы меня, но я ей сказала, что без нее муж ее ничего не ест. Грановский, вернувшись домой и увидав три прибора на столе, радостно спросил меня: неужели Лиза решилась обедать с нами? — и засуетился поставить ей кресло и скамейку. За обедом он был весел, шутил и придумывал, как бы скрыть от грозного Кетчера, что его жена встала с постели: «Будет на меня кричать, что я тиран, эгоист!»

— Свалите все на меня, пусть меня предадут в Москве проклятию, — сказала я.

Грановский в это время уже не ездил по вечерам в клуб, а раз в неделю у него собирались трое родственников его жены и играли в преферанс по самой ничтожной цене. Остальные вечера он занимался у себя в кабинете и иногда для отдыха приходил посидеть с нами, говоря:

— Пришел послушать, чему вы так смеетесь?

— Я мешаю вам работать? — спрашивала я.

— Напротив, работается лучше, когда слышишь, что в доме смеются.

Грановский всегда ужинал, и я составляла ему компанию, потому что жена его в этот час уже спала. Иногда мы долго засиживались за разговорами; между прочим, он мне описывал чувства, им испытанные, когда он вел большую игру в клубе. На мой вопрос, как он мог втянуться в нее, когда сам говорил, что ни за что не будет играть в азартные игры, он отвечал:

— Я случайно сел играть в азартную игру; один мой клубный всегдашний партнер в коммерческую игру стал приставать ко мне, чтоб я сел за него играть в палки, потому что он страшно проигрался. Я сел, и на несчастие мне страшно повезло, я отыграл ему половину его проигрыша. На другой вечер этот же господин опять пристал ко мне, чтобы я отыграл ему и остальную половину, играя с ним в доле. Везло мне опять невероятное счастие, и я на свою долю выиграл более тысячи рублей. На эту тысячу я стал играть уже один, и мне везло до смешного. Настроение духа у меня тогда было убийственное: перемены в университете, интриги против меня и при этом семейные дрязги со стороны тестя, вздумавшего на семидесятом году жениться, и разлад с самыми близкими друзьями, все это вместе способствовало тому, что у меня явилась какая-то потребность бежать вече-

ром в клуб; там я забывал все!.. Счастье мое меня не оставляло. Но, как всегда, нашла полоса и несчастья. В один вечер я проиграл несколько тысяч, — все, что выиграл раньше, и еще долг сделал. Ну, тут я пошел отыгрываться и запутался... Мне теперь самому кажется невероятным, как я мог допустить себя до такого нравственного падения, — но какое заслуженное наказание я испытал, когда один шулер сделал мне предложение вступить в их компанию! Это предложение так меня потрясло, что я ужаснулся, до чего я дошел. Всю жизнь мне придется теперь искупать этот унизительный эпизод в моей жизни. Часто просыпаюсь ночью от кошмара: вдруг приснится, что я опять играю в клубе!..

Жена Грановского с своей стороны рассказывала мне свои страдания, когда ее муж увлекся игрой.

— Я теперь так счастлива, что Тимоша бросил ездить в клуб; одно меня беспокоит, что ему скучно, что я все лежу в постели, но это я делаю для того, чтоб скорей выздороветь. Мне теперь не хочется умирать, но когда он возвращался из клуба бледный, убитый, я тогда желала смерти, чтоб избавить его разом от лишних страданий еще обо мне.

У Грановского сделалась как-то легкая лихорадка; его жена страшно перепугалась. Я шутила над ее беспокойством. Она мне на это отвечала:

— Если только Тимоша умрет прежде меня, то в тот же день пойду и лягу на рельсы, когда будет идти поезд. Без него я жить не хочу и не могу.

Она так любила мужа, что я ни минуты не сомневалась, что она выполнит, что говорила.

Когда через год в Петербурге было получено известие о внезапной смерти Грановского, я, страшно пораженная и опечаленная, хотела ехать в Москву, к его жене, но узнала, что ее увозят за границу, что она находится в чужом доме и так больна, что к ней никого не допускают...

Вернусь назад, чтобы описать начало пятидесятых годов.

Лонгинов как член английского клуба стал записывать туда на обеды Тургенева, Панаева, Некрасова. Тургенев сначала говорил, что многие члены подсмеиваются над манерами Некрасова и один из них будто бы даже спросил при нем: «Откуда это Лонгинов приводит в наш клуб

таких неприличных гостей?» Это он передал по секрету Панаеву, который сообщил мне и просил, чтоб я посоветовала Некрасову не ездить в английский клуб. Но я совсем по другой причине отговаривала Некрасова посещать обеды английского клуба: имея страсть к игре, он мог втянуться в нее. Лонгинов предложил записать Некрасова и Панаева кандидатами в члены клуба. Я воспротивилась, но Тургенев вдруг начал доказывать Некрасову, что он непременно должен баллотироваться в члены, что это необходимо именно потому, что ему надо бывать в обществе — шлифоваться.

— Ты ведь понятия не имеешь о светских женщинах, — говорил Тургенев, — а они одни только могут вдохновлять поэта. Почему Пушкин и Лермонтов так много писали? Потому что постоянно вращались в обществе светских женщин. Я сам испытал, как много значит изящная обстановка женщины для нас — писателей. Сколько раз мне казалось, что я до безумия влюблен в женщину, но вдруг от ее платья пахнет кухонным чадом, — и вся иллюзия пропала! А в салоне светской женщины ничто не нарушит твоего поэтического настроения, от каждого грациозного движения светской женщины ты вдыхаешь тончайший аромат... вокруг все дышит изяществом. Ты погубишь свой талант, живя сурком, вследствие этого и выходит у тебя слишком однообразный тон и содержание стихов. А когда будешь вращаться в порядочном обществе, попадешь в салон светской женщины, посмотри как вдохновишься! Баллотируйся, послушайся меня. Да и для журнала это полезно, будут говорить, что ты не прячешься от общества.

Некрасов послушался и баллотировался. Лонгинов очень усердно хлопотал, чтоб Панаева и Некрасова выбрали членами в английский клуб, точно от этого зависело все благо их жизни. Мои доводы потерпели полное фиаско перед тургеневскими. Я доказывала Некрасову, что он ничего не приобретет для своего таланта, а скорее проиграет, потому что будет тратить много времени бесполезно, тогда как ему нужно в каждую свободную от журнального дела минуту читать серьезные книги, чтобы пополнить недостаток своего образования, что он втянется в карточную игру и завязнет в компании игроков.

Некрасов уверял, что у него настолько силы воли, что он никогда не сделается завзятым игроком.

Некрасов в это время[23] начал чувствовать боль в горле и страшно хандрил. Мне иногда удавалось упросить его не ехать в клуб обедать, потому что он там засиживался за картами и возвращался домой поздно ночью. Но являлся Тургенев и уговаривал его ехать в клуб именно для того, чтоб сесть играть в карты.

— При твоем счастье и уменье играть в карты, — говорил он, — я бы каждый вечер играл. Ведь на полу не найдешь двухсот рублей. Вот тебе на счастье двугривенный, поезжай!.. Да и мрачное расположение духа у тебя пройдет. Одевайся и едем вместе!

Некрасов всегда слушался советов Тургенева, который на другое утро прибегал узнавать о результате игры Некрасова и говорил ему:

— Ты должен благодарить меня, что я тебя вчера силою прогнал в клуб. Не слушай ты никого, а играй. Все в клубе говорят, что ты играешь во все игры отлично и, главное, сдержан. Знаешь ли ты, что, если бы у тебя было в руках тысяч десять, ты бы много выиграл денег. Получи я завтра наследство, я сейчас бы тебе дал десять тысяч на игру. От нашей паршивой литературы ждать, брат, нечего! Что дало тебе журнальное дело? долги... А сколько труда потрачено на это дело, сколько испорчено крови! Русские писатели — это каторжники. У меня впереди есть наследство, ну, а у тебя что? Последние силы своего здоровья тратишь, а получишь шиш! И как приятно писать, зная заранее, что наша тупоумная цензура поставит красный крест! Лежат у тебя несколько твоих стихотворений и без конца пролежат, потому что их не дозволят никогда напечатать. Ведь мы не европейские литераторы, а татарские, нам нечего рассчитывать ни на почет, ни на обеспечение от литературы. Пушкин тоже вел большую игру, а тогда на писателей еще не смотрели как на прокаженных, от которых надо сторониться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Фет. — Гербель. — Михайлов. — Белинский и Некрасов. — «Размышления у парадного подъезда». — Арест Тургенева. — Лев Толстой. — Художник Иванов.

Фет уже был известен своими стихотворениями в литературе с сороковых годов; но я познакомилась с ним только в начале пятидесятых годов. Он приехал в Петер-

бург на продолжительное время в отпуск из полка[1], и я виделась с ним каждый день. Фет находился в вдохновенном настроении и почти каждое утро являлся с новым стихотворением, которое читал Некрасову, мне и всем литераторам, кто просил его прочесть.

Тургенев находил, что Фет так же плодовит, как клопы, и что, должно быть, по голове его проскакал целый эскадрон, от чего и происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях. Но Фет вполне был уверен, что Тургенев приходит в восторг от его стихов, и с гордостью рассказывал, как после чтения Тургенев обнимал его и говорил, что это лучшее из написанного им[2].

Фет задумал издать полное собрание своих стихов и дал Тургеневу и Некрасову carte blanche выкинуть те стихотворения из старого издания, которые они найдут плохими[3].

У Некрасова с Тургеневым по этому поводу происходили частые споры. Некрасов находил ненужным выбрасывать некоторые стихотворения, а Тургенев настаивал. Очень хорошо помню, как Тургенев горячо доказывал Некрасову, что в строфе одного стихотворения: «Не знаю сам, что буду петь, — но только песня зреет!»[4] Фет изобличил свои телячьи мозги.

У меня сохранился экземпляр стихотворений Фета с помарками и вопросительными знаками, сделанными рукой Тургенева[5].

Гербель познакомился также в начале пятидесятых годов с Панаевым. Гербель явился к Панаеву без всяких рекомендаций и часто бывал у него по утрам, но всегда сидел в кабинете. Он долго не входил в кружок литераторов, которые собирались у нас на обеды и вечера. Причина была та, что Тургенев раз подсмеялся над Панаевым.

— Господа, — сказал он, — Панаев открыл новый талант и возится с ним, как с будущим замечательным писателем, потому что первое произведение этого юного офицера имеет очень важное значение для русской литературы, а именно: «История Изюмского полка», написанная и изданная этим офицериком по приказанию командира полка[6].

Панаев обидчиво ему заметил:

— Уж ты бы, Тургенев, молчал! Да и за что ты обижаешь Гербеля? Он мне читал свои переводы из Гейне, и мне кажется, что он очень недурно владеет стихом.

— О многострадальный Гейне! — воскликнул Тургенев, — почему-то это излюбленный поэт, над уродованием стихов которого все упражняются, причем всякий воображает, что достаточно перевести два-три стихотворения Гейне, чтобы иметь право считать себя литератором [7]. Ну, признайся, Панаев, у тебя есть слабость разыгрывать роль литературного покровителя?

— Гербель, по крайней мере, грамотный, — отвечал Панаев, — а ты мне прислал третьего дня какого-то франтика с рукописью и рекомендательным письмом, так твой франтик даже безграмотный.

Тургенев засмеялся и сказал:

— Я это сделал, чтобы избавиться от франтика, а ты по три часа беседуешь с офицериком, да еще всех знакомишь с ним. Входить скоро невозможно будет к тебе в кабинет.

Когда Гербель издал «Слово о полку Игореве», то Тургенев не называл его иначе, как «Изюмский Игорь» [8].

Мне часто приходилось слышать, как многие люди восхищались редкой чертой в характере Тургенева — искренностью. Он так был умен, что когда хотел, то мог очаровать всякого.

В пятидесятых годах в кружок литераторов «Современника» вошел М. Л. Михайлов. Наружность его была очень оригинальна; маленький, худенький, с остренькими чертами лица и с замечательно черными густыми бровями. Веки глаз у него были полузакрыты; в детстве ему делали операцию, но все-таки веки лишены были способности подыматься, вследствие чего глаз почти не было видно, и Михайлов носил большие очки; губы у него были до того яркого цвета, что издали бросались в глаза.

Михайлов сшил себе летний серый костюм, и Тургенев уверял, что в сумерки он может испугать, так он похож на летучую мышь.

Я не имела случая проверить, правду ли рассказывали про Михайлова некоторые его приятели, будто он считал себя победителем женских сердец и уверял, что

никакая добродетельная женщина не устоит против него. Мне кажется, что Михайлов подсмеивался над ними, рассказывая о своих победах, и наблюдал, как быстро тайна, сообщенная одному по секрету, делалась известна всем.

Михайлов был очень веселого и живого характера, и на него смотрели, как на человека, который ни о чем другом не думает, как о победах над женщинами.

Панаев в своих «Воспоминаниях» часто упоминает о своем школьном товарище Языкове, находившемся со всеми литераторами на дружеской ноге[9].

Когда он женился, то у него раз в неделю вечером собирались многие писатели. Даже когда Языков жил на стеклянном казенном заводе, где получил место, то, несмотря на дальнее расстояние, собрания у него все-таки не прекращались. Панаев упоминал о том, что рукопись «Обыкновенной истории» Гончарова была доставлена в «Современник» Языковым[10].

Некрасов также принес Языкову свою рукопись «Петербургские углы», прося, чтобы он ее прочитал.

Свояченица Языкова рассказывала мне о первом посещении Некрасова. Это было зимой. У Языкова обедали гости; вдруг кто-то позвонил в передней; она вышла из-за стола, чтобы узнать, кто пришел, и увидала худого, бледного молодого человека, в поношенном холодном пальто, которого лакей грубо выпроваживал вон. Она поспешила остановить грубого лакея и провела молодого человека в кабинет хозяина, которого и вызвала из-за стола к посетителю. Она была в полной уверенности, что это какой-нибудь несчастный проситель на бедность; но она ошиблась: молодой человек просил Языкова прочитать и передать принесенную им рукопись Белинскому. По забывчивости Языкова рукопись не скоро попала в руки Белинского, который за это очень на него рассердился, главное же — Языков затерял адрес молодого человека.

— Это возмутительно так относиться к людям, — говорил Белинский. — По вашему описанию и по содержанию его рукописи надо было дорожить каждым днем, чтобы принять в нем участие, а вы еще и адрес его затеряли! Небось если бы к вам подкатил на лихаче какой-нибудь франтик, так вы бы не поступили так

небрежно с его рукописью и не забыли бы его фамилию, а запомнили бы не только имя, но и отчество.

Этот выговор очень огорчил Языкова и произвел на него такое впечатление, что в продолжение всей своей жизни он вечно о ком-нибудь хлопотал или исполнял чьи-нибудь поручения самым ревностным образом. По счастью, автор рукописи опять явился узнать о своей участи в тот день, когда Белинский сидел у Языкова. Оба они чрезвычайно обрадовались приходу молодого человека.

Вот каким образом состоялось первое знакомство Белинского с Некрасовым.

Это мне было рассказано чрез 15 лет после моего знакомства с Некрасовым[11].

Я слышала от самого Некрасова, как он бедствовал некоторое время в начале своего пребывания в Петербурге.

Он с юмором передавал, как с неделю прожил в пустой комнате, потому что его квартирная хозяйка, желая выжить своего жильца, в его отсутствие вынесла всю убогую мебель из комнаты, и Некрасов спал на голом полу, подложив пальто под голову, а когда писал, то растягивался на полу, уставая стоять на коленях у подоконника.

На моих глазах произошло почти сказочное превращение в наружной обстановке и жизни Некрасова.

Конечно, многие завидовали Некрасову, что у подъезда его квартиры по вечерам стояли блестящие экипажи очень важных особ; его ужинами восхищались богачи-гастрономы; сам Некрасов бросал тысячи на свои прихоти, выписывал себе из Англии ружья и охотничьих собак; но если бы кто-нибудь видел, как он по двое суток лежал у себя в кабинете в страшной хандре, твердя в нервном раздражении, что ему все опротивело в жизни, а главное — он сам себе противен, то, конечно, не позавидовал бы ему...

В хандре он злился на меня за то, что я уговаривала его изменить свой образ жизни, который доставлял ему по временам такие мучительные страдания; я припоминала ему, что, несмотря на все лишения прежней своей жизни, он не испытывал такого убийственного настроения духа. Некрасов находил, что я будто бы нарочно усиливаю своими разговорами его и без того ужасное настроение:

— Чем бы развлечь человека, а вы его добиваете.

— Развлекателей у вас развелось с тех пор много, как вы сделались капиталистом, — отвечала я.

Некрасов раздражительно прерывал меня:

— Я не так глуп, чтобы не видеть перемены в отношениях к себе людей, начиная с невежд и кончая образованными.

Потом уже я поняла, что в самом деле глупо возбуждать подобные вопросы, когда от них не могло быть иного результата, кроме неприятного впечатления, остающегося после таких разговоров.

Стихотворение «У парадного подъезда» [12] было написано Некрасовым, когда он находился в хандре. Он лежал тогда целый день на диване, почти ничего не ел и никого не принимал к себе.

Накануне того дня, как было написано это стихотворение, я заметила Некрасову, что давно уже не было его стихотворений в «Современнике».

— У меня нет желания писать стихи для того, чтобы прочесть двум-трем лицам и спрятать их в ящик письменного стола... Да и такая пустота в голове: никакой мысли подходящей нет, чтобы написать что-нибудь.

На другое утро я встала рано и, подойдя к окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках лестницы парадного подъезда в доме, где жил министр государственных имуществ [13].

Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое. По всем вероятиям, крестьяне желали подать какое-нибудь прошение и спозаранку явились к дому. Швейцар, выметая лестницу, прогнал их; они укрылись за выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, прижавшись у стены и промокая на дожде.

Я пошла к Некрасову и рассказала ему о виденной мною сцене. Он подошел к окну в тот момент, когда дворники дома и городовой гнали крестьян прочь, толкая их в спину. Некрасов сжал губы и нервно пощипывал усы; потом быстро отошел от окна и улегся опять на диване. Часа через два он прочел мне стихотворение «У парадного подъезда».

Некрасов писал прозу, сидя за письменным столом и даже лежа на диване; стихи же он сочинял, большею частью, прохаживаясь по комнате, и вслух произносил их; когда он оканчивал все стихотворение, то записывал его на первом попавшемся под руку лоскутке бумаги.

Он делал мало поправок в своих стихах. Если он сочинял длинное стихотворение, то по целым часам ходил по комнате и все вслух однообразным голосом произносил стихи; для отдыха он ложился на диван, но не умолкал; потом снова вставал и продолжал ходить по комнате. Некрасов мог прочесть наизусть любое из своих стихотворений, когда бы то ни было сочиненных, и как бы оно ни было длинно, он не останавливался ни на одной строфе, точно читал по рукописи [14]. Впрочем, он помнил наизусть массу стихотворений и других русских поэтов.

В 1852 году, вскоре после смерти Гоголя, Тургенева посадили в часть за то, что он напечатал маленькую статейку о Гоголе, которую цензор не пропустил в Петербурге [15]. От высшего начальства дано было приказание ничего не пропускать о Гоголе, вследствие того что в Москве на похоронах Гоголя собралась масса народу и присутствовали официальные особы [16].

В то время строго смотрели, чтобы литераторам не оказывали особенных почестей. Тургенев был в отчаянии, когда запретили его статейку, и говорил Некрасову и Панаеву, что пошлет ее в Москву.

Панаев не советовал ему этого делать, потому что и так Тургенев был на замечании, вследствие того что носил траур по Гоголе и, делая визиты своим светским знакомым, слишком либерально осуждал петербургское общество в равнодушии к такой потере, как Гоголь, и читал свою статейку, которую носил с собой всюду. Эта статейка была уже перечеркнута красными чернилами цензором, Когда Панаев упрашивал Тургенева быть осторожным, то он на это ответил: «За Гоголя я готов сидеть в крепости».

Вероятно, эту фразу он повторил еще где-нибудь, потому что Дубельт, встретясь на вечере в одном доме с Панаевым, с своей улыбкой сказал ему: «Одному из сотрудников вашего журнала хотелось посидеть в крепости, но его лишили этого удовольствия». Арест Тургенева произвел большой переполох. Панаев и Некрасов навещали его сперва ежедневно утром и вечером, но потом реже, потому что Тургенев иногда давал знать рано утром, чтобы к нему не приходил никто из них. Первое

такое известие испугало Некрасова и Панаева; они думали, что Тургеневу грозит бог знает какая опасность, но потом оказалось, что в эти дни он ждал посещений своих знакомых из высшего круга. Мне арест Тургенева доставил также много хозяйственных хлопот. Тургенев просил Панаева, чтобы он присылал ему обед, так как не может есть обедов из ресторана. И пока он, если не ошибаюсь, три недели сидел в части, я должна была заботиться, чтобы в назначенный час ему был послан обед.

После похорон Гоголя, дня через четыре, у Панаева вечером собрались гости, и, разумеется, разговор вращался около болезни и смерти Гоголя и его похорон. Тургенев возмущался равнодушием петербургского общества и между прочим сказал:

— Я теперь убедился, что взгляд москвичей правилен, а Петербург — представитель чиновничества и лакейства.

Арапетов вспылил. «По-вашему, надеть креп на шляпу...» — начал он. Но Н. А. Милютин перебил его, спросив Тургенева: «Расскажите, пожалуйста, подробности о похоронах Гоголя; вы, вероятно, ведь ездили в Москву?»

Тургенев не вдруг ответил... «Я был болен». Милютин произнес протяжно: «Да! Я слышал о похоронах от одного пожилого чиновника, который отпросился у меня съездить на похороны, говоря, что хотя при жизни ему не удалось видеть такого замечательного писателя, то хоть на мертвого посмотрю».

Об освобождении Тургенева из-под ареста хлопотали многие, в том числе и Панаев, который ездил, по просьбе Тургенева, к разным лицам, имевшим доступ к влиятельным особам[17].

По выходе из-под ареста Тургенев был выслан в свою деревню, и ему лишь осенью разрешено было приехать в Петербург...[18]

Недели через три после смерти Гоголя князь Оболенский прочитал у Панаева вторую часть «Мертвых душ». Князю Оболенскому удалось списать в Москве эту часть с оригинала, и он читал ее своим знакомым[19]. Оболенский коротко был знаком с Гоголем при его жизни и с теми, кто в последнее время был близок к Гоголю. Оболенский отлично читал; слушателей было

не много, так как надо было принимать все меры предосторожности, чтобы не узнали о пропаганде второй части «Мертвых душ», печатание которой тогда было немыслимо.

В том же 1852 году, в октябрьской книжке «Современника», под инициалами Л. Н. Т. была напечатана «История моего детства»[20] — первое произведение графа Льва Николаевича Толстого.

Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору, и все интересовались узнать его фамилию. В кружке же литераторов относились как-то равнодушно к возникавшему таланту, только один Панаев был в таком восхищении от «Истории моего детства», что каждый вечер читал ее у кого-нибудь из своих знакомых. Тургенев трунил над Панаевым, уверяя, что все его знакомые прячутся от него на Невском, боясь, чтобы он им и там не стал читать выдержки из этого сочинения, так как Панаев успел наизусть выучить произведение нового автора[21]. Панаев обиделся подтруниванием Тургенева и сказал ему:

— Меня удивляет, что ты так равнодушно относишься к такой художественной вещи и не радуешься появлению нового таланта.

Тургенев пожал плечами и отвечал:

— А меня удивляет, как вы щедры на похвалы; чуть появится новичок в вашем журнале, сейчас начинаете кричать: талант! Отыскиваете в его пробе пера художественность! Я объясняю это тем, что вы мало знакомы с истинно художественными произведениями в иностранной литературе, а если что и читали, то в слабом переводе, вот вы и впадаете в смешное преувеличивание заурядных вещиц. Не только в ваших пигмеях, но даже в Пушкине, в Лермонтове, если строго разобрать, не много найдешь оригинальных художественных произведений. Когда их читаешь, то на каждом шагу натыкаешься на подражание гениальным европейским талантам, как, например, Гете, Байрону[22].

Тургенев более всех современных ему литераторов был знаком с гениальными произведениями иностранной литературы, прочитав их все в подлиннике. Некрасов и Панаев это хорошо сознавали.

— Да, Россия отстала в цивилизации от Европы, — продолжал Тургенев, — разве у нас могут народиться такие великие писатели, как Данте, Шекспир?

— И нас бог не обидел, Тургенев, — заметил Некрасов, — для русских Гоголь — Шекспир.

Тургенев снисходительно улыбнулся и произнес:

— Хватил, любезный друг, через край! Ты сообрази громадную разницу: Шекспира читают все образованные нации на всем земном шаре уже несколько веков и бесконечно будут читать. Это мировые писатели, а Гоголя будут читать только одни русские, да и то несколько тысяч, а Европа не будет и знать даже об его существовании! [23]

Тяжко вздохнув, Тургенев уныло продолжал:

— Печальна вообще участь русских писателей, они какие-то отверженники, их жалкое существование кратковременно и бесцветно! Право, обидно: даже какого-нибудь Дюма все европейские нации переводят и читают.

— Бог с ней, с этой европейской известностью, для нас важнее, если б русский народ мог нас читать, — сказал Некрасов.

— Завидую твоим скромным желаниям! — иронически тоном отвечал Тургенев. — Не понимаю даже, как ты не чувствуешь пришибленности, пресмыкания, на которые обречены русские писатели? Ведь мы пишем для какой-то горсточки одних только русских читателей. Впрочем, ты потому не чувствуешь этого, что не видел, какое положение занимают иностранные писатели в каждом цивилизованном государстве. Они считаются передовыми членами образованного общества, а мы? Какие-то парии! не смеем высказать ни наших мыслей, ни наших порывов души — сейчас нас в кутузку, да и это мы должны считать за милость... Сидишь, пишешь и знаешь заранее, что участь твоего произведения зависит от каких-то бухарцев, закутанных в десяти халатах, в которых они преют, и так принюхались к своему вонючему поту, что чуть пахнет на их конусообразные головы свежий воздух, приходят в ярость и, как дикие звери, начинают вырывать куски из твоего сочинения! По-моему, рациональнее было бы поломать все типографские станки, сжечь все бумажные фабрики, а у кого увидят перо в руках, сажать на кол!.. Нет, только меня и видели; как получу наследство, убегу и строки не напишу для русских читателей.

— Это тебе так кажется, а поживешь за границей, так потянет тебя в Россию, — произнес Некрасов. — Нас

ведь вдохновляет русский народ, русские поля, наши леса; без них, право, нам ничего хорошего не написать. Когда я беседую с русским мужиком, его бесхитростная здравая речь, бескорыстное человеческое чувство к ближнему заставляют меня сознавать, как я развращен перед ним и сердцем и умом, и краснеешь за свой эгоизм, которым пропитался до мозга костей... Может быть, тебе это кажется диким, но в беседах с образованными людьми у меня не появляется этого сознания! А главное, на русских писателях лежит долг по мере сил и возможности раскрывать читателям позорные картины рабства русского народа.

— Я не ожидал именно от тебя, Некрасов, чтобы ты был способен предаваться таким ребяческим иллюзиям[24].

— Это не мои иллюзии, разве не чувствуется это сознание в обществе?

— Если и зародилось сознание, так разве в виде атома, которого человеческий глаз не может видеть, да и в воздухе, зараженном миазмами, этот атом мгновенно погибнет... Нет, я в душе европеец, мои требования от жизни тоже европейские! Я не намерен покорно ждать участи, когда наступит праздник и мне выпадет жребий быть съеденным на пиршестве людоедов! да и квасного патриотизма не понимаю. При первой возможности убегу без оглядки отсюда, и кончика моего носа не увидите!

— В свою очередь и ты предаешься ребяческим иллюзиям. Поживешь в Европе, и тебя так потянет к родным полям и появится такая неутолимая жажда испить кисленького, мужицкого квасу, что ты бросишь цветущие чужие поля и возвратишься назад, а при виде родной березы от радости выступят у тебя слезы на глазах.

Подобные разговоры я слышала множество раз, и они остались у меня в памяти. Я передаю только один из них.

Некрасов был прав, говоря, что Тургенев не в силах будет совсем бросить русские поля; он возвращался к ним, чтобы воодушевить себя к работе. Тургенев успел при жизни насладиться тем, что не горсточка русских, а все грамотные люди в России читают его произведения и оценивают в нем замечательного писателя, да и иностранцы переводят и читают его сочинения. Ему уже

нельзя было жаловаться на жалкую долю русского писателя, о существовании которого цивилизованные европейские народы не узнают.

Не помню с точностью, когда в первый раз появился перевод на французском языке некоторых рассказов из «Записок охотника»[25]. Я была в Париже в то время, как переводились эти рассказы. К несчастию, я страдаю отсутствием памяти на года и фамилии, а поэтому и оговариваюсь, что, кажется, это происходило в половине пятидесятых годов и фамилия переводчика была Делаво: но повторяю, что, может быть, и то и другое не точно[26]. Зато я отлично помню жалобы Тургенева на переводчика, которые мне приходилось слышать. Тургенев говорил в отчаянии:

— Боже мой, какое несчастье иметь дело с такой тупицей! Разжую ему каждую фразу, в рот положу, нет, не умеет передать ее на французский язык. Я должен сам переводить себя, а он только пишет под мою диктовку и смеет еще изъявлять разные свои претензии на меня!.. Просто дурында какая-то, проработаешь с ним утро, — голова затрещит!

Переводчик, с своей стороны, приходя иногда ко мне вечером пить чай, жаловался:

— Опять у меня даром утро пропало, сидел несколько часов в номере у Ивана Сергеевича, а он не явился, хотя сам назначил час, когда я должен прийти; а еще все сердится, что туго подвигается у нас перевод...

— Тургенев всегда отличался рассеянностью, — замечала я переводчику.

— Но он знает, как тяжела для меня потеря времени. Сам он предложил мне переводить его рассказы. Мне нелегко было уломать редакцию «Revue des Deux Mondes», чтобы поместить перевод русского писателя. Гонорар я получу из журнала самый ничтожный, а сколько времени я потеряю!

В то время французы мало интересовались русской литературой.

— Зачем же вы не условились, чтобы Тургенев вам заплатил за перевод?

— Иван Сергеевич так хорошо говорил, когда предложил мне переводить его рассказы, что я согласился на все его условия. Я не ожидал, чтобы он так небрежно мог относиться к человеку, трудящемуся из-за куска хлеба.

Переводчик чуть ли не с детства жил в Москве, где, кажется, давал уроки французского языка. Он переселился в Париж уже лет 30, где существовал на скудный заработок, переводя из русских газет разные известия во французские газеты[27], переводчик знал в Москве некоторых литераторов и коротко был знаком с В. П. и Н. П. Боткиными; последний меня и познакомил с ним. Я уехала из Парижа, когда перевод не был окончен; помню, что русские литераторы завидовали Тургеневу в том, что его произведения переведены французами.

Считаю необходимым сказать несколько слов о Николае Петровиче Боткине. Он очень много помогал за границей русским художникам и учащимся там молодым людям, да и вообще всем беднякам, если узнавал, что кто-нибудь из них нуждается в деньгах. Он это делал так деликатно, втихомолку, что если и узнавалось об этом, то от самих тех лиц, кому он оказывал денежную помощь. Я знаю, что Н. П. Боткин не раз ссужал деньгами художника А. А. Иванова, когда тот находился за границей, и это я узнала от третьего лица.

В 1857 году, в бытность мою в Риме, Н. П. Боткин повез меня к братьям Ивановым, предупредив, впрочем, что вряд ли я увижу художника А. А. Иванова и его квартиру, потому что он сделался совершенно нелюдимым и вообразил, что его хотят отравить, закупает себе провизию в разных лавках и сам ходит за водой к фонтану. Архитектор Сергей Андреевич Иванов жил с братом, и мы приехали к нему смотреть акварельные рисунки. Он восстановил Помпею в том виде, в каком она была до разрушения, так что, когда я потом осматривала развалины Помпеи, эти акварели способствовали мне рельефнее составить себе понятие о древних римских дачных жилищах.

В то время как мы рассматривали акварели, вдруг отворилась дверь, и появился худой господин небольшого роста, с болезненным и мрачным выражением лица, одетый в поношенное платье. Я догадалась, что это, должно быть, художник А. А. Иванов. Он приветливо поздоровался с Н. П. Боткиным, пожал мне руку, когда нас познакомили, и сказал: «Продолжайте-с рассматривать рисунки, они очень-с интересны, брат много

положил труда на них», отошел от стола и уселся в кресло вдали. Я осторожно взглядывала на художника, имевшего изнурительный, убитый вид. Он ни слова не произнес и как будто все к чему-то прислушивался. Вдруг он быстро встал и торопливо ушел из комнаты. Его брат, смотря ему вслед, с грустью сказал:

— Верно, ему показалось, что кто-то идет сюда; он избегает приходить ко мне в комнату, даже когда я один, а если придет, то требует, чтобы никто из знакомых не увидал его. Только это он для вас, Николай Петрович, сделал исключение, что пришел поздороваться с вами.

Н. П. Боткин заметил архитектору, что ему необходимо бы уговорить брата лечиться и увезти его куда-нибудь из Рима.

— Слышать не хочет о лечении, уверяет, что он совершенно здоров, — отвечал архитектор [28].

Мы продолжали рассматривать рисунки, которые архитектор объяснял нам. Вдруг послышались два удара в потолок; архитектор сказал нам: «Извините, я сейчас вернусь, — это брат зовет меня к себе наверх», — и ушел.

Вскоре он вернулся с папкой в руке, говоря:

— Чудеса! сам предложил показать вам свои эскизы!.. и просил вас, Николай Петрович, зайти к нему на минуточку наверх; давным-давно никого к себе не впускал.

Архитектор, показывая нам эскизы брата, указывал на те фигуры, которые изображены на его картине, и говорил:

— Конца, кажется, не будет его поправкам в картине. Несколько дней совершенно доволен своей картиной, а потом найдет у одной фигуры лицо невыразительным, у другой позу нехорошей — впадает в отчаяние, начинает опять делать поправки. В это время боишься ему слово сказать, так он бывает раздражителен.

Не знаю, какая была обстановка у художника Иванова, но у архитектора мебель была очень ветхая, да и в очень ограниченном количестве; два больших простых стола, стоявшие у окна, были завалены папками и гипсовыми моделями церквей и древних римских колонн и фонтанов.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Третейский суд. — Анненков — издатель Пушкина. — Островский. — «Свои люди — сочтемся».—«Завтрак у предводителя». — Крымская война.

В начале пятидесятых годов в кружке «Современника» состоялся третейский суд: судились между собой два короткие приятеля литераторов, Тютчев и Языков[1], бывшие постоянными членами кружка с самого начала приезда Белинского в Петербург.

Эти два приятеля затеяли открыть комиссионерскую контору для провинциальных жителей, которые могли бы выписывать чрез контору все, что им было нужно, начиная с вещей в полтину до тысячных.

Тургенев и Анненков принимали живое участие в основании этой конторы, потому что были интимными друзьями семейства Тютчева, которому пришла мысль открыть контору для увеличения своих средств к жизни, но он не имел денег, а Анненков и Тургенев уговорили Языкова отдать на это предприятие все свои деньги, суля ему огромные барыши[2].

Один общий и давнишний знакомый Панаева и Языкова отговаривал последнего пускаться в коммерческое предприятие и доказывал, что условия с компанионом нелепы.

В самом деле, по условию, предложенному Языкову, барыши делились пополам с компанионом, а за все расходы и убытки отвечал один Языков; кроме того, Языков должен был платить компаниону три тысячи рублей жалованья.

Все переговоры с Языковым о конторе происходили через Тургенева и Анненкова. Языков вполне доверился им и так был увлечен, что никого не хотел слушать, отдав все свои деньги Тютчеву, чтобы он распоряжался устройством конторы.

Языков очень гордился своим демократическим поступком, выставив свою дворянскую фамилию на вывеске конторы.

Тогда русское дворянство считало унижением пускаться в коммерческие дела, не только выставлять свою фамилию на вывесках.

Для открытия конторы Языкову надо было записаться в купцы, и он, придя к Панаеву вечером, когда были гости, спросил: «Господа, вы принимаете в свое

общество купца?» Все рассмеялись его вопросу, а Анненков, хлопая по плечу Языкова, отвечал ему: «Такого почтенного коммерсанта мы, литераторы, с радостью принимаем!» Разговоров об этой конторе было в кружке много, и когда получена была из провинции первая повестка выслать на рубль иголок, то в тот же вечер Тютчев созвал гостей-литераторов и угостил их обильным ужином. Тютчев на широкую ногу устроил контору; нанята была на Невском большая квартира, на одной половине поместился он сам с семейством, а другая была занята конторой; наняты были несколько артельщиков, упаковщиков и т. п., как будто бы контора была завалена заказами. Рекламы о конторе очень дорого стоили, так что деньги Языкова быстро исчезли, а контора не принесла в первый год никаких барышей, и Языкову пришлось занимать деньги для уплаты за квартиру и другие текущие расходы по конторе. Тургенев и Анненков утешали Языкова, говоря, что всякое предприятие с первого года не дает барышей и что Тютчев так отлично ведет дело, что оно в будущем году даст большие выгоды. По-видимому, дело пошло хорошо, потому что Тютчев подарил жене тысячный рояль, дорогой мех для салопа и вообще зажил комфортабельно. Языков же, напротив, очень нуждался с своим семейством и не смел требовать от Тютчева ни малейшего сведения о том, как идут дела в конторе. Когда же до Языкова стороной дошли жалобы на контору, что она неисправно выполняет заказы, и он решился спросить разъяснения у своего компаниона, то вышла буря. Тургенев и Анненков прочли ему нотацию о неделикатности и доказывали, что он оскорбил недоверием не только своего компаниона, но и его жену, так как она, не жалея своего здоровья, целое утро ездит по лавкам и магазинам, выполняя заказы иногородних дам; в конце концов они заставили Языкова извиниться перед Тютчевым.

Между тем жалобы на контору все более и более умножались, заказчики возвращали полученные через нее вещи назад и требовали обратно деньги.

Например, тысячное ружье получалось со сломанной ложей от плохой укладки; в выписанном сервизе половина посуды оказалась перебитой; ильковая дорогая шуба была сделана по мерке миниатюрной дамы, а этой даме прислан был шелковый салоп на рослого плечистого мужчину.

Медленность выполнения заказов простиралась до того, что меховую бархатную шубу, заказанную в сентябре, заказчица получила только летом.

Понятно, что заказы конторе прекратились и убытки от подобных небрежных выполнений были крупные. Пришлось ликвидировать дело [3], и 15 000 рублей залога едва хватило, чтобы покрыть все потери. Языков был убит: вместо барышей он потерял все свои деньги да еще сделал долг. Тургенев и Анненков придумали домашний третейский суд, чтобы защитить Тютчева, которого многие обвиняли в разорении Языкова. Но из этого судьбища ничего нельзя было понять. Анненков как председатель суда, выслушав Языкова, говорил ему: «Вы, Михаил Александрович, вполне правы: как хозяин конторы вы потерпели убытки», и проч.

А обращаясь к Тютчеву, говорил ему: «Вы, Николай Николаевич, совершенно правы: исполняя добросовестным образом ваши многотрудные обязанности, не жалея своего здоровья», и проч. Так что в продолжение двух часов только и было слышно от Анненкова то одной, то другой стороне: «Вы правы, и вы правы».

Впрочем, положение Анненкова было затруднительное. Ему хотелось сохранить прежние приятельские отношения между Языковым и Тютчевым, а потому он старался, чтобы весы правосудия в его руках находились в равновесии [4].

Я была в недоумении — для чего хлопотали устроить этот третейский суд?

Языков по окончании суда сострил:

— Я, господа, теперь настоящий купец — обанкротился и судился!

Он, в сущности, более всего был опечален тем, что его дружеские отношения к Тургеневу и Анненкову пострадают, так как они оба очень благоволили к семейству Тютчева. На Тургенева в этом семействе смотрели с благоговением и ухаживали за ним в высшей степени. Сначала, когда Тургенев только что познакомился с этим семейством, которое состояло из жены Тютчева, тещи и свояченицы-барышни, то смеялся над ухаживаньем за ним мелкопоместных помещиц, вообразивших, что они могут женить его на пухлой и глупой провинциальной барышне. Вообще сперва он отзывался не очень лестно и о жене Тютчева, называя ее «иезуитом в юбке».

Но потом, конечно, изменил свое мнение, и когда получил наследство, то Тютчев с семейством отправился управляющим в его имение. Тургенев говорил:

— Я так рад, что Тютчев решился из дружбы ко мне бросить свою службу и поехать управлять моим имением. Я сам плохо понимаю в сельском хозяйстве, да и не могу сидеть долго в деревне, а никакому патентованному управляющему не решусь доверить своих крестьян. Я знаю, как они все смотрят на мужика. В гуманном же взгляде на крестьян Тютчева я совершенно уверен, как и в его честности, и буду покоен, что никаких притеснений мои крестьяне не будут терпеть. Да и Тютчев будет не управляющий, а полный хозяин, а я буду гостем в своем имении.

Тютчев, однако, пробыл недолго управляющим у Тургенева[5], который, прожив лето в деревне, осенью вернулся в Петербург и удивил меня жалобами на Тютчева. Он говорил Некрасову и Панаеву:

— Тютчев меня разорил, я, по его милости, не получу и четверти того дохода, который всегда получался с имения. Это какой-то сумасшедший!.. вообразите — вздумал платить мужикам за подводы; баб за расчистку сада поденно рассчитывал, а! каково вам это покажется? Направо, налево раздает мужикам взаймы хлеб, покупает им лошадей, коров!.. Одним словом, действует как человек, который задался задачей разорить меня! Ничего не понимает в сельском хозяйстве, все путает, хаос какой-то наделал! Набаловал так крестьян, что с ними теперь не будет сладу. Я просто в отчаянии! Целое лето я черт знает как провел, точно был в своем имении приживальщик. Если мне нужно было ехать куда-нибудь, я должен спрашиваться, могу ли взять экипаж, потому что семейство моего управляющего, может быть, вздумает ехать в гости к соседям. Назовут к себе гостей, которые живут по нескольку дней у меня в доме, и я должен еще любезничать с ними! Это только со мной могут такие вещи проделывать!.. Что я теперь буду делать? Оставить его — значит полное разорение![6]

— Почему же ты, уезжая из имения, не объяснился с Тютчевым? — спросил его Некрасов.

— Помилуй, да я находился в таком положении, что слова не смел сказать, сейчас все дуются на меня, третируют хуже лакея; я был несчастнейший человек и нашел самым лучшим бежать скорей из своего имения.

Анненков мне советует послать другого управляющего, но я на это не решусь! Меня живого съедят дамы Тютчева, да и он начнет везде кричать, что я поступил с ним безбожно! Нет, пусть все пропадает!!![7]

Однако Тургенев все-таки решился послать в имение другого управляющего, человека вполне опытного[8].

Тютчев вернулся с семейством в Петербург в страшном неудовольствии на Тургенева и обвинял его в том, что он тоже разорил его.

— Я бросил для него казенное место, распродал всю мебель, — жаловался Тютчев. — Иван Сергеевич умолял меня ехать в его имение не как управляющего, а как своего друга, которому он только может вверить своих крестьян, зная мой гуманный взгляд на них; предоставлял мне быть полным хозяином в его имении. И вдруг, не объяснясь со мной, уехал из имения и чрез месяц прислал управляющего с уполномочием принять от меня все дела!.. Так не поступают даже с простым управляющим, а не только с человеком, с которым столько лет находился в самых дружеских отношениях. И на что он изъявляет свое неудовольствие? На то, что я слишком баловал его крестьян! Он должен был знать, что я не способен к роли угнетателя и не мог выжимать все силы из крепостного мужика. Каких-нибудь пятьдесят копеек давал я за подводу, когда она нужна была для барского дома, и мне это ставится в укор, будто я разоряю его!

Слушая жалобы и претензии с двух сторон, трудно было разобрать, кто из них прав, кто виноват. Анненков, так же как и на третейском суде, балансировал в споре между Тургеневым и Тютчевым. Слушая жалобы Тургенева на управление его имением бывшего своего друга, он поддакивал: «Да, да, странный человек Тютчев, ты совершенно прав!»

Когда же Тютчев осуждал при нем Тургенева, Анненков восклицал:

— Эх, ветреник этот Иван Сергеевич; вы правы, Николай Николаевич, и проч.[9].

Не знаю, как в другом обществе вел себя Анненков, но в кружке Белинского он никогда не высказывал своих мнений, а лишь поддакивал авторитетным личностям; с остальными же обходился как-то начальнически, говорил деловым тоном, но чуть только человек начинал

приобретать известность в литературе, Анненков тотчас же делался его другом.

Это резко было видно на Тургеневе. Когда он, при начале своего литературного поприща, еще не имел известности, то Анненков игнорировал его и даже называл «аристократом».

Тургенев тоже сначала говорил об Анненкове:

— Заметили вы, господа, что от Анненкова никогда не услышишь его собственного мнения о чем бы то ни было; он ограничивается только поддакиванием. Большой промах сделал он, избрав себе литературную карьеру, с его бездарностью он всегда будет только повторять чужие мысли. Это ходячая контрафакция. Я часто для потехи говорю ему одно, и он глубокомысленно поддакивает мне; через несколько времени говорю другое, и он точно так же поддакивает. Если бы он избрал чиновничью карьеру, то начальство вытянуло бы его за уши на видное место за его уменье поддакивать. Как он увивается за Белинским, точно мелкий чиновник за своим непосредственным начальником. Но что замечательно в нем, это простодушие в его постоянном смехе, которым он старается замаскировать свою пронырливую натуру[10].

Очень часто литераторы рассуждали о том, что после смерти Пушкина не издаются его сочинения.

Раз один молодой человек, не литератор, но ярый поклонник русской литературы, на вечере у Панаева сказал:

— Вам, литераторам, надо было бы давно соединенными силами купить у наследников право и издать полное собрание сочинений Пушкина. Какую бы благодарность вы заслужили от русской публики. Право, стыдно вам так равнодушно относиться к таким замечательным поэтам.

Завязался по этому поводу разговор, и литераторы оправдывались тем, что надо много денег.

— Полноте, господа, если бы вы захотели, то деньги нашлись бы. Можно было бы устроить издание на акциях. Я первый возьму несколько акций и берусь доставить вам десятки акционеров; соберется капитал, и приступайте к изданию. Ну, сколько приблизительно будет стоить издание? — спросил он, обращаясь к Некрасову, как к компетентному лицу из присутствующих.

Некрасов сказал приблизительную цифру, во что может обойтись издание Пушкина.

Некоторые литераторы начали доказывать, что затрата денег так велика, что издание не окупит расходов. Некрасов возражал, что, напротив, оно даже принесет большой барыш, и прибавил:

— В самом деле, господа, надо бы нам сообща серьезно обсудить это дело. Каждый внесет сумму по его средствам; ну, вообразим, хотя это и немыслимо, что барыша не получим; но пайщики, во всяком случае, не потеряют своих денег. Надо сделать два издания: одно на хорошей бумаге, крупной печатью, а другое — компактное, чтобы каждому бедняку было доступно купить Пушкина. Продажа пойдет бойко, — это верно.

Очень часто в кружке толковали о разных литературных полезных предприятиях, но из этих толков не выходило обыкновенно никаких результатов.

Не прошло и месяца после вечера, на котором говорилось об издании сочинений Пушкина, как Панаев встретил на Невском одного господина, часто бывавшего в доме вдовы Пушкина, уже вышедшей замуж за генерала Ланского. Этот господин рассказал ему, что Анненков чрез своего брата, коротко знакомого с Ланским, купил право на издание сочинений Пушкина [11].

Панаев вернулся домой и за обедом, к которому собрались Тургенев и еще несколько литераторов, сообщил эту важную новость.

— Каков наш простодушный русский кулачок,— воскликнул Тургенев, — хоть бы словечком обмолвился о своих замыслах! Это ты все виноват, Некрасов: помнишь, раз вечером высчитывал барыши, какие можно получить от издания Пушкина, — вот и раззадорил аппетит у Анненкова на наживу денег!.. Но боже мой! воображаю, как наш «Кирюша» [12] издаст Пушкина, если сам будет редактировать! О, несчастный Пушкин, я думаю, его кости содрогнутся в могиле от ужаса, что он попал в руки такому бездарному издателю!

— Но, вероятно, Анненков будет просить советов у всех в таком важном деле, — заметил кто-то.

— Он даже обязан это сделать, так как сам лицо не компетентное в поэзии, — сказал Панаев, — издать Пушкина надо добросовестно, и нельзя полагаться на одного себя; надо, чтобы другие литераторы приняли самое горячее участие и сообща потрудились бы над таким изданием.

— Как вы все наивны, господа!—сказал Тургенев,— такие люди, как Анненков, до такой степени самонадеянны, что не признают ничьих советов, особенно где дело идет о барышах. Да притом он пожелает, чтобы ему одному принадлежала честь издания Пушкина... Имя Анненкова как литератора до сих пор никому не было известно, а тут оно будет красоваться на каждом экземпляре Пушкина [13].

В этот вечер у Панаева должен был собраться весь кружок литераторов, и все нетерпеливо ждали прихода Анненкова. Тургенев упрашивал всех, чтобы не начинать разговора с Анненковым о его приобретении, желая посмотреть — заговорит ли он сам об этом. Анненков явился, но ни слова не сказал о своей покупке. Панаев не вытерпел и сказал ему:

— А ты должен сегодня угостить нас всех шампанским.

— Нет, ужином у Дюссо! — крикнуло несколько голосов.

Всем была известна расчетливость Анненкова, который никогда не истратил гроша, чтобы угостить когонибудь обедом или ужином.

— Да, да, ужином с трюфелями и большим количеством шампанского, надо сделать вспрыски,—опять раздались голоса.

Анненков понял, в чем дело, но делал вид недоумевающего человека.

— Что с вами, господа? Какие вспрыски?

— Не отвиливайте, нам всем известна ваша покупка права издания сочинений Пушкина, — сказал Григорович.

— Это вовсе не я купил, а мой брат, — ответил Анненков.

Раздался общий хохот, потому что все знали, что его брату подобная мысль не могла прийти в голову, так как это был человек, совершенно не интересовавшийся русской литературой [14].

— Хотите, я вам документ покажу, — воскликнул Анненков.

— Нам нужен не документ, а ужин, — отвечали ему.

Анненков пожал плечами, засмеялся своим обычным громким принужденным смехом и произнес:

— Вот шутники, рады придраться ко всему, чтобы поужинать у Дюссо... Извольте, господа, я вас угощу ужином, когда выйдет издание!

— Тогда обедом! а теперь ужином, — крикнул Тургенев.

Все подтвердили это требование.

— Обедом, ужином! — воскликнул Анненков, — да, знаете ли, господа, расходы по изданию будут так огромны, что вряд ли оно окупится.

— Ну, Анненков, ты тогда и не подумал бы издавать Пушкина! — заметил Некрасов [15].

— Я не о барышах думаю, — обидчиво отвечал Анненков. — Я не умею спекулировать литературой.

Некрасов понял намек и язвительно проговорил:

— Да, значит, ты с благотворительною целью предпринял это издание.

Видя, что разговор начинает принимать личные счеты, присутствующие поспешили прекратить его и стали расспрашивать Анненкова о подробностях его приобретения.

Анненков каждый день утром употреблял несколько часов для разбора бумаг Пушкина в квартире генерала Ланского.

С Анненкова взято было честное слово, что он все частные письма и вообще все бумаги, касающиеся семейных дел, не будет читать, а только выберет те бумаги, которые ему будут нужны для издания. Однако Анненков рассказывал в кружке, какие пасквильные анонимные письма писались Пушкину о его семейных делах и что он нашел в бумагах начатое письмо Пушкина к какому-то своему другу, в котором Пушкин в самых мрачных красках описывал свое семейное положение [16].

Кстати упомяну, что я слышала еще в 40-м году от книгопродавца Смирдина о Пушкине.

Панаеву понадобилась какая-то старая книга, и мы зашли в магазин Смирдина. Хозяин пил чай в комнате за магазином, пригласил нас туда и, пока приказчики отыскивали книгу, угощал чаем; разговор зашел о жене Пушкина, которую мы только что встретили при входе в магазин.

— Характерная-с, должно быть, дама-с, — сказал Смирдин. — Мне раз случилось говорить с ней... Я пришел к Александру Сергеевичу за рукописью и принес деньги-с; он поставил мне условием, чтобы я всегда пла-

тил золотом, потому что их супруга, кроме золота, не желала брать других денег в руки. Вот-с Александр Сергеевич мне и говорит, когда я вошел-с в кабинет: «Рукопись у меня взяла жена, идите к ней, она хочет сама вас видеть», и повел меня; постучались в дверь: она ответила «входите». Александр Сергеевич отворил двери, а сам ушел; я же не смею переступить порога, потому что вижу-с даму, стоящую у трюмо, опершись одной коленой на табуретку, а горничная шнурует ей атласный корсет.

«Входите, я тороплюсь одеваться, — сказала она. — Я вас для того призвала к себе, чтобы вам объявить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесете мне сто золотых вместо пятидесяти. Мой муж дешево продал вам свои стихи. В шесть часов принесите деньги, тогда и получите рукопись... Прощайте...»

— Все это она-с проговорила скоро, не поворачивая головы ко мне, а смотрелась в зеркало и поправляла свои локоны, такие длинные на обеих щеках. Я поклонился, пошел в кабинет к Александру Сергеевичу и застал его сидящим у письменного стола с карандашом в одной руке, которым он проводил черты по листу бумаги, а другой рукой подпирал голову-с, и они сказали-с мне:

«Что? с женщиной труднее поладить, чем с самим автором? Нечего делать, надо вам ублажить мою жену; ей понадобилось заказать новое бальное платье, где хочешь, подай денег... Я с вами потом сочтусь».

— Что же, принесли деньги в шесть часов? — спросил Панаев.

— Как же было не принести такой даме! — отвечал Смирдин.

За достоверность этого рассказа, конечно, не могу ручаться, а передаю только то, что слышала [17].

Когда полное собрание сочинений Пушкина вышло, то Тургенев очень горячился и говорил, что «надо отодрать такого издателя» жестоко розгами, и находил, что хуже трудно было издать Пушкина.

— Я ничего хорошего и не ждал, —твердил он, — но это превзошло мои ожидания, а еще Анненков хвастался — сколько у него материалов в руках!.. Это обидно, возмутительно!

По общему мнению, издание сочинений Пушкина вышло плохое [18]. Но сам Анненков так высоко поднял

голову и заговорил таким авторитетным тоном, что Некрасов сказал:

— Анненков, вероятно, думает, что и он воздвигнул себе памятник нерукотворный!

Тургенев воскликнул: «Позорный!»

О появлении комедии Островского «Свои люди — сочтемся» много было разговоров в кружке [19]. Некрасов чрезвычайно заинтересовался автором и хлопотал познакомиться с Островским и пригласить [его] в сотрудники «Современника».

Не помню, через посредство кого произошло знакомство Островского с кружком «Современника» [20], но очень хорошо помню обед, на котором в первый раз присутствовал Островский и на который были приглашены все сотрудники «Современника» [21].

Островский первый раз явился в кружке с актером И. Ф. Горбуновым, тогда только поступившим на императорскую сцену на самые маленькие роли.

Впрочем, и впоследствии в каждый свой приезд из Москвы Островский постоянно являлся в сопровождении Горбунова.

Обед, данный для Островского, был очень оживлен, потому что Горбунов потешал всех своими рассказами. Островский любовно улыбался на рассказчика, как любящий отец на своего сына, а Горбунов благоговел перед Островским, и это благоговение было самое искреннее.

Я никогда не слыхала от Островского каких-нибудь рассказов о частной жизни литераторов. Хотя Островский и жил в Москве, но это не помешало любителям распространять слухи о его частной жизни: будто он пьет без просыпу и толстая деревенская баба командует над ним.

Когда рассказчику заметили, что Островский, кроме белого вина, ничего не пил за обедом, то на это следовало объяснение, что Островский, приезжая в Петербург, боится выпить рюмку водки, потому что тогда он уж запьет запоем. Но, кроме слухов о его частной жизни, появились и другие.

Раз прибегает в редакцию литератор, известный вестовщик всяких новостей, и, совершенно как в «Ревизоре» Добчинский, захлебываясь, передает, что «Свои

люди — сочтемся» принадлежат одному пропившемуся кутиле, купеческому сыну, который принес рукопись Островскому исправить, а Островский, исправив ее, присвоил себе. Когда стали стыдить литературного Добчинского в распространении нелепой новости, то он клялся, что это достоверно, что его знакомый москвич знает этого кутилу купеческого сынка, который сам ему жаловался на Островского в утайке его рукописи [22].

Очень смешно мне было видеть, когда литературный Добчинский присутствовал при чтении второй комедии Островского и восторгался новой его пиесой, забыв уже, что усердно распространял нелепейшие слухи о присвоении им чужой рукописи.

Островский читал свои пиесы с удивительным мастерством; каждое лицо в пиесе — мужское или женское — рельефно выделялось, и, слушая его чтение, казалось, что перед слушателями разыгрывают свои роли отличные артисты. Много было неприятностей и хлопот Островскому, чтобы добиться постановки первой своей комедии на сцену, но потом каждая его новая пиеса, поставленная на Александринской сцене, составляла событие как для артистов, так и для публики, а также для дирекции, потому что сборы были всегда полные.

Островский, когда ставились его пиесы на сцену, приезжал из Москвы и много возился с артистами, чтобы они хорошенько вникли в свои роли. Островский чуть не до слез умилялся, если артист или артистка старались исполнить его указания. К Мартынову он чувствовал какое-то боготворение. Островский был исключением из драматургов по своей снисходительности к артистам. Он никогда не бранил их, как другие, но еще защищал, если при нем осуждали игру какого-нибудь из артистов.

— Нет, он, право, не так плох, как вы говорите! — останавливал Островский строгого критика. — Он употребил все старание, но что делать, если у него мало сценического таланта.

Не то было с Тургеневым; он приходил с репетиций обедать к Панаеву, когда ставилась его пиеса «Завтрак у предводителя», бесновался и говорил:

— Это не артисты, а балаганные паяцы! Они воображают, что в грубой шаржировке и кривлянье вся суть сценического искусства, да и как могут быть они хорошими артистами, когда поголовно круглые невежды! Провалят мою пиесу, опозорят меня!

Тургенев в день спектакля ничего не ел за обедом, так был ажитирован. Панаев его утешал тем, что взял честное слово с своих знакомых молодых людей, что они будут в театре. «Мы тебя вызовем, будь покоен!» — говорил он.

Тургенев должен был остаться довольным, приехав в спектакль; кроме всех членов кружка «Современника» и других литераторов, явившихся смотреть его пиесу, первые ряды кресел были заняты блестящей молодежью, знакомыми Панаева.

Вообще тогда высшее общество считало почему-то неприличным бывать в Александринском театре и посещало только Большой и Михайловский театры.

Автора дружно вызвали, и Тургенев из директорской ложи раскланивался с публикой. Пиеса разыграна была очень хорошо. Сосницкий и Линская были превосходны в своих ролях. Мартынов, у которого вся роль состояла из двух-трех фраз, сделал из нее первую роль, такая замечательная мимика была у него в каждом движении, в каждом взгляде.

В этой бессловесной роли он показал, как был велик его сценический талант.

«Завтрак у предводителя», однако, не долго продержался в репертуаре, потому что постоянная публика Александринского театра так привыкла к пошлым водевилям, что тонкий и настоящий юмор был ей не по вкусу [23].

Я была на третьем представлении «Завтрака у предводителя», и мне было досадно, что двое приживальщиков Тургенева оказали ему медвежью услугу, вздумав вызывать автора: их голоса были заглушены дружным шиканьем.

Тургенева это страшно огорчило, и он, в горячности, давал клятву, что для такой тупоумной публики никогда более не будет писать пиес. В сущности, он был прав, потому что его пиеса была перлом между теми пиесами, которые давались тогда на русской сцене... Через несколько времени, однако, Тургенев опять написал пиесу, «Провинциалку», и поставил ее на сцену [24]. Эта пиеса держалась в репертуаре дольше, потому что в ней играли две любимицы публики: В. Самойлова и Снеткова. Если не ошибаюсь, Щепкин, приехавший в Петербург на гастроли, взял эту пиесу для своего бенефиса.

Щепкин был уже стар и в сцене признания, что он отец богатой помещицы, так расчувствовался, что расплакался и едва мог говорить свою роль [25].

Островский приехал в Петербург летом хлопотать о постановке своей комедии на Александринской сцене, а в это время уже готовилась Крымская война [26].

За обедом присутствующие только и говорили, что о войне.

Островский не принимал никакого участия в жарких спорах о предстоящей войне, и когда Тургенев заметил ему, — неужели его не интересует такой животрепещущий вопрос, как война, то Островский отвечал:

— В данный момент меня более всего интересует — дозволит ли здешняя дирекция поставить мне на сцену мою комедию.

Все ахнули, а Тургенев заметил с многозначительной улыбкой:

— Странно, я не ожидал такого в вас равнодушия к России!

— Что тут для вас странного? Я думаю, что если бы и вы находились в моем положении, то также интересовались бы участью своего произведения: я пишу для сцены, и, если мне не разрешат ставить на сцену свои пиесы, я буду самым несчастнейшим человеком на свете.

Когда Островский и другие гости разъехались и остались самые короткие литераторы из кружка, Тургенев разразился негодованием на Островского:

— Нет, каков наш купеческий Шекспир?! У него чертовское самомнение! и с каким гонором он возвестил о том, что постановка на сцену его комедии важнее для России, чем предстоящая война. Я давно заметил его пренебрежительную улыбочку, с какой он на нас всех смотрит. «Какое вы все ничтожество перед моим великим талантом!»

— Полно, Тургенев, — остановил его Некрасов, — ты когда расходишься, то удержу тебе нет! В тебе две крайности — или ты слишком строго, или чересчур снисходительно относишься к людям; а насчет авторского самолюбия, то у кого из нас его нет? Островский только откровеннее других.

— Я, брат, при встрече с каждым субъектом делаю ему психический анализ и не ошибаюсь в диагнозе, — ответил Тургенев.

Некрасов улыбнулся, да и другие также, потому что было множество фактов, как Тургенев самых пошлых и бездарных личностей превозносил до небес, а потом сам называл их пошляками и дрянцой...

Мы жили на даче между Ораниенбаумом и Петергофом, на берегу моря, когда неприятельская эскадра появилась около Кронштадта и один пароход появился в туманное утро почти у самой крепости, тогда как все были уверены, что невозможно пройти, потому что фарватер был затоплен судами [27].

Пароход этот был виден с берега, с нашей дачи: он постоял немного и скрылся. Из кронштадтской крепости началась такая страшная канонада, что у нас на даче дрожали стекла, а дача стояла на расстоянии 6 верст от крепости. По шоссе в Ораниенбаум скакали экипажи, верховые, артиллерия, конница, шла форсированным шагом пехота, тянулись полковые обозы. Я видела, как на тройке в коляске проскакал государь Николай Павлович к Ораниенбауму и за ним несколько генералов.

У государя было мрачное выражение лица, но он с обычным величавым спокойствием смотрел по сторонам на войска, идущие по дороге.

Когда он ехал назад, его нельзя было узнать: он сидел в коляске с поникшей головой, и глаза его были закрыты, точно он спал. Бледность его лица была мертвенная.

Из Петергофа на дачу к нам часто ездила одна компетентная личность в военном деле — Милютин [28]. Он был тогда еще не в большом чине. Когда его спросили, готовы ли мы к войне, которая, по ходу дипломатических отношений французского двора к русскому, была неизбежна, то Милютин отвечал: «По бумагам мы вполне готовы! но с первых же военных действий обнаружится страшный недостаток во всем: все озабочены вовсе не тем, чем следует. На вес золота будут покупать селитру, запастись которой и не думают, а когда начнется война, то ее доставка будет невозможна из-за границы; медицинская часть тоже в плачевном состоянии: операционных инструментов мало, да и то плохие, докторам придется тупыми ножами ампутировать раненых. Интендантство в таком жалком виде, что и в мирное время никуда не годно, а в военное оставит войско без сапог,

без шинелей и без сухарей... Все прекрасно для парадов и никуда не годно для войны. Не столько погибнет русских солдат от войны, сколько — от болезней, вследствие отсутствия гигиенических мер, которые необходимо должны быть предусмотрены высшим начальством».

Все предсказания Милютина, к несчастию, оправдались в Крымскую войну... Милютин постоянно бывал в кружке литераторов и пользовался общим уважением по своему образованию, а главное — по своим либеральным взглядам. Он много говорил о необходимости коренных преобразований по всем частям военного ведомства.

Все сожалели, что такой гуманный и знающий человек в военном деле по своему чину не имеет голоса и едва ли может дослужиться до такого положения, которое дало бы ему возможность провести в жизнь его взгляды на реформы, потому что он так был слаб здоровьем. Милютин едва передвигал ноги и постоянно жаловался на слабость своих сил. Мне пришлось, однако, видеть, как служебная карьера Милютина постоянно повышалась, а вместе с тем исчезала его физическая слабость; когда же он выдвинулся на вид, то сделался совершенно бодрым, и все болезни с него сняло, как рукой.

Все литераторы, которые его знали, радовались его повышению и восхищались простотой обхождения со всеми, когда он достиг значительного поста и по-прежнему являлся к Панаеву на литературные собрания, внимательно прислушиваясь к суждениям некоторых личностей, выделявшихся в шестидесятых годах своими серьезными статьями в «Современнике». Особенно Милютин ухаживал за Чернышевским, всегда усаживался за ужином около него и допытывался его мнений о реформах.

Чернышевский был очень близорук, и часто Милютин, услуживая ему за ужином, подавал ему блюдо.

На меня все восставали, когда я недоверчиво относилась к простоте и любезностям Милютина, которыми все остальные восхищались. Последствия доказали, что я не ошиблась. Как только Милютин достиг власти, то одним из первых его дел было запрещение полковым библиотекам выписывать «Современник»[29]. Это известие так ошеломило Панаева, что он не хотел сначала ему

верить, но, к своему крайнему огорчению, должен был преклониться перед неопровержимым фактом.

Вместе с тем Милютин сильно повредил Чернышевскому, которому так услуживал прежде, высказав о нем мнение, как о самом вредном человеке по своему образу мыслей [30].

Многим теперь покажется странным, для чего было нужно таким людям заискивать расположение в литераторах. Но после Крымской войны печатное слово получило вес в обществе; все сознавали, что необходим прогресс во всем, и с жадностью набросились на чтение журналов, которые, по возможности, обсуждали реформы, предпринимаемые в России.

Милютину нужна была популярность, и он увивался около тех литераторов, которые своим умом и многосторонним знанием приобрели авторитетный голос в печати.

Многие общественные деятели искали тогда поддержки в литературе.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Александр Дюма. — Дуэль. — Костомаров. — Лев Толстой.

Мы жили несколько лет на одной и той же даче, близ Ораниенбаума. Все приходили в восторг от нее. И в самом деле, трудно было найти более удобный летний приют.

Построенная в виде красивого швейцарского домика, дача находилась на берегу взморья, вдали от всякого жилья, посреди громадного парка с тенистой липовой аллеей, тянувшейся почти три четверти версты, так что дачники Петергофа и Ораниенбаума приезжали гулять в наш парк и любовались швейцарским домиком, стены которого были красиво декорированы гортензиями и другими растениями, а перед домом была разбита огромная клумба разнообразных цветов, расставлены скамейки, стулья и столики, на которых мы всегда обедали и завтракали.

Панаев, как я уже упоминала, был большой любитель дальних прогулок; ему было нипочем пройти двадцать верст, и часто, пригласив своего гостя «пройтись», он приводил его обратно в самом плачевном виде от усталости.

Кто знал, что значит у Панаева «пройтись», тот, идя с ним гулять, заранее делал условие, чтобы он не заводил его слишком далеко.

В 1858 году у нас на даче гостил молодой литератор Д. В. Григорович. Впрочем, он часто исчезал на целые недели на дачу к графу Кушелеву, которого тогда окружали разные литераторы. Кушелев был сам литератор и издавал журнал «Русское слово». При его огромном богатстве, конечно, у него было много литераторов-поклонников.

Знаменитый французский романист Александр Дюма, приехав в Петербург, гостил на даче у графа Кушелева [1], и литератор Григорович сделался его другом, или, как я называла, «нянюшкой Дюма», потому что он всюду сопровождал французского романиста.

Григорович говорил как француз и к тому же обладал талантом комически рассказывать разные бывалые и небывалые сцены о каждом своем знакомом. Для Дюма он был сущим кладом.

Григорович объявил нам, что Дюма непременно желает познакомиться с редакторами «Современника» и их сотрудниками [2], и горячо доказывал, что нам следует принять Дюма по-европейски. Я настаивала только, чтобы чествование Дюма происходило не на даче, а на городской квартире, потому что наша дача была мала, да и вообще мне постоянно было много хлопот с неожиданными приездами гостей, потому что было крайне затруднительно доставать провизию, за которой приходилось посылать в Петергоф, отстоявший от нашей дачи в четырех верстах. По моей просьбе решено было принять Дюма на городской квартире, сделать ему завтрак и пригласить тех сотрудников, которые на лето оставались в Петербурге.

Григорович уехал опять к Кушелеву на дачу, с тем чтобы пригласить Дюма через неделю к нам на завтрак на нашу городскую квартиру.

Прошло после того дня два; мы только что сели за завтрак, как вдруг в аллею, ведущую к нашей даче, въехали дрожки, потом другие и третьи. Аллея, как я уже заметила, была длинная и обсаженная густо деревьями, а потому трудно было издали разглядеть едущих. Мы недоумевали, кто бы это мог ехать к нам, и притом так рано. Панаев решил, что это, верно, какие-

нибудь дачники явились посмотреть парк, и уже встал из-за стола, чтобы разбранить извозчиков; но я, вглядевшись, воскликнула: «Боже мой, это едет Григорович с каким-то господином... без сомнения, он везет Дюма!» [3]

Я не ошиблась, — это был действительно Дюма и с целой свитой: с секретарем и какими-то двумя французами, фамилии которых не помню, но один был художник [4], а другой агент одного парижского банкирского дома, присланный в Россию по какому-то миллионному коммерческому предприятию.

Эти французы приехали к Дюма в гости, и он захватил их с собой. После взаимных представлений я поспешила уйти, чтобы распорядиться завтраком. Так как нашествие французов было неожиданно, то я должна была употребить весь запас провизии, назначенный на обед, им на завтрак. Виновник нашествия французов также пошел вслед за мной в кухню, оправдываясь, что он ни телом, ни душой не виноват в происшедшем. Я накинулась на него за то, что он, зная, как затруднительно достать провизию, не остановил Дюма ехать к нам да еще со свитой.

— Голубушка, я всеми силами отговаривал Дюма, — отвечал Григорович, — но его точно какая муха укусила; как только встал сегодня, так и затвердил, что поедем к вам. Гости к нему приехали, я было обрадовался, но он и их потащил с собой... Войдите в мое-то положение, голубушка, я молил мысленно бога, чтобы вас не было в саду, потому что, желая заставить Дюма отложить его намерение, я наврал ему, что вы очень больны и лежите в постели!..

Положение друга Дюма показалось мне так смешно, что я рассмеялась...

— Не сердитесь, голубушка, на меня... — продолжал он. — Накормите их чем-нибудь! Французы так же голодны, как были голодны их соотечественники в 1812 году: они останутся довольны всем, чем бы вы их ни кормили.

— Хорошо, — отвечала я, — накормить их завтраком у меня хватит провизии, но что́, если они останутся обедать?..

Я не договорила, угадав по выражению лица Григоровича, что Дюма останется обедать, и поспешила послать кучера в Петергоф за провизией.

Действительно, французы были голодны, потому что ели с большим аппетитом за завтраком. Дюма съел даже полную тарелку простокваши и восторгался ею.

Впрочем, он всем восторгался — и дачей, и приготовлением кушанья, и тем, что завтрак был подан на воздухе. Он говорил своей свите:

— Вот эти люди умеют жить на даче, тогда как у графа все сидят запершись в своих великолепных комнатах, а здесь простор! Дышится легко после еды.

Я сказала тихонько Панаеву, чтоб он предложил французам «пройтись». Дюма было заартачился, но его уверили, что в парке везде есть скамейки, а на берегу моря беседка, где его будет обдувать ветерок, так как день был очень жаркий.

Дюма умилился, когда я отказалась принять участие в общей прогулке, отговорясь тем, что мне надо присмотреть за обедом. Он начал уверять, что видит первую женщину-писательницу, в которой нет и тени синего чулка. Без сомнения, он радовался более тому, что его накормят хорошим обедом.

За обедом Дюма опять ел с большим аппетитом и все расхваливал, а от курника (пирог с яйцами и цыплятами) пришел в такое восхищение, что велел своему секретарю записать название пирога и способ его приготовления. Мне было очень приятно, напоив французов чаем, проститься с ними. Дюма уверял, что с тех пор, как приехал в Петербург, первый день провел так приятно, и в самых любезных фразах выражал мне свою благодарность за прекрасный обед и радушное гостеприимство.

Я надеялась, что теперь не скоро увижу Дюма, но, к моему огорчению, не прошло и трех дней, как он опять явился с своим секретарем, причем последний держал в руках довольно объемистый саквояж.

Я пришла в негодование, когда Дюма с развязностью объявил, что приехал ночевать, потому что ему хочется вполне насладиться нашим радушным и приятным обществом, что он после проведенного у нас на даче дня чувствует тоску в доме графа Кушелева, притом же не может переносить присутствие спирита Юма, который в это время гостил на даче у Кушелева.

— Извольте,— говорил Дюма,— обедать в обществе людей и смотреть, как одного дергает пляска святого Витта, а другой сидит в столбняке, подняв глаза вверх.

Весь аппетит пропадает, да и повар у графа какой-то злодей, никакого вкуса у него нет, все блюда точно трава! И это миллионер держит такого повара! Я в первый раз, по выезде из Парижа, только у вас пил кофе с удовольствием, и так приятно видеть, как chère dame Panaieff готовит его. Очень мне нужна севрская чашка, в которой подают у бедного графа скверный кофе!

Комнат у нас было так мало, что Панаев, уступив свой кабинет гостям, должен сам был спать на диване в другой комнате вместе с Григоровичем.

Я пользовалась обществом Дюма только во время обеда, завтрака и чая. Дюма, как только приехал, попросил у меня позволения надеть туфли и снять сюртук, потому что он привык в этом костюме всегда сидеть в саду у себя дома.

Роль секретаря Дюма была прежалкая. Дюма помыкал им, как лакеем. Секретарь был из робких людей и, должно быть, не очень умный, как я могла заключить из разговора с ним.

Наружность секретаря была тоже невзрачная: маленького роста, с убитым выражением лица! Дюма заставил его срисовать карандашом нашу дачу, уверяя, что хочет построить себе точно такую же в окрестностях Парижа.

Перед обедом Панаев и Григорович повели Дюма пройтись. Я завела разговор с секретарем, который рисовал дачу, и спросила его, не скучает ли он по Парижу?

— Очень, очень скучаю! — отвечал он.— Я привык к семейной жизни, и мне очень тяжелы эти скитания. Мосье Дюма очень живого характера, он не может дня посидеть на одном месте. Ему-то хорошо, а мне крайне стеснительно постоянно находиться в чужом доме. И не знаю, какую выгоду получу из моего путешествия? Сердце все изныло о жене и детях.

— Почему же вы не вернетесь в Париж?

— Как же вернуться ни с чем? Все мое жалованье получает жена. В сущности, у меня расходов нет. Мосье Дюма обязан содержать меня во время путешествия: давать мне комнату и стол. Но ведь он постоянно гостит у кого-нибудь, и я обязан быть всегда при нем. Вот захотелось ему срисовать вид вашей дачи или что-нибудь записать для памяти, и я обязан это исполнить.

«Ну,— подумала я,— работа небольшая — записать, как делается курник, и срисовать дачу».

— Мосье Дюма, — продолжал секретарь, — опишет свое путешествие по России и получит много денег за издание этой книги, но у него денег никогда нет! Очень он любит бросать их, много, очень много проживает. Вот и здесь успел уже истратить десять тысяч франков на одну француженку, на которую и не посмотрел бы в Париже. Ах, как много наживают здесь парижанки!

Я полюбопытствовала узнать у секретаря — правда ли, что Дюма последние свои романы заказывал писать другим, маленьким литераторам, а сам только редактировал их.

— О нет!.. Когда я вел переговоры с ним о поступлении к нему секретарем, то имел счастье видеть, как он сочиняет свои романы. У него в загородном доме большой кабинет, он то ходит, то ляжет на турецкий диван, то качается в гамаке, а сам все диктует и так скоро, что его секретарь едва поспевает писать. Я видел рукопись; в ней ничего нельзя понять; для сокращения вместо слов поставлены какие-то знаки. Секретарь испишет лист и бросит его на стол другому секретарю, который должен переписать, превратить знаки в слова. До дурноты доводит их мосье Дюма работой, встает сам рано и до двенадцати часов не дает передышки — все диктует; позавтракают, опять за работу до шести часов. И как только у мосье Дюма хватает здоровья! Ведь он каждый день обедает с компанией, потом едет в театр, потом ужинает до рассвета. Удивительный человек!

— Хорошо он платит за работу? — спросила я.

— Очень хорошо! Он платит секретарям не по листам, а когда выйдет его роман, то и дает им денег: откроет ящик в столе и возьмет рукой, сколько попадется... Если ему попадутся в руки крупные бумажки — счастье того. Если же попадутся мелкие, то секретари не заикаются, что мало, а ждут, когда он получит хороший куш от книгопродавцев; тогда идут снова просить денег. Зато уж не приступайся к нему, когда у него нет денег. Знаете ли вы, что он мог бы быть миллионером, если бы не бросал так деньги! Весь свет читает его романы.

Насколько было правды в рассказах секретаря, не знаю, — передаю то, что слышала.

Дюма был для меня кошмаром в продолжение своего пребывания в Петербурге, потому что часто навещал нас, уверяя, что отдыхает у нас на даче.

Раз я нарочно сделала для Дюма такой обед, что была в полном убеждении, что, по крайней мере, на неделю избавлюсь от его посещений. Я накормила его щами, пирогом с кашей и рыбой, поросенком с хреном, утками, свежепросольными огурцами, жареными грибами и сладким слоеным пирогом с вареньем и упрашивала поесть побольше. Дюма обрадовал меня, говоря после обеда, что у него сильная жажда, и выпил много сельтерской воды с коньяком. Но напрасно я надеялась: через три дня Дюма явился как ни в чем не бывало, и только бедный секретарь расплатился вместо него за русский обед. Дюма съедал по две тарелки ботвиньи с свежепросольной рыбой. Я думаю, что желудок Дюма мог бы переварить мухоморы.

Григорович очень хлопотал, чтобы его другу Дюма сделали официальный обед, и, зная, что я буду противиться этому, тихонько от меня уговорил Панаева созвать литераторов. Когда мне объявили об этом, я отказалась наотрез хлопотать об обеде. Григорович умасливал меня тем, что Дюма восхищается моими кулинарными способностями и моим радушным гостеприимством.

— Он, голубушка, когда будет писать о своем путешествии по России, посмотрите, как вас расхвалит, — в увлечении говорил Григорович.

Я невольно расхохоталась.

— Ах! неужели вам не будет приятно, что вся Европа будет читать о вас! — твердил Григорович и не хотел верить, что мне было бы гораздо приятнее, если бы Дюма избавил меня от своих посещений[5].

Обед, однако, состоялся; наехали все приглашенные литераторы, и Григорович был в восторге, что чествование Дюма устроилось.

В день Петергофского гулянья я ждала к себе своих племянниц-девочек и сестру, чтобы свезти их посмотреть на иллюминацию и фейерверк; они должны были остаться ночевать у меня.

Утром я была занята приготовлением им помещения в своей комнате наверху, как вдруг горничная объявила мне, что «едут гости», я спустилась вниз и выбежала на аллею, чтобы их встретить, и обомлела от ужаса: это был Дюма с своим секретарем и с саквояжем. Дюма вообразил, что я выбежала встретить его, и воскликнул: «O chère dame Panaieff!», и чуть не порывался обнять

меня. Тут только я вспомнила, что Григорович за завтраком рассказывал виденный им сон, будто я была в больших хлопотах от того, что ко мне, кроме родных, наехало ночевать много гостей. Я была в величайшем негодовании на Григоровича и, не стесняясь, выбранила его за то, что он, зная за неделю о приезде моих родных в этот день, не мог предупредить Дюма, чтобы тот не вздумал явиться к нам.

— Голубушка, я с секретарем Дюма на сеновале переночую.

— У меня нет ни подушек, ни одеял для вашего Дюма, — отвечала я.

— И так поспит на диване!

— Как хотите, а извольте его увезти ночевать, куда хотите.

— Куда же я его повезу, ведь в Петергофе сегодня не только в гостиницах, но и в трактирах не найти свободного угла.

— Ночуйте в парке, мне все равно.

В это время приехали мои гости, и я пошла их встретить и поведать мое горе. Я упросила племянниц притворяться, что они не говорят по-французски, для того чтобы мне под этим предлогом не разговаривать с Дюма.

Мне пришлось снова взволноваться, когда я узнала, что Дюма повезут в нашей коляске в Петергоф. Панаев убеждал меня, что нельзя же не отвезти Дюма, потому что достать извозчиков в этот день не было возможности.

— Везите его на телеге, ему надо же испробовать эту езду, чтобы описать ее в своей книге о России! Я обещала племянницам повезти их на гулянье и не дам коляски для Дюма.

Однако меня уговорили, обещая, что Дюма отвезут пораньше и оставят в Петергофе, а коляска вернется, и тогда я повезу племянниц.

Дюма не мог не заметить, что я не говорю с ним ни слова, и даже спросил меня — почему сегодня chère dame Panaieff так озабочена? Григорович все время имел потерянный вид, боясь, чтобы я не выразила чем-нибудь своего гнева на бесцеремонность Дюма, и утешал меня, что Дюма не вернется из Петергофа ночевать к нам.

— Уж я, голубушка, разорвусь на мелкие части, а устрою так, что он ночует в Петергофе.

Но, к моему ужасу, Дюма вернулся, и мне пришлось на маленькой даче уложить спать семь человек гостей. Подушки и тюфяки прислуги все пошли в ход на эту ночь.

Боже мой, как я обрадовалась, когда Дюма приехал, наконец, прощаться перед своим отъездом на Кавказ! Дюма, прощаясь со мной, наговорил мне много комплиментов и так расчувствовался, что обнял меня и поцеловал.

Это так было неожиданно для меня, что я не успела увернуться от его трогательного лобызанья...

В это лето французы положительно одолели нас своими посещениями. Недели через две или три после отъезда Дюма Панаев читал мне и Некрасову только что оконченный им фельетон для августовской книжки «Современника» о посещении Дюма Петербурга [6].

Мы сидели в саду, Некрасов был закутан в плед, потому что уже давно стал чувствовать боль в горле, и в этот год голос у него совсем пропал. Он лечился у доктора Шипулинского, который находил очень серьезной болезнь его горла. Настроение духа у Некрасова было самое убийственное и раздражение нервов достигло высшей степени. Он иногда по целым дням ни с кем не говорил ни слова. Ему казалось, что он должен скоро умереть, и трудно было отвлечь его от этих мрачных мыслей [7].

Было около двух часов; чтение Панаева подходило к концу, когда я, завидев в аллее дрожки, сказала: «Кто-то едет к нам». Мы были в уверенности, что это кто-нибудь из сотрудников, и крайне удивились, увидя, что какие-то два незнакомые господина сошли с дрожек и стали приближаться к нам.

Один из них на французском языке спросил Панаева, вышедшего к ним навстречу, не с редактором ли «Современника» он имеет честь говорить.

Я сказала Некрасову, что, вероятно, Дюма прислал каких-нибудь своих приятелей—французов знакомиться с нами.

На лице Панаева я заметила недоумевающее выражение, когда он подошел к нам и рекомендовал посетителей. Один оказался французом с весьма типической наружностью и манерами парижанина (конечно, фамилии не помню): средних лет, брюнет, среднего роста,

с черными живыми глазами, с усами и эспаньолкой; в петличке его сюртука виднелась какая-то орденская ленточка.

Другой был тоже француз, друг его, как отрекомендовал сам доктор. Оба француза старались держать себя с какой-то официальной важностью.

Панаев пригласил их сесть. Доктор заговорил первый, обращаясь к Некрасову, что он специально приехал из Парижа в Петербург, для того чтобы лично объясниться с ним. Панаев поспешил предупредить доктора, что Некрасов не говорит по-французски, а Некрасов спросил Панаева:

— Что сказал мне француз?

Панаев перевел ему слова француза, который продолжал:

— Это очень жаль, потому что я должен сообщить мосье Некрасову очень для него важную вещь без свидетелей.

Я вышла в стеклянную галерею, недоумевая, какое может иметь важное дело доктор-француз до Некрасова и притом специально для этого приехавший из Парижа. Вдруг у меня в голове мелькнула мысль — не явился ли он объясняться по поводу стихотворения «Княгиня», напечатанного в «Современнике» 1856 года.

Некрасов написал это стихотворение, когда все петербургское общество только и говорило что о смерти одной русской аристократки, графини Воронцовой-Дашковой, которая вторично вышла замуж в Париже, уже с лишком сорока лет, за простого доктора-француза и умерла будто бы одинокая, в нищете, в одной из парижских больниц [8]. Ходили даже слухи, что изверг доктор страшно тиранил ее и наконец отравил медленным ядом, чтобы скорей воспользоваться ее деньгами и бриллиантами на огромную сумму.

В сороковых годах эта аристократка считалась в высшем кругу первой львицей по оригинальной своей красоте, богатству и по живости своего характера.

Лермонтов писал о ней:

Как мальчик кудрявый, резва,
Нарядна, как бабочка летом... [9]

Вторичное замужество аристократки-львицы наделало страшного шума; об этом долго толковали, и едва разговоры стали затихать, как известие о ее смерти

снова дало им новую пищу. Все, кто прочел стихотворение Некрасова «Княгиня», тотчас узнали героиню.

В стихотворении «Княгиня» было сказано о муже ее:

Тут пришла развязка. Круто изменился
Доктор спекулятор: деспотом явился!
Деньги, бриллианты — все пустил в аферы,
А жену тиранил, ревновал без меры.
И когда бедняжка с горя захворала,
Свез ее в больницу... Навещал сначала,
А потом уехал — словно канул в воду!

Я нетерпеливо ждала ухода французов, чтобы узнать, в чем дело, и подтвердится ли мое предположение. Вскоре я увидала Некрасова, идущего к галерее с Панаевым. Некрасов как-то особенно был хмур, а у Панаева на лице выражалась сильная тревога. Я вышла им навстречу и была поражена словами Панаева:

— Это безумие с твоей стороны было принять вызов!

Затем, обратясь ко мне, Панаев прибавил:

— Не дал мне ничего говорить, только твердил одно французам: вуй, вуй!

— Пожалуйста, оставьте меня в покое! — раздражительно проговорил Некрасов. — Надо было их оборвать сразу, чтобы они не вообразили, что я испугался их вызова!

И Некрасов пошел по аллее к морю.

Панаев потерянным голосом произнес:

— Я сейчас поеду в Петербург. Надо, чтобы все убедили Некрасова в нелепости драться на дуэли из-за таких пустяков.

Из дальнейшего объяснения Панаева я узнала, что доктор-француз был вторым мужем умершей графини и вызвал Некрасова на дуэль за стихотворение «Княгиня», найдя, что Некрасов взвел на него чудовищную клевету.

Странно было, как доктор-француз мог узнать об этом стихотворении в Париже. Вероятно, кто-нибудь указал ему на него и подбил требовать от Некрасова удовлетворения, рассчитывая, что он откажется драться, и выйдет скандал. Недоброжелателей у Некрасова, да и вообще у «Современника», было много[10].

Я остановила Панаева от поездки в Петербург на том основании, что благоразумнее сохранить вызов в тайне. Если хоть один литератор узнает об этом, то неминуемо пойдут толки, сплетни, и если дуэль не состоится, то начнут говорить, что Некрасов струсил, сподличал

перед французом. Я советовала Панаеву не приставать к Некрасову до тех пор, пока он не успокоится и сам не заговорит о вызове.

И точно, Некрасов сам за обедом сказал:

— Однако надо к этим франтам французам послать кого-нибудь для переговоров.

Я посоветовала избрать для этого Буткевича, на скромность которого вполне можно было положиться. Буткевич не был литератором, но мы все его коротко знали. Послали ему телеграмму; Буткевич приехал в тот же день с последним пароходом и был, конечно, крайне удивлен вызовом француза. Долго обсуждали, как следует Буткевичу вести разговор с секундантом доктора. Некрасов просил Буткевича, чтобы он не давал повода французам думать, что он испугался и заискивает примирения.

Буткевич обещал, но сказал мне, что надо употребить все усилия, чтобы расстроить эту глупую дуэль.

На другое утро мы с первым пароходом отправились в Петербург. Я в волнении ждала возвращения Буткевича от французов и выбежала к нему на лестницу, завидев его издали из окна. Буткевич успокаивал меня, что дело уладится, потому что он заметил, какое впечатление произвел на секунданта, когда стал говорить ему о необходимости принять меры осторожности, чтобы полиция не проведала о дуэли, так как дуэли строго преследуются в России законами.

Некрасов встретил Буткевича словами:

— Ну, что? Когда назначен день?

Буткевич отвечал, что день еще не назначен.

Некрасов торопливо спросил:

— Почему?

— Потому, что я признал неудобным, чтобы вы стрелялись в окрестностях Петербурга, а придумал, что мы вчетвером отправимся, под видом охоты, подальше по железной дороге, и никто не обратит внимания на то, что мы пойдем в лес вчетвером.

— Тебе надо сейчас же опять ехать и сказать французам, чтобы завтра они приезжали к десятичасовому поезду на Николаевскую железную дорогу, — сказал Некрасов.

Буткевич отвечал, что французы вместе с ним вышли из отеля, чтобы ехать по какому-то делу в Царское Село. Некрасов сделал нетерпеливое движение и проговорил:

— Эти проволочки меня злят.

Буткевич попробовал было опять доказывать ему нелепость этой дуэли, но Некрасов раздражительно остановил его:

— Я лучше тебя понимаю, что глупо из-за такого пустяка подставлять свой лоб под пулю, но все-таки рад этому случаю: лучше разом покончить с жизнью, чем в мучительном томлении ждать смерти. Я знаю и чувствую, что моя болезнь неизлечима, и мне противно жить полумертвецом...— Затем, обратясь ко мне, Некрасов прибавил: — Что же не подают завтрак?.. я есть хочу, да и Буткевич, я думаю, проголодался...

Подали завтрак, но Панаев отказался от него и ушел в свой кабинет. После завтрака я пошла спросить Панаева, не хочет ли он кофе, и не обратила бы внимания, что он пишет, если бы он торопливо не прикрыл книгой свою работу.

— Не вздумал ли ты писать к доктору-французу? — спросила я.

Панаев стал было запираться, но я не поверила и убеждала, прежде чем писать, обсудить хорошенько каждую фразу.

— Ты сама посуди, возможно ли допустить эту безобразную дуэль! Я надеялся на Буткевича, но он, к моему удивлению, послушался Некрасова и шагу не сделал, чтобы отклонить дуэль.

В эту минуту в кабинет вошел Буткевич, и я сообщила ему о намерении Панаева писать письмо к доктору-французу. Панаев произнес:

— Об этом нечего рассуждать; необходимо расстроить дуэль. Разве возможно допустить, чтоб еще один русский поэт был убит на дуэли французом! И это будет не дуэль, а просто убийство, потому что Некрасов болезненный человек, постоянно находится в нервном раздражении, и вдруг допустить его до дуэли! Это значит, что мы будем участниками в убийстве!

— Я совершенно с тобою согласен, — отвечал Буткевич.

— Так почему же ты ничего не объяснил французам о болезненном состоянии Некрасова?

— А потому не говорил сегодня, чтобы не подать им повода подумать, что их вызова испугались. Вы оба горячитесь, а в этом глупом деле не надо спешить. Французы сами могут образумиться, когда увидят, что не

испугались их вызова. Завтра я буду говорить с ними уже иначе. Потом увидим, какое письмо тебе надо написать.

Некрасов с юных лет уже ходил на охоту и стрелял хорошо из ружья; он с Буткевичем поехал в тир, чтоб немного попрактиковаться в стрельбе из пистолета, и вернулся к обеду в самом хорошем расположении духа, потому что не сделал ни одного промаха. Буткевич после обеда ушел, но часов в 10 вечера явился опять и показал телеграмму, полученную им от секунданта-француза, извещавшего его, что по непредвиденным обстоятельствам он должен уехать в Царское Село и завтра утром в назначенный час для их свидания не успеет вернуться и просит Буткевича приехать в 4 часа.

Некрасова это раздражило, и он выругал французов:

— Чтоб черт их побрал; так хотелось спать, а теперь сон пропал.

— Знаешь ли, Некрасов, — сказал ему на это Буткевич, — ведь ты волнуешься этой глупой дуэлью, как мальчишка, которому очень льстит, что он получил вызов, и страшно боится, чтобы его не лишили возможности выказать свою детскую храбрость.

Некрасов терпеливо выслушал Буткевича и отвечал:

— Ты прав, в самом деле вся эта история нелепа! Будь я здоров, я бы только посмеялся над ней, потому что в этой дуэли нет смысла! Француз думает восстановить ею свою репутацию в России, где никто не знает об его существовании. Все это что-то странно и смешно.

— Но странно еще, что я узнал в отеле, что французы уже три недели, как прибыли в Петербург. Если приехали сюда специально для дуэли, то что же они раздумывали так долго явиться к тебе, и неужели все разыскивали, где ты живешь!..

Некрасов прекратил этот разговор тем, что предложил Буткевичу сыграть по маленькой в пикет, так как разгулял свой сон.

История с дуэлью кончилась тем, что доктор-француз сначала обратил свой вызов к Панаеву, находя сам, что при болезненном состоянии Некрасова шансы будут неравны и что он, отправляясь в Петербург, решил, что если по каким-нибудь обстоятельствам не может стреляться с Некрасовым, то вызовет Панаева, которого считал участником в клевете.

Буткевич отвечал, что Панаев, наверно, не откажется от вызова, а затем повел с французами разговор о том, что не благоразумнее ли будет с обеих сторон прекратить эту дуэль, так как, в сущности, стихотворение Некрасова своим названием «Княгиня» уже доказывает, что оно не было написано об умершей жене доктора.

Французы потребовали тогда, чтобы Панаев подтвердил это письменно.

— Вот шут-то! да что он, наклеит себе это письмо на шляпу и будет прогуливаться по Парижу, чтобы восстановить свою репутацию? — сказал Некрасов.

— Ну, черт с ним, надо покончить всю эту чушь.

Я заметила, что французы могут напечатать это письмо в парижских газетах, и тогда многие здешние литераторы обрадуются и поднимут гвалт.

Панаев и Некрасов согласились со мной, и было решено, что Буткевич отправится вместе с Панаевым к французам для словесного объяснения. Вернувшись, они уверили меня, что дело обошлось без письма и кончилось благополучно.

Однако я только тогда совершенно успокоилась, когда узнала, что французы уехали из Петербурга.

Осенью Панаев случайно узнал от одного своего знакомого, родственника умершей графини Воронцовой-Дашковой, что доктор-француз приезжал в Петербург для переговоров с родственниками относительно остававшегося в России имущества его жены, но ничего не получил.

Очевидно, он лгал, будто только затем и приехал в Петербург, чтобы вызвать на дуэль Некрасова. Но для какой цели и по чьему наущению был сделан этот вызов, так и осталось загадкой для нас.

Историка Костомарова я увидела в первый раз, когда он приехал к нам вскоре после своей ссылки[11]. Я подробно знала об его аресте и высылке его из Петербурга.

Видно было по болезненной наружности Костомарова, что ему дорого обошлась вся эта передряга. Он обедал у нас и, видимо, был счастлив, что снова может жить в Петербурге.

Уезжая с дачи на пароходе, он попросил у Панаева за весь год «Колокол», которого в ссылке не имел

случая читать. Сверток был довольно объемистый. Привели извозчика, и Костомаров уехал, обещая вскоре опять приехать на дачу.

Не прошло и полчаса времени, как я увидела Костомарова, идущего по заброшенному огороду около нашей дачи, отделявшемуся от нее довольно широкой канавкой.

— Господа, ведь это Костомаров! Как он попал на огород? — сказала я Панаеву и Некрасову.

Они сперва не поверили мне, но, всмотревшись хорошенько, убедились, что точно это он. Мы все пошли к аллее и окликнули Костомарова, который быстро шагал.

— Я ищу, как бы попасть на вашу дачу! — отвечал он.

Ему растолковали, что он не туда попал и что надо вернуться назад к шоссе.

Мы направились к нему навстречу и заметили, что он был чем-то очень встревожен.

— Что с вами случилось? — спросили мы его.

— Большое несчастие, — тихонько проговорил он. — Пойдемте скорей на дачу, я там вам все расскажу, здесь неудобно рассказывать!

Мы тоже встревожились, недоумевая, что за несчастье с ним случилось!

Придя к даче, Костомаров, измученный ходьбой, опустился на скамейку, а мы окружили его и с нетерпением ждали объяснения. Костомаров огляделся во все стороны и тихо произнес:

— Никто не подслушает нас?.. Я потерял «Колокол».

— Господи, а мы думали, что с вами бог знает что случилось! — сказал с досадой Некрасов.

— Где же вы обронили его? — спросил Панаев.

— Сам не знаю; хотел надеть в рукава шинель, положил сверток около себя. Задумался... хвать, а его уж нет! Я отдал скорее деньги извозчику и пошел назад по шоссе в надежде, что найду его, но не нашел. Значит, кто-нибудь поднял сверток.

— Понятно, что поднял, если вы его не нашли, — ответил Панаев, — и если его нашел человек образованный, то поблагодарит мысленно того, кто доставил ему случай прочесть за целый год «Колокол».

— А если отнесут в полицию? пойдут розыски — а извозчик укажет, откуда он взял седока?

— Что с вами, Костомаров? — заметил ему Панаев.

— А ваш лакей может сказать, что это я потерял!

— Да лакея даже не было в саду, когда вы уехали, — успокаивал его Некрасов.

— К чему это я повез с собой «Колокол»! — в отчаянии проговорил Костомаров.

Его стали успокаивать, даже посмеивались над его испугом, но он сказал:

— Ах, господа, пуганая ворона куста боится. Если бы вам пришлось испытать то, что я испытал, так вы бы теперь не смеялись. Я по опыту убедился, как, по-видимому, из пустяка может человек много выстрадать. Возвращаясь в Петербург, я дал себе клятву быть осторожным и вдруг поступил, как мальчишка!

Костомарова уговорили остаться ночевать, потому что у него сделалась лихорадка, да притом он опоздал бы на пароход, если бы и поехал. Я приготовила ему горячего чаю с коньяком, чтобы его согреть.

На даче я обыкновенно вставала рано и шла купаться. Не было еще 7 часов, когда я вошла в стеклянную галерею, чтобы выйти в парк, а Костомаров уже сидел в ней.

— Что лихорадка ваша? — спросила я его.

Костомаров ответил, что всю ночь не спал, поинтересовался, в котором часу отходит первый пароход, и вдруг пугливо спросил:

— Посмотрите... что это за человек идет?

Я стояла спиной к стеклянной двери и обернулась.

— Это наш Петр, вероятно, с купанья идет, — сказала я и велела лакею скорей ставить самовар, чтобы напоить Костомарова кофеем.

Я уже не пошла купаться, а осталась с Костомаровым.

Я посоветовала ему не ехать на пароходе, так как он чувствовал себя нехорошо, а между тем могла случиться качка.

— Лучше я велю заложить дрожки, — сказала я, — вас довезут до Петергофа, а там вы найдете себе полуколяску и доедете гораздо спокойнее.

Костомаров очень обрадовался моему предложению и сказал, что при его настроении духа ему было бы неприятно находиться в толпе пассажиров. Он с нетерпением ждал, когда кучер заложит дрожки.

Я разбудила Панаева и сообщила, что Костомаров уезжает.

Панаев, заспанный, вышел к Костомарову, который засуетился, увидав, что дрожки готовы.

Панаев, прощаясь с ним, сказал:

— Приезжайте к нам, когда вздумаете, с утра и ночуйте у нас.

— Ну нет! — ответил Костомаров. — Благодарю! моя поездка к вам произвела на меня такое впечатление, что я носу не покажу в ваш Петергоф.

Он уже сошел было с ступенек галереи, но опять вернулся, говоря:

— Боже мой, где же у меня голова, такую важную вещь забыл. Надо же нам сговориться, чтобы не было противоречия в показаниях.

— Каких? — спросил Панаев.

— Господи, ну, если будут спрашивать о потерянном свертке.

— Да полноте, Костомаров!

— Нет! я человек бывалый...

— Скажу, что я потерял! — произнес Панаев.

Костомаров опешил и произнес:

— А свидетель?

— Какой?

— Извозчик!

Панаев засмеялся.

— Забудьте вы о «Колоколе», сообразите сами, ну как возможно разыскать, кто потерял на шоссе сверток! Ваш извозчик не знал о потере его?

— Еще бы я ему это заявил! Я отдал деньги, сказав, что раздумал ехать на пароход, и пошел назад, а он поехал дальше.

— Ну, так как же он может указать на вас?

Костомаров задумался, махнул рукой и произнес: «Ну, чему быть, того не миновать» и, пожав нам руки, сел на дрожки и уехал.

Я должна вернуться назад и рассказать о появлении графа Льва Николаевича Толстого в кружке «Современника». Он был тогда еще офицер и единственный сотрудник «Современника», носивший военную форму [12]. Его литературный талант настолько уже проявился, что все корифеи литературы должны были признать его за равного себе.

Впрочем, граф Толстой был не из робких людей, да и сам сознавал силу своего таланта, а потому держал себя, как мне казалось тогда, с некоторой даже напускной развязностью.

Я никогда не вступала в разговоры с литераторами, когда они собирались у нас, а только молча слушала и наблюдала за всеми. Особенно мне интересно было следить за Тургеневым и графом Л. Н. Толстым, когда они сходились вместе, спорили или делали свои замечания друг другу, потому что оба они были очень умные и наблюдательные.

Мнения графа Толстого о Тургеневе я не слышала; да и вообще он не высказывал своих мнений ни о ком из литераторов, по крайней мере, при мне. Но Тургенев, напротив, имел какую-то потребность изливать о всяком свои наблюдения.

Когда Тургенев только что познакомился с графом Толстым, то сказал о нем:

— Ни одного слова, ни одного движения в нем нет естественного! Он вечно рисуется перед нами, и я затрудняюсь, как объяснить в умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством!

— Не заметил я этого в Толстом, — возразил Панаев.

— Ну, да ты много чего не замечаешь, — ответил Тургенев.

Через несколько времени Тургенев нашел, что Толстой имеет претензию на донжуанство. Раз как-то граф Толстой рассказывал некоторые интересные эпизоды, случившиеся с ним на войне. Когда он ушел, то Тургенев произнес:

— Хоть в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства, каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, все-таки в нем просвечивает зверство.

И Тургенев принялся критиковать каждую фразу графа Толстого, тон его голоса, выражение лица и закончил:

— И все это зверство, как подумаешь, из одного желания получить отличие [13].

— Знаешь ли, Тургенев, — заметил ему Панаев, — если бы я тебя не знал так хорошо, то, слушая все твои нападки на Толстого, подумал бы, что ты завидуешь ему.

— В чем это я могу завидовать ему? в чем? говори! — воскликнул Тургенев.

— Конечно, в сущности, ни в чем; твой талант равен его... но могут подумать...

Тургенев засмеялся и с каким-то сожалением в голосе произнес:

— Ты, Панаев, хороший наблюдатель, когда дело идет о хлыщах, но не советую тебе порываться высказывать свои наблюдения вне этой сферы! [14]

Панаев обиделся.

— Я тебе это заметил для твоей же пользы, — сказал он и ушел.

Тургенев продолжал кипятиться и с досадой говорил:

— Только Панаеву могла прийти в голову нелепая мысль, что я мог завидовать Толстому. Уж не его ли графству?

Некрасов все это время мало говорил, потому что болезнь горла совершенно подавляла его. Он только заметил Тургеневу:

— Да брось ты рассуждать о том, что вздумалось сказать Панаеву. Точно в самом деле можно тебя заподозрить в такой нелепости!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Некрасов за границей. — Рим. — Париж. — Толстой и Тургенев. — Цензурные гонения на «Современник».

В 1857 году, весной, я уехала за границу на морские ванны и в конце августа получила от Некрасова письмо, в котором он просил меня встретить его в Вене, куда его послал доктор Шипулинский, чтобы он посоветовался с каким-то знаменитым венским доктором относительно своей горловой болезни [1].

Я опасалась, что Некрасов, по незнанию иностранных языков, встретит немало затруднений добраться до Вены; но он благополучно совершил путешествие и уморительно рассказывал, как объяснялся в отелях и на железных дорогах [2].

Мрачное настроение духа, в котором он находился с тех пор, как заболело у него горло, исчезло. Он с любопытством осматривал город, ездил по театрам и как бы забыл, зачем приехал в Вену, так что я должна была несколько раз напоминать ему о необходимости отправиться к доктору.

После свидания с венской знаменитостью Некрасов снова впал в уныние. Знаменитость нашла его болезнь очень серьезной, предписала строжайший режим и велела ему ехать в Италию, где и провести зиму.

Климат Италии действительно благотворно повлиял на Некрасова. Он как бы ободрился и был не так раздражителен, но все-таки случалось, что он не хотел по два дня выходить из комнаты.

В Риме мы встретили много русских знакомых, между прочим, поэта Фета с больной сестрой и П. М. Ковалевского с женой. У Ковалевского по вечерам постоянно собирались русские художники, жившие в Риме [3].

Хозяин дома и хозяйка всегда были так приветливы к ним, что даже самые нелюдимые из них охотно шли к Ковалевским провести вечер. Фет и Некрасов тоже с удовольствием проводили там вечера. Сидя у Ковалевских, можно было забыть, что находишься далеко от родины.

Мы прожили в Риме довольно долго, и он, наконец, порядком надоел Некрасову. По совету Н. П. Боткина, мы отправились в Неаполь.

Этот город очень понравился Некрасову; он по целым вечерам сидел на балконе, любовался морем и Везувием и слушал с удовольствием певца, который каждый вечер являлся к балкону. Он настолько почувствовал себя хорошо, что в компании русских знакомых и Н. П. Боткина взобрался на Везувий, на самый кратер.

Но когда начались сильные жары, Некрасов стал чувствовать слабость, бессонницу и сильное нервное возбуждение; надо было поскорее увезти его из Неаполя. Он пожелал ехать в Париж, куда его звал Тургенев [4].

Не очень-то хотелось мне ехать в Париж, но нельзя было оставить больного человека одного и без знания языка, и я скрепя сердце поехала.

Некрасов, напротив, рвался свидеться с Тургеневым. Тургенев целые дни проводил с Некрасовым, показывая ему Париж, и уговорил его ненадолго съездить в Лондон к Герцену; по возвращении оттуда Некрасов тщательно скрыл от меня — виделся ли он с Герценом или нет? [5]

Вскоре Тургенев познакомился с одним аристократическим, княжеским, русским семейством и перестал водиться с Некрасовым. Он приходил только перед обедом, чтобы вместе идти в какой-нибудь ресторан, потому

что утро у него было занято визитами, а вечера он проводил в княжеском салоне.

В Париже находилось еще несколько русских общих знакомых — не литераторов, которые приходили обедать в тот же ресторан; они принимали живое участие в Тургеневе и в его отсутствие строили предположения о том, что он намерен жениться на княжне Мещерской[6], тем более что и сам Тургенев постоянными своими разговорами о ней подавал к этому повод.

Некрасов однажды спросил Тургенева:

— Ты, брат, в самом деле не задумываешь ли жениться? Это будет верх глупости с твоей стороны, и я этого не ожидал от тебя.

Тургенев на это ответил с оттенком неудовольствия:

— Что же я, какой-нибудь физический и нравственный урод, что для меня невозможна семейная жизнь? Остаться бобылем под старость скверная вещь, и тебе советую об этом подумать. Молодость-то наша с тобой не ахти прошла как весело, испытали мы с тобой много передряг, не быв женатыми.

— Ты можешь жениться, только не на аристократке, — иначе ты погубишь себя.

Тургенев улыбнулся и ответил:

— А я иначе не женюсь, как именно только на такой девушке, которая была бы выдрессирована аристократическим воспитанием, потому что это — самая лучшая гарантия для меня в семейном спокойствии. Я был бы несчастным человеком, если б моя жена обладала вульгарными манерами. Аристократическая дрессировка женщин тем и хороша, что если они и сердятся, то и тогда сохраняют изящество и никогда не возмутят тебя резкими выходками, к которым я питаю непреодолимое отвращение, и жить вместе с такой женщиной для меня немыслимо.

— Да ведь ты сам говорил, что княжна совершенно не подготовлена к жизни, имеет детские взгляды на вещи!

— Тем лучше для меня: я могу, как из воску, вылепить себе жену, какую хочу. Я бы никогда не женился на девушке, которая уже имела жизненную опытность. То-то и привлекательно, что будешь развивать в своей жене те взгляды, которые желаешь, чтобы она имела на жизнь.

— Брось ты бывать в этом аристократическом салоне! — сказал Некрасов. — Еще влюбишься до зарезу, а родители найдут, что ты недостаточно хорошая партия для их дочери.

— О, в этом отношении я вполне гарантирован; в Париже у них плохой выбор женихов; все эти маркизы и виконты, посещающие их салон, предпочтут всегда породниться с русским купцом-миллионером или с жидом-откупщиком, нежели с русскими князьями, у которых едва хватает средств сохранить декорум достаточных людей... Княгиня придумала себе оригинальную болезнь — боль в пятках, и под этим предлогом не выезжает на балы и парадные обеды, чтобы и самой их не давать. В своем салоне она постоянно лежит на кушетке, и ее возят в креслах из комнаты в комнату. Но мне раз удалось видеть из кабинета князя, чего она не подозревала, как она отличнейшим образом может ходить. Только аристократическая женщина способна на такой героический поступок для поддержания своего достоинства.

— Есть чем восхищаться! — заметил Некрасов.

— Ну, ты об этих вещах плохой судья, — отвечал Тургенев и продолжал: — Я для того тебе это сказал, чтобы ты понял, в каком затруднении находятся в настоящее время родители с взрослой дочерью. Нельзя же, чтобы и у дочери появилась такая же боль в пятках, как у матери!.. Как видишь, мои фонды высоко стоят, если бы я только вздумал посвататься.

— Если ты не думаешь жениться, зачем же так часто бываешь в этом семействе?

— Не знаю, испытывал ли ты те ощущения, какие я испытываю, когда, после долгой русской зимы, в первый раз весной очутишься в березовой роще: деревья покрыты девственными блестящими листочками, точно лаком; в невысокой изумрудной траве выглядывают не совсем еще распустившиеся полевые цветы; воздух пропитан смолистым сочным ароматом; вдыхая его в себя, чувствуешь, как твоя душа так же обновляется и оживает, как природа.

— Я вижу, что ты задумал писать новую повесть и собираешь материал.

— Пока еще ничего не задумал писать; но, во всяком случае, для писателя очень важно время от времени

возобновлять те юношеские ощущения, которые некогда испытывал в присутствии девушки такой же юной, как он сам. С летами эти нежные ощущения притупляются от чувственных отношений к женщинам.

Вскоре приехал в Париж писатель граф Толстой [7], и Тургенев, точно по обязанности, подробно докладывал, как Толстой держит себя в русском аристократическом салоне, где они часто сходились.

Толстой никогда не слова не говорил о Тургеневе, а последний, напротив, не стеснялся даже в присутствии посторонних людей делать свои замечания о нем.

Некрасов раз заметил Тургеневу:

— Ты какой-то вздор рассказываешь о Толстом, можно подумать, что он отродясь не был в таких салонах!

— Ты сегодня в хандре и придираешься ко всему! — улыбаясь, ответил Тургенев, но переменил разговор и так увлекательно стал рассказывать какой-то эпизод из своих охотничьих приключений, что нельзя было его не заслушаться.

Не могу в точности определить, в скором ли времени по приезде Толстого в Париж произошла следующая история.

Однажды Тургенев, против своего обыкновения, явился к нашему завтраку. Я никогда не видала его таким взволнованным. Едва войдя в комнату, он воскликнул:

— Знаешь ли, Некрасов, какую штуку выкинул сейчас со мною Толстой? Он сделал мне вызов.

Некрасов вскочил с кресел, и его без того бледное лицо буквально помертвело, а сиплый голос до того упал, что он шепотом проговорил:

— Тебе вызов?!

— Придумал глупейший предлог!

— Если бы даже был самый серьезный предлог, то вам стреляться невозможно! — дрожащим голосом сказал Некрасов.

— Чисто юнкерская выходка... я...

— Дело говори, а не глупости! — перебил его Некрасов.

— Ты сам посуди, кто бы из нас придал серьезное значение женской сплетне? — продолжал Тургенев.

— Господи! да говори толком! — в нетерпении воскликнул Некрасов.

— Какого ты хочешь добиться толку в женской сплетне? — горячась, отвечал Тургенев. — Черт знает из

каких-то своих расчетов княгине понадобилось поссорить нас!

— Едем сейчас же к Толстому, и ты разъяснишь ему, что это сплетня.

— Нет! я не намерен лезть к человеку, который явно придрался к пустому случаю, чтобы выместить на мне свои неудачи...

— Замолчи ты, ради Христа, — опять крикнул Некрасов на Тургенева. — Я вижу, что в самом деле тебе не следует ехать, потому что ты мелешь какой-то вздор!.. Я еду один.

— Только, пожалуйста, не проговорись, что видел меня, он еще подумает, что я подослал тебя к нему. Скажи, что узнал об его вызове от моего секунданта. Я сейчас поеду к N. и буду просить его быть моим секундантом.

Тургенев сказал это уже спокойным тоном и направился к двери.

Некрасов, собрав все силы, крикнул ему: «Погоди!» Тургенев, держась за ручку двери, повернул голову и ждал, когда Некрасов подойдет к нему.

— Ты должен выкинуть из головы мысль стреляться с Толстым, ты должен пожертвовать всем, чтобы между вами не было дуэли, иначе это будет позорное преступление!

Все это Некрасов проговорил хотя и тихо, но очень энергично. Тургенев пожал плечами и отвечал ему так же выразительно:

— Ты это не мне должен говорить, а тому, кто из-за женской сплетни сделал мне вызов!

Проговорив это, он быстро повернулся и ушел.

Некрасов в изнеможении сел в кресла и в отчаянии произнес:

— Боже мой, боже мой! им стреляться!

Я подала ему успокоительных капель, но он не захотел их выпить и, быстро вскочив с места, взял свою шляпу и палку и ушел, сказав мне на ходу:

— Пожалуйста, ни слова не говорите никому из наших знакомых о вызове!

Несколько дней Некрасов провел в страшной суете; он возвращался домой до такой степени измученным и мрачным, что я ни о чем его не расспрашивала. Я узна-

ла, только, что Тургенев уехал из Парижа и что дуэль отложена [8].

Вероятно, вследствие сильного волнения и простуды, у Некрасова сильнее разболелось горло и появилась лихорадка, но о докторе он не хотел и слышать.

Я испугалась и тайком телеграфировала о его болезни во Флоренцию Н. П. Боткину, прося последнего немедленно приехать в Париж. Н. П. Боткин приехал и уговорил Некрасова отправиться с ним к какому-то парижскому знаменитому доктору [9].

Некрасов возвратился от доктора в необыкновенно возбужденном состоянии и, едва войдя в комнату, сказал мне:

— Я попрошу вас довезти меня до русской границы, а там я и один кое-как могу добраться до Петербурга.

Некрасов знал, что я намеревалась брать морские ванны, которые помогли мне от мучительных страданий печени.

Н. П. заметил, что парижский доктор посылает его жить на остров Мадеру.

— Так я и поеду в этот склеп, куда доктора отсылают полумертвецов, — раздражительно сказал Некрасов. — Я очень хорошо вижу, что все доктора сбывают меня с своих рук, зная, что болезнь моя неизлечима. Я не из тех малодушных больных, которых можно им дурачить посылками на излечение подальше от себя... Я хочу умереть в России! — и затем, снова обратясь ко мне, спросил: — А во сколько дней вы можете уложить ваши чемоданы?

— Завтра к вечеру у меня все будет уложено.

— Отлично!.. значит, и я сейчас же начну укладывать свои вещи! — сказал он.

Но я упросила его пойти прилечь.

Н. П. Боткин находил, что мне не следует везти Некрасова в Петербург, а что я должна уговорить его ехать на остров Мадеру, так как парижский доктор нашел, что это единственное средство остановить быстрое развитие горловой чахотки. Но я не хотела понапрасну раздражать больного человека. Если бы даже Некрасов и согласился поехать на остров Мадеру, то, разумеется, скоро бы там соскучился и осенью вернулся в Петербург, что было бы еще вреднее для него.

Я полагала, что Некрасову необходимо опять жить в литературной сфере, которая мешала бы ему исключи-

тельно сосредоточиться на мрачных мыслях о близкой смерти.

В Петербурге он поневоле должен был приободриться духом, так как совершавшиеся в это время государственные реформы возбуждали общее одушевление, да и с литературы был снят тот страшный гнет, под которым она изнывала почти десять лет [10].

Вскоре по возвращении Некрасова из Парижа в Россию вернулся из-за границы и Толстой и прожил у нас на даче более двух недель, потому что дорогой захворал, и ему надо было лечиться [11].

Я почти не видела Толстого; он не выходил из своей комнаты и только за три или четыре дня до своего отъезда стал являться к общему обеду и завтраку. Толстой намеревался поселиться в своем имении на постоянное жительство и посвятить себя распространению сельских школ; конечно, он хотел прежде всего основать сельскую школу в своем имении и лично учить крестьянских детей, что, как известно, им и было исполнено.

Некрасов после отъезда Толстого снова впал в хандру. Хотя прежний гнет был снят с русских журналов и казалось, что настало время полной гласности, но каждый месяц появлялись новые административные меры [12].

Не знаю, как было с другими журналами, но на «Современник» было обращено особенное внимание администрации, потому что успех его возрастал с выходом каждой книжки.

Кроме цензурного комитета, появились еще цензоры-чиновники от разных министерств, так что все статьи, за исключением беллетристики, нужно было представлять на одобрение еще особому чиновнику, имевшему право накладывать на них свое veto.

Перечислю, куда должны были отсылаться статьи: в министерство иностранных дел, финансов, в министерство внутренних дел, государственных имуществ, в придворную контору и в канцелярию святейшего синода.

Бывали такие случаи, что каждый из цензирующих чиновников отказывался одобрить статью, ссылаясь на то, что она, по содержанию, не касается его ведомства, так что статья совершала кругосветное путешествие по министерствам и своевременно не попадала в ту книжку «Современника», для которой была набрана.

С получением одобрения министерских чиновников было много хлопот: надо было являться к ним, объясняться и упрашивать. В подтверждение сказанного приведу копию с одной бумаги, полученной Панаевым из министерства народного просвещения:

«Вследствие распоряжений, по высочайшему повелению сделанных, я прошу г. редактора и издателя «Современника» Панаева, завтрашнего числа, 17 апреля поутру в 9 часов, явиться к шефу корпуса жандармов и представить ему: 1) полную записку г. Кавелина, из которой сделанное извлечение о новых условиях сельского быта напечатано в апрельской книжке «Современника»; 2) извлечение из этой записки в корректурных листах, которое было первоначально препровождено чиновнику от министерства внутренних дел г. Тройницкому и он не одобрил.

Министр народного просвещения

Е. Ковалевский

16 апреля 1858 года».

Этот Тройницкий отличался тем, что, помимо своей обязанности одобрить или не одобрить статью, присланную из редакции «Современника», часто из любви к искусству писал о ней пространное мнение в Третье отделение.

Тройницкий поднял гвалт, когда статья Кавелина была напечатана в «Современнике» с выброшенными им местами, отмеченными красными чернилами[13].

В Третьем отделении Панаеву пригрозили, что если он еще раз повторит подобную вещь, то журнал будет запрещен.

Кавелин также был приглашен к шефу жандармов, и, как тогда говорили, ему запретили печатать свои статьи по крестьянскому вопросу. Насколько это достоверно — не знаю[14].

В продолжение существования комиссии об отмене крепостного права в России, где видную роль играл Н. А. Милютин[15], в редакции «Современника» много толковали о заседаниях этой комиссии и ожесточенной борьбе двух партий — либералов и консерваторов.

Кавелин хотя и не был членом комиссии, но принимал большое участие в ее работах, потому что Н. А. Милютин руководствовался его знаниями и советами.

Великая княгиня Елена Павловна, как женщина высокообразованная, интересовалась ходом дела в комиссии, и на ее интимные вечера, раз в неделю, были приглашаемы Н. А. Милютин и Кавелин, с которыми она пожелала познакомиться.

По этому случаю Тургенев говорил в редакции:

— Слышали, господа, что Кавелин сделался придворным, бывает каждую неделю по вечерам у великой княгини. Наверно, к празднику получит камер-юнкерство. Очень интересно будет видеть его в камер-юнкерском мундире.

— Надо какую-нибудь овацию устроить Кавелину, когда он облачится в камер-юнкерский мундир, — сказал Дружинин.

— Да, да, — с обычным смехом поддакивал Анненков.

— Непременно. Даже надо ото всех литераторов адрес ему поднести... за то, что он поддерживает их достоинство, — произнес Тургенев.

— Я, господа, берусь нарисовать отличную виньетку к адресу, — объявил Григорович, — в этой виньетке изображу, как Кавелин пешком идет из Москвы, неся под мышкой несколько книжек, потом представлю его в камер-юнкерском мундире, а в облаках над его головой амуры будут держать наготове вицмундир со звездой, а мы все стоим перед ним с лавровыми венками в руках...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Добролюбов и Чернышевский в редакции «Современника». — Самоубийство Пиотровского. — «Свисток».

Добролюбов и Чернышевский сделались в это время уже постоянными сотрудниками «Современника». Я только раскланивалась с ними, встречаясь в редакции. Хотя я с большим интересом читала их статьи, но не имела желания поближе познакомиться с авторами.

Старые сотрудники находили, что общество Чернышевского и Добролюбова нагоняет тоску. «Мертвечиной от них несет! — находил Тургенев[1]. — Ничто их не интересует!» Литератор Григорович уверял, что он даже в бане сейчас узнает семинариста, когда тот моется;

запах деревянного масла и копоти чувствуется от присутствия семинариста, лампы начинают тускло гореть, весь кислород они втягивают в себя, и дышать делается тяжело.

Тургенев раз за обедом сказал:

— Однако «Современник» скоро сделается исключительно семинарским журналом; что ни статья, то семинарист оказывается автором!

— Не все ли равно, кто бы ни написал статью, раз она дельная, — проговорил Некрасов.

— Да, да! но откуда и каким образом семинаристы появились в литературе? — спросил Анненков.

— Вините, господа, Белинского, это он причиной, что ваше дворянское достоинство оскорблено и вам приходится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами, — заметила я. — Как видите, не бесследна была деятельность Белинского: проникло-таки умственное развитие и в другие классы общества.

Анненков залился своим обычным смехом, а Тургенев, иронически улыбаясь, произнес:

— Вот какого мнения о нас, господа!

— Это мнение всякий о вас составит, если послушает вас, — отвечала я.

Григорович было хотел что-то заметить мне, но Тургенев остановил его на слове «голубушка, вы...» — перебив:

— Лучше не надо разуверять Авдотью Яковлевну, она еще выведет новое заключение в том же роде о нас, а мы и так поражены и уничтожены.

— Не думаю этого, вы облачились в такую непроницаемую броню, что не только словами, но и пулей ее не прошибешь.

— Разгорячилась! — заметил Дружинин.

— Имеете полное право смеяться надо мной, господа, потому что я сама нахожу смешным, что вздумала высказать свое мнение.

Панаев поспешил вмешаться в разговор, чтобы дать ему другое направление. Да я и сама не намерена была его продолжать и не отвечала на тонкую колкость Тургенева и поддакивание Анненкова. Я всегда прескверно себя чувствовала после таких сцен и страшно сердилась, что не могу быть сдержанной.

Некрасов поехал в город по делам журнала и, вернувшись на дачу, предупредил меня, что к завтрашнему

обеду приедут несколько сотрудников. В числе приехавших на другой день гостей находился и Добролюбов.

За обедом Григорович потешал всех рассказами о литературных приживальщиках графа Кушелева, около которого они увивались и бесцеремонно тащили с него деньги; особенно комически передавал он сцены, происходившие между этими приживальщиками и Дюма, когда последний гостил у Кушелева.

Я иногда посматривала на Добролюбова, желая знать, какое впечатление на него производят разговоры, но ничего не могла подметить на его серьезном и спокойном лице.

После обеда я ушла в свою комнату. Через час вошел ко мне Панаев и сказал, что все отправляются гулять, а Добролюбов отказался идти.

— Неловко! человек приехал в первый раз — и оставить его одного... пожалуйста, займи его! — прибавил он.

Но я отказалась наотрез, сказав, что с меня достаточно общества и старых литераторов, а с новыми я не намерена знакомиться.

— Однако как же его одного оставить? Некрасов, может быть, не скоро проснется, что же он будет делать?

— Уговори его идти вместе с вами, а я не желаю беседовать с ним.

Панаев ушел, а я, увидав из окна своей комнаты, что все, в том числе и Добролюбов, отправились на прогулку, вышла в сад и села читать на скамейку у дома. Вдруг, к крайней моей досаде, я увидала Добролюбова, идущего ко мне. Он объяснил, что вернулся назад, потому что не любит больших прогулок; да притом же ему скучно в обществе людей, которых он мало знает.

— Я думаю, и им приятнее быть в своей компании, — сказал Добролюбов и спросил меня: — А вы отчего не пошли на прогулку?

— Вам скучно находиться в обществе людей, которых вы мало знаете, а мне оттого, что я давно их знаю, — отвечала я.

Добролюбов на это сказал мне:

— Я заметил, что вы ни с кем не разговаривали весь обед.

— Я так давно знаю всех обедавших, что мне не о чем с ними разговаривать.

— Мне интересно знать, что за личность Дюма? Он ведь у вас часто бывал?

— Интересного ничего не могу сообщить о нем.

— Однако какое он сделал на вас впечатление?

— Он произвел на меня одно впечатление, что у него большой аппетит и что он очень храбрый человек.

— В чем он проявил свою храбрость?

— Ел по две тарелки ботвиньи, жареные грибы, пироги, поросенка с кашей, — все зараз! На это надо иметь большую храбрость, особенно иностранцу, отроду не пробовавшему таких блюд...

После некоторого молчания Добролюбов удивил меня, сказав:

— А знаете ли, вы отчасти способствовали моему сотрудничеству в «Современнике».

— Это каким образом?! — воскликнула я.

— Понятно, это было так давно, что вы и забыли, но я отлично все помню, потому что это было мое первое посещение редакции. Я прислал свою рукопись с письмом на имя Ивана Ивановича и пришел за ответом. Он возвратил мою рукопись с наставлением: лучше прилежнее готовить свои уроки, чем тратить бесполезно время на сочинение повестей [2].

— Так это были вы — тот самый юноша в мундирчике какого-то казенного заведения [3], который, выйдя из кабинета Панаева, не знал, как ему выйти из передней? Мне тогда стало жаль вас; я догадалась, что, вероятно, Панаев слишком резко высказал нелестное мнение о вашем произведении, и поспешила к вам на помощь. Я взяла у вас рукопись, сказав, что передам ее Некрасову, которого теперь нет дома, а чтобы вы зашли за ответом через несколько дней... Видите, я тоже отлично все помню, но только никак не догадывалась, когда в прошлом году увидала вас в редакции и меня познакомили с вами, что вы тот самый юноша, от которого я взяла рукопись, потому что вы показались мне уже человеком лет двадцати шести; впрочем, я ведь только минуту и видела вас!.. Значит, я была покровительницей при вашем вступлении на литературное поприще? — прибавила я с шутливой важностью.

— Конечно, — отвечал Добролюбов, улыбаясь, — вы имеете полное право считать себя моей покровительницей.

В эту минуту в сад пришел Некрасов и завел разговор с Добролюбовым о составе следующего номера

журнала, а я отправилась распорядиться, чтобы подали чай.

Я очень хорошо помню свой разговор с Панаевым по поводу переконфуженного юноши в казенном мундирчике, у которого я взяла рукопись; когда он ушел, я пошла в кабинет Панаева и сказала ему:

— Ты, должно быть, так огорошил бедного юношу, что он не знал, как ему найти дверь, чтобы убежать.

— Я ему только высказал правду, я пробежал его рукопись, она плоха, как и следовало ожидать: ну, что может написать такой мальчик?

— Да нынче мальчики развитее, чем были вы тридцать лет тому назад, когда окончили свое воспитание, — заметила я. — Сами в литературе разыгрываете таких же недоступных директоров-чиновников, над которыми смеетесь. Тебе следовало принять участие в юноше, ободрить его, а не читать ему наставление, чтобы он не смел и думать пробовать свои силы.

Я поинтересовалась узнать у Некрасова, был ли у него юный автор за рукописью, которую я ему передала.

Некрасов отвечал мне, что был и взял свою рукопись назад, хотя он и предлагал ему переделать ее и напечатать.

— Не захотел сам, — прибавил Некрасов. — Он поразил меня, когда я с ним побеседовал: такой умный, развитой юноша, но, главное — когда он мог успеть так хорошо познакомиться с русской литературой? Оказалось, что он прочитал массу книг и с большим толком.

Может быть, Некрасов и сказал мне тогда фамилию этого юноши, но у меня плохая память на фамилии, так что, когда потом он, называя Добролюбова, говорил, что нашел себе хорошего помощника по библиографическому отделу (Некрасов в то время сам разбирал новые книги [4]), то я не догадывалась, что это одно и то же лицо.

Добролюбов через неделю приехал еще раз на дачу; у меня в этот день с утра гостила сестра с племянницами, и я повела Добролюбова в лес за грибами. Он никогда не собирал их, притом плохо видел, и мы потешались над тем, как он чуть не разбил свои очки о сучок

и не заметил огромного красного гриба, около которого стоял. Он все время шутил и уверял, что сделается завзятым собирателем грибов.

Так как время приближалось к концу августа, то надо было перебираться с дачи. Некрасов объявил мне, что принанял к нашей общей квартире две комнаты для Добролюбова и велел пробить дверь в людскую, чтобы он мог иметь теплое сообщение с редакцией [5].

Я, признаюсь, поворчала на это, потому что у меня и так было много всяких хлопот с постоянными гостями, ежедневно набиравшимися и к завтраку и к обеду.

Когда мы перебрались с дачи, то нашли Добролюбова уже водворившимся в двух маленьких комнатах; при его квартире была кухня, из которой он имел особый выход.

Добролюбов сказал мне, улыбаясь:

— Вот и я попал на литературное подворье.

Он вспомнил, что я, беседуя с ним в первый раз на даче, выразилась, что наша квартира точно литературное подворье, так как у нас постоянно жили литераторы.

— Не думаю, — заметила я,— чтобы вам было удобно жить в таких маленьких комнатах и так близко от нашей людской: вам будут мешать работать.

— В меблированных комнатах еще более неудобств, — отвечал он. — Я часто оставался без обеда: заработаешься и забудешь вовремя потребовать его, а потом принесут бог знает откуда обед холодный, скверный; съешь его и почувствуешь боль в желудке, а я давно уже страдаю хронической болезнью желудка и чувствую, как слабею от этой болезни.

Сначала я посылала Добролюбову в комнату утренний чай и завтрак, потому что Некрасов и Панаев вставали поздно и в разное время; но немного спустя он попросил у меня позволения приходить пить чай ко мне (я вставала рано), ссылаясь на то, что в это время без него уберут его комнаты, и он тотчас же после чая может сесть за работу.

За утренним чаем я заставила Добролюбова есть что-нибудь мясное, потому что иногда он приходил к чаю, совсем не ложась спать и проработав всю ночь.

Так как при этом я настояла, чтобы Добролюбов после еды отдыхал с полчаса, то к чаю начал являться

и Чернышевский, чтобы, пользуясь этим свободным временем, поговорить с Добролюбовым.

Их отношения удивляли меня тем, что не были ни в чем решительно схожи с взаимными отношениями других окружавших меня лиц.

Чернышевский был гораздо старше Добролюбова, но держал себя с ним, как товарищ.

Вскоре после переезда с дачи Некрасов начал поправляться, и у него исчезли мрачные мысли о близкой смерти. Вот как это случилось.

Я коротко, с детства, знала одного молодого медика, года два как окончившего курс.

Однажды он заехал ко мне, и я ему рассказала, что заграничные доктора нашли у Некрасова горловую чахотку, посылали его жить на остров Мадеру, но он возвратился в Петербург.

— Не так же ли ошиблись доктора в болезни его горла, как ошиблись относительно одного из моих пациентов, которому предсказывали близкую смерть от горловой чахотки; а он не только остался жив, но выздоровел совершенно! Как бы мне посмотреть горло у Некрасова?

Я с большим трудом уговорила Некрасова показать горло, и он согласился на это крайне неохотно. Молодой медик, внимательно осмотрев и исследовав его, произнес:

— Через два месяца у вас совершенно заживет горло. Та же самая болезнь, которая была у моего пациента.

Некрасов в волнении спросил:

— И голос вернется?

— Командовать полком вам трудно будет, но говорить вы будете громче и не так сипло, как теперь.

— Что же это такое значит? Меня лечили не так?

— В практике самых опытных докторов бывают ошибки в диагнозе болезни; особенно, если они не специалисты по какой-нибудь части. Если бы с самого начала, как вы почувствовали боль в горле, вас лечили от той болезни, какая у вас оказалась, то в две недели вы бы выздоровели, но теперь болезнь запущена, и излечение будет продолжительнее.

По желанию молодого медика был собран консилиум из специалистов (Шипулинского, Григоровича), который вполне подтвердил поставленный им диагноз и предпо-

ложенную систему лечения. Месяца через два Некрасова уже нельзя было узнать, горло его быстро стало поправляться, а вместе с тем исчезли и мрачные мысли о близкой смерти.

Выздоровев, Некрасов совершенно забыл советы молодого медика — вести строго правильную жизнь. Когда я напоминала ему об этом, он доказывал, что и так всю жизнь прожил в лишениях: в молодости от неимения средств, потом от болезни, и теперь требуют, чтобы он жил не так, как ему хочется.

— Не только для вас, — заметила я, — а и для богатырского организма такой образ жизни, какой вы ведете, был бы вреден; вы превращаете ночь в день, а день в ночь, и притом вечно находитесь в возбужденном состоянии.

— Я очень хладнокровно играю в карты, — отвечал он.

— Трудно поверить, чтобы, ведя такую большую игру, можно было сохранять хладнокровие.

— Я скоро покончу игру! — говорил Некрасов, — а теперь глупо бросать ее, когда мне везет такое дурацкое счастье.

Но он уже не раз повторял, что скоро бросит игру.

У Некрасова появились приметы в игре: например, он брал из конторы «Современника» тысячи две рублей и вкладывал их в середину своих десятков тысяч рублей для счастья, или полагал, что непременно проиграет, если выдаст деньги в тот день, когда вечером предстояла большая игра.

В «Современнике» сотрудничал один молодой человек Пиотровский, который постоянно брал вперед деньги у Некрасова. К несчастью, случилось однажды так, что утром Пиотровский выпросил у Некрасова денег, а вечером тот проиграл крупную сумму. Не прошло недели, как Пиотровский прислал к Некрасову с письмом какую-то женщину, снова прося денег.

Некрасов дал ответ женщине, что не может исполнить просьбу Пиотровского, и когда она ушла, стал ворчать на то, что Пиотровский опять просит денег [6].

— Да еще глупейшее письмо пишет, — прибавил он, — угрожая, что если я откажу в трехстах рублях, то ему придется пустить себе пулю в лоб.

— Может быть, и в самом деле он в безвыходном положении, — заметила я. — Пошлите ему денег.

— Не дам!.. Он не более недели тому назад взял у меня двести рублей, тоже говоря, что у него петля на шее. Да и я по его милости проигрался.

Я посмеялась, что Некрасов превратился в старую купчиху, которая верит во всякие приметы.

— Знаю, что все это глупо, но я положил себе за правило не давать денег в тот день, когда предстоит мне большая игра, потому что всегда остаюсь в проигрыше! Да и вчера сосчитал, сколько роздано вперед денег по журналу, оказалось около двадцати пяти тысяч.

— Ну, уж еще триста рублей — капля в море! — заметила я.

Некрасов упрямился, но потом сдался и обещал завтра же послать Пиотровскому триста рублей.

На другой день Некрасов встал почти к самому обеду. Когда подавали пирожное, вошел Чернышевский. Он был так бледен, что я шепнула Добролюбову — не случилось ли какого несчастия в семье у Чернышевского. Добролюбов спросил его, что с ним[7].

Чернышевский взволнованным голосом ответил:

— Сейчас только от несчастного Пиотровского, он застрелился!

Все были поражены таким ужасным известием, а Некрасов, страшно изменясь в лице, вскочил с своего места и ушел в кабинет.

Я одна поняла, почему такое удручающее впечатление произвело на него это известие, другие же приписали его волнение нервности.

О самоубийстве Пиотровского сообщил Чернышевскому один из товарищей несчастного, и Чернышевский поспешил к нему на квартиру, но нашел его уже мертвым.

Оказалось, что бедный молодой человек не бог знает как и запутался в долгах; он был должен всего тысячу рублей, но мысль [что ему придется] сидеть в долговом отделении, которым ему грозил один из кредиторов, если он немедленно не уплатит ему по векселю триста рублей, побудила его покончить с жизнью.

Надо же, чтобы обстоятельства сложились таким роковым образом, что Некрасову предстояла вечером большая игра, а на другой день он встал поздно и не успел послать Пиотровскому денег.

Некрасов дал Чернышевскому денег, прося распорядиться похоронами несчастного молодого человека и уплатой всех его долгов.

Три дня Некрасов не выходил из кабинета и был сильно потрясен; он говорил мне:

— Ну могло ли мне прийти в голову, что из-за трехсот рублей человек может застрелиться? Это ужасно! Я охотно дал бы десять тысяч, чтобы избежать такого мучительного состояния, в котором теперь нахожусь...

Добролюбов часто говорил мне о своих семейных делах; на его руках остались сестра и маленький брат[8], воспитание которых очень его заботило, так как они уже подрастали. Раз, придя утром пить чай, он сказал мне:

— У меня до вас большая просьба, да как-то стыдно обращаться с ней к вам, у вас и так много хлопот с хозяйством, но вы, пожалуйста, откровенно скажите мне, если вам невозможно исполнить мою просьбу.

Я просила его, не стесняясь, высказать мне все, что ему нужно.

— Я вчера получил письмо из Нижнего и нахожу, что долее нельзя оставлять там брата Володю, иначе мальчик пропадет.

— Так выписывайте его скорей к себе! — отвечала я.

— А вы поможете мне в заботах о нем?

— Вы займетесь его умственным и нравственным развитием, а моя помощь ограничится гигиеническими заботами.

— А вы думаете, что гигиена не важна при воспитании детей? Я каждую минуту чувствую это на себе. Ведь я нахожу большую перемену в себе с тех пор, как очутился в других гигиенических условиях, о которых вы заботитесь.

— Я нахожу, что мои заботы принесут вам мало пользы, если вы будете продолжать так много работать и так сильно принимать к сердцу всякую мелочь, касающуюся журнала. Вы добровольно запрягли себя чуть ли не в каторжную работу и не даете себе отдыха.

— Иначе нельзя вести журнальное дело, если им добросовестно заниматься.

— Как же другие журналисты находят время и на прогулки, и на театры, и другие развлечения?

— Это люди особенные.

— Благоразумные! — подсказала я.

Добролюбов улыбнулся и проговорил:

— Так я, по-вашему, неблагоразумный человек? Хорошо, я постараюсь сделаться благоразумным; каждый вечер буду уходить из дому.

— Было бы хорошо уж и то, если бы вы хоть раз в неделю давали себе отдых.

Добролюбов очень был доволен приездом маленького брата и до мелочей заботился о нем.

Я иногда удерживала рвение Добролюбова в занятиях с братом [9], потому что мальчик был очень нервный, худенький, да и самому Добролюбову была вредна новая прибавка к занятиям.

«Свисток» в «Современнике» всегда сочинялся после обеда, за кофеем. Тут же импровизировались стихотворения Добролюбовым, Панаевым и Некрасовым; в «Свистке» принимал участие и Курочкин. Мысль ввести «Свисток» принадлежала Добролюбову [10]. Когда из-за «Свистка» в литературе поднялась целая буря на «Современник», я шутя говорила Добролюбову: «Что, освистали вас?»

— А мы еще громче будем свистать; эта руготня только подзадорит нас, как жаворонков в клетке, когда начинают, во время их пения, стучать ножом о тарелку. «Свисток» сделает свое дело, осмеет все пошлое, что печатают бездарные поэты. Серьезно разбирать всю эту глубокомысленную поэтическую пошлость и фальшь не стоит; за что утруждать бедного читателя, а «Свисток» он прочтет легко и еще посмеется.

В 1859 году летом Добролюбов, по совету доктора, уехал на шесть недель в Старую Руссу, но вернулся ранее срока [11]. Я его побранила за это, но он оправдывался тем, что лечение не принесло ему никакой пользы, а между тем в журнале была помещена статья, забыла какая, которая ни под каким видом не должна была быть напечатана, так как резко противоречила духу журнала. При этом он шутил, сказав, что если б не боялся меня, то вернулся бы еще ранее.

— Я бы вас тогда прогнала назад, не впустила бы даже переночевать в квартиру. Вы не можете жить без работы, как пьяница без водки.

— Даю вам слово, что буду умерен в работе, — отвечал он.

Вначале, когда Добролюбов только что поселился у нас, Тургенев обходился с ним свысока.

У Тургенева каждую неделю обедали литераторы.

Раз, придя в редакцию, он сказал Панаеву, Некрасову и находившимся тут некоторым старым знакомым литераторам:

— Господа! не забудьте: я вас всех жду сегодня обедать ко мне, — и затем, поворотив голову к Добролюбову, прибавил: — Приходите и вы, молодой человек.

Тургенев, наверно, услыхал бы громкий смех Добролюбова, если бы он смеялся, как другие. Но он только улыбался.

Тургенев в это время наслаждался вполне своей литературной известностью, держал себя очень величественно с молодыми писателями и вообще со всеми незначительными лицами.

Я посмеялась Добролюбову, что он, должно быть, считает себя сегодня счастливейшим человеком, удостоившись приглашения на обед от главного литературного генерала.

— Еще бы! такая неожиданная честь.

— Что же, пойдете? — спросила я, хотя была уверена, что он не пойдет после такого приглашения.

— К сожалению, у меня нет фрака, а в сюртуке не смею явиться к генералу, — отвечал, улыбаясь, Добролюбов.

Панаев и Некрасов были удивлены, что Добролюбов не хочет ехать вместе с ними на обед к Тургеневу. Они не обратили внимания на тон приглашения.

— Вас же приглашал Тургенев, — сказал ему Некрасов.

— После такого приглашения я никогда не пойду к Тургеневу.

Некрасов с удивлением произнес:

— Да он всех так пригласил.

— Вы все его очень короткие знакомые, а я вовсе нет.

— Это у него такая манера, — заметил Панаев.

Должно быть, Некрасов намекнул Тургеневу, почему Добролюбов не пришел обедать, потому что Тургенев в следующий раз сделал ему любезное приглашение, но это не тронуло Добролюбова, и он все-таки не пошел.

Тургенев заметно стал относиться внимательнее к Добролюбову и начал заводить с ним разговоры, когда встречал его в редакции или обедая у нас, потому что литературная известность Добролюбова быстро росла.

Тургенева заметно коробило, что Добролюбов все-таки не является к нему на обеды, и он однажды сказал Панаеву:

— Привези ты его обедать ко мне, уверь его, что он не застанет у меня общества, в котором никогда не бывал.

Наконец, Тургенев понял, что причина, по которой Добролюбов не является на его обеды, заключается вовсе не в страхе встретиться с аристократическим обществом.

— В нашей молодости, — сказал он Панаеву, — мы рвались хоть посмотреть поближе на литературных авторитетных лиц, приходили в восторг от каждого их слова, а в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов. Вообще сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений, все они точно мертворожденные. Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости — это какие-то нравственные уроды.

— Это нам лишь кажется, что новое поколение литераторов лишено увлечений. Положим, у нас увлечений было больше, но зато у них они дельнее, — возразил Панаев.

— На тебя, кажется, семинарская сфера начинает влиять, — с пренебрежительным сожалением произнес Тургенев. — Господа! — прибавил он, обращаясь к присутствующим в комнате. — Панаев начинает отрекаться от своих традиций, которым с таким неуклонным рвением следовал всю свою жизнь.

— Отчего же не сознаться, если это правда; теперь молодые люди умнее, дельнее и устойчивее в своих убеждениях, нежели были мы в те же лета, — отвечал Панаев.

Тургенев с притворным ужасом, обращаясь к присутствующим, воскликнул:

— Господа! неужели мы дожили до такого печального времени, что увидим нашего элегантного Панаева в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, с сомнительной чистоты воротничком рубашки, без перчаток и в очках!

Добролюбов и Чернышевский всегда носили сюртуки и очки, но, разумеется, никогда не ходили в грязном белье.

— Мое зрение стало слабо, и я должен скоро надеть очки! — отвечал Панаев.

— Ну, нет, — воскликнул Тургенев, — мы все, твои давнишние друзья, не допустим тебя сделаться семинаристом. Мы спасем тебя, несмотря на все старания некоторых личностей обратить тебя в поборника тех нравственных принципов, которых требуют от людей семинарские публицисты-отрицатели, не признающие эстетических потребностей жизни. Им завидно, что их вырастили на постном масле, и вот они с нахальством хотят стереть с лица земли поэзию, изящные искусства, все эстетические наслаждения и водворить свои семинарские грубые принципы. Это, господа, литературные Робеспьеры; тот ведь тоже не задумался ни минуты отрубить голову поэту Шенье.

— Бог с тобой, Тургенев, какие ты выдумал сравнения! — воскликнул Панаев в испуге. — Ты, ради бога, не делай этих сравнений в другом обществе.

— Ты наивен, неужели ты думаешь, что статьи этих семинаристов читают в порядочном обществе?

— Однако тогда бы подписка на «Современник» с каждым годом не увеличивалась!

— По старой памяти ждут от «Современника» прежнего его стремления к развитию в обществе художественных вопросов... Меня удивляет, как Некрасов, с его практичностью, не видит, что семинаристы топят журнал в грязной луже. Впрочем, он теперь слишком занят другим делом. Он добивается быть капиталистом, и несомненно им сделается, так что я буду перед ним бедняком. Ему нипочем теперь бросать тысячи на свои прихоти; а я должен призадумываться в сотне рублей, иначе не сведу дохода с расходом. Не понимаю, прежде это же имение давало вдвое более доходов.

С тех пор как Тургенев получил наследство, он постоянно жаловался, что получает доходов с имения очень мало, и в порыве своих скорбей проговаривался, что терпит много убытка от распущенности мужиков. «Я им не внушаю никакого страха, — говорил он. — Прежде мужик с трепетом шел на барский двор, а теперь лезет смело и разговаривает со мной совершенно запанибрата, да еще с какой-то язвительной улыбочкой смотрит на тебя: знаю, что ты, мол, тряпка. Что убий-

ственно — сам чувствуешь, что он имеет полное право считать меня за тряпку, потому что все с нахальством обманывают и обкрадывают меня...»

Скоро я стала замечать, что Панаев начинает охладевать к своим прежним приятелям. Впрочем, и не мудрено: они уж чересчур бесцеремонно принялись сплетничать на него, рассердившись на то, что Головнин, давно знакомый с Панаевым, сделавшись министром народного просвещения, присылал ему пригласительные записки на свои вечера.

Головнин был первый министр просвещения, которым литераторы могли быть вполне довольны, потому что он делал по возможности все, что мог, для писателей [12].

Привожу одну записку его к Панаеву:

«Сделайте одолжение, почтеннейший Иван Иванович, доставьте мне, если возможно, завтра биографические сведения о г. Островском, а также и о его литературной деятельности, и, сверх того, чин, имя и адрес. Мне нужно обратить внимание государя на его превосходную драму «Козьма Минин» и при этом рассказать все, что могу хорошего об авторе.

Преданный *Головнин*».

Согласно представлению Головнина, Островский получил от государя перстень.

Некоторые литераторы не благоволили к Головнину и отзывались о нем с весьма невыгодной стороны. Панаев горячо защищал Головнина, и потому литераторы стали везде говорить, что он перед ним лакействует. Одним из главных поводов к озлоблению против Головнина послужила следующая записочка, которую от него получил Панаев и показывал своим друзьям. Вот текст этой записочки:

«Почтеннейший Иван Иванович, я весьма желал бы познакомиться с вашим главным сотрудником г. Чернышевским. Уведомьте меня, пожалуйста, можете ли вы пожаловать ко мне с ним завтра, в пятницу, в 8 часов вечера. В таком случае я останусь дома.

Преданный *Головнин*».

Раз, проходя к себе через редакцию, я увидела в передней маленького господина, стоявшего в недоумении, так как лакея не было. Полагая, что он пришел по какому-нибудь делу в редакцию, я спросила его: кого он

желает видеть? — «Дома Иван Иванович?» — спросил он меня. Я пригласила его войти в комнату и в то же время позвонила лакея, и пока последний явился, посетитель снял сам с себя пальто и повесил на вешалку.

Я велела явившемуся лакею проводить посетителя в кабинет Панаева, а сама вернулась в редакцию — сказать Панаеву, что его спрашивает какой-то господин. Панаев что-то рассказывал присутствовавшим и пошел только тогда, когда докончил рассказ, так что посетителю пришлось ждать его довольно долго. Когда посетитель удалился, Панаев страшным образом разбранил лакея и сказал мне: «Пожалуйста, прогони сейчас же Андрея». Меня очень удивило, что Панаев придрался к лакею из такого пустяка, и я поняла раздражение его только тогда, когда он объяснил, что посетитель был — министр Головнин.

Головнин недолго оставался на своем посту [13].

Как вообще некоторые высшие сановники начали в это время смотреть на литературу, может служить доказательством следующее приглашение, полученное Панаевым, через И. А. Гончарова, от попечителя петербургского учебного округа, князя Щербатова:

«Князь Щербатов поручил мне просить вас, любезнейший Иван Иванович, пожаловать к нему в пятницу вечером и жаловать в прочие пятницы. Там, кажется, будут и другие редакторы и литераторы, с которыми со всеми он хочет познакомиться. Только он просит извинить его, что за множеством дел и просителей он не может делать визитов. Вечер же самое удобное время, говорит он, даже когда понадобится объясниться по журнальным делам. Он спрашивал меня, кто теперь есть здесь из наших литераторов (разумеется, порядочных). Я назвал П. В. Анненкова, Григоровича, Толстого; он усердно приглашает и их. О Василии Петровиче Боткине я не упомянул, потому что не знал о приезде его. Помогите склонить их поехать к князю, там они найдут немало наших. А как давно с вами не видались; не увидимся ли во вторник, а не то так в субботу у Языкова?

Ваш *Гончаров.*

Князь считает вас уже за знакомого и ожидает прямо к себе без церемоний».

Характер каждого человека лучше всего узнается в его домашней жизни.

Я всегда изумлялась скромности Чернышевского как семьянина и отсутствию в нем всяких требований для себя комфорта. После продолжительной работы он был всегда весел, точно все время наслаждался легким и приятным занятием. Его кабинет был маленький, и он целый день проводил в нем за работой. Я заставала его иногда за двумя работами. Он спешил выпуском перевода «Истории» Шлоссера и диктовал перевод молодому человеку;[14] пока тот записывал, Чернышевский в промежуток сам писал статью для «Современника» или же читал какую-нибудь книгу. Кроме древних языков, Чернышевский знал еще несколько европейских и притом знал превосходно.

Однажды Добролюбов, по поводу моего замечания о необыкновенной умеренности Чернышевского в обыденной жизни, сказал мне:

— Чернышевский свободен от всяких прихотей в жизни, не так, как мы все, их рабы; но, главное, он и не замечает, как выработал в себе эту свободу...

Обыкновенно люди, способные закалить себя от всяких материальных удобств, требуют, чтобы и другие также отреклись от них, но Чернышевскому и в голову не приходило удивляться, что другие люди до излишества неумеренны в своих прихотях.

Чернышевский очень был близорук, вследствие чего с ним нередко происходили смешные qui pro quo; * например, раз, придя ко мне в комнату, он раскланялся с моей шубой, которая брошена была на стуле и которую он принял за даму; в другой раз возле него на стуле лежала моя муфта, и он нежно гладил ее, воображая, что это кошка, и т. п.

Близорукость мешала Чернышевскому быть наблюдательным; зато Добролюбов обладал наблюдательностью в высшей степени; от него не укрывалось ничто фальшивое в людях, как бы они ни старались замаскировать эту фальшивость. Когда в редакции бывали литературные обеды, всегда многолюдные, то от Добролюбова не ускользала ни одна фраза, ни одно выражение лица присутствующих на обеде.

---

* Недоразумения (*лат.*).

Добролюбов всегда сидел на этих обедах возле меня и беседовал со мной, почти не принимая участия в общем разговоре. Между сотрудниками «Современника» Тургенев был, бесспорно, самый начитанный, но с появлением Чернышевского и Добролюбова он увидел, что эти люди посерьезнее его знакомы с иностранной литературой.

Тургенев сам сказал Некрасову, когда побеседовал с Добролюбовым:

— Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями! и какая чертовская память!

— Я тебе говорил, что у него замечательная голова! — отвечал Некрасов. — Можно подумать, что лучшие профессора руководили его умственным развитием и образованием! Это, брат, русский самородок... утешительный факт, который показывает силу русского ума, несмотря на все неблагоприятные общественные условия жизни. Через десять лет литературной своей деятельности Добролюбов будет иметь такое же значение в русской литературе, как Белинский [15].

Тургенев рассмеялся и воскликнул:

— Я думал, что ты бросил свои смешные пророчества о будущности каждого нового сотрудника в «Современнике»!

— Увидишь, — сказал Некрасов.

— Меня удивляет, — возразил Тургенев, — как ты сам не видишь огромного недостатка в Добролюбове, чтобы можно его сравнить с Белинским! В последнем был священный огонь понимания художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а в Добролюбове всюду сухость и односторонность взгляда! Белинский своими статьями развивал эстетическое чувство, увлекал ко всему возвышенному!.. Я даже намекнул на этот недостаток Добролюбову в моих разговорах с ним и уверен, что он примет это к сведению.

— Ты, Тургенев, забываешь, что теперь не то время, какое было при Белинском. Теперь читателю нужны разъяснения общественных вопросов, да и я положительно не согласен с тобой, что в Добролюбове нет понимания поэзии; если он в своих статьях слишком напирает на нравственную сторону общества, то — сам сознайся — это необходимо, потому что она очень слаба,

шатка даже в нас, представителях ее, а уж о толпе и говорить нечего.

— Ну, оставим этот разговор, — как бы с неудовольствием прервал Тургенев, — скажи-ка мне лучше, сколько у тебя капиталу. Всюду только и говорят, что ты выиграл значительный куш то у одного, то у другого.

— Выиграл-то я изрядный куш, но половину его отыграли у меня... Что-то начинает мне надоедать игра!

— И не смей оставлять ее, пока везет тебе счастье. Подумай, ведь дело идет к старости, а чтобы она была сносна, нужно окружить себя комфортом, а на это надо много денег!

— Да, я развратился; мне теперь, по моим привычкам, много нужно денег.

— Ошибаешься, это не развращение, а доказательство, что в тебе развились потребности к изящному в жизни. Вспомни, как мы с тобой в сороковых годах, бывало, пожирали обеды в пятьдесят копеек, а теперь нас стошнило бы, если б только посмотрели на такой обед. Прежде я, приезжая в деревню к матери, был доволен расположением какой-нибудь Натальи из девичьей, от которой несло русским маслом и опойковыми башмаками. А теперь такая женщина возбудила бы отвращение, если б приблизилась ко мне. Скорее тогда мы имели развращенные понятия, а теперь только явились в нас потребности к изящному.

Когда Тургенев убедился, что Добролюбов не поддается на его любезные приглашения, то оскорбился и начал говорить, что в статьях Добролюбова виден инквизиторский прием: осмеять, загрязнить всякое увлечение, все благородные порывы души писателя, что он возводит на пьедестал материализм, сердечную сухость и с нахальством глумится над поэзиею; что никогда русская литература, до вторжения в нее семинаристов, не потворствовала мальчишкам из желания приобрести этим популярность. Кто любит русскую литературу и дорожит ее достоинством, тот должен употребить все усилия, чтобы избавить ее от этих кутейников-вандалов.

Эти воззвания Тургенева доходили до Добролюбова, но он не обращал на них внимания и удивлялся только одному: к чему об этом передают ему?

— Неужели думают, — говорил он, — что я испугаюсь таких угроз и в угоду Тургеневу изменю свои убеждения. Странные понятия у этих господ!

Мне было странно видеть, что, когда соберутся вместе Чернышевский, Добролюбов, Антонович и Пыпин, то они никого не бранят, и никто из них не интересуется литературными дрязгами и сплетнями.

Через несколько месяцев по приезде маленького брата Добролюбова он выписал и меньшого своего брата Ваню[16].

Кроме забот о сестрах и братьях, Добролюбову пришлось заботиться пристроить на службу также приехавшего к нему дядю[17].

Добролюбов с детства не видал его, потому что оба они жили в разных городах.

Надо было удивляться, когда Добролюбов успевал перечитать все русские и иностранные газеты, журналы, все выходящие новые книги, массы рукописей, которые тогда присылались и приносились в редакцию. Авторам не нужно было по нескольку раз являться в редакцию, чтобы узнать об участи своей рукописи. Добролюбов всегда прочитывал рукопись к тому дню, который назначал автору.

Много времени терялось у Добролюбова на беседы с новичками-писателями, желавшими узнать его мнение о недостатках своих первых опытов. Если Добролюбов видел какие-нибудь литературные способности в молодом авторе, то охотно давал советы и поощрял к дальнейшим работам. Немало труда и времени нужно было употреблять также на исправление некоторых рукописей. Наконец, приходилось беспрестанно отрываться от дела и для объяснений с авторами. Таким образом, Добролюбов мог приниматься за писание своих статей только вечером и часто засиживался за работой до четырех часов утра. Изредка он для отдыха приходил на нашу половину к вечернему чаю и был доволен, если его братья, беседуя с ним, высказывали умно и толково свои мнения о прочитанной книге, которую он давал им. Добролюбов говорил мне:

— Мальчики не глупые, только надо позаботиться дать им прочное образование, развить в них честное направление, и это моя обязанность, а между тем я плохо выполняю ее.

Я успокаивала его, уверяя, что теперь для мальчиков еще не так важна его забота о них, а когда они подрастут, тогда и его жизнь не будет такая лихорадочная, и он может руководить сам их воспитанием[18].

По утрам Добролюбов беседовал с Некрасовым относительно состава книжек «Современника» и вообще о статьях, предназначавшихся для напечатания в журнале.

Он очень заботился, чтобы ни одна фраза не противоречила направлению журнала, и волновался, если авторы статей выражали свои мысли слишком многословно. Особенным многословием отличался литератор Ш.[19].

Однажды Добролюбов настаивал на необходимости выкинуть из его статьи три страницы.

— За что же, — говорил Добролюбов, — заставлять читателя терять время на ненужную болтовню автора, разводящего на трех страницах мысль, которую можно выразить двумя фразами; да и добро бы, если бы эта мысль была нова, а то самая избитая.

— Не стоит поднимать возню! — заметил Некрасов, — потом объясняйся с Ш.

— Я беру на себя эти объяснения.

— Это не избавит и меня от них. И так на «Современник» все точат зубы! Обрадуются, что у редакции выйдет неприятность с Ш., и пойдут разные толки.

— Редакция обязана дорожить мнением читателя, а не литературными сплетнями, — отвечал Добролюбов. — Если бояться всех сплетен и подлаживаться ко всем требованиям литераторов, то лучше вовсе не издавать журнала; достаточно и того, что редакции нужно сообразоваться с цензурой. Пусть господа литераторы сплетничают, что хотят, неужели можно обращать на это внимание и жертвовать своими убеждениями. Рано или поздно правда разоблачится, и клевета, распущенная из мелочного самолюбия, заклеймит презрением самих же клеветников.

Добролюбов говорил это, очевидно, по поводу распространяемых слухов, будто бы он и Чернышевский являются всюду на сборища молодежи и льстят ей до самоунижения, добиваясь популярности, так как сознают, что их бездарные статьи не могут иметь никакого значения в публике, и они подзадоривают мальчишек, чтобы те кричали об их статьях.

Я, как очевидица образа жизни Добролюбова, могу удостоверить, что он только по утрам видел молодых людей, которые являлись в редакцию с рукописями, и не

бывал ни на каких сборищах. Очень часто по вечерам я уговаривала его бросить работу и пойти провести время у кого-нибудь из его семейных знакомых; но он постоянно отговаривался тем, что ему надо торопиться окончить чтение рукописи или дописать статью. Добролюбов не любил даже разговаривать, когда в редакции собиралось много народу.

Чернышевский также не был способен заискивать популярности, и если к нему ходили молодые люди, то лишь с просьбами о работе. Правда, что в течение одной зимы у жены Чернышевского собиралось по субботам много студентов, но — для танцев. Чернышевский под шум веселого говора танцующих и звуки фортепьян работал у себя в кабинете.

Когда Добролюбов писал свои статьи и ему приходилось делать ссылки на книги, журналы и газеты, он не нуждался в справках: благодаря своей удивительной памяти он отлично помнил, где и что было напечатано.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Разрыв Тургенева с «Современником». — Огаревское дело. — Болезнь и смерть Добролюбова.

Теперь расскажу — каким образом произошел разрыв между Тургеневым и «Современником».

Добролюбов написал статью о повести Тургенева «Накануне», и она была послана к цензору Бекетову. Все читавшие эту статью находили, что Добролюбов хвалил автора и отдавал должное его таланту. Да иначе и быть не могло. Добролюбов настолько был честен, что никогда не позволял себе примешивать к своим отзывам о чьих-либо литературных произведениях своих личных симпатий и антипатий.

Некрасов пришел ко мне очень встревоженный и сказал:

— Ну, Добролюбов, заварил кашу! Тургенев страшно оскорбился его статьею... и как это я сделал такой промах, что не отговорил Добролюбова от намерения написать статью о новой повести Тургенева для нынешней книжки «Современника»! Тургенев сейчас прислал ко мне Колбасина[1] с просьбой выбросить из статьи все начало. Я еще не успел ее прочитать. По словам Тургенева, переданным мне Колбасиным, Добролюбов будто бы глумится над его литературным авторитетом, и вся

статья переполнена какими-то недобросовестными, ехидными намеками.

Некрасов говорил все это недоумевающим тоном. Да и точно, нелепо было допустить, чтобы Добролюбов мог написать недобросовестную статью о таком талантливом писателе, как Тургенев.

Я удивилась, — каким образом могли попасть в руки Тургенева корректурные листы статьи Добролюбова? Оказалось, что цензор Бекетов сам отвез их Тургеневу из желания услужить[2]. Я стала порицать поступок цензора, но Некрасов нетерпеливо сказал:

— Дело идет не о цензоре, а о требовании Тургенева выкинуть все начало статьи... нельзя же ссориться с ним!

— А вы находите, что с Добролюбовым можно? — спросила я. — Он, наверно, не захочет признать за Тургеневым цензорские права над своими статьями.

— Добролюбов настолько умен, что поймет всю невыгоду для журнала потерять такого сотрудника, как Тургенев! — ответил мне Некрасов.

— Да и Тургенев настолько же умен, чтобы, заявляя свои требования, не знать заранее, что Добролюбов им не подчинится.

Некрасов, стараясь объяснить себе поступок Тургенева, сказал:

— Не отзывался ли Добролюбов в каком-нибудь обществе нехорошо о Тургеневе? Может быть, это дошло до него, и вот он с предвзятой мыслью прочел статью, вспылил и сгоряча прислал подвернувшегося под руку Колбасина ко мне.

Предположение Некрасова не имело основания: Добролюбов в обществе никогда не касался личностей литераторов, да и бывал вообще в обществе таких людей, которые не занимались пересудами и сплетнями. Я подивилась — почему Тургенев не сам приехал объясниться с Некрасовым, с которым находился столько лет в самых коротких приятельских отношениях, а прибегнул к посреднику?

— Ну, что толковать о пустяках! — ответил Некрасов. — Важно то, чтобы поскорей успокоить Тургенева. Он потом сам увидит, что погорячился.

Некрасов отправился объясняться к Добролюбову. Через час Добролюбов пришел ко мне, и я услышала в его голосе раздражение.

— Знаете ли, что проделал цензор с моей статьей? — сказал он.

Я ему отвечала, что все знаю. Тогда Добролюбов продолжал:

— Отличился Тургенев! по-генеральски ведет себя... Удивил меня также и Некрасов, вообразив, что я способен на лакейскую угодливость. Ввиду нелепых обвинений на мою статью, я теперь ни одной фразы не выкину из нее.

Добролюбов прибавил, что сейчас едет объясняться к цензору Бекетову. Я заметила, что не стоит тратить время на подобное объяснение.

— Как не стоит! — возразил Добролюбов. — Если у человека не хватает смысла понять самому, что нельзя дозволять себе такое бесцеремонное обращение с статьями, которые он обязан цензуровать, а не развозить для прочтения, кому ему вздумается...

Цензор Бекетов преклонялся перед авторитетом Тургенева и воображал, что и тот питает к нему большое уважение за его цензорскую храбрость. Бекетов всегда торжественно объявлял: «Я, господа, опять получил выговор от начальства — это третий в один месяц!», и Бекетов с гордостью обводил глазами всех. Тургенев потешался над Бекетовым, расхваливая его храбрость, и говорил ему, что он единственный просвещенный цензор в России! Простодушный Бекетов умилялся и растроганным голосом благодарил литераторов за то, что они ценят его деятельность, и распространялся о своих либеральных подвигах.

Когда Бекетов уходил, то Тургенев покатывался со смеху и восклицал:

— Вот хвастливый гусь! Я думаю, у самого от каждого выговора под жилками трясется, а он кричит о своей храбрости!

Некрасов, давший знать Тургеневу, что сам будет у него, поехал к нему, но не застал его дома и намеревался перед клубным обедом опять заехать к нему, объясняя себе отсутствие Тургенева какой-нибудь случайностью.

В этот вечер Некрасов вернулся из клуба около двух часов ночи и вошел в нашу столовую; он был мрачен и, подавая мне записку, сказал:

— Мне не удалось опять застать дома Тургенева, я оставил ему письмо[3] и вот какой получил ответ — прочитайте-ка.

Ответ Тургенева состоял из одной фразы: «Выбирай: я или Добролюбов»[4].

Некрасов был сильно озадачен этим ультиматумом и, ходя по комнате, говорил:

— Я внимательно прочел статью Добролюбова и положительно не нашел в ней ничего, чем мог бы оскорбиться Тургенев. Я это написал ему, а он вот какой ответ мне прислал!.. Какая черная кошка пробежала между нами? Остается одно: вовсе не печатать этой статьи. Добролюбов очень дорожит журнальным делом и не захочет, чтобы из-за его статьи у Тургенева произошел разрыв с «Современником». Это повредит журналу, да и прибавит Добролюбову врагов, которых у него и так много; в литературе обрадуются случаю, поднимут гвалт, на него посыплются разные сплетни, так что гораздо благоразумнее избежать всего этого... Я в таком состоянии, что не могу идти к нему объясняться, лучше вы передайте, какой серьезный оборот приняло дело.

Я отправилась к Добролюбову; он удивился моему позднему приходу. Я придала шутливый тон своему поручению и сказала:

— Я явилась к вам как парламентер.

— Догадываюсь — предлагают сдаться? — с усмешкою спросил он.

— Рассчитывают на ваше благоразумие, которое устранит важную потерю для журнала; Некрасов получил записку от Тургенева...

— Вероятно, Тургенев грозит, что не будет более сотрудником в «Современнике», если напечатают мою статью, — перебил меня Добролюбов. — Непонятно мне, для чего понадобилось Тургеневу придираться к моей статье! Он мог бы прямо заявить Некрасову, что не желает сотрудничать вместе со мной. Каждый свободен в своих симпатиях и антипатиях к людям!.. Я выведу Некрасова из затруднительного положения; я сам не желаю быть сотрудником в журнале, если мне нужно подлаживаться к авторам, о произведениях которых я пишу.

Добролюбов не дал мне возразить и добавил:

— Нет, уж если вы взялись за роль парламентера, так выполните ее по всем правилам и передайте мой ответ Некрасову.

Идя от Добролюбова, я встретила в передней Панаева, только что вернувшегося домой, и передала ему ответ Добролюбова.

— О чем хлопочет Некрасов? — сказал Панаев. — Никакого соглашения не может быть с Тургеневым. Я был в театре, и там мне говорили, как о деле решенном, что Тургенев не хочет более иметь дела с «Современником», потому что редакторы дозволяют писать на него ругательные статьи... Анненков накинулся на меня с пеной у рта, упрекая в черной неблагодарности и уверяя, что единственно одному Тургеневу мы обязаны успехом журнала; что мы осрамили себя, дозволив нахальному и ехидному мальчишке писать ругательства о таком великом писателе, как Тургенев! Я не мог уйти от него, потому что в проходе была толпа, а Анненков воспользовался этим и нарочно громко говорил, чтобы все его слышали... Я только тем заставил его замолчать, когда сказал ему, что он, верно, за обедом выпил много шампанского, что так кричит в публике.

Я сообщила Некрасову ответ Добролюбова.

— Ну, вот, недоставало этого! — с досадою воскликнул Некрасов.

В эту минуту вошел Панаев и передал Некрасову выходку Анненкова в театре. Некрасов выслушал его молча и, тяжко вздохнув, произнес:

— Ну, тут ничего не поделаешь! Значит, постарались науськать Тургенева на Добролюбова! — И, обратясь ко мне, он продолжал: — Скажите Добролюбову, чтобы он не сердился на меня, если я его обидел чем-нибудь. Очень я расстроен! Лучше завтра утром поговорим; нам обоим надо успокоиться.

Когда я рассказала Добролюбову о разговоре Анненкова с Панаевым, Добролюбов пожал плечами и заметил:

— Напрасно они думают, что стóит только им произнести свой приговор над человеком, что он дурак и недобросовестный, то им бесконтрольно все поверят!.. Удивляюсь, как мало у этих людей чувства собственного достоинства!..

Я долго еще разговаривала с Панаевым о выходке Тургенева, которая явно клонилась к тому, чтобы лишить Добролюбова возможности сотрудничать в «Современнике». Панаев тогда уже убедился, что был обязан именно своим близким приятелям тем, что о нем постоянно ходили всякого рода сплетни в литературной среде. В первую минуту огорчения Панаев говорил мне: [5]

— За что они так всегда преследовали меня? Что я им сделал дурного? Если я такой дрянной человек, то как же они могли столько лет находиться со мной в таких коротких приятельских отношениях? Как хватало у них духу, после того как они распускали всякие сплетни на меня, жать мне руку и садиться за мой стол? Как у них язык ворочался уверять меня в своей дружбе? Мне так тяжело и такая мучительная тоска давит меня, что я места не нахожу.

Панаев до ослепления был привязан ко всем своим старым друзьям, и на него сильно подействовала их лицемерная дружба. Он сделался скучен и молчалив и по возможности избегал их общества. Это заметили его мнимые друзья и приставали к нему с расспросами: «Что с тобой? Мы думали, что наш Панаев вечно будет юн, а он сделался неузнаваем. Мы, все твои друзья, так тебя любим, что такая перемена в тебе нас огорчает».

Панаев конфузился и говорил мне:

— Хоть бы оставили меня в покое с своим участьем: еще тяжелее мне делается от этого!

Не знаю, какой разговор происходил на другое утро у Некрасова с Добролюбовым, но, придя от него, Некрасов сказал мне:

— Добролюбов — это такая светлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоким уважением. Этот человек не то, что мы: он так строго сам следит за собой, что мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены. Мне больно и обидно, что Тургенев составил себе такое превратное понятие о человеке такой редкой честности. Но, бог даст, все недоразумения выяснятся, и Тургенев устыдится, что по слабости своего характера поддался влиянию завистливых сплетников, которых, к несчастью, слишком много развелось в литературе.

Некрасов был убежден, что, несмотря на разрыв Тургенева с «Современником», это не повлияет на их давнишнюю дружбу [6]. Он имел право так думать, потому что когда прежде у Тургенева выходили истории с некоторыми литераторами из-за его нелестных отзывов о них на стороне, Тургенев говорил тогда Некрасову:

— Вот между нами подобных историй не может произойти, потому что мы оба не поверим никаким сплетням. Сколько раз пробовали нас поссорить, наушничая, что я будто бы о тебе дурно отзывался, однако ты не

поверил же? Мне кажется, если бы ты вдруг сделался ярым крепостником, то и тогда бы наша дружба не могла пострадать. Я бы снисходительно относился к перемене твоих убеждений. Мы, брат, с тобой теперь так крепко связаны, что ничто не может нас разлучить.

Некрасов был привязан к Тургеневу и твердо убежден в его взаимной привязанности к нему. Некрасов понимал, что для журнала Добролюбов необходим. Тургенев в последнее время почти ничего не делал для «Современника». Принявшись за повесть «Накануне», он уверял, что пишет ее для «Современника», а между тем отдал эту повесть в другой журнал, оправдываясь тем, что к нему пристали с ножом к горлу, требуя исполнения честного слова, данного давно редактору, и чуть не силою взяли у него рукопись[7]. Он утешал Некрасова, уверяя, что у него уже обдумана новая повесть для «Современника» и он скоро ее напишет.

Некрасов говорил: «Я сам виноват, зная, как Тургенев теряется, когда на него накинутся нахрапом; мне надо было поступить так же, а я имел глупость этого не сделать... взял бы у него начало повести, и она была бы напечатана в «Современнике».

Разрыв Тургенева с «Современником» произвел такое же смятение в литературном мире, как если бы случилось землетрясение. Приближенные Тургенева, которыми он себя всегда окружал, как глашатаи, оповещали всюду о разрыве и цитировали чуть ли не целые страницы ругательств на Тургенева, будто бы заключавшихся в статье Добролюбова. Одним словом, Добролюбов выставлялся Змеем Горынычем, а Тургенев богатырем Добрыней Никитичем, который спас литературу от чудовища, пожиравшего всех как прежних, так и современных авторитетных писателей.

Когда вышла книжка «Современника» со статьею Добролюбова о «Накануне», то в оправдание себя друзья Тургенева стали кричать, что Некрасов струсил и заставил Добролюбова написать другую статью. Цензор Бекетов выказал настолько храбрости, что опровергал этот слух, но его одинокий голос был заглушен криками, что Некрасов подкупил цензора, чтобы он выгораживал его[8].

Когда увидели, что предсказания не исполнились, и «Современник» с уходом из него Тургенева не только не

погибает, а напротив, подписка на него значительно увеличивается, тогда преследования Добролюбова перешли все границы: стали распространять слухи, что в «Современнике» свили себе гнездо разрушители всех нравственных основ общественной жизни, что они желают уничтожить все эстетические элементы в обществе и водворить один грубый материализм; а под видом женского вопроса проповедуют мормонство. В это же время появилась в «Колоколе» нелепая статья о Добролюбове, в которой он был выставлен как самая скверная личность [9].

Надо заметить, что «Колокол» уже терял свой престиж, потому что сведения, получаемые им из России, начали иссякать и были в большинстве неверны и нелепы; притом же русской печати дозволено было говорить о многих общественных вопросах, так что лондонская газета уже не представляла прежнего интереса [10].

Нетрудно было догадаться, кем была доставлена статья в лондонскую газету [11]. Один из сотрудников «Современника» нарочно поехал в Лондон, чтобы поговорить с редактором об этой статье. Поездка его продолжалась недолго. Никто не подозревал об его отсутствии, и только четыре лица в редакции знали об этой поездке [12].

Вскоре после разрыва Тургенева с «Современником» Панаев встретил во французском театре генерала Тимашева, занимавшего видный и влиятельный пост [13]. Генерал поманил его к себе и укоризненно сказал:

— Ай, ай! Как это вы могли поссориться с вашим давнишним приятелем и таким бескорыстным сотрудником, как Тургенев *.

Панаев отвечал, что с Тургеневым не было ссоры, а что он сам не захотел более сотрудничать в «Современнике».

— Я понимаю, — сказал генерал, — что он не мог оставаться сотрудником в журнале, в котором вы даете место темным личностям.

— Каким темным личностям? — спросил Панаев.

— Вы человек доверчивый, и вас легко эксплуатировать. По старому знакомству, я даю вам совет — очи-

* Тургенев по-прежнему продолжал говорить в аристократических салонах, что дает свои повести в журнал даром. *(Прим. автора.)*

стить свой журнал от таких сотрудников, как Добролюбов и Чернышевский, и всей их шайки.

Панаев начал защищать Добролюбова и Чернышевского, на это генерал ему сказал:

— Ваш милейший бывший приятель хорошо познакомил меня с этими ужасными личностями.

— Странно, почему же Тургенев вдруг нашел их ужасными личностями, когда прежде постоянно встречался с ними и приглашал их к себе?

— Пока не узнал их хорошо!.. Впрочем, я должен предупредить вас, что вы видите в моем лице самого горячего защитника Тургенева.

Некрасов тогда не поверил словам генерала Тимашева, и полагал, что до него дошли слухи, распространяемые недоброжелателями «Современника», а он свалил это на Тургенева. Некрасов был уверен, что, как только Тургенев узнает, какую взводят на него клевету, то возмутится и докажет, что не способен на такую низость. Но Некрасов жестоко ошибся.

Тургенев был постоянно окружен множеством литературных приживальщиков и умел очень ловко вербовать себе поклонников, которые преклонялись перед его мнениями, восхищались каждым его словом, видели в нем образец всяких добродетелей и всюду усердно его рекламировали. После разрыва Тургенева с «Современником» эти приживальщики с каким-то азартом принялись распускать всевозможные клеветы и сплетни насчет Некрасова, Панаева, Добролюбова и других главных сотрудников «Современника». Так, между прочим, редакция «Современника» была извещена, что Тургенев уезжает за границу, для того чтобы на свободе писать повесть, под заглавием «Нигелист», героем которой будет Добролюбов[14], а вскоре после отъезда Тургенева за границу в литературных кружках появились слухи о письме Огарева к Кавелину, в котором Некрасов обвинялся в том, что проиграл тридцать тысяч денег, принадлежавших умершей жене Огарева. Никому не казалось странным, почему Огарев так долго молчал об этом; его жена умерла в начале пятидесятых годов, а он только теперь вдруг, ни с того ни с сего, нашел нужным огласить поступок Некрасова.

Карточные дела Некрасова мне были мало известны; но это обвинение я смело могу опровергнуть, потому что я и Грановский очень хорошо знали денежные средства

умершей Огаревой. Я вкратце изложу дело, из которого будет видно, имел ли Огарев какие-нибудь данные взвести столь тяжкое обвинение на Некрасова [15].

В 1849 году Огарева, с которой я близко сошлась во время моего пребывания за границей, прислала мне доверенность для взыскания с ее мужа по векселю 100 тысяч рублей. Этот вексель муж выдал ей в первый год ее замужества, лет девять или десять тому назад [16]. Уже два года, как Огаревы жили врозь. Я не хотела брать эту доверенность, но литературные друзья Огарева убеждали меня не отказываться, говоря, что если доверенность попадет в руки какого-нибудь ходока по делам, то тот немедленно подаст ко взысканию вексель и наложит запрещение на недвижимое имущество Огарева, который, кроме скандала, мог через это понести большое расстройство в своих денежных делах. Хотя у Огарева было около четырех тысяч душ крестьян в разных губерниях, но он так был безалаберен, что наделал уже долгов. Огарев нарочно сам приехал в Петербург, чтобы упросить меня взять доверенность; он, при свидетелях, сидевших в кабинете у Панаева, дал честное слово, что уплатит по векселю. Этими свидетелями были: Тургенев, Анненков, В. П. Боткин. Я отвечала, что не возьму доверенности до тех пор, пока не получу от Огаревой согласия на миролюбивое окончание ее расчетов с мужем. Огарева дала согласие, и тогда я передала вексель Грановскому, предоставив ему иметь дело с Огаревым, находившимся в Москве, и была совершенно спокойна, так как все уверяли, что я не буду иметь никаких хлопот. Упомянутые мною свидетели не могли не знать, что у Огаревой не было никаких капиталов, потому что при них я упрашивала ее мужа послать ей хотя сколько-нибудь денег за границу, так как она сидит без гроша.

Вследствие неприятностей, возникших между одним московским семейством и Огаревым, он должен был поспешно уехать из Москвы за границу [17], дав Грановскому честное слово, что его поверенный, общий их приятель, уплатит по векселю, так как он поручил ему продать все его деревни, потому что не хотел более возвращаться в Россию. Распродажа имений Огарева произошла втихомолку и очень поспешно: боялись, чтобы не узнали о его намерении эмигрировать и не конфисковали бы его имений. Грановский, видя, что имения распродаются, а по векселю поверенный Огарева не уплачивает,

дал мне знать, что необходимо прислать скорей в Москву поверенного, который предъявил бы иск судебным порядком [18].

Пока Огарева прислала новую доверенность поверенному на предъявление иска, пока он хлопотал судебным порядком о наложении запрещения на имения Огарева, все уже было распродано, за исключением одной небольшой деревни, оцененной в тридцать тысяч, которая и досталась Огаревой.

Об этом все приятели Грановского, а также Панаева и Некрасова, знали; следовательно, Огарева не получала от мужа никаких денег в уплату по векселю.

Огарева поручила своему поверенному продать доставшуюся ей деревню, и она была продана в кредит покупщику, который выдал два заемные письма сроком на два года. Но Огарева вскоре умерла, а ее наследники, брат и муж, вместо того, чтобы обратиться к покупщику, предъявили иск ко мне и не хотели принять заемных писем, которые хранились у меня, а требовали деревню [19].

Я не буду описывать всех притеснений, которые мне делал их поверенный, принимавший наследство. В конце концов он сделал начет в восемь тысяч за полтора года владения деревней покупщиком, и мне пришлось уплатить эти деньги, чтобы скорей развязаться с столь неприятным делом [20].

Из сказанного мною, кажется, ясно, что и после смерти у Огаревой не осталось никаких денег, которые мог бы проиграть Некрасов.

Я узнала о письме Огарева от Добролюбова; он не был со мной согласен, что Некрасову следовало доказать имевшимися у нас документами, что обвинение Огарева ложно.

— Не доводить же дело до третейского суда! — сказал Добролюбов. — Ясно, что Некрасову мстят за меня его прежние приятели. Все это печальные факты, показывающие, до какого нравственного развращения могут доходить люди. Неужели они не думают, что настанет время, когда в литературе укажут, как на небывалый пример, что в настоящую эпоху некоторые литераторы из личных своих целей и озлобления позорили себя клеветой... Без ужаса нельзя подумать, что если в литературе увеличится число подобных личностей, то они неизбежно подорвут уважение и доверие к печати в обще-

ственном мнении, тогда как каждый представитель ее обязан заботиться о том, чтобы своей безупречною жизнью приобрести право печатно высказывать свои взгляды на недостатки общества.

Некрасова ужасно потрясло письмо Огарева и еще более то, что бывшие его приятели — литераторы старались распространять слухи об этом письме.

— Я вижу, — говорил он, — что на меня устроена просто облава, затравить меня хотят. Не могу похвастаться, чтобы сочувственно относились к моим стихам в литературе, но уж лично ко мне они выказали бесчеловечное отношение. Право, люди неразвитые, в обществе которых я теперь провожу время, гораздо честнее и гуманнее. Никто из них не дозволяет себе таких клевет. Неразвитым людям еще простительно, если они неразборчивы в поступках относительно своих личных врагов. Не раз вспомянешь Белинского; при нем не позволили бы себе литераторы так изводить клеветой кого-нибудь из личной мести. Очевидно, нам, как мальчишкам с дурными наклонностями, нужен строгий наставник, которого мы боялись бы. Скорей бы сменили нас в литературе люди с более честными нравственными принципами, а мы, кроме дурного влияния, ничего не приносим. Я чистосердечно сознаюсь, что своим образом жизни не могу служить хорошим примером, зато и не считаю себя безупречным рыцарем и не преследую других за их слабости. Мне только и остается одно утешение, что я в своей жизни не был завистником чужого таланта; напротив, радовался появлению его в литературе[21].

Панаев написал Огареву письмо и просил меня никому об этом не говорить. Один знакомый Панаева ехал за границу, и он поручил ему отвезти его письмо в Лондон.

Панаев в своем письме стыдил Огарева и, между прочим, писал:

«Ты не дал даже себе труда подумать, откуда могли быть у твоей умершей жены 30 тысяч. Тебе следовало прежде проверить слова той личности, которая явилась к тебе с подобным сведением. Что Некрасов ведет большую игру, это верно, но это еще далеко от того, чтобы подозревать его в таком грязном поступке. Да и не нам с тобою быть судьями чужих слабостей, оглянемся лучше на наше прошлое и спросим самих себя — имеем ли мы право презирать людей за их бесхарактерность и

дурные увлечения. Если строго судить, то мы должны сознаться во многих наших некрасивых поступках, и гораздо будет лучше, если мы не будем претендовать на роль строгих и карающих судей. Вы второй раз делаетесь сообщниками людей, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы опозорить личность другого человека из личной своей мести и зависти к его таланту. Не будьте так легковерны к словам литераторов, которые являются к вам из Петербурга с подобными сведениями о своих собратах. Вы живете слишком далеко от русской литературы и не следите за ней, судя по статье о Добролюбове, напечатанной в вашей газете; добросовестнее будет с вашей стороны не произносить ваших приговоров русским литераторам»[22].

Получил ли ответ на свое письмо Панаев — не знаю, но только с тех пор в лондонской русской газете более не было никаких статей о Добролюбове и изобличительных писем о Некрасове[23]. Я, так же как и Панаев, не сомневалась в личности, которая подбила Огарева написать столь обидное и несправедливое письмо о Некрасове[24].

Между тем здоровье Добролюбова заметно расстраивалось. Когда по утрам он приходил ко мне пить чай, в его лице не было кровинки; он страдал бессонницей, отсутствием аппетита и чувствовал сильную слабость. Доктор дал ему совет ехать за границу и отдохнуть от всяких занятий. Добролюбов в первую минуту говорил мне:

— Меня удивляет, как самый умный доктор дает подобный совет пациенту, зная хорошо, что ему невозможно этот совет выполнить.

— Вы должны ехать за границу, — заметила я.

— Уж вам-то не следовало этого говорить: вы знаете, что я только что развязался с долгом, который сделал мой покойный отец, построив себе дом в Нижнем[25]. Знаете также, что доход с него так мал, что его не хватает на содержание моих сестер и на воспитание моих младших братьев; значит, моя обязанность заботиться о них; а я буду отдыхать целый год и тратить деньги на свое путешествие?!

— Вы не должны ни о чем другом заботиться, как только о своем здоровье.

— В том-то и дело, что не напрасно ли я потрачу время и деньги. А вдруг и со мной окажется такая же штука, как с Некрасовым, — доктора также ошибаются в моей болезни? Может быть, у меня более серьезная болезнь и одним отдыхом не поправить здоровья...

— Поезжайте к более авторитетному доктору, ну, к двум, трем!

— Кажется, Некрасов перебывал у всех европейских медицинских светил, однако и они ошиблись в его болезни.

— Я вижу, что вам не хочется ехать за границу, вы придумываете разные отговорки, — сказала я.

— Я охотно проехался бы по Европе, если бы это не было сопряжено с такими денежными затруднениями для меня.

— Догадываюсь, что вы не можете расстаться с журналом, а именно от него-то вам и надо бежать за тридевять земель

— Ну, теперь мне поздно расставаться с журнальной деятельностью; она необходима для моего существования, как рыбе вода.

— Для рыбы нужна чистая вода, а не зараженная гнилью. Сознайтесь, что в течение дня вы несколько раз взволнуетесь от разных неприятностей. Одни сплетни сколько перепортят у вас крови!

— А все-таки для меня немыслимо существовать без журнальной деятельности. Если бы мне сказали, что я могу дожить до глубокой старости, но с условием бросить журнал, я, не колеблясь, предпочел бы лучше прожить только до тридцати лет, но не бросать свою журнальную деятельность.

Все близкие к Добролюбову люди настаивали, чтобы он скорей ехал за границу, да и он сам, наконец, понял, что ему необходимо восстановить свои силы.

Накануне своего отъезда [26] Добролюбов долго сидел у меня и говорил о своих семейных делах. Несмотря на свою молодость, он был очень заботлив о своих сестрах и братьях.

В половине лета я также поехала за границу, — на морские купанья во Францию, и написала Добролюбову, находившемуся в Италии, что отдала его братьев [27] учителю, чтобы он их подготовил к вступительному экзамену в гимназию, и что вместо меня о них будет заботиться одна наша общая знакомая дама, которая уже несколько

лет занимается педагогиею и лучше меня умеет воспитывать детей. Добролюбов отвечал мне, что одобряет мое распоряжение.

Окончив морские купанья, я приехала в Париж и, по совету докторов, решилась остаться на зиму за границей. Вдруг я получаю от Панаева письмо, в котором он извещает меня, что Добролюбов неожиданно вернулся из-за границы[28]. Панаев писал, что на его глаза Добролюбов нисколько не поправился, а даже скорее похудел. Меня очень рассердило, что Добролюбов вернулся к осени в Петербург, тогда как доктор строго запретил ему это делать. Вслед за письмом Панаева я получила и от Добролюбова письмо, в котором он писал, что возвратился в Петербург, потому что для его здоровья было совершенно бесполезно долее оставаться за границей, а между тем ему сделалась невыносима его праздная жизнь. «Теперь не время думать о своем здоровье и сидеть сложа руки за границей, — писал он, — когда столько есть дела в Петербурге. Признаюсь вам, меня огорчило ваше намерение остаться на зиму за границей; я рассчитывал, что скоро вас увижу. Но я не такой закоренелый эгоист, и порадуюсь, если вам покойнее будет жить подальше от Петербурга, где точно для вас слишком много разных волнений, которые так вредно отзываются на вашу печень. Вернитесь к нам совершенно излечившейся от вашей болезни. Примитесь-ка за работу; вас не будут отрывать от нее, как это обыкновенно случалось с вами в Петербурге. Как напишете повесть, то сейчас пришлите»[29].

Кроме того, Добролюбов описывал в этом письме, как он устроился на новой квартире, уведомлял, что взял к себе своих братьев от учителя и что его дядя поселился у него; затем строил планы — как на следующее лето будет жить с нами на даче.

В половине сентября я получила от Панаева письмо, которое меня очень встревожило и огорчило. Добролюбов простудился и расхворался; доктор нашел, что у него очень серьезная болезнь в почках. Я начала подумывать о возвращении в Петербург, для того чтобы, если Добролюбову не будет лучше, по возможности удалить от него заботы о братьях и вообще доставить больному более удобств при его холостой обстановке. Вдруг получаю коротенькое письмо от Добролюбова:

«Если вам возможно, то вернитесь поскорей в Петербург, ваше присутствие для меня необходимо. Я никуда не гожусь! Меня раздражает всякая мелочь в моей домашней обстановке. Вы можете видеть, насколько я болен, если придаю значение пустякам. Я убежден, что если вы приедете, то мне легче будет перенести болезнь. Я не буду распространяться о моей благодарности, если вы принесете для меня эту жертву. Ответьте мне немедленно, можете ли вы приехать?»

Я телеграфировала Добролюбову, что скоро приеду [30].

Заграничный поезд прибыл в Петербург поздно вечером. Панаев встретил меня и на мой вопрос о Добролюбове сказал, что он уже три дня не выходит из дому вследствие лихорадки. Я решила навестить его завтра утром, как вдруг он сам явился неожиданно. Мне трудно было скрыть от него тяжелое впечатление, которое он произвел на меня своим болезненным видом. Я, конечно, побранила его за то, что он пришел так поздно и притом в дождь, тогда как доктор запретил ему выходить

— Я предчувствовал, что вы меня встретите выговором, — шутливо сказал Добролюбов. — Извольте, я два дня лишних пролежу дома за сегодняшний вечер.

Он был в хорошем расположении духа и просидел у меня до часу. Я заметила, что у него сделался сильный жар, и уговорила его переночевать на половине Некрасова.

Добролюбов спросил меня — очень ли он изменился. Я сочла за лучшее сказать ему правду.

— Вот, вы понимаете, как смешно больному человеку врать, что будто он пышет здоровьем. А я был прав, когда говорил перед отъездом за границу, что доктор ошибается — будто у меня нет никакой другой болезни, кроме утомления от усиленных занятий.

— Не надо вам было возвращаться осенью в Петербург. Простудились!..

Добролюбов горько усмехнулся и произнес:

— Простуда! ну, да об этом теперь нечего говорить, спохватились лечить меня от моей болезни тогда, когда дали ей время развиться.

На другое утро он по-прежнему пришел ко мне пить чай и уверял меня, что отлично спал и чувствует себя бодрым.

— Вот, видите ли, — говорил он, — никаких дурных последствий не произошло, напротив, я сегодня встал, не

чувствую лихорадочного озноба; наверно, и к вечеру не будет жара... Примусь писать.

Я вместе с ним пошла посмотреть — какая у него квартира, и нашла, что она никуда не годится для больного человека: мрачная, темная и сырая.

Когда я присмотрелась к его домашней обстановке, то поняла причину его раздражительности. Дядя поминутно донимал его жалобами на племянников, на кухарок, постоянно заводил разговоры о том, какое тягостное бремя взял на себя, заведуя хозяйством, обижался, что Добролюбов не может есть жирный суп и тощую курицу, зажаренную в горьком масле. Я распорядилась присылать Добролюбову обед от нас, и за это дядя его надулся на меня.

Добролюбов по-прежнему, если еще не с удвоенным рвением, заботился о журнале и, не обращая внимания ни на какую погоду, ездил в типографию и к цензорам.

В самых первых числах октября он приехал к нам от цензора в десятом часу вечера, сильно раздраженный тем, что не мог уломать его, чтобы он пропустил вычеркнутые места в чьей-то статье.

Некрасов только что встал после обеденного сна и флегматически заметил:

— Охота вам была в такую скверную погоду ездить к цензору, толковать с ним битый час! Через два месяца пошлем к нему новый набор этой статьи, он и позабудет, что уже читал ее, и наверное пропустит. Надо послать в типографию сказать, чтобы набрали другую статью.

Добролюбов пристально смотрел на Некрасова, и я заметила, что он раздражается его флегматическим тоном.

— Что же? мы будем преподносить читателям запоздалые статьи о вопросах, которыми живо интересуется общество?.. — спросил Добролюбов.

— Ну, что делать! — возразил Некрасов.

— А небось, — иронически отвечал Добролюбов, — если бы вы, проголодавшись, пришли в ресторан и заказали себе хороший обед, а вам бы подали подогретые кушанья, то не так покойно отнеслись бы к этому. Положим, мое сравнение неудачно, но для вас оно, может быть, в эту минуту будет понятнее.

Некрасов встрепенулся и произнес:

— Было время, что и я так же волновался, как вы!.. Я вовсе не охладел к журналу, а из горького опыта убе-

дился, что надо благоразумнее относиться к подобным вещам. Вот вы волнуетесь, вредите своему здоровью, поскакали к цензору, а из этого никакого толка не вышло.

— Выйдет! — убежденным тоном ответил Добролюбов. — Я сейчас же иначе выражу те места, которые цензор выкинул, и завтра утром опять поеду к нему и не час, а два, три буду сидеть у него и толковать ему, что он словно пуганая ворона — куста боится!

— Еще более расстроите себя, если цензора не уломаете! Плетью обуха не перешибешь! — заметил Некрасов и начал рассказывать, что в 1848 году проделывали цензоры со статьями и какие курьезные объяснения ему приходилось иметь с ними.

— Однако вы тогда были настолько неблагоразумны, что употребляли все усилия добросовестно исполнять свою обязанность перед читателями «Современника», — сказал Добролюбов, — как же теперь хотите издавать «Современник» спустя рукава, оправдываясь благоразумием!

— Ну, делайте, как знаете! — отвечал Некрасов и пошел одеваться, чтобы ехать в клуб, а Добролюбов уселся за работу.

Уходя, я спросила его, прислать ли ему чай, но он отвечал, что придет ко мне пить чай, как только окончит работу; но не прошло и часа, как человек пришел мне сказать, что Добролюбову нездоровится. Я нашла Добролюбова лежащим на диване; у него был сильный пароксизм лихорадки, и он едва мог проговорить: «Согрейте меня!.. только ради бога не посылайте за доктором!» Я укутала Добролюбова и напоила его горячим чаем; после озноба у него сделался сильный жар. Когда он перестал гореть, то встал на ноги, но так был слаб, что не мог стоять и снова сел, сказав:

— Как же я доберусь до дому?

— Я вас не пущу домой, если бы вы даже и не чувствовали слабости.

— Я охотно останусь у вас ночевать, мне противна моя мрачная квартира, похожая на склеп... да и я в таком настроении, что не хочется оставаться одному.

Я советовала ему лечь спать, но он просил меня посидеть около него и прибавил:

— Это напоминает мне детство. Я был хворый мальчик и часто страдал бессонницей; мать, бывало, ночью

придет посмотреть на меня и, увидя, что я не сплю, сядет около меня, и мы разговариваем.

Добролюбов с чувством начал рассказывать, какая была его мать умная, развитая и добрая женщина, и потеря ее была так для него ужасна, что в первое время ему приходила мысль лишить себя жизни, в таком был он отчаянии [31].

Чтобы отвлечь Добролюбова от тяжелых воспоминаний, я стала ему рассказывать о Белинском, о котором он и прежде много меня расспрашивал.

В час ночи вернулся Некрасов, и Добролюбов его встретил словами:

— Я думаю, вы никак не ожидали опять найти у себя ночлежника?

— Хорошо сделали, что остались, погода отвратительная! — отвечал Некрасов.

— Поневоле остался: такой был сильный пароксизм лихорадки, что я стоять не могу на ногах. Спасибо, Авдотья Яковлевна согрела меня и даже рассеяла мои мрачные мысли, рассказав мне много интересного о Белинском.

— Жаль, что вы сами не знали этого человека! — сказал Некрасов, сев около дивана, на котором лежал Добролюбов. — Я с каждым годом все сильнее чувствую, как важна для меня потеря его. Я чаще стал видеть его во сне, и он живо рисуется перед моими глазами. Ясно припоминаю, как мы с ним, вдвоем, часов до двух ночи беседовали о литературе и о разных других предметах. После этого я всегда долго бродил по опустелым улицам в каком-то возбужденном настроении, столько было для меня нового в высказанных им мыслях... Вы вот вступили в жизнь и в литературу подготовленным, с твердыми принципами и ясными целями. А я же!..

Некрасов махнул рукой и продолжал:

— Заняться своим образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду. Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться. Моя встреча с Белинским была для меня спасением... Что бы ему пожить подольше! Я был бы не тем человеком, каким теперь!

Некрасов произнес последнюю фразу дрожащим голосом, быстро встал и ушел в кабинет.

— Тяжелые минуты он переживает сегодняшнюю ночь, — тихо заметил мне Добролюбов.

— Есть и хорошая сторона в этих тяжелых минутах для него, — отвечала я. — После них он всегда принимается писать стихи.

— В таком случае, пусть он почаще вспоминает о Белинском, — произнес Добролюбов.

Через четверть часа Некрасов пришел к нам и сказал:

— У меня тоже нет сна, давайте пить чай!

Некрасов, ложась спать, распорядился послать рано утром записку к доктору Шипулинскому, чтобы он приехал осмотреть Добролюбова, но при этом сделал бы вид, что его посещение случайное.

Шипулинский, выслушав Добролюбова, объявил Некрасову, что дело принимает серьезный оборот, что Добролюбову не встать с постели, так истощен его организм.

Мы решили, что Добролюбову будет удобнее лежать у нас в большой светлой комнате, нежели в его маленькой квартире. Я распорядилась, чтобы ему принесли халат и туфли.

— Значит, вы намерены оставить меня надолго здесь? — спросил Добролюбов.

— Да, пока вы не поправитесь, — отвечала я. — Разве вам неудобно будет у нас?

— Каких еще удобств можно мне желать, — отвечал Добролюбов, но начал беспокоиться, что может стеснить Некрасова, да и братьев ему не хотелось оставлять одних с дядею.

Я успокаивала Добролюбова тем, что его братья могут только ночевать в квартире, а целый день будут находиться у меня.

— Это опять мы все трое очутимся на ваших руках? Для нас-то хорошо, а вам будет много хлопот! — проговорил он.

Силы Добролюбова уже не восстанавливались. Но он продолжал заниматься журналом: просматривал цензорские корректурные листы, читал рукописи. У него было столько силы воли, что он ничего не говорил о своем болезненном состоянии, и ему было неприятно, если кто-нибудь расспрашивал его о здоровье, но со мной, когда нам случалось оставаться вдвоем, он был откровенен.

— Я, пожалуй, совершенно помирился бы с своим теперешним положением, — говорил Добролюбов, — если бы только имел силы писать; хотя год просидел бы, не выходя из этой комнаты.

Когда я кормила его обедом, он замечал:

— Доставляю вам столько хлопот! [вам приходится] придумывать для меня разные кушанья, которые переваривал бы мой желудок, а он окончательно отказывается питать мое тело.

Я стала замечать, что для Добролюбова сделалось тягостным присутствие посторонних лиц. Он не принимал участия в общем разговоре, ложился на кушетку и закрывал себе лицо газетой. Я запретила пускать к нему посторонних. Добролюбов догадался об этом и заметил мне:

— Вы угадываете мои мысли, я только что хотел вас просить, чтобы вы никого ко мне не пускали, кроме Чернышевского.

Чернышевский каждый вечер аккуратно приходил посидеть с Добролюбовым, который всегда с нетерпением ждал его прихода и оживлялся, беседуя с ним.

Несмотря на физическую слабость, голова Добролюбова была по-прежнему свежа, и он живо интересовался общественными вопросами, литературой и журналом.

Чернышевский и Добролюбов никогда не говорили друг другу, подобно многим литераторам, о своей взаимной привязанности, но нельзя было не видеть, насколько они искренно любят и уважают один другого. Они никогда не расточали в глаза похвал статьям один другого, но откровенно высказывали о них свое мнение[32].

Тяжело было смотреть, как с каждым днем Добролюбов физически слабел и угасал; ему даже было трудно сидеть в кресле; он больше лежал на кушетке, но продолжал работать. Раз в последних числах октября Добролюбов принялся читать какую-то толстую рукопись, но от слабости она выпала у него из рук. Он тяжко вздохнул, и этот вздох скорее походил на стон; он закрыл глаза и лежал несколько минут неподвижно, при этом лицо его приняло такое страдальческое выражение, что я не могла удержать слез. Через несколько минут Добролюбов окликнул меня. Я подошла к нему, стараясь принять равнодушный вид. Он пристально посмотрел на меня, покачал с укоризной головой и потом проговорил:

— Почитайте-ка мне рукопись, надо скорей дать юному автору ответ; он, бедный, наверно измучился, ожидая решения участи своего первого произведения.

Я принялась читать рукопись, а Добролюбов лежал с закрытыми глазами: я думала, что он дремлет, да и не до того ему было, чтобы вникать в чтение, но оказалось, что он следил за чтением и сделал несколько замечаний насчет невыдержанности характера героя романа. Чтение наше было прервано получением письма от сестер Добролюбова из Нижнего. Прочитав письмо, Добролюбов печальным тоном произнес:

— Мои сестры уже взрослые, но вот братья!..

Он тяжко вздохнул и замолчал.

На другой день Добролюбов был задумчив и чем-то сильно встревожен. Когда ему надо было ложиться спать и я хотела уходить, он попросил меня остаться еще ненадолго, говоря, что у него есть до меня большая просьба.

— Только, — прибавил он, — прежде дайте слово не расспрашивать меня ни о чем, как бы ни показалось вам странно мое желание.

Я дала слово.

— Наймите мне новую квартиру и перевезите меня скорей в нее...[33] Я знал, что вы удивитесь! — тоскливо произнес он.

Я отвечала ему, что завтра же утром пойду искать ему квартиру.

— Не подумайте, что мне нехорошо у вас, но так надо!.. Мне стыдно, что я сделался таким привередником, что не могу лежать на своей старой квартире. Мне надо теперь больше света и воздуха. Я об одном попрошу вас, когда вы будете нанимать квартиру для меня, чтобы она была поближе от вас. Я хочу, чтобы мои братья были возле меня.

Я сообщила Панаеву и Некрасову о желании Добролюбова переехать от нас и предупредила их, чтобы они не уговаривали его остаться и не заводили бы даже разговора с ним о новой квартире.

Я объяснила себе желание Добролюбова переехать на квартиру тем, что ему хотелось избавить нас от всех печальных процедур, когда в доме стоит покойник. Хотя ему и не говорили, но он догадался, что у него развилась «сахарная болезнь».

Я нашла квартиру через дом от нас, в доме Юргенса; пока ее устраивали, приискивали прислугу и т. п., прошла неделя, в продолжение которой Добролюбов ни о чем меня не расспрашивал и был вообще очень молчалив и печален. 1 или 2 ноября вечером я сказала ему, что квартира совершенно готова. Добролюбов испуганно повторил: «Все готово? Значит, я в последний раз переночую у вас?» Он задумался и с тяжким вздохом прибавил: «Завтра утром часов в одиннадцать перевезите меня... Только я вас попрошу, чтобы никто со мной не прощался... вы от меня поблагодарите Панаева и Некрасова... Мне и так будет тяжело».

На другое утро, придя поить Добролюбова утренним чаем, я заметила, что у него опухли глаза от слез. Человек Некрасова сказал мне, что у Добролюбова всю ночь горел огонь, и он раза два вставал с постели и сидел подолгу в креслах, положив руки на стол и склонив на них голову.

Добролюбов всегда встречал меня утром, улыбаясь и уверяя, что спал хорошо; но в это утро он встретил меня молча, хлебнул два глотка чаю и лег на диван лицом к стене. Я ждала, когда он сам скажет, что пора уезжать. У меня к одиннадцати часам стояла у подъезда карета, и люди с креслом ждали на лестнице новой квартиры, чтобы внести больного в третий этаж. Но проходил час за часом, а Добролюбов все лежал, не меняя позы.

Некрасов и Панаев советовали мне спросить его, хочет ли он ехать, но я боялась еще сильнее расстроить его. Наступил час его обеда. Я подошла к нему и сказала, что обед подан.

Добролюбов с трудом привстал и удивленно спросил: «Неужели уже четыре часа?» Пересел на кресло к столу, но есть ничего не захотел и опять лег на диван лицом к стене.

Я подумала, что он отложил свой переезд. В девять часов вечера человек Некрасова пришел ко мне и сказал, что Добролюбов зовет меня к себе. Я нашла его сидящим на диване; он поддерживал голову руками, облокотившись на колени.

— Ради бога, увезите меня скорей, — умоляющим голосом проговорил он.

Я пошла распорядиться, а через несколько минут человек Некрасова прибежал опять за мной, говоря, что больной беспокоится, что я его не везу.

— Как долго!.. скорей одевайте меня! — произнес Добролюбов, когда я вошла.

Одевание его состояло в том, чтобы надеть большие теплые сапоги. Я повязала ему горло теплым шарфом. Добролюбов со стоном произнес: «Как мне тяжело», упал лицом в подушку и, качая головой, повторял: «Тяжело, тяжело».

— Зачем вы уезжаете? останьтесь! — проговорила я.

Добролюбов выпрямился и твердо произнес: «Нет, нет! надо уехать». Он встал и, несмотря на слабость, пошел в переднюю, потребовал, чтобы скорей подали шубу; но когда ее надели, он не мог перенести ее тяжести, опустился на стул и закрыл глаза. Я и прислуга с минуту стояли перед ним, не зная, что нам делать. Наконец, Добролюбов встрепенулся и проговорил: «Едемте».

Его взяли под руки, свели с лестницы и усадили в карету. Я села с ним. Он молчал, пока не подъехали к его новой квартире; на подъезде его хотели посадить в кресло, чтобы нести на лестницу. Он воспротивился этому, говоря: «Взойду сам». Но, конечно, едва мы довели его под руки до первой площадки, как он уже не мог идти далее и безропотно повиновался, когда его усадили в кресло, понесли наверх, донесли до самой кровати, раздели и положили в постель. Он неподвижно лежал несколько минут с закрытыми глазами, потом обвел глазами комнату, посмотрел на меня, кивнул мне головой и слабым голосом проговорил: «Я спать хочу!»

Он спал более часу. Чернышевский и доктор сидели в столовой. Добролюбов более недели как не хотел принимать лекарства и видеть доктора, сказав мне: «Теперь не нуждаюсь ни в докторах, ни в их лекарствах». Когда он проснулся, то улыбнулся мне и проговорил: «Мне теперь легче!»

По моей просьбе он выпил немного бульону и потребовал к себе братьев, с которыми начал говорить об их уроках. Когда я ему сказала, что пора спать, и стала прощаться с ним, он спросил меня, в какое время я приду завтра. Я отвечала, что зайду напоить его утренним чаем.

— Так рано? это было бы очень хорошо, но вам надо отдохнуть, я вас сегодня замучил... Я стал ни на что не похож.

— Ложитесь-ка спать, усните хорошенько, — отвечала я и спросила, не велеть ли человеку лечь в его комнате?

— Зачем! вы ведь позаботились обо всем, у кровати есть снурок, я позвоню, если что будет мне нужно.

Со дня переезда Добролюбова на квартиру он уже не вставал с постели и не мог более двух минут держать в руках газету, но был спокоен. Чернышевский два раза в день навещал больного и, чтобы он не утомлял себя разговором, оставался не более получаса в его комнате.

С замечательным терпением Добролюбов переносил возраставшую в нем слабость. Нанятый мною лакей говорил мне о кротости его характера: «За здоровым ходить больше хлопот, чем за таким больным!.. только дивишься на него!»

Десятого ноября, когда я утром пришла к Добролюбову, человек, отворив мне дверь, тревожно сказал: «Ах, Авдотья Яковлевна, нашему больному нехорошо, должно быть, он всю ночь не спал; без их звонка я не смел входить к ним, а стоя у дверей, я слышал, что он стонал, а недавно уж два раза спрашивали — не пришли ли вы...»

Добролюбов встретил меня словами:

— Мне вообразилось, что у вас сделался припадок болей в печени, и вы сегодня не придете ко мне, а у меня до вас есть опять большая просьба — эта будет последняя... Насилу дождался утра.

Я видела, что он сильно взволнован и что его лицо за ночь страшно изменилось.

— Прислали бы за мной, чем ждать утра! — отвечала я.

— Недоставало только, чтобы я еще ночью не давал вам покою!

— Говорите же, что нужно мне сделать?

— Привезите мне доктора, который вылечил горло Некрасова.

Я отвечала, что сейчас поеду за доктором.

— Мне именно и хотелось просить вас, чтобы сами поехали, а то просить его запиской пройдет много времени, да, может быть, он еще и не приедет, а мне нужно его видеть сегодня... непременно сегодня!

Доктора с большой практикой трудно застать дома, так что мне удалось только в 4 часа его видеть. Но этот день у него был приемный, и множество пациентов ждали его возвращения домой.

Добролюбов был прав; если бы я не поехала сама, доктор не приехал бы, потому что находил бесполезным свой визит; доктору было известно, что Добролюбов доживает последние дни, что его желание — один каприз, о котором он скоро забудет. Но я упросила доктора приехать, и он обещал быть в 7 часов.

— Все одни неудачи мне! — заметил Добролюбов, когда я явилась к нему с ответом доктора.—Я надеялся, что вы приедете вместе с ним... ну, что делать, помучаюсь еще до его приезда...

Доктор приехал в назначенный час, пробыл у Добролюбова с четверть часа, и когда вышел от больного, то печально сказал: «Дня два или три разве протянет... Я пропишу рецепт, чтобы не огорчить его... Он меня спрашивал, можно ли ему шампанское и устрицы. Давайте все, что он попросит!»

Когда я вошла с рецептом в руках к Добролюбову, он сидел на постели, сжав свою голову руками. Увидев рецепт, он насмешливо сказал: «Таки прописал лекарство, пожалуйста, не посылайте в аптеку!»

Глаза Добролюбова блестели, и он, нервно улыбаясь, продолжал:

— Я чуть не рассмеялся в глаза доктору, когда он после обычных докторских утешений ответил на мой вопрос, можно ли мне шампанское и устрицы: «Все можно!» Он не понял моего вопроса и не выдержал своей роли. Он вообразил себе, что говорит с больным, у которого голова потеряла способность ясно понимать вещи...

Добролюбов опять схватился за голову и с отчаянием произнес:

— Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать... ничего! Как зло насмеялась надо мной судьба! Пусть бы раньше послала мне смерть!.. Хоть бы еще года два продлилась моя жизнь, я успел бы сделать хоть что-нибудь полезное... теперь ничего, ничего!

Он упал со стоном на подушки, стиснул зубы, закрыл глаза, и слезы потекли по его впалым щекам.

Я была не в силах смотреть на его страдания и также расплакалась.

Пролежав не более минуты с закрытыми глазами, он открыл их и слабым голосом проговорил:

— Не плачьте!.. не совладал я с своими расходившимися нервами!.. перестаньте! Вы стыдите меня за мое малодушие и глупость, которую я сделал!.. Будем по-прежнему тверды... ни для вас, ни для меня не был неожиданностью исход моей болезни! Встретим конец как следует! Я теперь буду покоен!.. больше не расстрою вас, и вы постарайтесь по-прежнему быть твердой... мне легче будет... позовите ко мне братьев... не бойтесь... я овладею собой!

Добролюбов все это говорил с большими перерывами.

Мальчики пришли. Добролюбов спросил, готовы ли у них уроки к завтрашнему дню, пристально глядел на них, потом погладил каждого по голове и с улыбкой произнес:

— Теперь идите кончать свои уроки!

И он закрыл глаза, но скоро опять открыл их и спросил:

— Чернышевский здесь?

— Позвать его? — спросила я.

Добролюбов не вдруг ответил:

— Нет! ему и мне будет тяжело!.. Желаю от души ему всего хорошего как в его семейной жизни, так и в его литературной деятельности. Я попрошу более никого не впускать ко мне. И вам бы не следовало быть около меня. Я устал, засну!

С этого вечера Добролюбов сделался молчалив; он покорно выпивал бульон, когда я ему подавала, больше лежал с закрытыми глазами; откроет их, поглядит на меня и опять закроет. Но слух у него сделался чрезвычайно тонок; как бы тихо я ни сказала что-нибудь человеку, он все слышал и просил меня не говорить шепотом. За три дня до его смерти я заметила, что он начал не так внятно произносить слова. Я сообщила это доктору, и тот, желая удостовериться, не началась ли уже агония, тихонько вошел в комнату; но только что он приблизился к изголовью, Добролюбов открыл глаза и спросил: «Кто вошел?»

Я должна была солгать, что никого нет...

На другой день не было уже сомнения, что агония началась: умирающий дышал тяжело, нижняя челюсть

ослабела; он то высылал меня от себя, то снова посылал за мной человека. Желая мне что-то сказать, он произнес несколько слов так невнятно, что я должна была нагнуться близко к нему, и он, печально смотря на меня, спросил:

— Неужели я так уже плохо говорю?.. Можете меня спокойно выслушать?

— Могу, — отвечала я.

— Поручаю вам моих братьев... Не позволяйте им тратить на глупости денег... проще и дешевле похороните меня.

— Вам трудно говорить, потом доскажете, — заметила я, видя его усилия говорить громче.

— Завтра будет еще трудней, — отвечал он. — Положите мне руку на голову! Вы для меня делали то, что только могла делать одна моя мать. — И он замолк...

Чернышевский безвыходно сидел в соседней комнате, и мы с часу на час ждали кончины Добролюбова, но агония длилась долго, и, что было особенно тяжело, умирающий не терял сознания.

За час или два до кончины у Добролюбова явилось столько силы, что он мог дернуть за сонетку у своей кровати. Он только что выслал меня и человека... но опять велел позвать меня к себе. Я подошла к нему, и он явственно произнес: «Дайте руку...» Я взяла его руку, она была холодная... Он пристально посмотрел на меня и произнес: «Прощайте... подите домой! скоро!»

Это были его последние слова... в два часа ночи он скончался.

В течение двух дней, с утра до вечера, масса публики перебывала у покойника. В день похорон я в восьмом часу пошла проститься с ним, пока еще никого не было (в 9 часов назначен был вынос), но на дворе уже собралось множество народу, на лестнице также едва можно было пройти. Около дома и на улице тоже стояла толпа. Я не поехала на кладбище, потому что чувствовала себя совершенно больной. В 9 часов я подошла к окну своей комнаты. Вся улица была запружена народом, хотя для любителей торжественных похорон не на что было поглазеть, потому что не было никаких депутаций, ни венков. Несколько священников явились без приглашения проводить покойника. Простой дубовый гроб, без венков и цветов, понесли на руках,

а парные дроги и две-три наемные кареты следовали за процессией.

Панаев вернулся с похорон и хотел мне рассказывать о них, но слезы душили его; он подошел к окну, постоял минуты две, не поворачивая головы, и, наконец, овладев собой, сказал:

— Кладбищенский священник на прощанье сообщил мне и Некрасову, что около могилы Белинского осталось еще одно место для литератора, точно приглашал кого-нибудь из нас поторопиться и занять эту могилу.

Клевета преследовала Добролюбова и после смерти; но сплетни, распускавшиеся его литературными врагами, были так нелепы и пошлы, что не заслуживают упоминаний [34].

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Болезнь и смерть Панаева. — «Отцы и дети». — Петербургские пожары. — «Что делать?».

Постоянные неприятности и литературные дрязги сильно влияли на впечатлительного Панаева и отразились роковым образом на его здоровье. Его литературные враги знали это и с каким-то злорадством усиливали против него свои пошлые выходки. Панаев особенно не любил одного из приживальщиков Тургенева, низкопоклонного и льстивого Колбасина [1], и не мог скрыть презрение, которое питал к нему. Не зная, чем отомстить Панаеву, Колбасин начал распускать слух, будто Панаев занял у него 75 рублей и не отдает этих денег. Услужливые приятели, разумеется, поспешили сообщить Панаеву эту гнусную сплетню. Он пришел ко мне в страшном волнении и дрожащим, задыхающимся голосом начал рассказывать о выходке Колбасина.

— Недоставало только одного: обвинять меня в том, что я ворую деньги у сотрудников! — воскликнул он и с этими словами вдруг зашатался.

Я поддержала его и усадила на диван, около которого он стоял. С ним сделался обморок. Приглашенный доктор не нашел ничего серьезного, за исключением слабости, и велел ему лечь в постель.

Вечером, когда я сидела около Панаева, он вдруг заговорил, что у него давно уже созрела мысль уехать куда-нибудь из Петербурга, так как жизнь в этом городе сделалась для него невыносимой.

— Можно взять в аренду небольшую усадьбу по Николаевской железной дороге, — прибавил он.

— Что же тебе мешает исполнить свое желание? — отвечала я.

— Если бы ты также согласилась жить в деревне, — сказал он, — я был бы совершенно счастлив. Ведь и тебе тяжело жить здесь!.. Ты бы тоже отдохнула, и твоя болезнь печени прошла бы... Дай мне слово, что ты поедешь вместе со мной в деревню.

Я обещала.

— Ты меня очень обрадовала! — воскликнул он. — С своей стороны я обещаю, что ты не увидишь во мне прежних моих слабостей, за которые я так жестоко поплатился. Я сам себе был злейшим врагом и сам испортил свою жизнь. С людьми слабохарактерными надо поступать деспотически; они скорее поддаются влиянию людей дурных, нежели хороших. Только тогда, когда мне пришлось пережить страшную нравственную пытку, я понял, кто бескорыстно желал сделать мне хорошее и кто — вред [2].

— Лучше поговорим об этом в другой раз, — заметила я, — тебе не следует волноваться и нужно лежать покойно.

— Нет, дай мне облегчить душу и высказать то, что накопилось в ней за долгое время.

Не желая огорчить Панаева, я выслушала его исповедь, которую не считаю возможным приводить здесь по многим причинам.

В продолжение двух недель, пока я не отходила от больного Панаева, он только и говорил о том, как будет наслаждаться тишиной деревенской жизни, что ему, кроме природы и книг, теперь ничего не нужно, что он примется писать большую повесть, для которой у него накопилось много типов из современного общества, что фельетоны ему надоели и т. п.

Панаев оправлялся медленно; он похудел, изменился в лице и потерял аппетит. Я настояла, чтобы он пригласил известного тогда доктора Шипулинского. Последний внимательно осмотрел и выслушал больного и нашел у него порок сердца.

Но он сообщил об этом лишь одному Некрасову, а меня уверил, что Панаев совершенно выздоровеет, как

только переселится в деревню, бросит привычку писать по ночам, не станет утомлять себя продолжительными прогулками, до которых он был большой охотник, и вообще воздержится от всяких волнений. Я начала торопить Панаева уехать из Петербурга.

Нам сообщили подробные сведения об одной усадьбе по Николаевской железной дороге, и решено было отправиться на первой неделе поста для ее осмотра и найма.

В последний день масленицы, вечером, Панаев поехал к двоюродной своей сестре, у которой были назначенные дни по воскресеньям; я подвезла его к ее дому, а сама поехала в театр. Я была большая любительница театра и всегда оставалась до конца спектакля. На этот раз — сама не знаю почему, — мне вдруг не захотелось досмотреть последнего акта, и я уехала домой. Лакей наш встретил меня словами, что с Панаевым, по его возвращении, сделался обморок, и он все спрашивал обо мне. Я велела скорее ехать за доктором, за которым, впрочем, уже было послано, а сама поспешила в комнату больного.

Он лежал на кровати, но при моем приходе быстро сел и сказал:

— Не беспокойся, все прошло! Как я рад, что ты приехала домой... дай мне руку и не отходи от меня! — и, взяв меня за руку, умоляющим голосом добавил: — Устрой скорее, чтобы мне уехать отсюда!

Я обещала все сделать, лишь бы он успокоился. Панаев положил голову ко мне на плечо и проговорил:

— Мне так легче дышать.

Я поддерживала его рукой; вдруг он, подняв голову и посмотрев на меня, сказал:

— Прости, я во мно...

И голова его опять склонилась ко мне на плечо.

Я окликнула его, он молчал; мне вообразилось, что с ним опять обморок; я стала звать человека, который прибежал и помог мне положить Панаева на подушки; я старалась привести его в чувство. В эту минуту явился доктор. Он пощупал пульс, приложил ухо к сердцу и произнес:

— Он скончался.

Нечего объяснять, как я была поражена таким неожиданным ударом. Меня без чувств унесли в мою комнату.

Смерть Панаева произошла от разрыва сердца [3]. Лакей рассказал мне, что, когда Панаев вернулся домой, то прежде всего спросил: дома ли я? потом прошел в свою комнату и стал раздеваться. Человек заметил по его лицу, что он был очень встревожен и у него дрожали руки, когда он вынимал булавку из галстука и расстегивал жилет.

Только что человек подал ему халат, как с ним сделался обморок. Его положили на кровать и послали одновременно за доктором и за мной в театр.

Придя в себя, Панаев поминутно спрашивал, не приехала ли я.

Я была убеждена, что причиной смерти Панаева была опять какая-нибудь сильная неприятность, и его двоюродная сестра подтвердила мое предположение.

Панаев был похоронен на кладбище Фарфорового завода, потому что всегда, возвратясь с чьих-нибудь похорон, говорил мне, что не желал бы лежать ни на одном из петербургских кладбищ, кроме Фарфорового завода, расположенного на возвышенном, песчаном берегу Невы. При том эти берега Невы были ему родиной; он провел на них свое детство и юность. У его дедушки, Берникова, у которого он воспитывался со дня рождения, была на берегу Невы дача, между Невским монастырем и Фарфоровым заводом, где Берников жил зиму и лето. О литературной популярности Панаева в Петербурге нельзя было бы заключить по тому множеству публики, которая собралась на вынос его тела, так как у него была масса знакомых. Но его популярность можно было проверить по количеству народа, являвшегося проститься с покойником, пока гроб стоял в квартире. С раннего утра до поздней ночи у гроба толпились люди разных классов общества: студенты, гимназисты, офицеры, купцы, даже лавочники.

В начале 1862 года давался литературный вечер в пользу Литературного фонда [4].

Когда было объявлено, что на этом вечере Некрасов будет читать некоторые стихотворения Добролюбова, а Чернышевский его характеристику, то в литературной среде разнеслись слухи, что оба они будут ошиканы. Накануне вечера Некрасов получил анонимное письмо, в

котором ему советовалось сказаться больным, чтобы избежать скандала, так как публика уже заранее возмущена тем, что Чернышевский хочет, наперекор общему мнению, придавать значение такой личности, литературную деятельность которой, хотя, к счастью, и кратковременную, всякий образованный и порядочный человек считает позорною.

Однако скандала не произошло никакого. Напротив, при появлении Некрасова и Чернышевского на эстраде и уходе с нее раздавались шумные аплодисменты. Но все-таки нашлись люди, уверявшие тех, кто не был на этом вечере, будто Некрасову шикали, а Чернышевскому публика даже не дала окончить чтение, так как он держал себя крайне неприлично [5]. В этом духе были напечатаны отчеты о вечере в «Северной пчеле» и «Библиотеке для чтения».

По поводу этих статей и нелепых толков В. С. Курочкин написал в стихах пародию на «Горе от ума» под заглавием: «Два скандала» (Сцена из комедии «Горе от ума», разыгранная в 1862 году) [6].

Тотчас после смерти Добролюбова Чернышевский приступил к разбору его бумаг, чтобы поскорее издать полное собрание его сочинений. Когда был отпечатан первый том и Чернышевский принес ко мне, я с изумлением увидела, что издание посвящено мне [7]. Если бы я знала заранее о намерении Чернышевского, то, разумеется, попросила бы его не делать этого, чтобы не подавать повода к новым сплетням, которыми я была сыта по горло.

Я не запомню, чтобы какое-нибудь литературное произведение наделало столько шуму и возбудило столько разговоров, как повесть Тургенева «Отцы и дети». Можно положительно сказать, что «Отцы и дети» были прочитаны даже такими людьми, которые со школьной скамьи не брали книги в руки. Приведу несколько фактов, рисующих состояние тогдашнего общества при появлении повести Тургенева.

Я сидела в гостях у одних знакомых, когда к ним явился их родственник, отставной генерал, один из числа тех многих недовольных генералов, которые получили отставку после Крымской войны. Этот генерал, едва только вошел, уже завел речь об «Отцах и детях».

— Признаюсь, я эту дребедень, называемую повестями и романами, не читаю, но куда ни придешь — только и разговоров что об этой книжке... стыдят, уговаривают прочитать... Делать нечего, — прочитал... Молодец сочинитель; если встречу где-нибудь, то расцелую его! Молодец! ловко ошельмовал этих лохматых господчиков и ученых шлюх! Молодец!.. Придумал же им название — нигилисты! попросту ведь это значит глист!.. Молодец! Нет, этому сочинителю за такую книжку надо было бы дать чин, поощрить его, пусть сочинит еще книжку об этих пакостных глистах, что развелись у нас!

Мне также пришлось видеть перепуганную пожилую добродушную чиновницу, заподозрившую своего старого мужа в нигилизме на основании только того, что он на пасхе не поехал делать поздравительные визиты знакомым, резонно говоря, что в его лета уже тяжело трепаться по визитам и попусту тратить деньги на извозчиков и на водку швейцарам. Но его жена, напуганная толками о нигилистах, так переполошилась, что выгнала из своего дома племянника, бедняка студента, к которому прежде была расположена и которому давала стол и квартиру. У добродушной чиновницы исчезло всякое сострадание от страха, что ее муж окончательно превратится в нигилиста от сожительства с молодым человеком. Иные барышни пугали своих родителей тем, что сделаются нигилистками, если им не будут доставлять развлечений, то есть вывозить их на балы, театры и нашивать им наряды. Родители во избежание срама входили в долги и исполняли прихоти дочерей. Но это все были комические стороны, а сколько происходило семейных драм, где родители и дети одинаково делались несчастными на всю жизнь из-за антагонизма, который, как ураган, проносился в семьях, вырывая с корнем связь между родителями и детьми [8].

Ожесточение родителей доходило до бесчеловечности, а увлечение детей до фанатизма. В одном семействе погибли разом мать и дочь; в сущности, обе любили друг друга, но в пылу борьбы не замечали, что наносили себе взаимно смертельные удары. Старшая дочь хотела учиться, а мать, боясь, чтобы она не сделалась нигилисткой, восстала против этого; пошли раздоры, и дело кончилось тем, что мать, после горячей сцены, прогнала дочь из дому.

Молодая девушка, ожесточенная таким поступком, не искала примирения, промаялась с полгода, бегала в мороз по грошовым урокам в плохой обуви и холодном пальто и схватила чахотку.

Когда до матери дошло известие, что дочь ее безнадежно больна, она бросилась к ней, перевезла к себе, призвала дорогих докторов, но было уже поздно — дочь умерла, а мать вскоре с горя помешалась.

Таких печальных семейных разладов тогда было множество, и тургеневские «Отцы и дети» только усилили их, внеся новые недоразумения. Тургенев сам это понял и в следующей повести «Новь» [9] сделал попытку придать новому поколению некоторые примиряющие черты, но их никто уже не заметил. А как легко было Тургеневу с его огромным талантом и литературным авторитетом выяснить обеим сторонам их взаимные недоразумения и беспристрастно показать все неразумие ожесточенной борьбы из-за пустых внешних причин, которым придавалось столь важное значение.

Стриженые волосы, отсутствие кринолина или барашковая шапка на голове женщины производили сенсацию в публике и приводили многих в ужас. Такой женщине не было прохода от презрительных взглядов и насмешек, сопровождаемых кличкой «нигилистка».

По примеру образованного класса, извозчики и лавочники также преследовали этих женщин грубым смехом и остротами.

Теперь все благоразумные родители, имеющие даже достаток, заботятся, чтобы их дочери были подготовлены ко всякому непредвиденному перевороту в их жизни и могли бы, в случае надобности, своим трудом добывать средства к существованию. О недостаточных людях нечего и говорить; они бьются из последних сил, чтобы подготовить своих дочерей к какому-нибудь труду.

В конце пятидесятых годов, вследствие экономического положения, ясно выдвинулся вопрос, что праздные, бедные люди не могут по-прежнему кормиться в виде паразитов, что необходимо самому зарабатывать себе кусок хлеба и приобретать для этого научные познания. Молодежь это сознала и устремилась с юношеским увлечением к специальным знаниям, которые можно было бы применить с пользой не только для себя, но и

для общества. К несчастию, это увлечение не избегло крайностей, породивших между старым и новым поколением печальные недоразумения, которые с каждым днем разрастались и усиливались.

Вскоре после появления «Отцов и детей» Тургенев приехал из-за границы пожинать лавры[10]. Почитатели носили его чуть не на руках, устраивали в честь его обеды, вечера, говорили благодарственные речи и т. п. Я думаю, что ни одному из русских писателей не выпадало при жизни столько оваций.

В то время ежегодные концерты, дававшиеся в пользу недостаточных студентов, были всегда полны; даже аристократическая публика посещала их.

Впрочем, нужно заметить, что артисты итальянской оперы постоянно участвовали в этих концертах безвозмездно. Распорядители-студенты сами являлись к некоторым литераторам с билетами на свой концерт, как бы желая этим выразить им уважение от лица всей студенческой корпорации.

Но после напечатания «Отцов и детей» Тургенев не получил билета[11]. Это произвело сенсацию в кругу его друзей — литераторов. Со стороны их посыпались обвинения, что все это произошло по интригам Некрасова и семинаристов, сотрудников «Современника», которые вооружают молодежь, распространяя о Тургеневе сплетни.

Я бы и не упомянула об этой сплетне, если бы только ею ограничились обвинения Некрасова; но вслед за тем распространилась новая клевета, будто Некрасов проиграл чужие деньги. Тургенев в виде предостережения некоторым литераторам в их денежных расчетах с Некрасовым рассказывал, что при встрече с Некрасовым в Париже, узнав, что он едет в Лондон, поручил ему передать 18 000 франков Герцену; но Некрасов, в первый же день по прибытии своем в Лондон, проиграл их в игорном доме и скрыл это, пока Тургенев не обличил его; что Некрасов клялся уплатить в скором времени проигранные 18 000, но, конечно, не уплатил, воспользовавшись оплошностью Тургенева, который не взял с него никакого документа[12].

Это обвинение Некрасова в растрате чужих денег я могу фактически опровергнуть.

Некрасов в первый раз находился в Париже в 1857 году, о чем я уже говорила раньше. Вторая его поездка за границу состоялась в 1863 году, уже после разрыва с Тургеневым из-за Добролюбова. Следовательно, только в первую поездку Тургенев мог дать Некрасову подобное поручение. Но зачем было Тургеневу делать это, когда он сам вместе с Некрасовым ездил в Лондон из Парижа?

При мне Тургенев стал уговаривать больного Некрасова ехать вместе в Лондон, где ему почему-то необходимо было побывать, если не ошибаюсь, кажется, потому, что Виардо давала там концерт. Я заметила Некрасову, что ему не следует ехать в Лондон, потому что он может простудить на пароходе свое больное горло. Но Тургенев все-таки настоял на своем. Некрасов поехал с ним в Лондон, и они вернулись вместе назад; поездка их продолжалась не более десяти дней[13]. На другой день по возвращении из Лондона Тургенев пришел к Некрасову и сказал:

— Сосчитал ли ты, сколько я должен тебе за расходы, заплаченные тобою в отеле за меня и за билеты в дороге?

— Да после сосчитаемся, — отвечал Некрасов, кутаясь в плед, потому что чувствовал лихорадку после дороги.

— Я боюсь, чтобы ты не присчитал этого долга к моему старому долгу. Ты смотри также, не смешивай моего долга лично тебе с долгом «Современнику».

— Да ну, хорошо! — ворчливо произнес Некрасов. — Точно не успеем сосчитаться, когда будут у тебя деньги.

— Тебе теперь можно не считать, тебе нипочем бросать тысячи.

— Я всегда бросал деньги, — заметил Некрасов, — бывало, не задумываясь, тратил последние десять рублей, лежавшие в кармане, и оставался на другой день без обеда; это, брат, у нас наследственная помещичья безалаберность обращаться с деньгами. Спросить у тебя, сколько ты проживаешь в год, — наверно, не знаешь.

Тургенев рассмеялся и отвечал:

— Скажу лучше — я не знаю даже, сколько прожил денег в мое короткое пребывание в Париже.

И Тургенев начал удивляться, как он ухитряется проживать столько денег и вечно сидеть без копейки.

Возможно ли, чтобы Тургенев, ведя с Некрасовым такой разговор об их расчетах, не упомянул ни слова о долге в 18 000 франков, если бы таковой действительно существовал? Да можно ли допустить, чтобы Тургенев, после того как Некрасов «прикарманил» у него 18 000 франков, продолжал бы по-прежнему находиться с ним в дружеских отношениях до тех пор, пока из-за статьи Добролюбова порвал с ним всякое знакомство и даже перестал кланяться, встречаясь на улице.

Одно можно предположить, что Тургенев видел во сне, будто передал Некрасову 18 000 франков, и этот сон так живо запечатлелся в его памяти, что он смешал его с действительными фактами.

Когда Некрасов узнал, что Тургенев взводит на него подобное обвинение, то у него разлилась желчь; он три дня не выходил из дома, никого не принимал, ничего не мог есть и находился в таком возбужденном состоянии, что до изнеможения ходил по кабинету из угла в угол.

Желая успокоить Некрасова, я советовала ему брать пример с покойного Добролюбова или с Чернышевского, которые относились к распространяемым о них клеветам с полнейшим презрением.

— Между ними и нами огромная разница, — отвечал Некрасов. — Под их репутацию в частной жизни самый строгий нравственный судья не подпустит иголочки, а под нашу можно бревна подложить. Они в своих нравственных принципах тверды как сталь, а мы, расшатанные люди, не умеем даже в пустяках сдерживать себя! Всем известно, что я имею слабость к картам, вот и может показаться правдоподобным, что я проигрываю чужие деньги.

— Но если ваша совесть не упрекает вас, то нечего и приходить в такое отчаяние.

— Большое утешение! Вообще в подобных случаях легко давать советы, но каково переживать такие минуты человеку... Право, уж прибавили бы за один раз, что видели, как я передергиваю в картах!..

Говоря это, Некрасов задыхался от волнения и после некоторого молчания прибавил:

— Мне в голову не приходило напомнить Тургеневу после нашей размолвки, что он мне лично остался должен около трех тысяч, а тем более рассказывать об этом всякому встречному, придавая грязную подкладку.

Человек просто мог позабыть о долге, а если вспомнит, то сам отдаст. Положительно только в умопомрачении можно наболтать на другого такую небывалую, позорную вещь. Я уверен, что Тургенев сам потом ужаснулся, до чего дал волю своей мести — и за что? за то, что я взял по справедливости сторону Добролюбова; да ведь Тургенев, с его умом, сам должен бы сознавать, что был неправ перед Добролюбовым. Вот до какого ослепления доводит бесхарактерность самого умного человека! Нажужжали ему в уши сперва про Добролюбова, а потом про меня, что мы ему враги. Дай ему бог побольше таких врагов, как я. Я был уверен, что, проведя вместе нашу молодость, мы вместе проживем и нашу старость. Лучше бы он из-за угла убил меня, чем распространять про меня такую позорную небывальщину!

Некрасов весь дрожал, стиснул губы, как бы боясь, чтобы у него не вырвалось стона, и быстро, порывисто зашагал по комнате.

Привязанность Некрасова к Тургеневу можно было сравнить с привязанностью матери к сыну, которого она, как бы жестоко он ни обидел ее, все-таки прощает и старается приискать всевозможные оправдания его дурным поступкам. Я более никогда не слыхала, чтобы Некрасов сделал даже намек относительно враждебных к нему чувств и действий Тургенева; он по-прежнему высоко ценил его талант.

В характере Некрасова было много недостатков, но я не думаю, чтобы кто-нибудь из современных литераторов мог упрекнуть его в зависти к их успеху на литературном поприще или в том, что он занимался литературными сплетнями. Некрасов никогда не обращал внимания на то, что ему говорили друг про друга литераторы, и, если между ними происходили ссоры, старался примирить враждующих.

Внимание, которое оказывал Некрасов всякому вновь появляющемуся талантливому литератору, приписывали обыкновенно его спекулятивному расчету. Но Некрасов всегда искренно радовался, что в русской литературе выступает еще новый талант, и, как журналист, он, понятно, желал, чтобы произведения этого таланта попали в «Современник». Я уже упоминала, что Тургенев подсмеивался над Некрасовым, что он слишком преувеличивает свои взгляды на новых появляющихся литераторов. Некрасову часто доставалось за это от Тургенева

и В. П. Боткина, как людей компетентных по части изящных искусств. Помню, как осенью в 1850 или 1851 году они привязались к Некрасову из-за Дружинина, когда тот печатал в «Современнике» свои фельетоны с подписью «Чернокнижников».

Тургенев и Боткин требовали, чтобы Некрасов прекратил печатание этих фельетонов, говоря, что они позорят журнал и даже других литераторов, которые в одной книжке с такой ерундою помещают свои произведения [14].

— Не могу же я, господа, оскорбить Дружинина, отказав ему печатать его фельетоны! — говорил Некрасов. — У всякого из нас может выдаться неудачная вещь. У Дружинина есть имя, он сам отвечает за себя.

Боткин возразил на это, что журнал не богадельня, чтобы помещать произведения исписавшихся литераторов, — да и с чего Некрасов взял, что Дружинин приобрел себе авторитетное имя в литературе?

Тургенев тоже соглашался с Боткиным.

— Да вы сами восхищались «Полинькой Сакс» Дружинина, — воскликнул Некрасов, — даже находили, что его женские типы напоминают Гете!

Тургенев пояснил Некрасову, что если они и хвалили «Полиньку Сакс», то он забыл, какая была в 1849 году голодовка в русских журналах относительно беллетристики [15], что на прежних литераторов наложена была печать молчания, и цензура не пропускала ничего из их произведений, так что «Полинька Сакс» и могла иметь некоторый успех. Он привел пословицу: «На безрыбье и рак рыба» — и уверял, что, появись теперь «Полинька Сакс», на нее никто не обратил бы внимания.

— Ну уж, господа, когда вы начнете нападать на кого-нибудь, так в клочья его растреплете, — заметил Некрасов.

— В нас, любезный друг, развито эстетическое чувство, — отвечал В. П. Боткин.

— Согласись, Некрасов, — вставил Тургенев, — что если человек слушает одну русскую музыку, видит картины одних русских художников и знаком только с одной русской литературой, то в нем не может развиться эстетическое понимание изящных искусств. Тебе нужно сознаться, что ты некомпетентный судья.

— И должен слушаться нас! — подхватил Боткин. — Нельзя, любезный друг, издавать журнал, валя в него

без разбору и художественные вещи, и всякую ерундищу. Надо сначала развить в себе эстетическое чутье многосторонним знакомством с европейской литературой, изучить ее, а потом уж можешь полагаться на один свой вкус!

Некрасов сознавал, что Тургенев и В. П. Боткин имели большое преимущество перед ним в образовании и начитанности.

В этот год, осенью, Дружинин, Боткин и Тургенев все трое жили у нас: Дружинин вернулся из деревни ранее своей матери, Боткин, по обыкновению, приехал из Москвы к нам, а Тургенев из деревни также остановился у нас до устройства своего зимнего пребывания в Петербурге[16].

Приведенный выше разговор происходил за ужином. На следующее утро я поила всех троих чаем и кофе и была удивлена, когда Тургенев и Боткин стали просить Дружинина прочитать им фельетон Чернокнижникова, который он писал для следующего номера «Современника». Дружинин прочитал им еще не оконченный фельетон, и слушатели смеялись и похваливали. Мне сделалось даже обидно за Дружинина, который принял эти похвалы за чистую монету. Он сам никогда не говорил за глаза ничего дурного про своих приятелей—литераторов, и, вероятно, ему не приходило в голову, чтобы другие могли поступать иначе.

Лонгинов, сделавшись начальником над цензорами, на которых прежде сочинял шутовские стихи, запретил дальнейшее печатание фельетонов Чернокнижникова, так что Тургенев и Боткин не имели уже более повода преследовать Некрасова за Дружинина[17].

Тургенев и В. П. Боткин почему-то не церемонились с Некрасовым и высказывали ему в глаза очень горькие истины о его стихах. Живо помню, как будто это было вчера, обстановку комнаты, позы и выражения лиц во время одного разговора, происходившего в начале пятидесятых годов, когда с каждым новым стихотворением Некрасова его известность увеличивалась и все его стихотворения, запрещенные цензурой, заучивались наизусть молодежью.

За утренним чаем Тургенев сидел в серой охотничьей куртке с зеленым воротником и, сложив руки, облоко-

тился на стол, а В. П. Боткин в беличьем халате сидел, углубясь в мягкое кресло. Перед Тургеневым стоял стакан кофе, а перед Боткиным — чай. Это происходило также в один из их приездов в Петербург, и они проживали у нас. Некрасов расхаживал по столовой. Панаев еще спал. Разговор зашел сперва о редакции объявления об издании «Современника» на следующий год. Я зачем-то вышла из столовой по хозяйству и, вернувшись через несколько минут за чайный стол, услышала, что разговор перешел уже к стихам Некрасова.

— Надеюсь, Некрасов, ты поймешь, — говорил Тургенев, — что мы для твоей же пользы высказываем наше искреннее мнение.

— Да с чего вы взяли, что я сержусь, — отвечал Некрасов на ходу.

— Не за что ему сердиться! не за что! он должен быть благодарен нам! — произнес В. П. Боткин. — Да, любезный друг, твой стих тяжеловесен, нет в нем изящной формы; это огромный недостаток в поэте.

— Ты слишком напираешь в своих стихотворениях на реальность, — заметил Тургенев.

— Да, да! а этого нельзя! — подхватил Боткин, — сильно напираешь, и это коробит людей с художественным развитием, режет им ухо, которое не выносит диссонансов как в музыке, так и в стихах. Поэзия, любезный друг, заключается не в твоей реальности, а в изяществе как формы стиха, так и в предмете стихотворения.

— Вчера мы с Боткиным провели вечер у одной изящной женщины с поэтическим чутьем, — сказал Тургенев, — она перечитала в оригинале все стихи Гете, Шиллера и Байрона. Я хотел познакомить ее с твоими стихами и прочел ей: «Еду ли ночью по улице темной». Она слушала с большим вниманием, и когда я кончил, знаешь ли, что она воскликнула? — «Это не поэзия! Это не поэт!»

— Да, да, — подтвердил Боткин.

— Я знаю, что мои стихотворения не могут нравиться светским женщинам! — проговорил Некрасов.

— Нельзя, любезный друг, так свысока относиться к мнению светских женщин, — запальчиво возразил Василий Петрович. — Пушкин, Лермонтов и те дорожили их одобрением, читали им свои стихи прежде, чем их печатали.

— До Пушкина и Лермонтова мне далеко! — отвечал Некрасов, — если я стану подражать им, то никуда не буду годен. У всякого писателя есть своя своеобразность; у меня — реальность.

Тургенев приводил сравнение между бриллиантом в первобытном виде и тем блеском, который он получает в искусных руках ювелира от грани. Он сопоставил параллель между деревенской красавицей и менее красивою женщиною, но с изящными светскими манерами.

— Изящная форма во всем имеет преимущество, — заключил Тургенев свою речь.

Василий Петрович изъявлял свое одобрение односложными восклицаниями: «Верно, прекрасно!», и, когда Тургенев замолчал, он наставительно обратился к Некрасову:

— Да, любезный, мы хлопочем, чтобы в твоих стихах не было грубой реальности. Вчера, возвращаясь домой от изящной женщины, мы всю дорогу говорили о твоих стихах и пришли к заключению, что ты на ложной дороге. Брось воспевать любовь ямщиков, огородников и всю деревенщину. Это фальшь, которая режет ухо. Ты не обижайся нашей дружеской откровенностью, поверь нам, что такая реальность, как, например, в твоем стихотворении «Еду ли ночью», претит всякому, у кого развито эстетическое понимание поэзии. Это профанация — описывать гнойные раны общественной жизни. Не увлекайся, пожалуйста, что мальчишки и невежды в поэзии восхищаются твоими подобными стихами, а слушайся людей, знающих толк в изящной поэзии. Не ты первый и не [ты] последний из молодых писателей, сгубивших себя мнимым успехом между неучами, ничего не смыслящими в истинной поэзии [18].

Некрасов ходил, понуря голову, но вдруг подошел к столу и произнес:

— Вы, господа, может быть, и правы с строгой точки эстетического взгляда на мои стихи, но вы забыли одно, что каждый писатель передает то, что он глубоко прочувствовал. Так как мне выпало на долю с детства видеть страдания русского мужика от холода, голода и всяких жестокостей, то мотивы для моих стихов я беру из их среды. И меня удивляет, что вы отвергаете человеческие чувства в русском народе! Он так же сильно чувствует любовь, ревность к женщине, так же беззаветна его любовь к детям, как и в нас!

Некрасов проговорил все это сильно взволнованным голосом и опять стал ходить по комнате, продолжая:

— Пусть не читает моих стихов светское общество, я не для него пишу.

— Значит, ты, любезный друг, пишешь для русского мужика, но ведь он безграмотен! — язвительно заметил Василий Петрович.

— Мне лучше тебя известно, что есть много грамотных мужиков, да и скоро русский народ поголовно будет грамотен, несмотря на то, что у него нет учителей.

— И будет выписывать «Современник»! — улыбаясь, произнес Тургенев.

Некрасов заметно смутился и прекратил ходьбу.

— Браво, браво, Тургенев! — воскликнул Василий Петрович и с сожалением в голосе продолжал: — Ай, ай, любезный Некрасов, поразил ты нас; такой практический человек, и вдруг такая маниловщина в тебе.

— Имеете право потешаться надо мной! — мрачно отвечал Некрасов. — Я вас еще более потешу и удивлю, если выскажу вам свою откровенную мысль, что мое авторское самолюбие вполне было бы удовлетворено, если бы, хотя после моей смерти, русский мужик читал бы мои стихи!

Василий Петрович в ужасе схватил себя за голову и воскликнул:

— Боже упаси нас видеть в тебе конкурента автора «Бовы королевича»[19]... Нет, ты сегодня, мой любезный друг, говоришь чистейший абсурд, — и иронически добавил: — Хочешь быть русским Беранже; но ведь ты, мой любезный, не сообразил, что во Франции народ цивилизованный, а наш русский — это эскимосы, готтентоты!

— Ты бы, Василий Петрович, лучше молчал о русском народе, о котором не имеешь понятия! — раздражительно воскликнул Некрасов.

— И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в таком государстве. Ведь вся Европа, любезнейший, смотрит на русского чуть ли не как на людоеда. Ты ведь не путешествовал по Европе, а мы в ней жили и не раз испытали стыд, что принадлежим к дикой нации[20].

— Если ты нашел, что я говорю сегодня абсурд, то ты сейчас перещеголял меня, Василий Петрович, — ответил Некрасов.

— Да, я европеец, а не русский дикарь, — разгорячась, воскликнул Василий Петрович.

Тургенев остановил Василия Петровича словами:

— Вы оба горячитесь и уклонились в сторону от предмета вашего разговора.

Василий Петрович хотел что-то возразить, но Тургенев прервал его словами: «Дай мне объяснить Некрасову насчет Беранже». И он начал доказывать, что Беранже мог быть народным поэтом, потому что во Франции, в больших городах, есть оседлый народ, до которого коснулась цивилизация, а в России народ является в столицу на время, запродать свой физический труд, и снова уходит в деревню, и столичная цивилизация не соприкасается с ним; каким он пришел в столицу, таким и уходит по своим деревням, так что, появись хоть десять народных поэтов в Петербурге, русский народ не будет иметь о них понятия.

Приход гостя прервал этот разговор.

Я восстановляю те разговоры, которые производили на меня сильное впечатление. В продолжение многих лет мне постоянно приходилось слушать людей, ведущих длинные разговоры за утренним чаем, за завтраком, за обедом, за ужином; поневоле эти разговоры врезывались в моей памяти. Теперь, я думаю, таких продолжительных разговоров и не может быть между литераторами, как прежде, потому что о многом они могут говорить в печати, а тогда должны были удовлетворяться одними только разговорами.

«Чтобы хорошо узнать человека, надо с ним съесть пуд соли», — говорит пословица, а мне пришлось съесть десяток пудов соли с некоторыми литераторами в течение тридцати с лишком лет.

В 1861 году, осенью, М. И. Михайлов, вернувшись из-за границы [21], пришел к нам утром с Сераковским, офицером генерального штаба. Сераковского я мало знала; он был небольшого роста, белокурый, с большими серыми глазами, смотревшими очень серьезно. Оба принесли по стихотворению для «Современника»: Михайлов — перевод из Гейне, а Сераковский — из Мицкевича [22], и прочитали их Некрасову, который попросил Сераковского прочесть его перевод по-польски. Сераковский совершенно преобразился, когда стал читать стихи по-польски:

глаза его сверкали, голос дрожал от волнения. После прочтения стихов он сказал: «Русский язык беден, чтобы передать всю мощь стиха Мицкевича», и добавил выразительным тоном, что «нация, которая может создавать таких поэтов, как Мицкевич, могуча, и никто не в силах подавить ее, она воспрянет еще прекраснее и сильнее, закалившись в страданиях».

Михайлов был очень весел и рассказывал смешные анекдоты из своего путешествия. Некрасов пригласил обоих на обед, который должен был быть на днях, по обыкновению, по выходе номера «Современника».

Михайлов обещался непременно быть, а Сераковский сказал, что через два часа уезжает в Вильну, где, кажется, служил.

Но на другое утро рано мы узнали, что в ночь Михайлов был арестован [23], Сераковского я также более не видала. В 1863 году он трагически покончил жизнь в Вильне на эшафоте [24].

Тысяча восемьсот шестьдесят первый и тысяча восемьсот шестьдесят второй годы были для меня очень тяжелыми годами; много сильных потрясений пришлось мне испытать. Помимо личных моих невзгод, и над журналом надвигалась грозовая туча. Предвестником этой грозы явилось негласное запрещение выписывать «Современник» в полковые библиотеки [25].

Доходившие до редакции разговоры о «Современнике» в обществе людей, имевших большое влияние на литературу, также ничего хорошего не предвещали. Немало имело влияния и то, что из среды самой литературы раздавались голоса о том, что главные сотрудники «Современника» — люди ужасные, которые нагло пропагандируют в журнале уничтожение всех нравственных возвышенных принципов — как в общественной жизни, так и в литературе. Каждую статью Чернышевского и других сотрудников комментировали, отыскивая в ней замаскированные зловредные мысли и утверждая, что она деморализующим образом действует на молодое поколение, которому будто бы твердят, что оно должно руководиться одним грубым материализмом и плевать на семейную жизнь, на нравственность женщин и на уважение ко всяким авторитетным людям [26]. Я уже не упоминаю о том, в каких грязных красках рисовали частную жизнь ближай-

ших сотрудников журнала. В доказательство всего этого приводили тот факт, что все порядочные литераторы отшатнулись от «Современника» и не дают в него ни одной строки.

Однако, несмотря на то, что «порядочные литераторы» не дают ни строки, подписка на журнал все увеличивалась [27].

Хотя о пожаре Апраксина рынка писано много, я все-таки должна упомянуть о нем.

В духов день [28], не могу в точности определить, чрез сколько времени после того, как по Литейной промчались пожарные, в дверях комнаты, где я сидела за работой, появился Андрей, мой лакей, и перепуганным голосом проговорил: «Авдотья Яковлевна, Петербург со всех сторон подожгли!»

У меня мелькнула мысль, что Андрей вдруг сошел с ума; я невольно посмотрела ему в глаза, но не нашла в них ничего дикого, кроме страшного испуга, а он поспешил добавить:

— Извольте сами выйти на подъезд и увидите, что делается на улице.

Я вышла на подъезд и в самом деле поразилась сумятицей, которая происходила на улице. Собственные экипажи мчались по направлению к Невскому, на извозчиках сидели и стояли по нескольку седоков. Народ толпами бежал посреди улицы, а на тротуаре у каждого дома стояли жильцы; у нашего подъезда также стояла группа прислуги и жильцов. На лицах всех было выражение испуга. Да и точно можно было испугаться скачущих экипажей, бегущей толпы народа и крика кучеров. К довершению всего, сильный ветер рвал с головы шляпы, пыль столбом подымалась с мостовой и ослепляла глаза. Мимо нашего подъезда две женщины вели под руки необычайной толщины купчиху; по ее красному, заплывшему жиром лицу текли ручьи пота; она пыхтела, как тендер, и стонала; туалет этого мастодонта был в беспорядке: косынка на голове сбилась набок, ворот у горла был расстегнут; сзади ее шли две молоденькие девушки с измятыми шляпками и заплаканными глазами, а за девушками плелась поджарая купчиха и голосила, словно провожала покойника, причитывая: «Святые угодники, взмилуйтесь надо мной, несчастной!» У нашего подъезда кто-то остановил голосившую купчиху расспросами.

Купчиха как бы обрадовалась, что может излить свое горе, и жалобным голосом отвечала:

— Милые мои благодетели, ковровый платок стащили с меня, ведь пятьдесят рублей стоил!

И купчиха начала рассказывать, что творилось в Летнем саду, где в этот день было гулянье, когда узнали, что горит Апраксин рынок.

— И, матушка, точнехонько свету преставление приключилось, мужской пол как бросился из саду, а за ним и наша сестра. В воротах такая стала давка, что смерть, а мошенники-душегубцы и ну тащить с нас, что попало. С меня сволокли ковровый платок, а с Марьи Савишны — тысячную шаль с брошкой сорвали. Кричали мы, кричали, да кому было нас, слабых женщин, защищать! С дочерей Марьи Савишны с шеи сорвали жемчуг. Вот в какое разорение все купечество подпало, до свадеб ли теперь, а нашей сестре приходится с голоду помирать.

Словоохотливая сваха, кажется, готова была болтать без конца, но все слушавшие ее обратили внимание на бежавшего впопыхах приказчика из фруктовой лавки нашего дома. Он на бегу сообщил известие, что подожгли Коломну и Васильевский остров и скоро подожгут Литейную.

Это известие произвело сильнейший переполох; все в ужасе ахали, а одна женщина вскрикнула:

— Господи, меня господа оставили одну при квартире, уехав на дачу... Что я могу вытащить, когда у меня и теперь ноги и руки дрожат!

— У нас полон двор уставлен дровами! — вскрикнул Андрей.

— Во! с нашего дома и подпалят! В этой сумятице долго ли поджигателям забраться во двор да сунуть зажженной пакли в дрова — и готово! — произнес кучер, на которого накинулись все за его пророчество.

— Ворота надо запереть, дворника заставить не пропускать во двор чужих, — послышались со всех сторон советы.

Андрей в отчаянии заметил, что хозяин дома на даче, а управляющий тоже с утра уехал на свою дачу.

Женская прислуга разом заговорила, что жильцы имеют право потребовать от дворников, чтобы они заперли ворота, но кучер утвердительно заметил:

— Не поможет! У поджигателей, сказывают, имеется такой состав: мазанут им стену дома, а он через час

пречудесно вспыхнет. Известно — все поляки поджигают.

— Вместе с нигилистами! — мрачно проговорил какой-то господин с орденом на шее, проходя мимо[29].

Все устремили на него глаза, а он продолжал невозмутимо свою дорогу, расталкивая публику на тротуаре.

— Ах, — вскрикнула одна женщина. — Литейная загорелась, смотрите, дым какой!

Все стали смотреть по направлению к Невскому, но, кроме столбов пыли, я ничего не заметила. Кому-то почудилось, что уже запахло гарью, и все подняли носы кверху, нюхая воздух. Я ушла в комнаты, но через час оделась и вышла из подъезда, чтобы посмотреть на пожар. Андрей пришел в ужас, что я ухожу и некому будет распорядиться, когда придется спасать вещи из квартиры, — так сильно он был убежден, что Литейную непременно подожгут.

На Невском действительно пахло гарью и облака дыма носились в воздухе. Движение экипажей и народа было здесь необычайное.

Я остановилась на тротуаре против Троицкого переулка, который представлялся как бы вымощенным человеческими головами, такая плотная масса народа стояла в нем. Всюду слышались толки о поджигателях.

Я перешла Аничкин мост и медленно двигалась по набережной Фонтанки к Чернышеву мосту в толпе публики. С площади неслись черные тучи дыма, заволакивая небо, а позади черных туч дыма виднелось огненное небо. По временам высоко поднимался столб пламени, рельефно обрисовываясь на темном фоне дыма, и из столба, словно дождь, сыпались крупные искры, которые ветер кружил и разносил на далекое пространство. Сила ветра была так сильна, что с места пожара взлетали горящие головни и, перелетая через Фонтанку, падали на крыши домов, продолжая гореть, как факелы. Народ бегал по крышам и сбрасывал вниз головни.

В Апраксином рынке было столько горючего материала, как в любой пиротехнической лаборатории, да и в горевших переулках его было немало, особенно в Чернышевом. Сильный ветер, разнося крупные искры, от которых то тут, то там загорались деревянные постройки и дровяные склады, делал борьбу с пожаром почти бесплодной.

Я не решилась приблизиться к Чернышеву мосту, боясь быть задавленной несметной толпой, постоянно прибывавшей, и вернулась домой, где нашла прислугу еще более наэлектризованною уличными рассказами о поджигателях.

Я сочла излишним разубеждать прислугу в нелепости этих слухов, зная вперед, что моим словам не придадут веры.

На другой день утром я пошла посмотреть на сгоревший Апраксин рынок; несмотря на раннее время, на площади у Чернышева моста толпилось множество народу. Площадь представляла совершенный хаос: она была покрыта сажей и угольями и загромождена сломанной мебелью, сундуками и узлами, на которых сидели их обладатели, оберегая их; всюду валялись полуобгорелые дела и бумаги из дома министерства внутренних дел, и ветер шелестел листьями, точно любопытствуя прочесть, что в них написано. В выгоревший рынок мне не удалось попасть, потому что входы его оберегались солдатами, равно как и входы с Фонтанки в горевшие накануне переулки. Но я все-таки попала в Троицкий переулок через Владимирскую улицу. Печальное зрелище увидела я: по обеим сторонам торчали закопченные остовы домов с выбитыми рамами, без крыш, и свет проникал в разрушенные дома сверху до подвальных этажей и ярко освещал внутреннее разрушение. Обгорелые балки торчали в разных видах: одни, до половины сгоревшие, держались прямо, и на них были перекинуты другие балки; иные висели вниз, точно на воздухе. В одном доме на полуразрушенной стене комнаты каким-то чудом уцелел большой поясной портрет в золоченой раме.

Вся мостовая была завалена выбитыми из домов рамами, искалеченною мебелью и домашнею утварью. Дровяной двор представлял склад углей, в котором копошились черные силуэты пожарных, заливавших тлеющие остатки, и струи дыма с огоньком местами виднелись на черном фоне.

В одном каменном разрушенном доме еще дымился подвальный этаж, и около него стояла машина, на которой усердно качали воду два молодых человека с длинными волосами и в шляпах с широкими полями, какие тогда преимущественно носила учащаяся молодежь. На сломанном шелковом диване, возле машины, сидели

в изнеможении двое пожарных; вероятно, молодые люди, сжалясь над ними, сменили их на время, чтобы качать воду. Так как было еще очень рано, то собравшаяся публика состояла преимущественно из простонародия. Я не решилась протиснуться дальше и стояла за толпой зрителей. Впереди меня какой-то мастеровой сказал:

— Молодцы, господа, ишь как лихо работают!

Какой-то жирный лавочник, стоявший около него, ответил на это:

— Хороши эти молодцы, — вечор подожгли, а теперь для отводу глаз качают воду да еще посмеиваются.

Все, кто стоял около жирного лавочника, заволновались, а лавочник продолжал:

— Мне сказывал верный человек, генерал, что студенты с поляками заодно хотели спалить весь город.

— Что же полиция смотрит! — воскликнул кто-то.

— И без полиции справимся! Ребята, сволочем их с машины! — гаркнул мастеровой, только что хваливший молодых людей, и ринулся вперед, а за ним двинулась вся толпа.

У меня замерло сердце, мне вспомнилось живо, как я в детстве с ужасом смотрела с балкона на бедного чиновника, с которым расправлялся народ в первую холеру, заподозрив в нем отравителя съестных припасов в мелочной лавочке.

Молодые люди мгновенно исчезли с машины, около которой волновался народ; за толпой мне ничего не было видно. Но вдруг часть толпы двинулась по направлению к Пяти Углам, а другая часть стала расходиться. У меня отлегло от сердца, когда я спросила у двух проходивших мимо меня с места происшествия — что случилось? Один мне ответил: «Изловили двух молодцов поджигателей. Здорово бы потрепали их, если бы полиция не увела их в часть. Выпустят; ведь, сказывают, у них полны карманы денег — поляки их подкупили».

Какая-то пожилая женщина в платке, стоявшая около меня, перекрестилась и радостно произнесла: «Слава те, господи, что изловили этих нехристей, а то опять быть пожару».

Я уже говорила о том, что до редакции «Современника» доходили слухи о собиравшихся над ним тучах. И, действительно, гроза разразилась очень скоро. В начале июня 1862 года «Современник» лишился глав-

ного своего сотрудника [30], а вскоре затем был приостановлен на восемь месяцев.

В 1863 году, после восьмимесячного отдыха, «Современник» снова стал выходить, к огорчению его недоброжелателей. Из числа этих недоброжелателей литераторы торжествовали было уже победу и пропели вечную память «Современнику», рассчитывая, что Некрасов не захочет больше возиться с изданием. Можно судить, как были они изумлены, когда разнесся слух, что «Современник» не только возникает вновь, но в нем будет напечатан роман Чернышевского.

Эти слухи были приписаны выдумке Некрасова с целью чем-нибудь заманить подписчиков.

Между тем редакция «Современника» в нетерпении ждала рукописи Чернышевского. Наконец, она была получена со множеством печатей, доказывавших ее долгое странствование по разным цензурам.

Некрасов сам повез рукопись в типографию Вульфа, находившуюся недалеко — на Литейном, около Невского. Не прошло четверти часа, как Некрасов вернулся и, войдя ко мне в комнату, поразил меня потерянным выражением своего лица.

— Со мной случилось большое несчастье, — сказал он взволнованным голосом, — я обронил рукопись!

Можно было потеряться от такого несчастья, потому что черновой рукописи не имелось. Чернышевский всегда писал начисто, да если бы у него и имелась черновая, то какие продолжительные хлопоты предстояли, чтобы добыть ее!

Некрасов в отчаянии воскликнул:

— И черт понес меня сегодня выехать в дрожках, а не в карете!.. И сколько лет прежде я на ваньках возил массу рукописей в разные типографии и никогда листочка не терял, а тут близехонько и не мог довезти толстую рукопись!

Некрасов не мог дать себе отчета, в какой момент рукопись упала с его колен:

— Задумался, смотрю: рукописи нет; я велел кучеру повернуть назад, но на мостовой ее уже не было, точно она провалилась сквозь землю... Что теперь мне делать?

Я поторопила Некрасова написать объявление в газеты о потере рукописи и назначить хорошее вознаграждение за ее доставку. Некрасов назначил 300 рублей

награды. Он глухо обозначил, что это была за рукопись, так как ему, понятно, не хотелось, чтобы в литературной среде узнали о его потере и воспользовались этим для неблагоприятных толков; и он просил меня не говорить пока никому о случившемся.

Некрасов так был взволнован, что не мог обедать; был то мрачен и молчалив, то вдруг начинал говорить о трагической участи рукописи, представляя себе, как какой-нибудь безграмотный мужичок поднял ее и немедленно продал за гривенник в мелочную лавку, где в ее листы завертывают покупателям сальные свечи, селедки, или какая-нибудь кухарка будет растапливать ею плиту и т. п.

На другое утро объявление было напечатано в «Полицейских ведомостях», и Некрасов страшно волновался, что никто не является с рукописью в редакцию.

ПОТЕРЯ РУКОПИСИ.

Въ воскресенье, 3 февраля, во второмъ часу дня, проѣздомъ по Большой Конюшенной отъ гостинницы Демута до угольнаго домъ Капгера, а оттуда чрезъ Невскій проспектъ, Караванную и Семеновскій мостъ до дома Краевскаго, на углу Литейной и Бассейной, оброненъ свертокъ, въ которомъ находились двѣ прошнурованныя по угламъ рукописи, съ заглавіемъ: ЧТО ДѢЛАТЬ. Кто доставитъ этотъ свертокъ въ означенный домъ Краевскаго, къ Некрасову, тотъ получитъ ПЯТЬДЕСЯТЪ РУБ. СЕР.

— Значит, погибла она! — говорил он в отчаянии и упрекал себя, зачем он не напечатал объявления во всех газетах и не назначил еще больше вознаграждения [31].

В этот день, по обыкновению, Некрасов обедал в английском клубе, потому что там после обеда составлялась особенная партия коммерческой игры, в которой он

участвовал. Он хотел остаться дома, но за ним заехал один из партнеров и почти силою увез с собой.

Некрасов перед своим уходом пришел на мою половину и просил меня немедленно прислать за ним в клуб, если кто явится с рукописью, и удержать это лицо до его возвращения.

Не прошло четверти часа после его отъезда, как лакей пришел сказать мне, что какой-то господин спрашивает редактора. Я поспешила выйти в переднюю и увидала пожилого, худощавого господина, очень бедно одетого, с отрепанным портфелем под мышкой. Можно было безошибочно определить, что он принадлежит к классу мелкого чиновничества. Я его спросила — не рукопись ли он принес?

— Да-с... по объявлению... желаю видеть-с самого господина редактора, — конфузливо отвечал он.

Я пригласила дорогого посетителя войти в комнату и подождать несколько минут, и послала человека за Некрасовым в клуб, который помещался тогда очень близко, на Фонтанке, около Симеоновского моста, написав два радостные слова:

«Рукопись принесли».

Я начала беседовать с чиновником; он сперва конфузился, но потом разговорился и рассказал мне, что поднял рукопись на мостовой, переходя Литейную улицу у Мариинской больницы, и долго стоял, поджидая — не вернется ли кто искать оброненную рукопись.

Я спросила его, почему он раньше не принес рукопись.

— Газеты не получаю-с, со службы хотел зайти просмотреть газеты, да, уходя домой, случайно услышал от своих товарищей объявление о потере рукописи. Я-с прямо и пришел сюда.

Я успела узнать, что у чиновника большая семья: шесть человек детей и старуха мать, что он лишился казенной службы вследствие сокращения штатов, и теперь занимается по вольному найму в одном ведомстве за 35 рублей месячного жалованья, и на эти деньги должен содержать всю семью.

Явился Некрасов и впопыхах, не снимая верхнего платья, вошел в комнату и спросил чиновника:

— Где рукопись?

Чиновник переконфузился и, запинаясь, отвечал:

— Дома-с... я пришел только...

Некрасов перебил его:

— Скорей поезжайте за ней, скорей!

Чиновник торопливо вышел из комнаты.

Я заметила Некрасову, что, может быть, у такого бедняка нет денег на извозчика. Некрасов вернул его и, вынув из бокового кармана пачку крупных ассигнаций, сунул ему в руку 50 рублей, говоря:

— Ради бога, скорей поезжайте за рукописью!

— Какое счастье, что она нашлась! — радостно произнес Некрасов.

Но недолго продолжалось его радостное настроение: он начал волноваться от нетерпения!

— Вот дурак-то! дома ее оставил! жди теперь его.

— Чего вы теперь-то волнуетесь? — заметила я. — Слава богу, она нашлась.

— Нашлась! Мало ли что может случиться: наедет на него карета... выпадет с дрожек!..

Должно быть, рукопись у чиновника находилась поблизости у кого-нибудь на хранении, потому что он никак не мог так скоро съездить на Петербургскую сторону.

Лицо Некрасова просияло, когда он увидал рукопись в руках вошедшего чиновника. Он отдал ему деньги, взял рукопись и стал пересматривать, в целости ли она.

Надо было видеть лицо чиновника, когда в его дрожащей руке очутилась такая сумма денег, вероятно в первый раз. Он задыхался от радостного волнения и блаженно улыбался; но, однако, торопливо возвратил 50 рублей Некрасову, проговорив:

— Это-с, что вы мне дали прежде.

Некрасов и позабыл об этих 50 рублях [32].

— Оставьте их у себя, пожалуйста! — отвечал Некрасов. — Есть у вас дети?

— Много-с!

— Так это им от меня на игрушки.

— Господи, господи! думал ли я, поднимая с мостовой рукопись, что через нее мне будет такое счастье! — проговорил чиновник и стал благодарить Некрасова, который ему отвечал:

— И вас благодарю за доставление мне рукописи.

Если бедный чиновник был счастлив, то Некрасов, конечно, не менее его.

Роман Чернышевского имел огромный успех в публике, а в литературе поднял бесконечную полемику и споры.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Слепцов и его «коммуна». — «Трудное время».

В 1862 году в «Современнике» начал сотрудничать В. А. Слепцов. Первое его произведение было «Письма об Осташкове»[1]. Молодому автору пришлось увидеть в печати окончание своих писем лишь через восемь месяцев, когда «Современник», отбыв срок наказания, снова стал выходить[2]. В 1863 и 1864 годах были напечатаны в «Современнике» несколько рассказов Слепцова: «Питомка», «Казаки», «Постоялый двор», «Сцены в больнице»[3] и, кроме того, маленькие статейки в «Петербургской хронике». По началу литературной деятельности Слепцова можно было ждать, что он будет плодовитым писателем. С каждым новым рассказом Слепцов приобретал расположение читающей публики и быстро занял видное положение между молодыми литераторами.

Слепцов приехал в Петербург в самый разгар женского вопроса и сделался горячим его пропагандистом. Многие думали, что в сущности он относился к этому вопросу индифферентно, и если принимал в нем участие, то не серьезно, а лишь в виде развлечения, подобно другим тогдашним молодым людям. Причина такого ошибочного мнения проистекала из того, что Слепцов был очень застенчив, но никто не подозревал этого, потому что застенчивость в нем маскировалась наружным спокойствием. В малознакомом обществе Слепцов был молчалив и только в самом коротком кружке был разговорчив и очень остроумен. Он вообще не высказывал шумливо своих взглядов на вещи, не выставлял напоказ своей деятельности в пользу женского вопроса и не стремился завоевать себе видное место среди учащейся молодежи[4].

Между тем если проследить деятельность Слепцова в женском вопросе, то нельзя не убедиться, что так мог действовать только человек в высшей степени увлекающийся. Слепцов постоянно хлопотал применять на практике свои проекты в пользу женского вопроса. Его увлечение не охлаждалось неудачами; если один его проект терпел фиаско, он с таким же рвением принимался за другой.

В 1863 году по инициативе Слепцова устроились частные популярно-научные лекции для женщин. На

моих глазах происходили все хлопоты Слепцова относительно организации этих лекций. Наконец они открылись в квартире одного господина из общих наших знакомых. Быть лекторами на этих лекциях Слепцов уговорил нескольких молодых людей из сочувствующих женскому вопросу. Правда, что это были не ученые специалисты, но настолько образованные люди, что женщины могли вынести из их лекций элементарные сведения по физике, химии и гигиене[5]. Слепцов также был в числе лекторов и должен был читать на первой лекции о составе воды и о применении ее силы к механике. Все лекторы добросовестно готовились к лекциям.

Я приехала на лекцию аккуратно в назначенный час, но все стулья уже были заняты слушательницами, между которыми находились дамы и девицы не из круга учащихся. Слепцов засуетился, видя, что для меня нет стула.

— Я повытаскал в зало стулья из всех комнат, — говорил он, — только в кухне осталась табуретка, — и добавил с гордостью: — Видите, я был прав, что в наших лекциях чувствуется большая потребность — сколько явилось слушательниц! Погодите, скоро это зало окажется малым.

Нельзя было строго относиться к читавшим лекции, потому что никто из них не предназначал себя к этой профессии, и все в первый раз читали публично.

Когда очередь дошла до Слепцова, то он шепнул мне:

— Вообразите, я чувствую нервную лихорадку, мне стыдно читать мою пародию на лекцию.

Я торопила его идти на импровизированную кафедру. Он произнес «осрамлюсь» и пошел к столу, но сохраняя наружное спокойствие, так что никто и не подозревал, что он сильно оробел.

Наружность у Слепцова была очень эффектная и отличалась изяществом; у него были великолепные черные волосы, небольшая борода, тонкие и правильные черты лица; когда он улыбался, то видны были необыкновенной белизны зубы. Цвет лица был матово-бледный. Он был высок, строен и одевался скромно, но тщательно.

Лекция Слепцова была не лучше других, но он читал мастерски, и когда окончил чтение, то слушательницы зааплодировали.

С лекции я пошла домой пешком; Слепцов и еще двое наших общих знакомых провожали меня. Слепцов объявил нам, что более не будет читать лекций. Мы все удивились и стали его спрашивать: почему?

— Достаточно для меня и один раз испытать те ощущения, какие я сегодня испытал, — отвечал Слепцов. — Точно стоял на Лобном месте и подвергался позорной экзекуции.

И Слепцов принялся смешить нас, критикуя свою лекцию.

— Меня надо было освистать, прогнать из залы за мою лекцию, — говорил он.

— Зачем же вы так торопились начинать лекции? подготовились бы хорошенько! — заметила я Слепцову.

— Надо было торопиться, — ответил он. — Если бы отложить начало лекций, то одушевление прошло бы, и тогда, пожалуй, они не удались бы; есть пословица: куй железо — пока горячо! Главное дело сделано — дан толчок.

Но, к огорчению Слепцова, с каждой лекцией число слушательниц все убывало, потому что пошли слухи, что хозяина залы, где читались лекции, призывали куда следует для объяснений о сборищах в его квартире и требовали, чтобы более их не было. Кроме того, учащиеся женщины утром были заняты, а мнимо учащиеся (которых было тогда много), побывав на первой лекции, нашли, что там слишком много бывает аристократок (так называли тогда женщин, хорошо одевающихся), и не желали сидеть вместе с ними. Дамы же, которых считали за аристократок, испугались слухов, что во время чтения может явиться полиция, и перестали посещать лекции.

Наконец на одну из лекций явилось всего восемь слушательниц. Слепцов расхаживал по пустой зале в ожидании, не прибудет ли хоть еще немного публики, чтобы начать лекцию; но ожидания его оказались напрасными. Тогда он сел за стол и позвонил в колокольчик. Присутствующие в зале прекратили разговор и смотрели на Слепцова, который встал и произнес следующую речь:

— Милостивые государыни и милостивые государи, прошу вашего внимания. Я должен сказать надгробное слово преждевременно погибшим нашим лекциям. С душевным, глубоким прискорбием я обязан объявить

вам, что за отсутствием слушательниц лекции прекращаются. Но, покидая эту залу, я, как Галилей, воскликну: «А все-таки эти лекции принесли бы большую пользу женщинам в общем их образовании».

Слепцов раскланялся и вышел на середину залы. Его речь оживила всех, потому что присутствующие соскучились сидеть в пустой зале около часа. Мы все вместе, разговаривая, вышли из залы.

Слепцов, сходя с лестницы, сказал:

— Я, господа, не падаю духом, я уверен, что наши лекции еще возобновятся. Женщины хорошенько вникнут, какую пользу могли они извлечь для себя из них, — сами будут нас просить опять их открыть.

Слепцов не оставлял мысли продолжать лекции; он хотел привлечь к участию в них тогдашних молодых профессоров, которые очень сочувственно относились к высшему образованию женщин. Но Слепцов увлекся скоро новым проектом, который поглотил все его внимание.

Надо заметить, что 25 лет тому назад одинокой женщине очень трудно было найти комнату в порядочном семействе. Тогда еще не было особенной нужды прибегать ко всевозможным экономическим средствам, живя в Петербурге, так что барышни или дамы, приезжавшие учиться в Петербург, вынуждены были нанимать комнаты в меблированных квартирах, которых также было немного. Содержательницами дешевых меблированных комнат исключительно были тогда: устарелые чиновницы, нажившиеся кухарки, которые в молодости, как говорят, прошли огонь и воду, так что с такими особами и порядочному мужчине не очень-то приятно было иметь дело, а не только женщине.

Слепцов сам испытал всю прелесть нанимать комнаты у таких квартирных хозяек, и ему пришла мысль устроить общую квартиру и поселиться в ней вместе с несколькими лицами из круга своих знакомых. Его проект имел много преимуществ: во-первых, живущие избавлялись от бесцеремонной квартирной хозяйки, которая из своих экономических расчетов морозила жильцов в нетопленных комнатах, отравляла их обедами из несвежей провизии и часто пускала таких жилиц, у которых по ночам происходили пирушки и разные безобразия. Во-вторых, жизнь на общей квартире обходилась, разумеется, гораздо дешевле [6].

Будущие члены общей квартиры собрали на меблировку и обзаведение хозяйства небольшую сумму денег, потому что все они были люди, существовавшие литературным трудом.

Слепцов был мастер покупать все дешево и хорошо и с утра до ночи бегал, приискивая подходящую квартиру и закупая подержанную мебель и разные хозяйственные вещи. Я удивлялась неутомимости Слепцова. Разве мог бы все это делать человек не увлекающийся?

Слепцов нашел квартиру на Знаменской улице, правда, в самом верхнем этаже, но лестница была очень хорошая, со швейцаром. Слепцов сделал несколько планов квартиры и роздал их будущим жильцам, чтобы они могли выбирать себе комнаты. Одну большую комнату Слепцов сделал общей, где в известный час должны были все собираться на утренний, вечерний чай, на обед, так как прислугу предполагалось иметь одну, и нужно было соблюдать, кроме порядка, и экономию в хозяйстве. Общая трапеза, конечно, должна была обходиться дешевле, чем каждому отдельно. Для приема гостей Слепцов также назначил один вечер в неделю. Круг знакомых у всех членов почти был общий[7].

Слепцов при устройстве общей квартиры выказал большие организаторские способности. Когда все комнаты были заняты, оказалось, что дамский элемент преобладал; мужчин было только двое: Слепцов и его приятель А. Ф. Головачев[8].

Слепцов с восхищением рассказывал мне о хозяйстве на общей квартире, и я увидела, что он разыгрывал роль экономки.

— У вас не будет времени работать, а вам давно бы пора сесть писать, — заметила я ему.

— Дайте только наладить порядок в хозяйстве, тогда я и примусь писать, — отвечал Слепцов.

— Вовсе не ваше дело налаживать порядок в хозяйстве; ваши дамы гораздо лучше сумеют это сделать.

— В том-то и беда, что все они ничего не понимают в хозяйстве, — возразил Слепцов, но утешал себя, что дамы попривыкнут, и все пойдет хорошо.

Слепцов шутя назвал общую квартиру «коммуной», и это название было усвоено всеми знакомыми; иначе не говорили: «Я был в коммуне», или: «Завтра вечером увидимся в коммуне?»

Слепцов выговаривал мне — почему я не хочу бывать в коммуне в назначенные дни, говоря:

— С каждым разом все более и более собирается у нас народу, ни стульев, ни чайной посуды у нас не хватает на всех гостей. Надо было бы всего прикупить, да денег ни у кого нет. Прислуга ворчит, что в приемный день ей надо раз пять нагревать наш небольшой самовар. Жаль, что у меня нет денег! я бы завел образцовое хозяйство в нашей коммуне.

— Вы и так потратили достаточно своих денег на устройство вашей коммуны, — заметила я,—боюсь, что вы запутаетесь с этим хозяйством. Гораздо лучше было бы не иметь домашнего стола.

— Ну, это что же было бы! семейного характера не имела бы наша коммуна! Нам-то это не так важно, а для наших дам домашний стол необходим.

Наконец я собралась в приемный день поехать вечером в коммуну. Когда я вошла в зало, то нашла в нем уже много собравшихся гостей. Я более или менее знала почти всех членов коммуны, да и большую часть их знакомых.

Зало было довольно большое, но низковатое и плохо освещенное; небольшая лампа висела над длинным столом, обитым клеенкой, и кругом его сидели за чаем члены коммуны и гости; некоторые из гостей, за неимением стульев, расхаживали по комнате или сидели на окнах. Кроме стульев и стола, не имелось другой мебели. Слепцова не было в зале[9]; я спросила, где он, и мне отвечали, что он в кухне ставит самовар, потому что старая прислуга отошла, а новая — еще не переехала. Смешно было видеть Слепцова с его изящной наружностью, когда он явился в зало с кипящим самоваром. Поздоровавшись со мной, он сказал:

— Какая досада, что вы застали беспорядок в нашем хозяйстве. Впрочем, вы сами — хорошая хозяйка, и знаете, что при перемене прислуги всегда происходит маленькое расстройство. Новая прислуга обещала переехать сегодня утром и обманула.

Говоря это, Слепцов уселся разливать чай и затем тихонько сказал мне:

— Ни одна из наших дам не хочет разливать чай, находят, что — слишком скучно.

Гости все прибывали; в числе их приехала Суслова, только что начавшая заниматься медициной. Она резко

отличалась от других тогдашних барышень, которые тоже посещали лекции в университете и в медицинской академии. В ее манерах и разговоре не было кичливого хвастовства своими занятиями и того смешного презрения, с каким относились они к другим женщинам, не посещающим лекций. Видно было по энергичному и умному выражению лица молодой Сусловой, что она не из пустого тщеславия прослыть современной передовой барышней занялась медициной, а с разумной целью, и серьезно относилась к своим занятиям, что и доказала впоследствии на деле. Когда в Петербурге доступ женщинам на лекции в медицинскую академию был запрещен [10], Суслова уехала в Цюрих слушать лекции. В 1868 году она первая из русских женщин (и чуть ли не из первых европейских женщин) получила диплом доктора медицины [11] и вернулась в Петербург держать экзамен в медико-хирургической академии. Какую сенсацию тогда произвела она в обществе, особенно в корпорации докторов, среди которых образовались две партии: одни были возмущены дерзостью женщины, претендующей сделаться их коллегой (тогда твердо укоренилось общее убеждение, что у женщины настолько слабы умственные способности, что она не может усвоить себе никакой науки). Другая партия докторов явилась защитниками умственной равноправности женщины.

Госпожа Суслова блистательно оправдала на экзамене защитников женщин, получила докторский диплом и быстро приобрела практику. В 1869 году она вышла замуж за швейцарского подданного Эрисмана, молодого ученого, ныне известного гигиениста.

Госпожа Суслова занималась также и литературой; в 1864 году в «Современнике» были напечатаны два ее произведения: «Рассказ в письмах» и «Чудная». Понятно, что она не продолжала свою литературную карьеру, посвятив себя медицинской науке [12].

Как пионерке, Сусловой пришлось испытать и преодолеть массу неприятностей и препятствий на своем пути; надо было иметь сильный, энергический характер, чтобы дойти до цели, не смущаясь враждебностью и оскорбительными насмешками.

Упомяну еще о г-же Боковой, с которой я познакомилась, когда она была еще молоденькой женщиной, также слушала лекции в медицинской академии и также должна была уехать за границу, чтобы учиться меди-

цине, получила в Гейдельберге диплом на доктора-окулиста [13] и сделалась известной в Лондоне как искусный глазной оператор. Г-жа Бокова также занималась литературой; она перевела почти всего Брэма, которого издавал выпусками молодой естественник В. О. Ковалевский.

В. О. Ковалевский часто бывал у нас, он-то и познакомил меня со своей невестой, которой тогда было всего лет семнадцать. Это была очень хорошенькая барышня, живая, веселая, но уже тогда избравшая себе целью изучить высшую математику. Теперь г-жа Ковалевская сделалась профессором в Стокгольмском университете [14].

Я уклонилась от коммуны, но мне хотелось показать, какие результаты получались из тогдашнего женского вопроса.

Я была в коммуне не более двух раз, но знала от Слепцова, как идет хозяйство в ней: по всему было видно, что оно ведется не в порядке, потому что надо было соблюдать большую экономию во всем, а какая может быть экономия, когда гости собирались не только раз в неделю, но стали бывать в коммуне каждый день и утром и вечером, обедали, пили чай. Благодаря разным личностям, бывавшим в коммуне, распространялись всякие сплетни о живущих в ней. Когда я стала говорить Слепцову об этих случаях, он отвечал:

— Не стоит обращать на это внимание, пусть себе болтают всякий вздор, избежать этого трудно. Все отлично знают, что женщины жили прежде в меблированной квартире точно так же вместе с мужчинами, да еще бог знает с какими. Рутина в общественной жизни так сильна, что какое бы ни явилось в ней полезное исключение, оно производит гвалт; покричат, поболтают и перестанут.

Но невыгодные слухи о коммуне принимали все большие и большие размеры. Уверяли, будто бы в коммуне каждый день бывает большое сборище мужчин и женщин, которые пируют всю ночь, что за ужином разливное море вина, посетители и хозяева напиваются до безобразия и гости только на другой день расходятся по домам.

А между тем в коммуне, кроме чаю, никаких других угощений не подавалось гостям. Если впоследствии появилось в печати неверное описание жизни членов в

коммуне, то это можно приписать лишь галлюцинации автора, видевшего описанное им во сне [15].

В городе распространились слухи, будто образовалась новая секта под названием «коммуна» и что культ этой секты — самая безнравственная разнузданность. Городовые бессменно торчали у подъезда квартиры коммуны. Прислуга, которой отказывали в коммуне или за бесцеремонное воровство при покупке провизии, или за большое количество кумовьев, торчащих постоянно в кухне, вымещала свою злобу, рассказывая небывальщину о своих бывших хозяевах.

Некоторые дамы, опасаясь компрометировать себя, выехали из коммуны, а остальным слишком дорого обходилась жизнь на общей квартире, и коммуна распалась [16].

Мне жаль было Слепцова, потому что все подсмеивались над ним и его неудавшейся коммуной, но он хладнокровно относился к этим насмешкам и говорил мне по этому поводу:

— Не стоит смущаться неудачей в полезных общественных делах, потому что большинство общества податливо на усвоение пустых рутинных обычаев в общественной жизни, и чуть возникает новизна, хоть и полезная, она вызывает рутинеров на глумление. Не следует робеть перед этим, иначе в общественной жизни не было бы никакого прогресса. Прогресс только и может быть тогда, когда люди действуют наперекор рутине. Посмотрите, как большинство восстает теперь против высшего образования женщин, а через несколько лет это же большинство будет пользоваться плодами высшего образования женщин.

Я не встречала другого человека, который, подобно Слепцову, мог бы относиться так спокойно, когда сидел без гроша денег. А надо заметить, что Слепцов очень любил комфорт, но никогда не раздражался от затруднительного своего финансового положения; напротив, бывало, смешит до упаду, рассказывая свои объяснения с квартирной хозяйкой, требующей у него денег за комнату, или с своим дешевым портным, являвшимся к нему со счетом. Слепцов имел дар с ними разговаривать так, что кредиторы расставались с своим должником самым миролюбивым образом. Где бы Слепцов ни поселялся в меблированной квартире, прислуга чувствовала к нему особенное расположение и всеми силами стара-

лась угодить ему. Вообще у Слепцова в голосе было что-то ласкающее, так что люди из простого класса, из самых мрачных и молчаливых, делались с ним разговорчивыми до откровенности. Я очень любила слушать, когда Слепцов беседовал с кем-нибудь из этого класса людей; с каждым из них у него был особенный слог, который совпадал с языком какого-нибудь мастерового, мужика-рабочего или торговки-бабы. Он так умел шутить с ними, что они от души смеялись.

Слепцов не унимался и продолжал возиться с новыми своими проектами. Он хлопотал устроить женскую переплетную мастерскую, открыть контору переводов с иностранных языков и переписки рукописей, чтобы доставлять работу женщинам, которых тогда много съехалось в Петербург из провинции, чтобы получить высшее образование. Многие барышни явились в столицу без всяких средств к жизни, с одними надеждами, что достанут себе уроки или переводы, обеспечат ими свое существование и будут учиться. Но конкуренция на этот труд так понизила плату, что и те, кому посчастливилось получить уроки или перевод, должны были испытывать большие лишения. Никаким заработком не брезгали барышни—шли даже в наборщицы в типографии. Слепцов был прав, говоря, что надо придумать хоть какой-нибудь заработок нуждающимся в нем женщинам. Будь деньги у Слепцова, он, наверно, устроил бы мастерские для женщин, но, к несчастию, у него их не было, и он сам постоянно нуждался: возьмет вперед из редакции деньги, уплатит долги и опять сидит без гроша. Слепцову хотелось составить общество из людей достаточных, которые на словах очень сочувственно относились к женскому вопросу, но он только терял время на эти хлопоты.

— Странное дело, — говорил он, — на всякий пустяк люди бросают деньги, а чуть коснется чего-нибудь полезного, так не уломаешь их принять участие. Является какая-то недоверчивость в полезность дела, боятся, что пропадут деньги, точно дело идет не о нескольких стах рублях, а о целом состоянии! А как слушаешь их, так они, кажется, готовы пожертвовать даже своей жизнью из-за своих принципов. Ну, да обойдемся и без них: с миру по нитке — голому рубашка.

Слепцов устроил частный литературно-музыкальный вечер в пользу двух приезжих барышень, которые очутились в безвыходном положении. На этом вечере

участвовал композитор Серов, две сестры-музыкантши (фамилии их не помню), Минаев читал стихи и еще кто-то из новичков литераторов. Сам Слепцов для этого вечера написал маленький рассказ «Спичка», подражание сказкам Андерсена [17].

Билетов было роздано очень много через знакомых, так что зала, в квартире одного семейства, не могла вместить всей публики, и многие должны были слушать чтение и музыку из соседних комнат.

Сбор оказался изрядный, потому что многие давали в пять раз более за билет. Слепцов проектировал дать несколько таких литературно-музыкальных вечеров, чтобы на сбор с них открыть женскую переплетную мастерскую. Но его планы рушились, потому что получены были достоверные сведения, что на него обращено особенное внимание за устройство коммуны и за ним зорко следят, как за организатором разных сборищ под видом частных лекций и литературных чтений; ему советовали на время умерить свою организаторскую деятельность.

— Принимайтесь-ка писать свои рассказы, давным-давно не было в «Современнике» вашего имени, — сказала я Слепцову по этому поводу.

— Я хочу не рассказ писать, а роман, — отвечал Слепцов. — Он у меня обдуман.

— У вас давно задумано много рассказов, да какой толк из этого? — заметила я.

— Мне хочется в своем романе изобразить современные отношения между супругами, людьми развитыми, — говорил Слепцов.

— Лет через десять мы прочтем ваш роман? — спросила я, смеясь.

— Не через десять, я очень скоро его напишу,—улыбаясь, отвечал Слепцов и предложил мне держать пари.

Я охотно согласилась в полной уверенности, что выиграю.

Слепцову очень нравился у меня старинный бронзовый подсвечник изящной работы, а он был большой любитель до изящных вещей. В случае проигрыша я должна была отдать ему этот подсвечник.

— Если я проиграю, что́ невероятно, то сделаю вам оригинальный портфель для бумаг, — сказал Слепцов.

Надо заметить, что Слепцов и в мелочах способен был увлекаться. Он придумал заказать токарю для сво-

его письменного стола березовые подсвечники, покрытые лаком, носился с своим изобретением, показывая коротким знакомым эти подсвечники, и был очень доволен, если кто-нибудь просил его заказать такие же подсвечники или канделябры. Слепцов сам давал токарю рисунки и следил за его работой, а когда токарь взялся в летнем помещении приказчичьего клуба украсить танцевальное зало люстрами из березы, то Слепцов до такой степени был озабочен, как будто сам взял этот заказ. Каждый день он бегал к токарю, наблюдал за его работой, давал советы, делал рисунки.

Я позабыла о пари. Но что-то очень вскоре после этого Слепцов пришел ко мне обедать и, увидав двух своих приятелей, которые также пришли к обеду, сказал:

— А я заходил к вам обоим, чтобы вместе идти к Авдотье Яковлевне.

Я не обратила на его слова внимания, потому что Слепцов и оба его приятеля часто вместе обедали у меня.

Когда мы напились кофе после обеда, Слепцов спросил нас:

— Способны вы слушать чтение первой части моего романа?

Мы были удивлены и обрадованы.

Я, кажется, уже упоминала, что Слепцов замечательно хорошо читал свои произведения, так что слушать его было большое наслаждение.

Прочитав первую часть своего романа «Трудное время», он рассказал конспект второй части.

Уходя домой, Слепцов сказал мне:

— Как видите, ваш подсвечник скоро будет стоять у меня на письменном столе.

Я согласилась, что проиграла пари, и отдала ему подсвечник; но оказалось, что я поторопилась, потому что Слепцов долго не принимался за вторую часть, и бог знает, когда бы она была написана, если бы Некрасов настоятельно не требовал второй части, чтобы начать печатать роман в «Современнике».

Когда Слепцов окончил вторую часть и прочел ее нам, то мы все откровенно ему высказали, что он скомкал вторую часть и у него вышло совсем не то, что он нам рассказывал.

— Не могу положительно писать, когда запродаю себя, — оправдывался Слепцов. — Я сам чувствую, что

вторая часть у меня вышла плоха!.. Нет, теперь ни за что не возьму вперед денег из редакции, пока не окончу вещь! — воскликнул он и сам рассмеялся своему зароку, потому что забранные вперед деньги за роман были давно истрачены, и он сидел без гроша.

В 1865 году роман был напечатан в «Современнике», а в следующем году вышел отдельно [18].

Слепцов намеревался переделать вторую часть, но остался при одном своем намерении. Ему нужны были деньги, и он торопился пустить в продажу свой роман.

Я часто стыдила Слепцова за леность к работе, и он, смеясь, уверял, что никто его так не распекает, как я.

Раз он и его два приятеля должны были обедать у меня; мы сговорились вечером ехать вместе кататься по Неве.

Приходят его приятели и на мой вопрос о Слепцове отвечают, что он сейчас кончит работу и явится.

Я обрадовалась и воскликнула:

— Слава богу, наконец-то принялся за писанье!

Но приятели меня разочаровали, сказав, что они застали Слепцова совсем за другой работой, — он обшивал новой тесьмой свой пиджак.

Все короткие знакомые имели доказательства необыкновенных способностей Слепцова к разному мастерству. Он мог сделать все, что угодно, и так хорошо, точно несколько лет обучался этому мастерству.

Я хотела побранить Слепцова за то, что он тратит время на пустяки, а не занимается делом, но была обезоружена его самодовольствием, когда он, поздоровавшись со мной, спросил:

— Хорошо обшит мой пиджак?

— Отлично, но как вам не стыдно заниматься такой работой, когда бы могли отдать это сделать своему портному.

— Никак не мог, — отвечал Слепцов, — во-первых, у меня не хватило бы денег для уплаты за работу; а во-вторых, пиджак ранее завтрашнего вечера не мог быть готов. А я, как видите, в несколько часов его обшил и так хорошо, что мой портной сначала не поверил, а потом сделал мне предложение быть его подмастерьем.

— Если бы вы целое утро писали, то заработали бы себе денег на новый пиджак, — заметила я.

— Да я не мог себя видеть в пиджаке с отрепанной тесьмой, а теперь он как новенький, — говорил, улыбаясь, Слепцов.

Он часто в подобных случаях напоминал мне мальчика, довольного и гордого тем, что сумел сделать сам себе игрушку.

Кроме увлечений, Слепцову много мешала в литературных занятиях и обстановка его жизни. Если его хоть на минуту оторвали от работы, он уже не мог снова садиться за писание, а попав в центр тогдашнего круга учащихся женщин и пропагандистов женского вопроса, он поневоле завел обширное знакомство: то один забежит к нему утром, то другой, да, кроме того, по соседству с его комнатой развлекал его какой-нибудь типичный разговор жильцов или в коридоре крикливый голос чухонки, квартирной хозяйки, которая целыми днями бранилась то с своей прислугой, то с жильцами.

Слепцову нужно было уединение, чтобы его ничто не развлекало.

В первое время по приезде в Петербург он писал много, потому что знакомство еще было небольшое и он не втянулся еще в тот водоворот, который закруживал молодых людей, увлекавшихся тогдашними современными вопросами. Слепцов жил тогда на квартире у одного своего приятеля, которого по утрам не было дома, и никто не мешал ему писать. Конечно, немалую роль играла и лень Слепцова, — к несчастью, только к писанию, потому что в других случаях он был необыкновенно деятелен. Много также мешали Слепцову и его отношения к женщинам. Как я упоминала, он был очень красив, и в него влюблялось много женщин. Но все его сердечные романы были кратковременны и оканчивались всегда неприятным для него образом. Он не мог выносить ревности, а ему попадались именно женщины очень ревнивые. Слепцов не хотел притворяться и обманывать и выводил женщин из себя тем, что сохранял полное хладнокровие в бурных сценах ревности. Он был так набалован победами, что едва успевал покончить роман с одной женщиной, как являлись другие, в него влюбленные. Слепцов не придавал большого значения скоровоспалительной любви в женщинах и имел неосторожность всегда это высказывать, чем, конечно, женщины оскорблялись и считали его за самого сухого эгоиста.

Слепцов переехал на лето на дачу на Черную речку, где нанял себе мезонин у бедной чиновницы во флигеле, во дворе.

Уезжая на дачу, он просил меня и своих двух приятелей приехать к нему поскорей пить чай. Мы собрались втроем и насилу отыскали Слепцова. Дети, игравшие на дворе, указали нам деревянную темную лестницу с шатающимися ступеньками. Мы взобрались по ней. Дверь в мезонин была отворена настежь, и нам представилась следующая картина: Слепцов стоял на опрокинутой кадке и наклеивал обои. Рукава его рубашки были засучены по локоть, голова у него была повязана носовым платком, и он был опоясан каким-то ситцевым линючим передником. Мезонин был с очень низким потолком и с полукруглым окном. Хаос в мезонине царил ужасный: обрезки обоев валялись по полу, ветхая мебель сдвинута на средину, на клеенчатом диване лежали чемодан, платье, зеркало, на поленьях стояла доска и горшок с клейстером.

Слепцов стоял спиной к двери и так был занят работой, что не обратил внимания на наш приход, пока мы его не окликнули. Держа конец обоев в руке, он повернул голову и, улыбаясь, произнес:

— Сейчас доклею! видите, какой кусочек остался. Разве я дурно оклеил комнату? Потолок-то, посмотрите, точно мраморный! А если бы видели, какой он был загрязненный, стены в дырьях, дуло страшно, я законопатил их; теперь будет чисто и тепло.

Говоря это, Слепцов доклеил кусок, соскочил с кадки и добавил:

— Не могу руки протянуть вам, сейчас вас проведут в сад, и я немедленно явлюсь к вам в благообразном виде.

Он высунулся в дверь и крикнул вниз:

— Пашенька, пожалуйте ко мне!—и, обратясь к нам, произнес: — Господа, вы сейчас увидите Миньону Черной речки.

Явилась очень молодая, белокурая девушка, чуть не в лохмотьях, плотного сложения, высокого роста; она не была красива и имела очень простодушное выражение.

Мы едва могли удержаться от смеха, взглянув на такую Миньону. Слепцов обратился к ней со словами:

— Проводите, Пашенька, моих гостей в сад, принесите стулья и стол и поставьте самовар.

Пашенька, улыбаясь, кивала ему головой. Мы пошли за Миньоной, которая привела нас в небольшой садик,

очень запущенный, а через минуту принесла довольно большой деревянный кухонный стол на голове и четыре стула в руках так ловко, точно самую легкую ношу. Слепцов из мезонина распоряжался, куда лучше поставить стол, и велел Миньоне попросить у хозяйки чистую скатерть и чайную посуду.

Скоро Слепцов явился к нам джентльменом и извинился, что заставил нас ждать.

— Для чего вы подняли такую возню на каких-нибудь два месяца, да и того менее? — спросила я его.

— Не мог ни спать, ни работать в такой грязной комнате. Сегодня, как только встал, махнул в город, купил обоев, поискал здесь маляра, не нашел, и принялся сам оклеивать; как видите, все готово.

Пашенька радостно улыбалась, когда Слепцов хвалил ее за расторопность, с какой она прислуживала нам.

Я спросила Слепцова, почему он назвал девушку Миньоной Черной речки.

Он рассказал нам следующую ее биографию: Пашенька осталась после родителей круглой сиротой семи лет; единственный ее родственник, пьянчуга дядя, крестьянин Черной речки, запродал сироту за пустячную плату в город шарманщику; этот одел ее мальчиком, выучил кувыркаться и стоять на голове. Зимой шарманщик бродил по дворам в Петербурге, заставляя девочку выкрикивать под шарманку «Под вечер осени ненастной», а в портерных петь более игривые песенки. Но, вероятно, вследствие акробатических упражнений, девочка быстро росла и развивалась, так что уже нельзя было выдавать ее за мальчика. Тогда ловкий шарманщик начал заставлять ее показывать силу: держать в зубах стул, играть чугунными шарами и, бросив их вверх, подставлять грудь и спину. Но в прошлом году антрепренер-шарманщик и пьяница дядя перепились, подрались, и оба высидели в полиции сутки. Дядя так озлобился на антрепренера, что отнял у него свою племянницу и закабалил ее в услужение к чиновнице, беря себе жалованье. Жизнь бывшей артистки у чиновницы оказалась гораздо хуже, чем у шарманщика, потому что чиновница с презрением относилась к ее артистическому прошлому, иначе не звала ее, как «уличная плясунья». Многочисленное семейство чиновницы бесчеловечно оскорбляло кроткую по натуре девушку, притом еще с ранних лет привыкшую видеть себя какой-то вещью,

которую дядя запродавал в полное владение то шарманщику, то чиновнице.

Слепцов так мастерски рассказал нам биографию девушки, что я ему заметила:

— Вам стоит только заняться несколько дней, и у вас будет готов рассказ.

— Непременно напишу! — отвечал мне Слепцов. — Теперь у меня комната сделалась чистенькая, и мне приятно будет работать. Я освобожу Пашеньку от эксплуатации пьянчуги дяди; я уже познакомился с ним, угощал водкой и соблазнил его тем, что он может получать вдвое, если отпустит свою племянницу на место в Петербург. Как только он выправит ей вид, я помещу ее в одно хорошее семейство, где ее защитят.

Слепцов, точно, освободил девушку от дяди, но рассказа не написал.

Мы еще раз пили чай на даче у Слепцова и уже в его мезонине, который он превратил в уютную комнатку.

— Ну, что ваша Миньона? — спросила я.

— Пока еще таскает воду, рубит дрова, стряпает, стирает, но скоро чиновница лишится ее. Я в такой дружбе с ее пьянчугой дядей, что он каждый день является ко мне беседовать, то есть выпить водки.

— А рассказ о Миньоне Черной речки пишете? — спросила я.

— Нет, еще не принимался за него. Не могу я работать, когда чем-нибудь другим занят.

Я махнула рукой и больше уже не спрашивала Слепцова о рассказе.

В 1866 году, после 4 апреля, Слепцов был арестован, но через неделю выпущен [19]. Своим арестом он был обязан устройству коммуны.

Слепцов на лето опять переехал на дачу в Новую Деревню, наняв себе комнату у дачников с отдельным ходом.

Не прошло и месяца его дачной жизни, как Слепцов приехал к нам рассказать, какое накануне вечером было с ним происшествие. Он вернулся с прогулки, напился чаю и намеревался лечь спать, как вдруг кто-то постучался в дверь. Слепцов отворил дверь и увидал женщину, закутанную в платок, так что нельзя было хорошо разглядеть ее лица. Она сделала ему вопрос: «Никто не придет сюда? Мне нужно переговорить с вами».

Слепцов отвечал незнакомке, что никто не придет. Тогда она переступила порог комнаты и потребовала, чтобы он запер дверь на ключ.

Незнакомка скинула платок и оказалась молодой высокой женщиной, лет 25, недурной собой. Она объяснила, что обратила на Слепцова внимание тотчас, как он переехал на дачу, но, видя, что он ее не замечает, решилась явиться к нему. Незнакомка рассказала свое прошедшее и настоящее, призналась, что не любит своего мужа, потому что это грубый, дурной человек, и постоянно делает ей неверности, что он чиновник, и часто ночует в городе, что она зачитывается литературными произведениями Слепцова.

Так как тогда господствовала общая паника, то Слепцову советовали быть осторожным с незнакомкой, которая всем казалась подозрительной. Но вышло, что у страха глаза велики. Все лето она бывала у Слепцова, и все обошлось благополучно. Слепцов в августе переехал с дачи, а чиновница осталась в Новой Деревне до начала октября, потому что у ее мужа не было средств перевезти жену и детей в город. Слепцов после этого уже не виделся с ней.

Однажды зимой я с мужем и с Слепцовым приехала в художнический клуб, который тогда посещала масса публики. Мы снимали при входе верхнее платье, как вдруг вошла высокая женщина в легоньком, старењком драповом пальто, несмотря на довольно сильный мороз. Она, видимо, обрадовалась, встретясь с Слепцовым. Когда она сняла свое холодное пальто, то и ее черное шерстяное платье оказалось также довольно поношенным. Она была очень худая, бледная женщина, но с развязными манерами. Мы вошли в зало. Слепцов, догнав нас, спросил меня:

— Заметили ли вы даму, с которой я разговаривал? Это и есть та самая чиновница, которая так оригинально познакомилась со мной на даче.

— Значит, ваше знакомство возобновится?

— Приглашала к себе, но я не намерен знакомиться с ее супругом.

Месяца через три или четыре Слепцов за обедом у нас сообщил, что недавно, идя по Морской, увидел даму, ехавшую в парных санях в бархатной шубе; дама остановила кучера и поманила Слепцова к себе. Оказалось, что это его чиновница, пополневшая и сиявшая самодо-

вольствием. Она дала ему свой адрес, чтобы он непременно пришел к ней, говоря, что у нее своя половина и муж не смеет являться к ней, когда у нее сидят гости.

Слепцов из любопытства посетил старую знакомую чиновницу, которая очень дружески его приняла в своем салоне и рассказала ему, нисколько не стесняясь, что в нее влюбился пожилой господин, очень известное чиновное лицо в Петербурге, и намерен на ней жениться.

— А муж? — спросил Слепцов.

— Стоит ли о нем говорить! Разве он теперь смеет слово мне сказать, — получил хорошее чрез меня место, живет в отличной квартире. Ему дадут денег, и он будет очень доволен.

— Значит, кроме богатства, вы приобретете и чин генеральши? Когда же свадьба? — спросил Слепцов.

— Я еще со свадьбой погожу, сначала приберу хорошенько генерала в руки, чтоб он, как марионетка, плясал по моему желанию.

И точно, чиновница, женив на себе генерала, так забрала его в руки, что все нуждавшиеся в нем должны были подносить ей ценные подарки, чтобы достичь своих целей у влиятельного генерала. Весь Петербург это знал, и в приемные дни в салоне у счастливой генеральской четы являлась масса дам и мужчин из среднего светского круга, и все оказывали большое внимание генеральше, которая в короткое время так растолстела, что из нее можно было выкроить десять таких женщин, какой я видела ее в художническом клубе — в поношенном драповом пальто, посиневшую от холода.

Все знали в итальянской опере эту генеральшу, необычно величественно сидевшую в ложе, разодетую и распространявшую сияние от бриллиантов, которые были на ней надеты.

Раз в антракте ко мне подошел М. Е. Салтыков и сказал своим ворчливым тоном, указывая на генеральшу:

— Муж сохнет, а жену все распирает...

Слепцов в начале 1871 или 1872 года поместил начало своего романа «Хороший человек» уже в «Отечественных записках»[20], когда «Современник» сочетался браком с этим журналом[21]. Роман так и остался неоконченным.

Здоровье Слепцова сильно пошатнулось; он очень исхудал, и доктора советовали ему уехать из Петербурга в

более теплый климат, но он поселился в Москве и оттуда поехал на Кавказ.

Я долго не видала Слепцова; весной 1876 года он вдруг является ко мне[22]. Я хотя и знала, что он постоянно болен, но все-таки не ожидала, что увижу его в таком болезненном состоянии. Он едва передвигал ногами и должен был тотчас же, как вошел, сесть, но и сидеть ему было трудно. Худ он был страшно; и прежде у него был бледный цвет лица, но теперь он был совершенно желтый.

— В каком плачевном состоянии вы видите меня,— сказал Слепцов,— совсем калекой сделался! Приехал по очень неприятному делу в Петербург — для операции. Что делать, пусть меня режут, если это нужно!

Пошли разговоры о разных старых знакомых, и меня удивило, что Слепцов при такой тяжкой болезни весело шутил, рассказывая о своей жизни в Москве, на Кавказе. Уходя, он мне сказал:

— Когда же мы свидимся? После операции мне придется лежать в постели, так вы уж навещайте меня,

Операция очень облегчила страдания Слепцова, и он лежал в постели в прежнем веселом настроении. Больного Слепцова навещали немногие из его прежних многочисленных знакомых. Впрочем, из прежних его приятелей многие не по своей воле уехали на жительства очень далеко из Петербурга[23], а те, которые находились в Петербурге, до смешного боялись встречаться со Слепцовым, с которым несколько лет тому назад пропагандировали женский вопрос. Они воображали, что знакомство с бывшим организатором коммуны может скомпрометировать их чиновную карьеру, так что лишь четверо из старых знакомых навещали больного Слепцова, в том числе и я.

Как-то раз я заговорила с Слепцовым о том, как он мало написал в продолжение всего времени, как выступил в литературе.

— У меня не хватило сил создать что-нибудь очень хорошее, а писать посредственные вещи не было охоты. Первое время я сгоряча писал, но потом сознал, что не стоит наводнять литературу своими рассказами. Романы у меня также ничем не отличались. Я решил, что пока не напишу что-нибудь очень хорошее, до тех пор ничего не печатать. У меня есть план написать большую повесть, и мне кажется, она может, наконец, мне удаться. Тогда я напечатаю ее.

— А роман «Хороший человек» так и не окончите? — спросила я.

— Пишу, да все не вытанцовывается у меня, да и болезнь помешала. Вот выздоровею, уеду в деревню к матери и там буду работать. Я теперь поугомонился, во мне нет той разбросанности, которая мешала мне сосредоточиваться на предметах. Нет той жажды изучить характер людей, с которыми сталкивался. У меня большой запас материала для создания психических сторон современного общества.

Раз я прихожу к Слепцову и вижу: на столе около его дивана, на котором он лежал, букет цветов и коробка конфет.

Слепцов, улыбаясь, спросил меня:

— Угадайте-ка, кто мне сегодня преподнес все это из моих старых знакомых женщин!

Я отвечала, что у него было такое множество знакомых дам, что трудно угадать; но вспомнила о бывшей бедной чиновнице Новой Деревни, которая сделалась миллионершей, и назвала ее.

Слепцов засмеялся и отвечал:

— Вот захотели, чтобы она теперь вспомнила обо мне. Ей теперь нужно общество гвардейских офицеров.

— Однако она постоянно приглашала вас к себе, когда встречала на улице, вы сами не хотели поддерживать с ней знакомство, — заметила я.

Слепцов на это отвечал мне:

— Очень мне противно было ее самодовольство, что она так ловко поймала миллионера-чиновника, и он мне противен, разыгрывает роль честнейшего человека! И все притворяются, что верят в его гражданскую честность... Нет, этот букет и конфекты я получил от моей Миньоны Черной речки. Помните бедную девушку, которую я освободил из кабалы дяди-пьяницы? Она сегодня утром явилась ко мне. Я ни за что бы не узнал ее, если бы она сама не назвала себя. Расплакалась; мы по-старому дружески побеседовали. Ведь она уехала в деревню с одной богатой больной барыней, несколько лет прожила у нее и приехала с ней в Петербург, чтобы ехать за границу. Выучилась читать, писать и, вообразите, даже прочла все мои рассказы.

— Как же она отыскала вас?

— А ее барыня наняла меблированную квартиру здесь же. Вот и прочла мою фамилию на доске, расспро-

сила и явилась сегодня утром ко мне, такая разодетая, при часах. А после своего ухода прислала мне букет и конфекты.

Я, смеясь, заметила, что обе дачные его знакомые сделали себе блистательную карьеру.

— В нравственном отношении моя Пашенька слишком высоко стоит перед миллионершей. Она на свои трудовые деньги купила мне цветы и конфекты. Ей-то скорей было бы извинительно, если бы она таким же путем, как генеральша, обеспечила свою будущность. Я очень доволен, что хоть случайно, но так удачно оказал помощь бедной девушке.

Пашенька навещала Слепцова и постоянно приносила ему разных лакомств и дорогого вина, которое ему предписывали доктора.

Слепцов говорил мне, что запретил было Пашеньке делать такие траты для него, но она страшно расплакалась, что он гнушается принимать от нее такие пустяки, ибо она получает хорошее жалованье и ей доставляет большое удовольствие хоть чем-нибудь выказать свою благодарность ему за все то, что он для нее сделал.

В самом деле, благодарность девушки к Слепцову не имела границ. Она мне говорила, что считает его за своего отца.

— Ведь со мной обращались все не как с человеком, а как с бездомной собакой. С первого дня, как Василий Алексеевич переехал в мезонин, я услышала первое ласковое слово. Господи, да я ни на минуту не забывала его, живя столько лет далеко от него. Приехав в Петербург, непременно хотела разыскать его и посмотреть, как он живет. Чуть с ума не сошла от радости, что он стоит в том же доме, где мы заняли квартиру... У спасителя молебен служила, чтоб скорее он выздоровел... Не опасна ли его болезнь, скажите мне, ради Христа. Если опасная, так я брошу место и буду ходить за ним.

Я успокоила Пашеньку, говоря, что Слепцов поедет к матери в деревню, где уход за ним будет хороший, и что болезнь его не опасна.

Тогда никто не знал, что у Слепцова начал развиваться рак. Он уехал в 1876 году, ранней осенью, из Петербурга в Саратов, а весной 1877 года перевезли его к матери в деревню, где В. А. поздней осенью и умер[24].

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Решетников. — Салтыков-Щедрин.

Я познакомилась с Решетниковым почти в то же время, как и со Слепцовым.

В первый раз я увидела Решетникова при следующих обстоятельствах: мне нужно было зайти в редакцию за моей книгой, которую накануне у меня взяли для какой-то справки. День был неприемный, да и было еще очень рано, чтобы кто-нибудь из посторонних мог находиться в редакции. Я вошла в комнату, взяла со стола книгу и, когда повернулась, чтобы уйти, заметила господина, сидящего в углу. Это был молодой человек небольшого роста в черном поношенном сюртуке, наглухо застегнутом. Он исподлобья взглянул на меня и мгновенно опустил глаза. Я подивилась, что человек Некрасова не предупредил посетителя, что ему придется очень долго ждать редактора. Некрасов вставал поздно. Выражение лица молодого человека было такое хмурое, что я не решилась предупредить его об этом и ушла из комнаты; встретив в передней лакея, я спросила его, почему он не предупредил посетителя, что ему придется ждать очень долго. Оказалось, что лакей предупреждал молодого посетителя, но тот ответил, что живет очень далеко и лучше подождет.

Я приказала человеку подать посетителю газеты, а в двенадцать часов послала ему стакан кофе с хлебом.

Я поинтересовалась узнать от Некрасова о терпеливом посетителе.

— Из Перми приехал, — ответил Некрасов, — принес свое произведение; я обещал ему дня через три просмотреть рукопись и дать ответ. Пожалуйста, напомните мне завтра об этом. Видно по всему, что молодой человек, должно быть, в очень плохом денежном положении [1].

— Во всяком случае, если рукопись окажется плохой, то вы лично переговорите с ним. Как у приезжего, у него, может быть, нет никого знакомых в Петербурге.

Часто случалось, что Некрасов возвращал рукописи новичкам-авторам не лично сам.

— Конечно, переговорю с ним. Я проспал и спешу выехать, не успев хорошенько расспросить молодого человека, да и он сам не был расположен говорить, — сказал Некрасов и добавил: — Вы бы хоть начало рукописи прочитали, стоит ли мне и приниматься за нее.

Я вечером же села читать рукопись под названием «Подлиповцы» и, не отрываясь, прочла ее всю. Я очень обрадовалась за молодого автора, так как не сомневалась, что он должен будет получить самый благоприятный ответ от Некрасова. Действительно, когда последний прочитал «Подлиповцев», то расхвалил их и при этом заметил мне:

— Вот опять поставят в укор «Современнику», что в нем печатаются произведения только одних семинаристов![2] Должно быть, сколько еще талантливых людей гибнет в этом сословии, если в короткое время из этой среды появилось столько писателей...

После свидания с автором «Подлиповцев» Некрасов пришел ко мне и сказал:

— Я пригласил Решетникова сегодня обедать; если он придет до моего возвращения, то примите его, а то, чего доброго, он убежит да еще обидится. Он смотрит совершенным медвежонком.

Решетников пришел за час до обеда. Я старалась занять его разговором, но он отвечал мне только одними отрывистыми «да» и «нет», и выражение его лица было так сердито, что я сочла за лучшее оставить его в покое.

Наружность Решетникова не отличалась ни красотой, ни здоровьем. Он был небольшого роста, держался сутуловато, цвет лица у него был бледный, а черты неправильные, рот очень большой, движения угловатые.

К обеду пришло еще несколько человек гостей. Решетников, видимо, неловко чувствовал себя в незнакомом ему обществе; он ничего не говорил за обедом, но его живые глаза перебегали от одного гостя на другого. К концу обеда хмурость его, однако, прошла, и он улыбался, слушая рассказ Некрасова, как его мальчиком с братом привезли в Ярославль готовиться к поступлению в гимназию и поселили на квартире с крепостным ментором, который обязан был присматривать за ними, чтобы они аккуратно ходили в класс к учителю, и готовить им обед. Но крепостному ментору после деревни представлялось столько соблазнов в Ярославле, что он, не желая возиться с стряпней, выдавал мальчикам на руки тридцать копеек, оставляя на их произвол продовольствовать себя. Мальчики очень были довольны своим ментором и, в свою очередь, нашли лучшим, вместо ученья, с утра отправляться на загородные прогулки, запасаясь хлебом и колбасой, и до вечера не являлись

домой. Но привольная жизнь крепостного ментора и его питомцев продолжалась недолго. Раз, вернувшись вечером с прогулки, мальчики пришли в ужас: их встретил отец, до которого дошли слухи о их привольной жизни. У крепостного ментора обе скулы были сильно припухши, и он был отправлен в деревню, а к мальчикам был приставлен другой ментор, тоже крепостной, но более старый и строгий. Они очень скоро подметили, что этот строгий ментор, уложив их спать, дозволял себе после дневных трудов выпить. Некрасов с братом вылезали из окна и отправлялись в трактир, где маркером был также крепостной их отца, отпущенный по оброку, и практиковались в игре на бильярде, быстро приобретали большие познания в ней, но зато в науках успехи их были очень плохие.

Некрасов был в духе, и его рассказ был очень комичен, особенно в описании двух дворовых, которых отец возвел в степень менторов.

Решетников, по приглашению Некрасова, приходил обедать каждый день, скоро перестал дичиться и часто после обеда подолгу сидел у меня. Он рассказывал о своем печальном детстве и юности, как он убежал из бурсы, как, служа при почтовой конторе почталионом у своего дяди, крал газеты, чтобы удовлетворить жажду к чтению, как открыли его проделку, найдя в пустыре, которым был огорожен двор, кучу газет, куда забрасывал их юный чтец. Рассказывал про свое пребывание в монастыре, куда его отправили в наказание. Страшно было слушать его рассказы — чего только он не переиспытал с раннего своего возраста! Удивительно, каким чудом могли в нем сохраниться его честный взгляд на жизнь, стремление к образованию, отзывчивость к ближнему и готовность помочь каждому, чем только он мог.

В биографии Решетникова, при издании его сочинений, вышедших уже после его смерти, между прочим сказано, что он иногда был очень резок и даже груб в обращении [3]. Но я думаю, что Решетников, прожив несколько лет в Петербурге и вращаясь в интеллигентном обществе, должен был хоть немного отполироваться. Мне же пришлось его видеть тотчас, как он приехал из Перми, и по временам мне приходилось быть свидетельницей многих резких выходок с его стороны. Зная его воспитание, нельзя было сердиться на него. Решетников сознавал сам, что у него по временам появляется какое-

то озлобление на всех, развившееся в нем вследствие жестокого с ним обращения. Когда он был мальчиком, то находил наслаждение сделать кому только мог какую-нибудь пакость: бросал в колодцы дохлых кошек, чтобы нельзя было брать воду, портил вещи в доме дяди.

— Потом я сам себе сделался противен за свою злость и стал сдерживать себя, — говорил Решетников.

Он насмешил меня, рассказывая, как злился на меня, когда в первый раз пришел обедать, а я старалась его занять разговором.

— Что, думаю, она пристает! Не видит, что ли, что я не хочу разговаривать с ней! — говорил Решетников.

Решетников рассказывал, что его поразила наружность Некрасова, когда он его увидел в первый раз.

— Я почти все стихотворения Некрасова наизусть знаю, я его себе представлял высоким мужчиной, с мужественной наружностью, с курчавой головой, — и вдруг вижу лысого, тщедушного, сгорбленного человека, с желтым лицом, говорящего сиплым голосом. Я и сам был взволнован, ничего не мог путем сказать, а тут еще хорошенько не мог расслышать вопросов Некрасова. Я поскорей убежал, написал ему письмо, изложив то, что хотел ему лично сказать[4].

— Ваше письмо пришло тогда, когда уже Некрасов прочел половину «Подлиповцев», — сказала я.

— А я в это время места не находил, — продолжал Решетников. — Три дня для меня тянулись без конца. Зато когда я уходила от Некрасова, так чуть на улице не пустился в пляс, что возвращаюсь от него без своей рукописи да еще с двумястами рублями в кармане, которые Некрасов дал вперед. Такой суммы отродясь у меня не было в руках, я только на полдороге очнулся и сознал, что могу взять извозчика, что я теперь богач.

Решетников сообщил мне испытанные им ощущения, когда он увидел в печати первое свое произведение. Он послал какое-то известие из Перми в «Московские ведомости»[5].

— Не расставался я с этим номером, носил его в кармане, под подушку клал, как спать ложился, — говорил он.

Раз заговорил он о том, как мучительно ему хотелось пробраться в Москву и в Петербург, чтобы поступить в университет.

— Время не ушло, — заметила я, — можете и теперь поступить в университет вольнослушателем.

— А что я буду есть?

— Можете ходить на лекции и писать.

— За двумя зайцами погонишься, так ни одного не убьешь.

— Можете кредитоваться у Некрасова, пока будете слушать лекции.

— Это в кабалу себя запрятать? Ишь что придумали! Не хочу!

— А хуже будет кабала на всю жизнь, если вы будете чувствовать, что не пополнили своего образования?

— Некрасов также не был в университете!

— А спросите его, он, наверно, сожалеет об этом.

— Чего ему сожалеть теперь-то!.. Нет, кабы годика два тому назад мне попасть в университет, дело другое. А теперь поздно! уж надтреснут я, да и литература меня облапила, голова-то не тем занята. Ну, до лекций ли мне, когда иногда такое недовольство бывает самим собой, что ходишь шальным несколько дней? Не знаешь, чем бы вывести себя из этого скверного состояния — разве к водке прибегать.

— Ну, уж плохое это прибежище! — заметила я.

Раз Решетников, увидав, что я читаю французскую книгу, сказал:

— В Перми мне пришла охота выучиться читать по-французски, два месяца учился, потом бросил.

— Учитесь теперь.

— Эва! — рассмеялся Решетников.

Я ему сказала, что Белинский, приехав в Петербург, выучился французскому языку.

— А у него побольше вас было работы, — добавила я.

— Тоже, кого привели в пример! — сказал Решетников и продолжал: — Я, как приехал в Петербург, тотчас же пошел на его могилу, долго просидел там. Он и Добролюбов — это мои нравственные учителя, будут ими еще для нескольких поколений. Без них я так бы и погряз в омуте, в котором родился. Лермонтов, Пушкин — это лакомство, а Белинский и Добролюбов — насущный хлеб для нравственного развития, особенно таких людей, как я, которым чуть ли не со дня рождения выпадают на долю одни колотушки, попреки за каждый кусок хлеба, нещадное битье розгами при обучении грамоте, среди окружающего пьянства и невежества.

Мне раза два пришлось видеть Решетникова в ненормальном состоянии и выслушивать от него резкие вещи. Раз он пришел к обеду, и я заметила, что он особенно развязен; войдя, он раздразнил большую собаку, которая чуть его не укусила.

Некрасов обедал в клубе, и, против обыкновения, случилось так, что никто не явился к обеду, и мы должны были сесть за стол вдвоем.

Решетников, закусывая, выпил несколько рюмок водки и, взяв графин с закусочного стола, поставил его у своего прибора и, указывая на бутылку с красным вином, сказал:

— Этой кислоты не хочу пить!

Он выпил весь графин водки и, как бы поддразнивая меня, показал мне пустой графин, улыбаясь и говоря:

— Что, коробит вас? Вы ведь аристократка!

— Да видели ли вы когда-нибудь аристократов-то, что причисляете меня к ним? — спросила я. — Впрочем, напрасно я это говорю, вы сегодня...

— Пьян! — воскликнул Решетников со смехом. — Ну, да, угадали! я выпил с хорошими людьми. Вас это возмущает? а мне плевать на это, не воображаете ли, что я для вас брошу пить водку?

— Сами для себя должны бросить водку, — ответила я, — право, жалко смотреть на вас.

— Вам жалко на меня смотреть, а мне противно смотреть на такую аристократку, как вы! — задорно ответил Решетников, выскочил из-за стола и стал шагать по комнате, что-то ворча себе под нос.

— Напрасно вы стараетесь рассердить меня своими резкими выходками, вам это не удастся, — заметила я.

Решетников перестал ходить, постоял понуря голову, потом подошел ко мне, молча протянул руку, но отвернул свое лицо от меня.

Я подала ему руку, он ее пожал и быстро ушел из столовой.

Дня три он не являлся к обеду; я написала ему записку, спрашивая: здоров ли он?

Вечером в тот же день он явился, но с таким пасмурным лицом, что я спросила его, не болен ли он.

— Здоров!

— Почему же не приходили обедать?

— Не хотел! — так же отрывисто ответил Решетников и, помолчав немного, прибавил: — Если бы вы не

прислали записку, я бы к вам и не пришел... Черт знает, какая хандра на меня напала, никого не хотел видеть, да и самому с собой было гадко оставаться.

— Самое лучшее лекарство от хандры — это чтение.

— Какое тут к черту чтение, когда все нутро выворачивает от злобы.

— Надо подавлять в себе это скверное настроение.

— И без вас это знаю! — пробурчал он.

Я переменила разговор, и мало-помалу Решетников сделался не такой мрачный.

Я переехала на дачу в Парголово и по субботам посылала дрожки за братьями Добролюбова[6], жившими у учителя. Решетников также приезжал к нам, а в воскресенье вечером я их отправляла в город. Решетников резвился с братьями Добролюбова, как будто сам был мальчик: лазил на деревья, бегал вперегонку с ними. Мы все вместе делали продолжительные прогулки в лес, брали с собой завтрак, и раз Решетников сказал:

— Я ведь тоже жду субботы, как и мальчики, чтобы ехать на дачу к вам. В городе мне душно. Гляжу на детей, и мне противно вспомнить свое детство: как это вышибали у меня всякую память, колотя по башке. Могу сказать, что я испробовал всякого рода битье в своем детстве, а ласки ни одной. Кажется, если бы меня кто-нибудь приласкал, то я привязался бы всем своим детским сердцем к этому человеку... — И при этом Решетников прибавил, горько усмехнувшись: — Ишь размяк на чистом-то воздухе, о чем стал болтать!

В одну из суббот Решетников доставил мне большое беспокойство. Он приехал с братьями Добролюбова поутру; у меня всегда был готов для них завтрак. Я заметила, что Решетников уже изрядно закусил в городе; он сел за завтрак, стал наливать себе водку из графина и сказал:

— Эх, как мало водки в графине!

— Довольно с вас будет, — сказала я.

— Не стоит и рта марать, — проговорил он; однако допил всю водку и сказал мне: — Дайте еще водки.

— Больше нет.

— Жаль денег, что ли, послать за водкой?

— Не жаль денег, а больше не дам вам водки, — ответила я.

— Хотите командовать надо мной? захочу пить водку — достану и без вас, — пойду в трактир.

— Идите.

— Ну, так прощайте! — сказал Решетников, бросился в сад, перескочил через решетку и побежал бегом по дороге.

Мальчики улыбались, думая, что он шутит. Но Решетников не явился ни к обеду, ни ночевать. Мальчики поджидали его и долго не ложились спать, так как он всегда спал с ними в одной комнате.

Я была вполне уверена, что Решетников уехал в город. У трактира, особенно в субботний день, извозчики из города поджидали седоков, чтобы не возвращаться домой порожняком. В воскресенье вечером, когда мне надо было отправлять в город мальчиков, неожиданно явился Решетников. Я боялась пустить его вместе с ними, потому что он мог дорогой надурить. Решетников настаивал, что поедет с мальчиками, а я наотрез ему сказала, что не хочу этого. Тогда он насказал мне разных грубостей и опять ушел играть на бильярде в трактир, где он ночевал, как сам это мне объявил.

Я беспокоилась за него, чтобы он не попал в какую-нибудь историю, находясь в задорном настроении, и послала записку ему в трактир, чтобы он пришел сейчас же ко мне. Но он не явился.

На другой день, рано утром, только что я вышла на террасу пить кофе, как увидела Решетникова, сидящего на скамейке у калитки. Я подошла к нему и окликнула. Он встал и мрачно спросил меня:

— Ну, говорите скорей, сердитесь на меня — так я уйду.

— Входите, и будем пить кофе, — ответила я.

Решетников пошел за мной на террасу, и когда я налила ему чашку кофе, то он произнес:

— Не смотрите на меня, я ночь провел в лесу, и, должно быть, у меня отвратительный вид.

— Зачем же вы не пришли, когда я вам прислала записку?

— Нечего меня расспрашивать! — с досадой ответил он. — Простили, так не след и разговаривать, что было! Решетников хотел ехать в город, но я его уговорила остаться до вечера.

— Что мне торчать-то у вас на глазах!

— Можете пойти в комнату и сидеть там, читайте, отдохните, а вечером поедете в город.

Решетников согласился и до обеда не выходил из комнаты. После обеда мы долго катались на лодке по озеру. Ему достали телегу ехать в город, и он, прощаясь со мной, пробурчал:

— Спасибо!

С этих пор мне более не приходилось видеть Решетникова в задорном состоянии. Он иногда не показывался по неделям, а когда являлся, то предупреждал меня не расспрашивать, почему он так долго не был.

Об уме Решетникова мне нечего говорить; это видно по его произведениям. Могу только сказать, что он был добряк. Бывало, пойдет на даче гулять, забежит в лавку, набьет полные карманы своего широкого пальто пряниками и леденцами и при встрече с крестьянскими детьми раздаст им.

Могу привести еще факт его участия к ближнему. Я знала, что Некрасов только что дал Решетникову вперед сто пятьдесят рублей, а он через два дня явился ко мне без часов.

— Верно, часы заложили? стоило и покупать их! — заметила я в шутку.

— А вам что за дело? — сердито спросил Решетников.

— Куда вы успели столько денег истратить?

— Пропил! — произнес он. — Это что за допрос?

— Нет, я знаю, куда пошли ваши деньги.

— Ничего не знаете, так врете, — пробурчал Решетников.

— Не вру, могу даже сказать, кому вы отдали все ваши деньги.

Решетников в недоумении смотрел на меня, а я продолжала:

— Студенту, которого вы вчера проводили; он мне сам сказал.

— Вы его, и он вас в глаза не видали! — воскликнул Решетников. — Фу-ты! черт возьми, кто вам мог это сказать?

— Вы сами! — сказала я.

— Как я сам?

Я забавлялась моей мистификацией и потом объяснила Решетникову, что догадалась, что он отдал студенту все свои деньги.

Решетников более трех месяцев нанимал комнату у одной хозяйки и познакомился со студентом, тут же нанимающим комнату. Со студентом случилось несчас-

тье: он получил известие от матери из провинции, что его отец скоропостижно умер; после смерти отца многочисленное семейство осталось без всяких средств к существованию. Студент, убитый горем, не мог даже ехать к матери. Все это Решетников сам рассказал мне, придя очень взволнованным ко мне, а получив деньги от Некрасова, он на другой день пришел веселый, проводив студента на железную дорогу.

— Вам бы хоть в сыскной полиции служить, так вы ловко умеете допытывать людей по одним вашим догадкам, — сказал Решетников.

Когда Решетников пообжился в Петербурге, то у него завелось большое знакомство, и, понятно, я реже его видела, а затем, поссорившись у меня с одним литератором, он совсем не показывался около года. Я слышала, что он женился, и раз встретила его на улице. Решетников спросил меня:

— Небось сердитесь на меня?

— За что? — недоумевая, спросила я.

— А что так давно не был у вас?

— За что же мне сердиться-то? не были, значит, не хотелось, — заметила я.

— Нет, не то, — сказал Решетников, — как-то неловко было мне идти к вам после того, как я так долго не был.

— Мы с вами не ссорились, да и я никогда не претендую на тех своих знакомых, кто долго не бывает.

— Чай, слышали, что я женился? — спросил меня Решетников [7].

— Слышала.

— Что же не поздравляете?

— С чем поздравлять? не понимаю. Пусть сам себя поздравляет человек с женитьбой, — ответила я и добавила: — Да вы светским человеком сделались?

Решетников засмеялся и воскликнул:

— Во, что придумали!

Я торопилась домой и простилась с ним, но Решетников удержал меня, сказав:

— Дайте сказать вам два слова. Это ничего не значит, если я даже и десять лет не приду к вам, а я вас все-таки буду помнить.

На этом слове я рассталась с Решетниковым.

Через несколько дней он зашел ко мне, но не застал меня дома. С тех пор я его не видела. Спустя несколько

лет после его смерти[8] я узнала, что он, умирая, вспомнил обо мне, и это мне передала его жена, которую я в первый раз увидала, когда она пришла ко мне по одному своему делу.

О Салтыкове я пока ограничусь немногими словами.

Я видела его еще в мундире лицеиста[9] в начале сороковых годов в доме М. А. Языкова. Он приходил к нему по утрам по праздникам. Юный Салтыков и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал. Помню только раз на лице молчаливого и сумрачного лицеиста улыбку. Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против дверей, и оттуда внимательно слушал разговоры.

Как теперь помню Белинского, расхаживающего по комнате, заложив, по обыкновению, руки в карманы и распекавшего Комарова, известного всему кружку хвастуна. У Комарова было плаксивое выражение в лице, так что смешно было на него смотреть. Панаев, Языков и еще двое не литераторов, но постоянных членов кружка, слушали его распеканье. Я сидела против двери, и мне было видно лицеиста.

— Господи, зачем я вру! — патетично воскликнул Комаров.

— Мамка вас в детстве зашибла! — заметил ему Белинский.

При этих словах на лице лицеиста изобразилась улыбка.

— Чудеса, сегодня ваш мрачный лицеист улыбнулся, — сказала я Языкову.

— Я знаю, — ответил Языков, — что он ходит ко мне, чтобы посмотреть на литераторов. Он сам стихи пишет, и их напечатали в «Библиотеке для чтения»[10]. Кто знает, может, и будет со временем известным поэтом.

Потом я слышала от Языкова, что Салтыков окончил курс в лицее и продолжал писать стихи. Затем я не видала Салтыкова до 1847 или 1848 года.

Однажды я шла с Панаевым по Невскому, и мы встретили графа Канкрина, который был хорошо знаком с Панаевым. С Канкриным шел какой-то статский. Оба раскланялись с Панаевым.

— Кажется, это тот сумрачный лицеист, который бывал у Языкова? — спросила я Панаева.

— Да, это — Салтыков, — ответил мне Панаев, — он теперь написал повесть, читал Канкрину, и тот в восторге от нее, пришлет ко мне прочесть, чтобы напечатать в «Современнике».

Канкрин сам привез Панаеву рукопись Салтыкова. Панаев прочел ее, но возвратил назад, потому что нечего было и думать, чтобы цензура пропустила ее, и сказал при мне Канкрину:

— Пусть лучше автор отдаст в другой журнал, там авось пропустят. А цензура в «Современнике» такую повесть не только запретит, но еще гвалт поднимет.

Но «Запутанное дело» (так называлась повесть Салтыкова) и без «Современника» произвело гвалт[11]. Последствия оказались весьма печальны для Салтыкова: он сослан был в Вятку.

В 1858 году появились «Губернские очерки» под псевдонимом Щедрина[12], и с тех пор расположение читающей публики к произведениям Щедрина росло, как говорится в сказках, не по дням, а по часам.

Я увидела Салтыкова в редакции «Современника» уже в вицмундире в начале шестидесятых годов:[13] сумрачное выражение его лица еще более усилилось. Я заметила, что у него появилось нервное движение шеи, точно он желал высвободить ее от туго завязанного галстука. Кроме того, в нем произошла большая перемена — из молчаливого он сделался очень говорлив. Он всех смешил энергическими эпитетами, которыми награждал чиновничество, и говорил, что служить более не может, выходит в отставку и займется литературой; что отупеешь в среде людей, у которых вместо мозга в голове органчик с единым мотивом «Тебе бога хвалим».

Я была свидетельницей однажды страшного раздражения Салтыкова против литературы. Не могу припомнить название его очерка или рассказа, запрещенного цензором[14]. Это запрещение было очень неприятно и Некрасову, потому что нужно было дать набирать вновь что-нибудь другое, отчего номер журнала должен был очень запоздать.

Салтыков явился в редакцию в страшном раздражении и нещадно стал бранить русскую литературу, говоря, что можно поколеть с голоду; если писатель рассчитывает жить литературным трудом, то он не заработает на прокорм своей старой лошади, на которой приехал; что

одни дураки могут посвящать себя литературному труду при таких условиях, когда какой-нибудь вислоухий камергер имеет власть не только исказить, но запретить печатать умственный труд литератора; что чиновничья служба имеет пред литературной хотя то преимущество, что человека не грабят, что он каждое утро отсидит известное число часов на службе и получает каждый месяц жалованье, а вот он теперь и свищи в кулак. Салтыков уверял, что он навсегда прощается с литературой, и набросился на Некрасова, который, усмехнувшись, заметил, что не верит этому.

Я никогда не видела Салтыкова спокойным; он всегда был раздражен на что-нибудь или на кого-нибудь.

Поразителен был контраст, когда Салтыков сидел за обедом вместе с Островским, который изображал само спокойствие, а Салтыков кипятился от нервного раздражения.

В 1863 году Салтыков приехал на короткое время в Петербург с места своей службы [15] и почти каждый день приходил обедать к нам. К удивлению моему, он был не так сильно раздражен на все и на всех; но это настроение в нем скоро прошло, и он говорил, что надо скорей уехать из Петербурга, иначе он без штанов останется.

— Такая куча денег выходит, а удовольствия никакого нет.

— Ну, все-таки в Петербурге больше разнообразия, — сказал Некрасов.

— Хорошее разнообразие! Куда ни пойдешь — видишь одни морды, на которые так и хочется харкнуть! Тупоумие, прилизанная мелочная подлость или раздраженная бычачья свирепость. Я даже обрадовался вчера, ужиная у Бореля, — такое каторжное рыло сидело против меня, но все-таки видно, что мозги у него работают хотя на то, чтобы прирезать кого-нибудь и обокрасть.

— Разве не те же лица вы видите и в провинции? — возразил Некрасов.

— Нет, там жизнь превращает людей в вяленых судаков! — отвечал Салтыков.

Когда я впоследствии читала произведения Салтыкова, то часто встречала те самые выражения, которые слышала в его разговоре. Иудушкой он звал одного своего родственника и через несколько лет воспроизвел его в «Головлевых» [16].

В начале семидесятых годов я видела Салтыкова играющим в карты у одних наших общих знакомых. Он точно так же болезненно был раздражителен, бросал карты и так бранил своего партнера, как будто тот совершил что-то ужасное.

Прерываю на некоторое время свои воспоминания и еще раз извиняюсь перед читателями за отсутствие в них хронологического порядка.

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОМАШНЕЙ ЖИЗНИ Н. А. НЕКРАСОВА

В продолжение почти двадцати лет у Некрасова всегда служили два лакея, и оба были очень типичные субъекты.

Как начал издаваться «Современник», к Некрасову нанялся лакей Петр. Не помню, кто ему рекомендовал его, как честного и непьющего человека. Наружность Петра была очень невзрачная: маленького роста, несоразмерно широкие плечи, ноги кривые, как всегда бывает у тех, кто в детстве страдал английской болезнью. Лицо у него было длинное, с неправильными крупными чертами; лоб низкий, с двумя толстыми морщинами, которые двигались вниз и вверх. Трудно было определить, какого цвета были его глаза, полуприкрытые нависшими бровями, да к тому же он постоянно моргал веками. Голова у него была остроконечная, покрытая торчащими вихрами темных волос. Костюм Петра дополнял его уродливость: его отрепанный сюртук был ему не по росту, а полы так длинны, что этот сюртук скорее походил на распашной халат; панталоны, тоже очень старые, всегда были подвернуты внизу и обнаруживали еще более его огромные сапожищи. Жилистая шея его повязана была красным с черным рисунком бумажным платком. В одном из его больших ушей была продета сережка. Брился Петр не часто, и потому его подбородок и часть над верхней губой были покрыты как бы щетиной. Петр уверял, что ему всего только сорок лет, когда Некрасов усомнился, по силам ли ему будет, в его преклонные лета, служить у него, потому что придется много ходить

с разными поручениями. Петр говорил на «о», растягивал слова и постоянно вставлял среди разговора «вот». Вероятно, в доказательство своей бодрости, он был суетлив, и оттого его неуклюжесть выдавалась еще рельефнее. Панаев пришел в ужас, увидев Петра, и заметил Некрасову:

— Где ты отыскал себе такого лакея? Подобных лакеев можно найти только в каком-нибудь захолустье, в уездном городке в гостинице.

— Мне его рекомендовали за честного и непьющего человека. Для меня важнее всего, чтобы я мог доверять ему бумаги, с которыми мне надо рассылать его.

— Помилуй, да ведь противно смотреть на такое чудище, да еще в таком безобразном и обтрепанном кафтане?

— Приоденется! — флегматически отвечал Некрасов.

Панаев не мог переносить неопрятно одетой прислуги в доме.

Некрасов отдал своему лакею полный костюм из своего платья, но Петр продолжал ходить в своем отрепанном сюртуке-капоте.

— Что же ты не носишь то платье, которое я тебе дал? — спросил его Некрасов.

— А вот доношу, Николай Алексеевич, свой сюртук, — отвечал Петр.

Некрасов по уходе Петра из комнаты заметил мне и двоюродным братьям Панаевым [1], сидевшим в его кабинете:

— Что делать, придется Панаеву потерпеть, пока Петр доносит свой сюртук.

Вначале Петр перепутывал поручения Некрасова, разнося бумаги в типографию — к цензору, и при этом упорно утверждал, что он разнес бумаги так, как ему было приказано. В это время он быстро моргал веками, и морщины на его лбу приходили в движение — он имел вид идиота.

Всем лакеям присуще благоговение к гостям-генералам или титулованным лицам, но в Петре это чувство доходило до высшей степени. Он вбегал в кабинет Некрасова и задыхающимся голосом произносил: «Генерал-с приехал!» И тут только можно было видеть, какого цвета глаза его, потому что они были вытаращены.

Некрасов не мог добиться от Петра, чтобы он никого не принимал, когда бывала спешная работа по журналу.

Петр всем отказывал посетителям, но генерала впускал и на выговоры Некрасова бормотал: «Ведь генерал-с, вот!»

Панаев всегда приходил в отчаяние, когда Петр врывался в его кабинет с докладом, что к нему приехал граф или князь.

После визита гостя Панаев приходил ко мне и говорил таким тоном, точно бог знает какое случилось несчастье:

— Что же этого Ивана никогда нет в передней, и Некрасова чудище-лакей врывается ко мне с докладом, кто ко мне приехал? Прикажи, чтобы Иван сидел в передней, а не то пусть убирается вон.

Лакей Панаева был совершенный контраст лакею Некрасова: высокий, стройный, красивый восемнадцатилетний юноша; страшный франт, всегда безукоризненно одетый, он гордо держал свою голову, распомаженную и завитую. Один из аристократических гостей Панаева прозвал Ивана бароном, находя, что у Ивана такой гордый вид и такие манеры, что он не похож на лакея. С тех пор и другие гости стали звать его «бароном», и это прозвище льстило ему. Он очень занимался своей красивой наружностью и иначе не чистил самовар и замки, как в старых перчатках Панаева, чтобы не испортить своих рук. Он был круглый сирота и поступил к нам лет четырнадцати. Мы его одевали, но когда он подрос, то его туалет уж очень дорого стоил. Он приходил ко мне с требованием то того, то другого, доказывая, что неприлично комнатному лакею кое-как быть одетым.

У Некрасова в кабинете всегда был беспорядок: на окнах лежали книги, рукописи, журналы, газеты, корректурные листы. А на его письменном столе был какой-то хаос. Но Некрасов в этом хаосе находил всегда, что́ ему было нужно, и приходил в отчаяние, когда Петр приводил в порядок его письменный стол. Он призывал Петра и, горячась, говорил ему:

— Опять ты трогал мои бумаги на столе. Куда девался счет у меня из типографии?

— Я только вот пыль стер, — отвечал Петр, моргая глазами.

— Не смей и пыли стирать!

— Как же-с, вот?

— Я вот целый час ищу счета после твоей уборки, — продолжая рыться на столе в бумагах, ворчал Некрасов.

— Ну вот и пусть будет пыль! — обиженно бормотал Петр, уходя.

Письменный стол был большой у Некрасова, но ему приходилось писать на маленьком пространстве, потому что этот стол был завален книгами, статьями, корректурными листами.

Первый год Некрасов сам писал рецензии о новых книгах в «Современнике» [2] и откладывал эту работу до последнего дня. Он садился только часов в 12 за работу и часто напролет всю ночь писал. Затем, рано утром, он будил Петра и отсылал свою работу в типографию.

Днем Некрасову мешали писать; постоянно приходили посетители по делам журнала и без всякого дела литераторы. Ему надо было часто ездить к цензорам в комитет, в типографию, читать корректуры, все рукописи, которые присылались из провинции, и те, которые лично приносили сами авторы. Дела было много для одного человека.

Тупость Петра часто выводила из терпения Некрасова: упадет ли книга со стола или корректурные листы, когда он ночью работает, — все это исчезнет.

Петр оправдывается тем, что это на полу валялось, он и вымел.

— Поди, принеси назад все.

— Да я вот в печь все поклал, как вот топил ее, — объяснял Петр.

Некрасов махал рукой Петру, чтобы он скорее уходил из кабинета.

— Что за охота тебе, Некрасов, держать такого идиота лакея? — говорил Боткин. — Прогони ты его.

— Кто такого идиота будет держать? С голоду помрет. Да в нем есть и хорошие стороны: честен, не пьяница и от скудоумия безопасен: мало ли что срывается с языка в разговорах между нами! Да и не люблю я новое лицо около себя.

Но хорошие стороны в Петре стали умаляться, когда он обжился. За чем бы его ни послали, он всегда дороже заплатит, чем стоит покупка, даже в аптеке — он уверял, что взяли с него дороже, чем следовало. Если Некрасов или кто из гостей посылал Петра отдать извозчику деньги, то он всегда норовил удержать себе хоть пять копеек. Происходили сцены. Извозчик врывался в переднюю и шумел. Некрасов бранил Петра, почему он не

отдавал всех денег. Петр же разыгрывал роль оберегателя денег Некрасова.

Между франтом Иваном и Петром с первых же дней установились враждебные отношения. Иван с презрением относился к такому неуклюжему своему собрату и поднимал его на смех в кухне, называя Петра свинопасом, а не комнатным лакеем. Петр также получил прозвище по следующему случаю.

Раз вечером Некрасов читал в корректурных листах описание какого-то иностранного моряка-капитана и как весь экипаж его отбивался от чудовищных спрутов, которые лезли на корабль со всех сторон. При чтении присутствовали наши постоянные, общие гости — всё молодежь, но не из литераторов.

— Из типографии вот пришли! — каким-то гробовым голосом произнес вдруг Петр.

Приближения шагов его не было слышно: по вечерам, для отдыха своих ног, он надевал валенки.

В эту минуту он казался особенно уродливым: его лицо было заспанное, вихры на голове еще сильнее торчали.

Когда Петр удалялся с корректурой, я заметила, что он меня перепугал своим появлением — мне представилось, что это не он, а спрут вполз в комнату. Молодежь подхватила мои слова и стала звать Петра «Спрутом», но только между своими. Некрасов же однажды по забывчивости хотел позвать Петра и крикнул: «Спрут!» И, к нашему общему удивлению, Петр явился на этот зов.

Между нашими постоянными посетителями из молодежи был один шутник и фокусник; он постоянно проделывал разные штуки с Петром, который благоволил к шутнику, вероятно, за то, что тот часто давал на чай.

Этот-то шутник и стал его звать не иначе как «Спрутом». Петр выказывал даже удовольствие, что ему дали какое-то мудреное прозвище, значения которого он не знал. А затем и другие стали тоже звать его «Спрутом».

Шутник, зная, какое производит сильное впечатление на Петра генерал, приехав раз к нам, попросил Спрута принести ему стакан воды и в это время прицепил себе на сюртук генеральскую звезду. Петр, подойдя ближе к нему и увидав звезду, попятился назад, чуть не выронил из рук подноса и, вытаращив глаза, остолбенел.

— Вот тебе на чай, — кладя полтинник на поднос, сказал молодой человек. — Теперь ты должен меня не иначе называть, как генералом.

Но Петр сообразил, что это молодой человек выкинул с ним новую шутку. Он стал называть молодого человека «генералом», но без всякого благоговения.

Вражда между Спрутом и Бароном отзывалась на мне как на хозяйке дома. Я думаю, сам Соломон пришел бы в тупик рассудить: кто прав, кто виноват, когда прислуга враждует между собой и является с жалобами друг на друга или сваливает вину один на другого.

Я строго запретила являться ко мне с жалобами обоим, но в хозяйстве поневоле приходилось все-таки устраивать судьбище, которое всегда оканчивалось ничем. Обоих подсудимых я спешила спровадить поскорее от себя, потому что истины трудно было от них добиться.

Иван не в силах был утерпеть, чтобы не разоблачить своего врага. Он говорил мне, что Петр продает бумаги, бутылки из-под вина.

— Как идет из дому, уж у него узел под шинелью. Ни на минуту не оставляет незапертой дверь в свою комнату.

— Тебе-то какое дело? И опять ты со своими глупостями надоедаешь мне? — замечала я Ивану.

— Помилуйте, Авдотья Яковлевна, у нас в кухне никогда прежде ничего не пропадало, а теперь то мелкие деньги исчезнут, то серьги. Мы только молчали, не хотели вас беспокоить, что такой срам происходит у нас.

— Советую тебе следовать примеру других и молчать о том, что у вас делается в кухне, — отвечала я и опечалила этим Ивана.

Из чайного ящика, стоявшего в столовой, быстро стал убывать чай и сахар, а также стеариновые свечи исчезали из буфетной. Иван страшно возмущался и во всем обвинял Петра.

Раз утром Иван явился ко мне и задыхающимся голосом произнес:

— Авдотья Яковлевна, как вам угодно-с, а вы извольте сейчас сделать обыск у всех нас, — опять пропала чайная ложка.

— Как опять? — спросила я.

— О первой пропавшей ложке я ничего вам не говорил, а уж это что же такое, — мы все желаем обыска, что бы избавиться от сраму, один Спрут артачится и не хочет показать своего сундука.

К великому огорчению Ивана, я отказалась делать обыск сундуков и комодов прислуги.

Иван со слезами говорил:

— Я попрошу вас позволить мне сдать кому-нибудь другому на руки серебро, а за две пропавшие ложки извольте вычесть из моего жалованья.

Не прошло и часу, как Петр пришел ко мне с ложкой в руках и оскорбленным тоном сказал:

— Вот нашел ложку на столе у Николая Алексеевича, вот под бумагами, а вот Иван и все в кухне вором меня обзывали. Мальчишке вот, а такую волю дали. Вы вот призовите его и отдайте вот ему ложку при мне.

Но я не исполнила требования Петра и сделала глаз на глаз выговор Ивану, что он понапрасну обвинял Петра в краже ложки.

На это Иван с упреком мне отвечал:

— Ах, Авдотья Яковлевна, и вы поверили Спруту? Он испугался, что мы все хотели позвать квартального и просить его сделать обыск у всех у нас. Вот он и принес вам ложку.

Мне пришлось объявить всей прислуге, что, какая бы пропажа в доме ни случилась, квартального никто не смел бы звать.

Петр, жалуясь Некрасову на Ивана, как тот обижал его в кухне, даже заплакал и просил защиты.

Некрасов разжалобился и просил меня обуздать Ивана и запретить ему называть вором Петра. Но я объявила Некрасову, что самое лучшее, это не вмешиваться в их распри, потому что тогда покоя не будет от их обоюдных жалоб друг на друга.

Некрасову приходилось много ездить по делам журнала. Типография была далеко от нашей квартиры[3]. Он вспомнил, что у его отца стоят в Ярославле дрожки, которыми тот не пользуется, и, послав часть денег отцу за эти дрожки, просил его прислать их ему, а также и лошадь.

С дрожками и с лошадью прибыл дворовый отца Некрасова. Это был еще молодой человек, рябой, с одним глазом, с курчавыми, темными волосами.

Некрасов расспросил его об отце, о дворовых, о крестьянах своей родины и, дав ему два рубля, сказал:

— Вот, Николай, тебе деньги. Посмотри Петербург, поотдохни, а там я и отправлю тебя домой.

— Николай Алексеевич, вы уж оставьте меня при себе кучером. Старым барином я отпущен на оброк в Ярославль. Вы думаете, что я не сумею править с одним глазом? да я одним лучше вижу, чем другой двумя. Вы уж, сделайте милость, отпишите старому барину, что сами оброк им будете высылать за меня.

— Ну, подумаю.

— Нет-с уж, Николай Алексеевич, оставьте меня при себе, все во дворе и в деревне так уж и прощались со мной, что я останусь при вас. Мои старики за вас богу будут молиться. Сами знаете, в Ярославле место трудно найти; у всякого, кто держит лошадей, свой дворовый кучер.

— Да как ты ездишь-то?

— Господи, в ямщиках жил в Ярославле, на тройке ездил, а с одной лошадью не сумею ездить?

— Ну, а скажи-ка мне по совести, как ты насчет водки.

— Кто же нынче не пьет водки, Николай Алексеевич? — ответил Николай. — Только я пью, как следует. Да уж будете довольны моей службой.

— Ну, хорошо, оставлю тебя, но если ты окажешься неисправным, так держать тебя не стану.

— Останетесь довольны, Николай Алексеевич! — самоуверенно произнес Николай.

— Ступай, отдохни после дороги.

Мы смеялись над Некрасовым, что у него лакей и кучер будут редкостная пара.

Каждый ярославец из соседних деревень имения отца Некрасова, если приезжал в Петербург, являлся к нему, и он с удовольствием беседовал с ними. Приезжие поверяли ему свои радости и горе.

Одному из крестьян отца Некрасова посчастливилось нажиться в Петербурге, беря подряды ставить печи в строящихся домах. Он все ходил к Некрасову, чтобы тот ходатайствовал у отца о его выкупе со всем семейством. Некрасов горячо ратовал в своих письмах к отцу, чтобы он согласился отпустить на волю печника [4]. Но отец не

соглашался на том основании, что печник был единственный из его крестьян, живущий на оброке и платящий ему большие деньги.

Этот печник всегда являлся к Некрасову перед праздником посоветоваться с ним, какого гостинца послать старому барину: дорогих вин или какую-нибудь вещь рублей в пятьдесят.

— Ты ничего не посылай ему, — однажды посоветовал Некрасов, рассерженный на отца, который иначе не соглашался отпустить на волю своего крестьянина, как за большую сумму.

— Ведь осерчает старый барин, да и вызовет меня в деревню, а у меня сняты подряды на три дома, артель печников большая набрана — разорюсь.

— Слушайся меня. Пиши в деревню к своим, что болен и хочешь сам вернуться в деревню.

— Для че это? — воскликнул печник потерянно.

— Увидим, что будет, — ответил Некрасов.

Печник, подумав, произнес:

— Известно, ты всякого из нас жалеешь, худого не пожелаешь и мне. Так, значит, не надо посылать старому барину гостинца к празднику и писать в деревню?

Некрасов подтвердил свой совет. Разговор этот происходил при мне. После ухода печника Некрасов сказал:

— Вот и приходится лгать самому и заставлять другого то же делать, чтобы образумить человека, что безбожно требовать такую сумму с крепостного, который и так лет в пятнадцать выплатил за себя оброком большие деньги... Испугается, что ничего не получит.

Некрасов написал стихотворение «Влас»[5] после свидания с одним из бывших крестьян его отца, который был сдан в солдаты, вернулся на родину после продолжительного срока своей службы и, не найдя в живых никого из своего семейства, посвятил остаток своей жизни на собирание пожертвований на построение церкви. Его занесло в Петербург, и он пришел к Некрасову повидаться с ним, с сыном своего бывшего помещика. Некрасов долго беседовал со стариком, попивая с ним чай.

Кучера Николая экипировал Некрасов с ног до головы, но Николай не имел хорошего вида на козлах; он сидел боком, вожжи держал распустивши, задергивал лошадь, нещадно был ее кнутом без всякой нужды. Его

новый кафтан очень быстро превратился в засаленный; он никогда не застегивал его на все пуговицы; кушак надет был криво; шляпа на затылок.

Панаев пожимал плечами, встречая Некрасова едущего. Раз я шла с Панаевым, и мы увидали, как Некрасову чуть не попало дышлом в голову, так хорошо правил Николай.

Панаев говорил Некрасову:

— Ездить с таким кучером, это значит подвергать свою жизнь каждую минуту опасности.

— Привыкнет! — флегматично повторял Некрасов. — Да разве и извозчики лучше ездят, чем Николай?

Однажды утром Некрасов вернулся домой сильно прозябший. Ему пришлось не только самому править лошадью, но еще держать в объятиях Николая, успевшего окончательно напиться в те промежутки, когда Некрасов заходил в типографию.

На другой день утром Некрасов отечески усовещивал своего кучера, явившегося к нему с повинной головой.

Николай божился, что без приказания Некрасова в рот капли водки не возьмет.

— Я тебе не запрещаю пить водку, но пей в меру и лучше не закладывай лошадь, если напился.

— Слушаю-с! — отвечал Николай.

Как-то мы сидели за завтраком. Некрасов послал Ивана сказать кучеру, чтобы тот скорее закладывал лошадь, но Иван вернулся с ответом, что кучер не будет закладывать лошади, потому что сам барин приказал ему не закладывать, когда он бывает выпивши.

Все присутствовавшие за завтраком, конечно, рассмеялись, и сам Некрасов, улыбаясь, сказал:

— Однако Николай ловко воспользовался моею оплошностью.

Один только Боткин, гостивший в то время у Панаева, не смеялся, а раздражительным тоном сказал Некрасову:

— Я удивляюсь, как тебе не омерзительно смотреть на своего Николая.

— Я не чувствую омерзения к ним, а жалость, потому что с детства насмотрелся на их жизнь, начиная с их детства и до смерти. И мы с тобою были бы такими же, если бы родились дворовыми.

— Гуманность, любезный мой, есть продукт цивилизации, но развитому человеку омерзителен вид двуногого животного.

— А кто превратил их в двуногих животных, как не цивилизованные люди? — спросил Некрасов.

Панаев хотел что-то сказать, но Боткин остановил его вопросом:

— Зачем же ты отпустил на волю своих дворовых и нанимаешь вольную прислугу?

Панаев не нашелся вдруг ответить.

— А это, любезнейший, доказывает, что в тебе не было закваски помещика. Эстетическое чувство в тебе развилось, а такой человек не может видеть около себя этих дикарей.

— Да ведь у Некрасова нет ни души дворовых, — проговорил Панаев.

— Не стоит, господа, продолжать этого разговора, — вставая из-за стола, сказал Некрасов, — пусть лучше я останусь с закваскою помещика на всю жизнь, да не буду с отвращением относиться к людям только потому, что они родились на барском дворе.

Боткин надулся на Некрасова и прочел целую лекцию о том, как необходимо развивать в себе эстетическое чувство.

— Мне претит русский овчинный тулуп, — говорил он, — мое обоняние не может переносить этого запаха. Я в Германии и во Франции с удовольствием беседовал с рабочими, видел в них себе подобного человека, а не двуногого животного, у которого в лице нет тени интеллигенции, и одежда-то на нем звериная[6].

Между тем Николай более не присылал ответа, будет ли он или не будет закладывать лошадь. С этого времени он всегда исполнял приказание, но выходило хуже. Он вывалил раз в пьяном виде Некрасова из саней в кучу грязи. Некрасов принял меры. Как только он замечал, что Николай выпивши, то на половине дороги пересаживался на извозчика, а ему строго приказывал сейчас же ехать домой, распрячь лошадь и лечь спать.

Но однажды, недалеко отъехав от дома, Некрасов отослал лошадь домой, и когда возвратился к обеду, то встревожился, что Николай с тех пор еще не возвращался.

— Ну, значит, Николай нахлестался до бесчувствия и попал в полицию, — заметил он.

Петр был послан разыскивать Николая, который действительно очутился на съезжей; дрожки были изломаны, и у лошади зашиблена нога. Все это донес Петр своим бестолковым слогом; о самом же Николае Некрасов спросил:

— Да целы ли ноги и руки у Николая?

— Вот, целехоньки! — ответил Петр. — Вот, только маленько подбита скула, — квартальный бил его.

— А хмель-то вышиб из него?

— Вот, ни в одном глазу нету, теперь вот и плачет.

Некрасов велел Петру вместе с Николаем привести лошадь и дрожки домой...

— Вот, квартальный не выпустит Николая, вишь, двадцать пять рублей подай ему, — твердил Петр.

С большим трудом добился от него Некрасов, что квартальный требовал с Николая за поломанные дрожки у извозчика, который заявил претензию на Николая в полицию.

— Ах, разбойник! — воскликнул Некрасов. — Лошадь искалечил, дрожки сломал, да еще двадцать пять рублей плати! Пусть же его посидит.

Но на другое утро он послал деньги квартальному.

Дрожки до того были исковерканы, что и чинить их не стоило. Ногу лошади надо было долго лечить.

Николай явился с обвязанным лицом к Некрасову, который сурово его спросил:

— Зачем ты пришел, разве я тебя звал?

— Простите, Николай Алексеевич! — слезливым голосом проговорил Николай. — Пожалейте моих стариков. Я уж заслужу вам, только не отсылайте меня к старому барину.

— Дурак ты, — на что мне кучер, когда ни лошади, ни дрожек у меня теперь нет по твоей милости?

— Ногу у лошади я скорехонько залечу, а за починку дрожек вы уж высчитайте из моего жалованья.

— Нет, мне выгоднее и спокойнее держать месячного извозчика, чем свою лошадь.

— Коли я вам не нужен, так я на место пойду, только уж вы не отписывайте старому барину, а то он меня вытребует отсюда.

Николай стал всхлипывать и винить знакомых кучеров, которые его спаивали.

— Теперь, Николай Алексеевич, даю вам крепкий зарок: не токмо пить водку, но даже смотреть на нее не буду.

— И прекрасно сделаешь.

— Так, значит, я буду себе место приискивать, Николай Алексеевич.

— Приискивай.

— Мои старики век за вас будут молить бога.

— Ну, хорошо, хорошо! Сначала залечи себе синяки и никому не показывайся, а потом ищи себе место.

Но Николай более двух недель не уживался на местах и уверял Некрасова, что ему «незадача» и что будто бы его не прогоняли, а он сам уходил с них.

Наконец, однажды он явился просить Некрасова отправить его в деревню.

— Соскучился по своим старикам, Николай Алексеевич. Отец пишет, что мать больна, помрет еще, и я останусь без ее благословения.

— Ну, с богом, отправляйся! — ответил Некрасов и дал ему денег на дорогу.

Перед своим отъездом Николай, прощаясь с Некрасовым, прослезился.

Прошло дней пять. Как-то утром, когда я встала, на мой звонок явилась горничная с заплаканными глазами. Я спросила о причине ее слез и уже предвкушала предстоящую мне тяжелую обязанность разыгрывать роль судьи.

— Ах, Авдотья Яковлевна, мы все наплакались в кухне, глядя на бедного Николая, — отвечала горничная.

— Как? разве он не уехал? — воскликнула я.

— Нет. Сегодня, недавно, пришел в кухню и так плачет, так плачет... — говорила горничная, утирая слезы. — Петр с дворником поили его два дня и все деньги у него отобрали, что ему дано было на дорогу. Он не евши сидел два дня в кучерской, — и горничная опять заплакала. — Он хочет вас повидать.

Я пошла в кухню. Николай упал к моим ногам и, рыдая, молил меня отправить его в деревню.

Горничная, прачка и кухарка утирали слезы и тоже просили меня сжалиться над жертвой жестокосердого Петра и дворника.

Некрасов также был поражен, узнав, что Николай еще пребывал в Петербурге. Сгоряча он хотел было исследовать дело, но, конечно, ничего не добился. Петр

божился, что он знать не знал о пребывании Николая в кучерской, а дворник доказывал: почему он должен был знать, что кучер рассчитан и ему, выпивающему, давали деньги!

Некрасов вынужден был дать снова денег на дорогу Николаю, отправив его под присмотром знакомого ярославского огородника, ехавшего также на родину по соседству с деревней отца Некрасова.

Я уже упоминала в своих воспоминаниях, какие печальные последствия имела история Петрашевского на «Современник»[7]. Уныние и тревога царили в редакции. Как издатель «Современника», так и его сотрудники опустили голову. Прежних оживленных споров и разговоров более не слышалось. Гости не собирались на обеды и ужины. Некоторые литераторы забегали в редакцию на короткое время. Все говорили тихим голосом, передавая тревожные известия об участи заключенных молодых литераторов, замешанных в историю Петрашевского[8].

По вечерам, для развлечения, Некрасов стал играть в преферанс, по четверть копейки, с двоюродными братьями Панаева, с художником Воробьевым и его братом[9].

Некрасов тогда еще в Английский клуб не ездил и даже не помышлял о том, что когда-нибудь сделается членом этого клуба.

Я заметила, что Петр сделался необыкновенно бодрствующим. Прежде он по вечерам всегда спал, а тут, кто бы ни позвонил у парадной двери, он появлялся в передней.

Иван таинственно сообщил мне, что Петр, как кто придет вечером из гостей, бежит в дворницкую, где постоянно сидит какой-то господин, и что он же подслушивает у двери из темного коридора.

В кабинете Некрасова было две двери: одна — в переднюю, другая — в коридор.

Я стала следить, и точно: спущенная занавеска колыхалась у дверей в коридор, когда играли в преферанс. Тогда я предупредила играющих, чтобы они были осторожнее в разговорах, так как Петр подслушивает у дверей.

Шутник пообещал отучить Петра подслушивать у дверей и на другой же день вечером предупредил

играющих, чтобы они не пугались, если Спрут заорет в коридоре.

— Пожалуйста, не выкиньте с ним опасной шутки, — заметил Некрасов молодому человеку.

Вскоре в коридоре раздалось хлопанье хлопушек и дикие крики Петра, который, весь побледнев, стоял, прислонясь к стене, и дрожащей рукой крестился, когда шутник открыл дверь и осветил свечой коридор.

Петр, вероятно, догадался, что это проделал с ним шутник, и стал сердито посматривать на молодого человека и перестал его называть «генералом».

Советовали Некрасову прогнать Петра, но он отвечал:

— Я никогда так не был доволен Петром, как теперь. Он по своему тупоумию не в состоянии связно передать какой-нибудь подслушанный им разговор, а тем более присочинить что-нибудь подходящее к тому, что говорилось между нами.

Петр прослужил у Некрасова года три и сам заявил ему, что хочет ехать на покой в деревню, и тут только сознался, что ему не сорок, а пятьдесят пять лет, и ему тяжело ходить с поручениями.

Рассчитавшись с Петром, Некрасов не огорчился, так как на опыте убедился, что честность его ненадежна.

— А Спрут-то поворовывает у меня деньги, — сказал он мне месяца за два до отъезда Петра. Но меня это не удивило — я уже давно сомневалась в честности Спрута.

Впрочем, Некрасов сам был виноват: он разбрасывал свои карманные деньги на письменном столе, а так как тогда их было у него немного, то убыль легко было ему заметить.

Пропадали также и книги из кабинета, а после отъезда Петра обнаружилось еще, что у Некрасова пропала часть белья и некоторое платье. Но он за это не сердился на Петра; опечалило его только, что Спрут стащил у него разные охотничьи принадлежности, а главное — новые охотничьи сапоги.

— Пусть бы еще вдвое взял из моего белья и платья, только бы охотничьи мои сапоги не трогал, — говорил Некрасов. — Ни одни сапоги так покойны не были, как эти. И на что они ему? На его лапу не влезут.

Но, кроме всего упомянутого, впоследствии оказалось, что Петр с чердака, где лежали отпечатанные листы запрещенного «Иллюстрированного альманаха» [10], постоянно брал их и продавал букинисту. И эта

проделка Петра открылась только после его отъезда, когда надо было переезжать на новую квартиру.

— Ай да Спрут! — сказал Некрасов, узнав об исчезновении с чердака листов. — Оправдал свое прозвище, все сцапывал, что попадалось. Значит, и книги мои он продавал букинистам? На вид совсем идиот, а на наживу денег у него хватило сообразительности.

Я шутливо пеняла Некрасову, что он не снял портрета с Петра себе на память.

После Петра к Некрасову нанялся лакей благообразной наружности и не шокировавший Панаева своим неопрятным туалетом. Василий[11] был небольшого роста; цвет лица у него был бледно-желтоватый без всякого оттенка. Волосы, брови, ресницы светлые; глаза небольшие, бледно-серые. Но, несмотря на эту бесцветность, выражение его лица было суровое. Василию было только двадцать пять лет, а может быть, даже и меньше, но веселого лица у него никогда не было, и смеха его также никто не слыхал. Он только иногда улыбался, и тогда из полуоткрытого большого рта его виднелись два ряда крепких, частых, белых, больших зубов. И что удивительно, так это то, что у Василия появлялась улыбка при таких случаях, когда у всякого другого изобразился бы на лице испуг или жалость. Например, он улыбался, если кто ушибется или упадет; улыбался, глядя, как колотили упавшую лошадь, везшую какую-нибудь тяжесть, или видя несчастного пьяного с окровавленным лицом. Сам же Василий вина не пил, со двора не ходил, и никто из его знакомых к нему не ходил. Он был несловоохотлив, исполнителен, честен, и вообще как лакей был хороший.

Но зато сладу с ним не было, так он донимал всю остальную прислугу своими злыми выходками. Со всеми он был на ножах и ни с кем не вел дружбы.

Василий подливал кислоты в кофейник горничной, правда, немного; он насыпáл нюхательного табаку в перечницу прачки, которая иначе не ела ни щей, ни супа, как только с перцем; протягивал веревку у порога входной двери в кухню для повара, который очень часто во время стряпни бегал выпить в портерную и впопыхах, иногда не совсем твердый на ногах, со всего размаха растягивался на полу.

Все эти штуки Василий проделывал так ловко, что явных улик никто из пострадавших не мог представить. И когда я делала выговор ему за его злые проделки, он мне отвечал:

— Я в кухне не сижу, почем мне знать, что у них там делается!

Повар часто напивался к самому обеду, и тогда приходилось судомойке вместо него готовить половину обеда. И хотя она лучше повара жарила пирожки к супу и дичь, но Василий, приходя за переменой блюд в кухню, говорил:

— Ах ты, поломойка, берешься кухарничать! Господа сидят голодные, никто не хочет есть твоей стряпни. Собаку твоими пирожками накормили, и ту вырвало.

И, видя на глазах судомойки слезы, Василий улыбался.

На масленице судомойка опять должна была отпускать обед вместо повара и, увлеченная печеньем блинов, не заметила, как у нее затлелось платье от плиты. Василий, видя это, не предостерег ее, а ждал, когда оно совсем загорелось, и тогда только заметил мрачным тоном:

— Кухарка, горишь!

И он улыбался, когда судомойка, увидев себя в пламени, с испугом заметалась по кухне и сильно обожгла себе локоть.

Но любовь, должно быть, смягчает характеры. Женившись на моей горничной, Василий бросил свои злые проделки над остальной прислугой, к которой он, однако, по-прежнему относился грубо и пренебрежительно.

У Некрасова очень изменился характер, когда у него началась боль в горле. Он сделался раздражительным и нетерпеливым. Василию часто доставалось от него.

В начале пятидесятых годов Некрасов стал ездить в Английский клуб раза два в неделю и очень счастливо играл в коммерческую игру, но, не имея денег, не мог один играть, а надо было ему товарища, который бы держал половину куша за пуан.

Я несколько раз замечала Некрасову, что он втянулся в карты; он самоуверенно отвечал, что у него всегда хватит настолько характера, чтобы бросить игру, когда

захочет. А когда я говорила, что карты вредно должны действовать на его нервы, то он возражал:

— Напротив, за картами я еще притупляю мои нервы, а иначе они бы меня довели до нервного удара. Чувствуешь потребность писать стихи, но знаешь заранее, что никогда их не дозволят напечатать. Это такое состояние, как если бы у человека отрезали язык, и он лишился возможности говорить.

— Может быть, настанет другое время, — говорила я.

— Доживу ли я еще до того времени, перегорит во мне все, и я никуда не буду годен, если и останусь жив.

Хандра часто находила на Некрасова, да и обстоятельства способствовали тому.

Болезнь горла у Некрасова все усиливалась, и он сделался до крайности раздражителен.

Василий приходил ко мне и говорил убитым голосом:

— Что мне делать, Авдотья Яковлевна? Меня прогнал Николай Алексеевич.

— За что?

— Да за то, что я два раза напоминал ему, что надо полоскать горло.

Я советовала Василию дать успокоиться Некрасову и не показываться ему, пока он сам не позовет.

— А как не позовет?

Я утешила Василия, что Некрасов его позовет, и действительно, через час он позвонил.

— Не пора ли мне полоскать горло? — спросил у Василия Некрасов.

— Пора.

— Так давай! — шепотом произнес Некрасов.

После сильного раздражения и без того несильный голос совершенно пропадал у него. В это время Некрасов иногда с ужасом говорил:

— Какая предстоит мне перспектива — сделаться немым!

Он вдруг бросал все лекарства, не видя улучшения своей болезни, не держал предписанной докторами диеты и злился, если ему напоминали, что какого-нибудь кушанья нельзя есть; то опять впадал в крайность и чуть что не морил себя голодом.

Одну зиму он даже не выходил на воздух по совету докторов, чтобы не простудить еще больше горла.

Понятно, что нервы у него были раздражены мрачными мыслями, не покидавшими его, о близкой смерти. Напишет, бывало, стихотворение, прочтет его и заключит словами:

— В печати мне его не удастся видеть: своего последнего, этого последнего стихотворения. К весне буду готов.

— Напротив, весной доктор надеется, что ваша болезнь горла пройдет.

— Петь буду в концертах даже! — иронически отвечал Некрасов и затем разражался бранью на всех докторов.

А иногда Некрасов сам начинал мечтать о том, как к лету он выздоровеет, уедет в деревню и будет ходить на охоту:

— Какое это будет блаженство! Не будешь видеть этих корректур, «исправленных» цензором, не будешь видеть этого длинного Праца, являющегося за деньгами.

Прац был хозяин типографии, в которой печатался «Современник», когда начался он издаваться.

И точно, вид Праца не только больному Некрасову, но и здоровому человеку не очень-то мог быть приятен. Он приезжал за деньгами, а в это время денежные дела журнала были очень плохие. Подписка туго прибавлялась после 1848 года, потому что цензура не пропускала ничего живого [12].

Некрасов говорил:

— Право, я удивляюсь, как еще снисходительны подписчики, что продолжают выписывать «Современник». Читать в нем нечего благодаря цензуре.

— Да ведь и в других журналах читать нечего, — замечал кто-нибудь ему.

— Печальное утешение, — отвечал он.

Некрасов при самом начале издания «Современника» мечтал о дешевой газете.

— Кабы были деньги, сейчас бы начал издавать дешевую газету. Я уверен, что дешевая газета десятки тысяч имела бы подписчиков.

Многие сомневались в успехе дешевой газеты, но Некрасов горячо защищал свою мысль об издании такой газеты.

В Крымскую кампанию Некрасов горевал, что не удалось ему осуществить свою идею относительно издания дешевой газеты:

— Ведь в самом захолустье России жаждут прочесть, что творится с их сыновьями, мужьями, а разве большинству доступно выписывать наши дорогие газеты?

И будь у Некрасова тогда деньги, он наверно бы стал издавать дешевую газету.

Несмотря на свою болезнь, Некрасов не охлаждался к журналу и по-прежнему старался по возможности выпускать номер хотя сколько-нибудь поживее.

Я уже упоминала в прежних моих воспоминаниях о пребывании Некрасова за границей и как европейские светила-доктора приговорили его к смерти. Он вернулся в Петербург умирать, а вместо того выздоровел [13].

Подписка на «Современник» с каждым годом увеличивалась; денежные дела журнала более не озабочивали Некрасова. Он имел хороших помощников по изданию журнала и мог пользоваться отдыхом. Он опять стал ездить в Английский клуб и уже поздно ночью возвращался домой, забыв совет доктора, вылечившего ему горло, что надо вести правильный образ жизни. Когда же ему об этом напоминали, то он сердился и находил, что ему необходимо притупить свои нервы и что игра в карты не может повредить здоровью.

Я как-то раз заметила Некрасову, что, втянувшись в игру, он не в состоянии будет остановиться и тогда, когда его счастье в картах изменит ему.

— В чем другом у меня не хватит характера, а в картах я стоик! Не проиграюсь! — самоуверенно отвечал Некрасов.

Я напомнила ему факт, как несколько лет тому назад он в какой-нибудь час проиграл тысячу рублей, которые для него тогда составляли очень значительную сумму. Однако, играя, он забывал об этом.

— Это был исключительный случай. Я слишком был поражен своим необычайным несчастьем и одурел. Но теперь я играю с людьми, у которых нет длинных ногтей, а если и есть у кого, то он ими не воспользуется.

Факт, который я напомнила Некрасову, заключался в том, что господин А... [14], только что выступивший на литературное поприще своей повестью, приехал в Петербург из дальней провинции, где он постоянно жил. Он обедал у нас и после обеда предложил Некрасову и

Панаеву сыграть в преферанс. Играли недолго. Панаеву надо было ехать куда-то на вечер, и он уехал. А... предложил Некрасову сыграть в банк.

— Я давно не играл в банк, — сказал Некрасов.

— Ну, ставьте рубль, — сказал А..., тасуя карты.

Некрасов написал мелом рубль, прикрыл карту и, пока ставил небольшие куши, все выигрывал.

— Вот какое вам счастье, — говорил А... с досадою.

— Ну, не злитесь, — сказал Некрасов и поставил все 25 рублей, которые выиграл.

Карта его была убита.

Некрасов опять поставил 25 рублей и проиграл их.

Терминов я не припомню, но в какой-нибудь час Некрасов проиграл тысячу рублей.

Я удивилась тогда спокойствию, с которым играл Некрасов, всегда запальчивый в игре. Несмотря на уговаривание А... продолжать игру, убеждавшего, что проигравший может отыграть свои деньги, Некрасов, вставая из-за стола, сказал:

— Нет! больше не хочу играть. Сейчас вам принесу деньги.

Получив деньги, А... уехал.

Некрасов сидел в раздумье у стола и сказал:

— Что за странность? Маленький куш ставил — выигрывал, а большой куш стал ставить — карта бита!

В это время пришли трое постоянных наших молодых гостей. Увидев, что раскрыт ломберный стол, они заметили Некрасову, что давно не играли с ним в преферанс, и стали играть, как обыкновенно, по четверти копейки.

Сдавались те самые карты, которыми метал банк А... Некрасов, взяв карты, вдруг сказал:

— Господа, позвольте эту сдачу не считать, мне нужно осмотреть карты, — и он стал рассматривать их.

Играющие и я с удивлением следили за Некрасовым, который пристально расследовал их. Когда он окончил осмотр карт, то спокойно сказал:

— Сдавайте.

Его стали спрашивать, зачем он рассматривал карты.

— Мне нужно было.

Играя, Некрасов все время шутил.

Когда гости, поужинав, ушли, Некрасов, взяв колоду карт в руки, сказал:

— Посмотрите, каждая карта отмечена ногтем. Ай да молодец, вот для чего отпускает себе длинные ногти!

Ах, несчастный! Довести себя до такого позора. Если бы это не случилось со мной, я ни за что не поверил бы, чтобы неглупый человек, уже в зрелых летах, способен был так нагло дозволять себе проделывать такие низкие вещи. И еще талант есть; к кругу литераторов будет принадлежать! Никому не надо говорить об этом: может быть, он образумится.

А... как ни в чем не бывало опять обедал у нас и приглашал Некрасова опять сыграть в банк, но тот отказывался.

— Отыграете, может быть, свои деньги.

— А может быть, еще проиграю вам.

— Не все же так несчастье вам будет. Да и я скоро уеду домой, тогда увезу ваши деньги.

— Увезите, — отвечал Некрасов и потом говорил мне:

— Кажется, у А... совесть заговорила. Дай-то бог!

Когда Некрасов, ложась поздно, спал долго по утрам, Василия никто из посетителей, являвшихся лично к Некрасову, не мог уговорить, чтобы он разбудил его, и мне кажется, если бы квартира загорелась, то он только тогда начал бы будить Некрасова, когда уже горела бы соседняя комната.

Раз я заметила, проходя через сени из редакции на свою половину, как у дверей подъезда какой-то господин говорил Василию:

— Третий раз прихожу на этой неделе, и ты мне одно и то же отвечаешь, что он спит.

— Что нужно, идите в редакцию, — отвечал отрывисто Василий.

— Да мне лично нужно видеть господина Некрасова.

— Тогда приходите, когда он не спит!

— А в какое время?

— А я почем знаю? — отвечал Василий, захлопывая дверь.

Я стала говорить Василию, что нельзя так грубо отвечать посетителям.

— А то будить Николая Алексеевича для всякого, кто его спрашивает? Мало ли таких шляется к нему за деньгами. Кому за делом нужно, так тот идет в редакцию.

Я, однако, сказала Некрасову, чтобы он велел Василию быть вежливым с теми, кто к нему приходит, и хотя сколько-нибудь разнообразить свои ответы: что, мол, дома нет или нездоров, не принимает, а то твердит все одно: «спит».

Иногда Василию доставалось от Некрасова за церберское охранение его сна. Некрасов, бывало, сам назначит час кому-нибудь, когда его можно видеть, но Василий спровадит явившегося господина.

Некрасов начнет его бранить за это. По праву долго жившего слуги в доме Василий делал ему вопрос:

— Да разве вы приказывали мне, ложась спать, чтобы я вас разбудил, когда придет этот господин?

— Ну, забыл!

— Так я-то чем виноват?

Между Василием и Некрасовым происходили лаконические разговоры.

— Сколько? — спрашивал Некрасов за завтраком.

— Десять, — отрывисто отвечал Василий.

Это значило 10 градусов морозу.

— Сани!

— Ветер.

— Сани! — настойчиво повторял Некрасов.

Через полчаса Василий появлялся в дверях и докладывал мрачным тоном:

— Карета подана!

— Какая карета? Я тебе велел сани заложить! — прикрикивал на Василия Некрасов.

— А ветер?

— Не твое дело! Вели кучеру заложить сани.

Василий удалялся и через четверть часа еще более мрачным голосом произносил:

— Готово!

Некрасов выходил и находил у подъезда все-таки карету.

Он начинал бранить Василия, который, отворив дверцы, говорил:

— Садитесь! Что на таком ветру стоять!

Некрасов покорно садился в карету, убедясь, что, точно, сильный ветер.

В передней иногда происходили комические сцены. Некрасов выходил в переднюю, чтобы ехать в клуб. Василий держал шубу наготове.

— Пальто! — произносил Некрасов.

Василий, не слушая его, накидывал ему на плечи шубу. Некрасов сбрасывал ее и, горячась, говорил:

— Русским языком я тебе говорю: пальто подай.

Василий, что-то ворча, подавал пальто и совал в руки Некрасову меховую шапку. Тот бросал ее на стол, и тогда Василий мрачно его спрашивал:

— Простудиться, что ли, хотите?

— Не умничай! — отвечал Некрасов, надевая шляпу.

Василий подавал кашне. Некрасов отстранял рукой кашне и шел с лестницы, а Василий, провожая его до экипажа, тихонько всовывал ему кашне в карман.

Если Некрасов уезжал в клуб обедать в санях и приказывал кучеру приехать за ним в такой-то час, Василий распоряжался, чтобы кучер, заложив карету, взял шубу, меховую шапку и отвез бы их в клуб, а пальто и шляпу немедленно привез бы домой.

У Некрасова всегда были охотничьи собаки, и Василий самым аккуратным образом сам их проваживал и кормил. Собака Оскар прослужила несколько лет Некрасову и была уже стара.

Василий однажды при мне позвал Оскара, покоившегося на турецком диване, и сказал:

— Ну, капиталист, иди гулять!

Я спросила, отчего он Оскара называет капиталистом.

— Николай Алексеевич хочет на его имя положить в банк деньги, — ответил Василий.

Я улыбнулась.

— Вы думаете, не положит? Еще вчера опять Оскару говорил, что положит ему капитал.

Василия трудно было убедить, что Некрасов шутил.

Часто из клуба Некрасов приезжал с гостями часов в 12 ночи, чтобы играть в карты. В клубе не хотели играть в большую игру, потому что потом много толковали о том, кто сколько выиграл и проиграл; иногда игра продолжалась с 12 ночи до 2 часов пополудни другого дня. И можно судить, какая большая была игра, если однажды Василий поднял под столом, когда гости пошли ужинать, пачку сторублевых ассигнаций в тысячу рублей. Хозяина этих денег не нашлось, и поэтому решили, пусть Василий возьмет их себе [15].

Добро бы, компания игроков были молодые люди, но все почтенных лет, занимающие высокий пост. Часто лакей чей-нибудь из этих игроков ждал приезда своего

барина с платьем, чтобы тот мог переодеться у Некрасова, так как прямо приезжал с придворного бала.

Василий нажил себе капитал. Иногда он в один вечер или, вернее, в одну ночь имел дохода от карт до пятидесяти рублей, да, кроме того, получал на чай от гостей по десяти и даже по двадцати пяти рублей.

Меня не интересовало, сколько Некрасов выигрывал и проигрывал, и я никогда не спрашивала его об этом. Но другие интересовались этим и при мне спрашивали, сколько он выиграл вчера.

— Пустяками окончилась у меня игра — тысяч сорок выиграл. Сначала был в выигрыше сто пятьдесят тысяч, да потом не повезло. Впрочем, завтра на утреннике, может быть, верну эти деньги.

Утренниками Некрасов называл, когда собиралась постоянно одна и та же компания играть у кого-нибудь из них с часу до шести часов вечера.

Некрасов также говорил:

— Я сегодня еду на единоборство.

Это означало, что игра будет с кем-нибудь из компании только вдвоем.

В то время Некрасов исполнял все свои прихоти, не задумываясь о деньгах. Многие, конечно, завидовали ему, многие обращались к нему: кто за деньгами, кто за покровительством какого-нибудь из его влиятельных знакомых.

Сборы бывали большие, когда Некрасов ездил на медвежью охоту. Везлись запасы дорогих вин, закусок и вообще провизии; брался повар, Василий, складная постель, халат, туфли.

Не знаю, получал ли Некрасов от этой охоты такое же удовольствие, какое он испытывал, когда прежде ездил на телеге верст за 35 от Петербурга и брал с собою только фляжку коньяку, пару жареных цыплят и кусок жареной говядины.

Но тогда он возвращался с охоты оживленным и сейчас же принимался за работу. После же охоты со всевозможными удобствами Некрасов был вял, ворчал, что желудок испортил и устал.

По-видимому, при такой жизни человек должен был бы быть довольным, но у Некрасова нередко выпадали дни мрачные. Под предлогом нездоровья он сидел дома, никого не хотел видеть, не спал ночи, ничего не ел, и,

по выражению его лица, ясно было видно, что в эти дня два ему было страшно тяжело. Должно быть, в подобные минуты он испытывал те нравственные страдания, которые выразил в своем стихотворении «Рыцарь на час».

Я не знаю, какой капитал был у Некрасова, но, судя по лести и лицемерной дружбе некоторых личностей, окружавших его, должно быть, был очень изрядный[16]. Конечно, эти лесть и дружба расточались только в глаза ему, а перешагнув за порог его двери, те же личности беспощадно ругали его и даже клеветали на него.

ПРИМЕЧАНИЯ

«Воспоминания» А. Я. Панаевой, впервые опубликованные в журнале «Исторический вестник» (1889, №№ 1—11), вызвали большой интерес. Читателей привлекло свободное, живое повествование о многих известнейших писателях, артистах, деятелях культуры, непринужденный рассказ об их жизни, быте, взаимоотношениях. В памяти современников Панаевой еще жива была эпоха 40—60-х годов, с ее общественными конфликтами, историческими поворотами, вызванными освободительным революционным движением.

Историк литературы В. Шенрок писал 7 апреля 1889 года издателю «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому: «Мне нет нужды говорить о том, с каким интересом я прочитываю в каждом номере воспоминания А. Я. Головачевой: все, кто их читал, находят их чрезвычайно живыми и занимательными» (*ГПБ*, ф. 834, оп. 1, ед. хр. 44). А. М. Скабичевский, по прочтении первых двух глав воспоминаний, предсказывал: «Здесь мы, без сомнения, найдем немало драгоценных сведений и про Некрасова, и про Панаева, и про всех сотрудников «Современника» 50-х и 60-х годов, и воспоминания г-жи Головачевой должны будут впоследствии играть важную роль при изучении истории русской литературы последнего времени» («Новости и биржевая газета», 1889, № 19). Многие газеты, по мере публикации воспоминаний, перепечатывали их в отрывках или давали обширные пересказы. Бесспорный успех воспоминаний признавали даже те издания, которые отнеслись к труду мемуаристки в целом недоброжелательно («Неделя», 1889, № 25; «День», 1889, № 403).

Большим успехом пользовались воспоминания в провинции. Интересно письмо С. Н. Шубинскому некоего К. И. Челищева из г. Задонска Воронежской губернии от 6 июля 1889 года: «...Обращаюсь к вам от лица нескольких подписчиков и многих читателей «Исторического вестника» с покорнейшей просьбой приложить портрет А. Я. Головачевой-Панаевой к одной из следующих книжек журнала, так как ее воспоминания нас, простых читателей, очень интересуют.

И мы первые разрезываем в журнале ее воспоминания, за напечатание которых приносим Вам благодарность» (*ГПБ*, ф. 874, оп. 1, ед. хр. 44).

«Воспоминания» Панаевой вызвали и оживленную полемику, отразившую острую борьбу вокруг идейного наследства 60-х годов. Демократическая критика встретила «Воспоминания» в целом сочувственно. Помимо откликов Н. Г. Чернышевского и А. Н. Пыпина (см. вступит. статью К. Чуковского) наиболее интересными были отзывы в либеральной «Русской мысли». Ее рецензент рассматривал «Воспоминания» Панаевой как крупное явление наряду с мемуарами И. И. Панаева, Т. П. Пассек, П. В. Анненкова, А. И. Герцена. Говоря о неточностях, «некоторой доле личного творчества» мемуаристки, рецензент замечал: «Это, однако, не лишает ее воспоминаний важного значения для нашей общественной истории. Общий колорит ее изображений правдоподобен и весьма любопытен. Особенно ярки ее воспоминания из эпохи «Современника» 〈...〉. Историку литературы уже нельзя будет обойти ее воспоминаний» («Русская мысль», 1889, № 10, Библиограф. отдел, стр. 460).

В рецензии на первое отдельное издание «Воспоминаний» (1890) «Русская мысль» отмечала демократическую тенденцию мемуаров Панаевой. «Местами в воспоминаниях, — писал автор, — проскальзывают факты, свидетельствующие о тяжелых особенностях *доброго старого времени*, которое теперь превозносится в некоторой части нашей публицистики» («Русская мысль», 1890, № 10, Библиограф. отдел, стр. 466). Положительно отозвался о мемуарах Панаевой и народнический журнал «Русское богатство» (1890, №№ 5—6).

Большинство органов реакционной прессы резко отрицательно оценили мемуары. Газета «Неделя», например, не согласилась с освещением Панаевой раскола в редакции «Современника». В. Буренин оценил в «Воспоминаниях» лишь бытовые подробности, эпизоды из частной жизни современников Панаевой; ее мемуары он противопоставил «Былому и думам» Герцена («Новое время», 1889, № 4782). В. Буренин, а также автор пасквильной заметки «Наш знаменитый поэт» («Московские ведомости», 1891, № 182) пытались использовать многие свидетельства Панаевой для дискредитации Герцена и Некрасова.

Современники обратили внимание на многочисленные ошибки, допущенные мемуаристкой в изложении некоторых фактов, в хронологии событий и т. д. (см. вступит. статью К. Чуковского к наст. изд.). Панаева относилась к работе над воспоминаниями очень ответственно; она не всегда полагалась на свою память и обращалась к разным источникам. Брат Н. А. Добролюбова — В. А. Добролюбов — писал своей сестре Е. А. Стекловой 2 июня 1888 года: «Авдотья Яковлевна Головачева пишет воспоминания (бывшая Панаева)

и просит сообщить ей, что известно из жизни брата Николая в детстве; когда он поступил в семинарию, когда вышел, когда поступил в педагогический институт, как он жил, занимался, как относились к нему отец и мать и пр.» (Архив АН СССР в Ленинграде, ф. 162, оп. 5, ед. хр. 6).

И все-таки проверить, уточнить многие факты Панаевой не удалось. Она работала в очень трудных материальных условиях и, подгоняемая нуждой, торопилась сдавать воспоминания в «Исторический вестник». А. С. Суворину Панаева писала 18 декабря 1888 года: «Не сердитесь на меня, Алексей Сергеевич, что я снова вас беспокою. Не можете ли вы отсрочить мне двести рублей, которые я получила от вас, на месяц; в это время я доставлю свою работу, и разрешите мне получить за те листы, которые я доставила в редакцию «Исторического вестника». Вы премного меня обяжете. На меня и так обрушиваются несчастья. Моя дочь не получила за два месяца жалованья по случаю закрытия Малого театра. Еще раз прошу извинения, что надоедаю вам своей просьбой» (*ЦГАЛИ*, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 8968).

В письме Н. Г. Чернышевскому мемуаристка не скрывала возможных промахов своего труда: «Я знаю, что мои «Воспоминания» написаны плохо, потому что я их писала наскоро, и при такой обстановке моей жизни, что и то удивительно, как я могла и это написать» («Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие», т. III, стр. 595). Редакция же «Исторического вестника» просматривала рукопись воспоминаний лишь с точки зрения цензурных условий и личных симпатий или антипатий к упоминаемым в мемуарах лицам.

Ряд ошибок мемуаристки, особенно неверное свидетельство о месте создания знаменитого письма Белинского к Гоголю, необъективная характеристика Тургенева и др., вызвали некоторое недоверие к «Воспоминаниям». В печати появились опровержения (см. «Новое время», 1889, № 4707; «Новости и биржевая газета», 1889, № 97; заметку В. Шенрока в «Историческом вестнике», 1889, № 5). А. М. Скабичевский, одобрительно встретивший начало «Воспоминаний», затем писал, что «это не мемуары, не воспоминания, а нечто вроде исторического романа» («Новости и биржевая газета», 1889, № 100).

К тому же «Новое время» затеяло ненужную дискуссию об очевидных фактах, связанных с письмом Белинского к Гоголю, и опубликовало письмо Панаевой, не признававшей своей ошибки. С. Н. Шубинский писал по этому поводу редактору «Нового времени» А. С. Суворину: «Я, признаюсь, не понимаю вас в иных случаях. Соображения, по которым приняты и печатаются в «Историческом вестнике» воспоминания Головачевой, вам известны и не требуют объяснений. Само собой разумеется, что если б был досуг и время

тщательно проверить эти воспоминания, то в них оказалось бы много вздора. Вопрос о том, писал ли Белинский Гоголю письмо из Петербурга или из Зальцбрунна, в том или другом году, читал или не читал письмо у Панаева, — это мелочь, не имеющая особенного значения и ничего не изменяющая в сущности дела. Она прошла бы, конечно, незамеченной, но вам почему-то доставляет удовольствие, найдя в «Историческом вестнике» ошибку или даже простой промах, вытаскивать их на общее позорище. Какой-нибудь Головачевой от этого ровно терять нечего, но теряет журнал, к которому из-за сущего пустяка подрывается доверие в публике ⟨...⟩. Прочтя возражение Головачевой и признав его неосновательным, было бы, кажется, гораздо проще не печатать его вовсе, нежели воспользоваться им для нового унижения журнала. И для чего все это делается? Ради исторической правды и беспристрастия? Но если они не существуют для многого другого, то почему должны практиковаться специально для «Исторического вестника»?» (*ЦГАЛИ*, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 4809).

Очень болезненно воспринял мемуары Панаевой Д. В. Григорович. Он находился в том же кругу людей, с которыми встречалась Панаева, но расходился с ней по убеждениям, по оценкам многих лиц и событий. Определенную роль играло и их нерасположение друг к другу. М. Н. Чернышевский писал отцу 2 ноября 1888 года о Панаевой: «Между прочим, она потому опасается, что некоторые ее воспоминания не будут напечатаны, что она слишком резка в своих мнениях и воспоминаниях о некоторых личностях, которым сочувствуют Суворин и Григорович. Этого последнего она очень ругает» («Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие», т. III, стр. 608). Из дневника С. И. Смирновой-Сазоновой известно, как Григорович пытался вмешиваться в публикацию воспоминаний Панаевой (см. *ЛН*, т. 49—50, стр. 550). В набросках письма к Панаевой Григорович обвинял писательницу в клевете, в ненависти к тем лицам, которые ей не сочувствовали (*ЦГАЛИ*, ф. 138, оп. 1, ед. хр. 1). Отправил ли Григорович письмо Панаевой — осталось неизвестно. Свои недоброжелательные суждения он не скрывал, и они были использованы противниками Панаевой (см.: В. Бибиков, О «Воспоминаниях» г-жи Головачевой. — «День», 1889, № 403).

Такова была оценка «Воспоминаний» А. Я. Панаевой непосредственно после их публикации.

* * *

До 1927 года «Воспоминания» Панаевой не переиздавались. Однако их влияние на мемуарную литературу, на изучение истории русской литературы бесспорно. К примеру, отзвуки мемуаров Панаевой есть в воспоминаниях Е. Н. Водовозовой о В. А. Слепцове (1915), в

очерке М. Горького «О Василии Слепцове» (1922). Отрывки из воспоминаний Панаевой включались в сборники, хрестоматии.

Первое советское комментированное издание «Воспоминаний» вышло под редакцией К. Чуковского («Academia», 1927) и было встречено одобрительно (см.: «Вечерняя Москва», 1927, 12 июля; «Правда», 1927, 31 июля; «Известия», 1927, 14 августа; «Красная новь», 1927, № 10; «На литературном посту», 1927, № 15-16; «Slavia», 1928, № 3). К. Чуковский, много сделавший для воскрешения имени А. Я. Панаевой, положил начало научному изданию и комментированию ее мемуаров. Под его редакцией они выходили шесть раз.

В настоящем издании «Воспоминания» печатаются по тексту журнала «Исторический вестник», который наиболее отвечает авторской воле и передает характерные особенности стиля мемуаристки. При текстологической и комментаторской работе учитывались разыскания К. Чуковского.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

[1] Стр. 19. В директорство А. М. Гедеонова (1833—1858), по свидетельству современника, чиновники, заведовавшие хозяйством и счетной частью театров, наживали большие капиталы; они так ловко пользовались безалаберностью и доверчивостью директора театров, что «заставляли изумляться всех близких к театру людей» (А. А. Нильский, Закулисная хроника, СПб. 1897, стр. 25).

[2] Стр. 20. Место, о котором пишет Панаева, — угол улицы Декабристов (бывшая Офицерская ул.) и канала Грибоедова (бывший Екатерининский канал). «Этот дом ⟨купца Голлидея⟩, — вспоминает в своих мемуарах П. А. Каратыгин, — тогда дирекция наняла для помещения актеров русской труппы, конторы театров, нотной конторы, а также некоторых чиновников; тут же внизу помещалась и театральная типография Похорского... Во флигеле, который выходил на Екатерининский канал, было фойе для репетиций» (П. А. Каратыгин, Записки, т. 1, Л. 1929, стр. 43—44).

[3] Стр. 20. Имеется в виду наводнение 7 ноября 1824 г., когда уровень воды в Неве был особенно высок. Оно повлекло за собой серьезные разрушения и человеческие жертвы.

[4] Стр. 21. В начале 20-х годов граф М. А. Милорадович, генерал-губернатор Петербурга, занимал одновременно должность председателя комитета по составлению положения об управлении императорскими театрами. Он был особенно близок с князем А. А. Шаховским, членом этого комитета, признанным знатоком театрального дела в России, одним из полновластных, по словам современников, «владык театрального мира» той поры. М. А. Милорадович оказывал покро-

вительство его ученикам, среди которых заметной фигурой был отец Панаевой — Я. Г. Брянский.

[5] Стр. 22. Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г.

[6] Стр. 22. Мемуаристкой допущена ошибка: граф М. А. Милорадович был смертельно ранен на Сенатской площади выстрелом декабриста П. Г. Каховского при попытке Милорадовича обратиться к восставшим солдатам. Милорадович скончался в ночь на 15 декабря 1825 г.

[7] Стр. 23. В драматических событиях 14 декабря 1825 г. Якубович сыграл едва ли не роковую роль. Он должен был захватить Зимний дворец с царской фамилией в самом начале восстания, но в последний момент отказался выполнить возложенное на него поручение (см.: М. В. Нечкина, Восстание 14 декабря 1825 г., М. 1951, стр. 87—91; М. К. Азадовский, О литературной деятельности А. И. Якубовича. — *ЛН*, т. 60, II, книга 1, М. 1956, стр. 271—282). За участие в восстании был приговорен к двадцати годам каторги.

[8] Стр. 23. А. А. Шаховской не был директором императорских театров. До 1819 г. он занимал место члена репертуарной части и вышел в отставку из-за разногласий с директором театров Тюфякиным. В 1821 г. А. А. Шаховской был вновь приглашен на службу при дирекции императорских театров. В 1826 г. высочайшим указом он был уволен в отставку.

[9] Стр. 24. Панаева довольно точно передает своеобразную и несколько эксцентричную манеру работы А. А. Шаховского-режиссера. Комическое впечатление усиливалось еще за счет дефектов произношения Шаховского. «Весь проникнутый любовью к искусству, не чувствуя ни жара, ни холода, не видя окружающих его людей, ничего не помня, кроме репетируемой пьесы, никого не зная, кроме представляемого лица, — Шаховской часто был великолепен, несмотря на свою смешную, толстую фигуру, свой длинный птичий нос, визгливый голос и картавое произношение» (С. Т. Аксаков, Собр. соч. в 5 томах, т. 3, М. 1966, стр. 75. Ср. также: *Панаев*, стр. 58).

[10] Стр. 24. Пушкин, видевший Е. С. Семенову на сцене в 1817—1820-х гг., оставил восторженное описание ее игры в статье «Мои замечания об русском театре» и в первой главе «Евгения Онегина». «Семенова, — писал он, — не имеет соперницы. Пристрастные толки и минутные жертвы, принесенные новости прекратились, она осталась единодержавною царицею трагической сцены» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, М. 1949, стр. 11). См. также: С. Бонди, Черновики Пушкина, М. 1971, стр. 27—35.

[11] Стр. 25. Е. С. Семенова обвенчалась с князем И. А. Гагариным в мае 1828 г. после 15 лет совместной жизни. Еще раньше, в 1826 г., она оставила сцену, время от времени появляясь в любительских светских спектаклях. С Брянскими ее связывала давняя дружба. Опи-

сываемые Панаевой события относятся, по всей вероятности, ко времени до 1826 г. К тому же вскоре после того, как Е. С. Семенова вышла замуж за кн. И. А. Гагарина, она, в связи с назначением князя в Московский департамент Сената, переехала в Москву.

[12] Стр. 25. Ей посвящено юмористическое послание Пушкина «Нимфодоре Семеновой» («Желал бы быть твоим, Семенова, покровом...»). Н. С. Семенова в описываемое время была гражданской женой графа В. В. Мусина-Пушкина и слыла, по словам современника, за «великую охотницу» разыгрывать роль великосветской дамы (П. А. Каратыгин, Записки, т. 1, Л. 1929, стр. 354).

[13] Стр. 25. Здесь допущен ряд неточностей. Н. С. Семенова была известна в это время прежде всего как оперная певица (в амплуа драматической актрисы она выступала недолго, до 1809 г.). Воспитанница К. А. Кавоса, обладательница красивого, хотя и не сильного, голоса (лирико-колоратурное сопрано), она имела к тому же несомненное и ярко выраженное сценическое дарование.

[14] Стр. 25. Н. С. Семенова оставила сцену в 1829 г. (по другим источникам — в 1828 г.), выступив в последний раз в роли Юлии в опере «Ромео и Юлия» А. Штейбельта.

[15] Стр. 25. Я. Г. Брянский приобрел рукопись комедии Грибоедова у Ф. Булгарина, которому принадлежали права на нее. По свидетельству А. И. Вольфа, Я. Г. Брянский заплатил Булгарину 1000 р. «за сообщение рукописи». Булгарин преследовал откровенно торгашеские цели, продавая текст комедии театру по частям. Разрешив в бенефис Брянского поставить комедию целиком, он добавил, в сущности, лишь второй акт (остальные уже прежде были поставлены на сцене). В бенефис Брянского — 26 января 1831 г. — состоялось первое представление всех четырех актов грибоедовской комедии со значительными, однако, исключениями из текста и цензурными поправками (А. И. Вольф, Хроника петербургских театров. С конца 1826 до начала 1855 года, СПб. 1877, стр. 24—25; Вл. Филиппов, Ранние постановки «Горя от ума». — *ЛН*, т. 47—48, 1946, стр. 299—324). Брянский играл в пьесе небольшую роль Платона Михайловича Горича, уже исполнявшуюся им прежде в театральный сезон 1829/30 гг.

[16] Стр. 25. Р. Зотов, так же как и автор мемуаров, противопоставляет М. В. Величкина Я. Г. Брянскому, который для многих служил образцом актерского трудолюбия, независимости, требовательности к себе (Р. Зотов, И мои воспоминания о театре. — «Репертуар русского театра на 1840 г.», т. 2, СПб. 1840, стр. 29—30).

[17] Стр. 25. Другую версию о причинах разлада между Брянскими и Каратыгиными дает в своих мемуарах И. И. Панаев: «Супруга Брянского, считавшая долгом рассматривать Каратыгина как соперника своего мужа и поэтому как непримиримого врага своего,

ораторствовала против него повсюду с неслыханным ожесточением и устраивала беспрестанные ссоры между двумя артистами» (*Панаев*, стр. 58).

[18] Стр. 26. Соперничество Брянского с Каратыгиным, несомненно, существовало, в особенности в начале их сценической деятельности. Кн. А. А. Шаховской готовил Брянского на смену знаменитому трагику А. С. Яковлеву, и некоторое время после смерти Яковлева (1817) Каратыгин и Брянский выступали в одних и тех же ролях. Однако Брянский вскоре стал появляться в ином амплуа, в ролях «коварных злодеев», уступив Каратыгину место первого трагика петербургской сцены. Корректность Брянского в отношении Каратыгина отмечена в воспоминаниях И. И. Панаева: «Надо отдать справедливость Брянскому в том, что он всегда молчал, когда заходила речь не в пользу Каратыгина» (*Панаев*, стр. 58).

[19] Стр. 26. Многие тягостные эпизоды детских лет жизни в семье подробнее и в гораздо менее сдержанных тонах описаны Панаевой в автобиографической повести «Семейство Тальниковых» (см.: Авдотья Панаева, Семейство Тальниковых, Л. 1928).

[20] Стр. 29. Степан Тюря был маркер Палкина трактира в Петербурге. По свидетельству А. И. Вольфа, он, действительно, выиграл в польскую лотерею 900 000 злотых (А. И. Вольф, Хроника петербургских театров. С конца 1826 до начала 1855 года, СПб. 1877, стр. 168). Тюря упомянут в одном из ранних стихотворений Некрасова. Описывая бильярдную при ресторане Лерхе, поэт говорит:

И гений Тюри носится
Над каждой головой.

(*«Говорун»*, *1843—1845*)

[21] Стр. 29. Водевиль Н. И. Куликова был поставлен на сцене Александринского театра в 1853 г. Роль Тюри исполнял А. Е. Мартынов.

[22] Стр. 31. Панаева односторонне, в преувеличенно комических тонах рисует личность Дидло. По словам современников, Шарль-Луи Дидло был не только великим балетмейстером, каждый новый балет которого составлял целую эпоху в театральном мире, но и замечательным педагогом, человеком редкой отзывчивости и сердечности (см.: А. П. Глушковский, Воспоминания о великом хореографе К.-Л. Дидло и некоторые рассуждения о танцевальном искусстве — в кн.: А. П. Глушковский, Воспоминания балетмейстера, Л. — М. 1940, стр. 163—198; П. А. Каратыгин, Записки, т. 1, Л. 1929, стр. 71—72. Ср. у Пушкина: «Там и Дидло венчался славой» — «Евгений Онегин», гл. I).

[23] Стр. 31. Ошибка. Ссора, из-за которой Дидло вышел в отставку, произошла 31 октября 1829 г., но не с А. М. Гедеоновым, а

с князем С. С. Гагариным, с апреля 1829 г. поставленным во главе дирекции петербургских императорских театров. Дидло был заключен под арест более чем на двое суток; выйдя из-под ареста, он тотчас же написал прошение об отставке. По новейшим разысканиям, отставка Дидло была вызвана не случайным столкновением с директором петербургских театров, а исподволь назревавшим конфликтом балетмейстера с придворными кругами. Требования, которые предъявлял Дидло к своим балетам, к их глубокой содержательности, не отвечали вкусам высокопоставленных завсегдатаев театра, ждавших от балета легких развлечений (Театральное наследство. Сообщения. Публикации, М. 1956, стр. 64—94).

[24] Стр. 32. Прощальный бенефис Дидло состоялся лишь в 1833 г. Дидло настойчиво добивался его, так как считал делом чести свою публичную реабилитацию. Дирекция театров не без основания опасалась, что чествование Дидло может вылиться в своего рода демонстрацию протеста против того унизительного положения, в какое были поставлены актеры русского театра. О прощальном бенефисе Дидло см. также в дневнике А. И. Храповицкого («Русская старина», 1879, № 2, стр. 345—346).

[25] Стр. 33. Е. И. Андреянова была гражданской женой А. М. Гедеонова. Порой выходки против нее балетоманов не укладывались ни в какие рамки приличий. Известен нашумевший в свое время скандальный случай, когда на сцену театра во время спектакля с участием Андреяновой была брошена... дохлая кошка (К. А. Бороздин, Из моих воспоминаний. — «Исторический вестник», 1889, № 6, стр. 694).

[26] Стр. 33. «Ералаш» — сатирический журнал («альбом карикатур»), издававшийся в Петербурге в 1846—1849 гг. М. Л. Невахович был его издателем, редактором и самым деятельным сотрудником. Журнал выходил четыре раза в год. В издании принимали участие художники И. И. Пальм и Н. А. Степанов (см.: Л. Р. Варшавский, Русская карикатура 40—50-х годов XIX в., М. 1937).

[27] Стр. 33. Речь идет о Лебедевой, певице русской оперной труппы в Петербурге (А. И. Вольф, Хроника петербургских театров. С конца 1826 до начала 1855 года, СПб. 1877, стр. 36).

[28] Стр. 34. А. Л. Невахович состоял в должности секретаря при А. М. Гедеонове, а с 1837 г. управлял репертуарной частью канцелярии директора императорских театров.

[29] Стр. 34. Е. И. Андреянова, одна из выдающихся представительниц русского романтического балета, обладала исключительными достоинствами и как технически сильная танцовщица, и как мастер тонкого психологического рисунка, выразительной пантомимы. В тех случаях, когда закулисные интриги не имели силы, торжество искус-

ства Е. И. Андреяновой было бесспорным. Она с громадным успехом гастролировала в Гамбурге, Париже, Лондоне, Милане (1845—1846, 1852) (см.: В. Красовская, Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века, Л. — М. 1958, стр. 247—254).

[30] Стр. 34. «Евгений Онегин», глава первая, строфа XX.

[31] Стр. 36. Скорее всего, это могло быть в 1827—1830-х гг., после возвращения Пушкина из ссылки в Михайловском.

[32] Стр. 37. С этим замечанием совпадает высказывание Гоголя по поводу первых представлений «Ревизора»: «Хлестаков сделался... чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться из парижских театров» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. 4, Изд-во АН СССР, М. 1951, стр. 99).

[33] Стр. 37. А. М. Максимов был женат на танцовщице Аполлонской, любовнице Николая I.

[34] Стр. 38. О. А. Петров в детские годы пел в церковном хоре. С середины 20-х годов служил в театральных труппах в провинции, выступая в разнообразнейшем репертуаре (опера-водевиль, драма, трагедия). 28 июля 1830 г. О. А. Петров приехал в Петербург. В октябре 1830 г. он с большим успехом выступил в опере Моцарта «Волшебная флейта» (партия Зороастро) (см.: В. В. Стасов, Осип Афанасьевич Петров, М. 1952, стр. 5—6).

[35] Стр. 39. Н. О. Дюру в то время было не более 28—29 лет: он женился на танцовщице М. Д. Новицкой в 1836 г.

[36] Стр. 39. К. Голанд — тенор немецкой оперной труппы, успешно выступавший в комических и драматических ролях. Особенным успехом в театральный сезон 1833/34 года пользовалось исполнение К. Голандом роли Мазанчелло в опере Обера «Немая из Портичи» — «Фенелла» на русской сцене.

[37] Стр. 39. М. Д. Новицкая, действительно, дебютировала в роли Фенеллы в опере Обера («Немая из Портичи»), но не на сцене немецкого театра, а в составе русской труппы, куда для исполнения роли Мазанчелло был приглашен К. Голанд.

[38] Стр. 39. Министром двора был в то время П. М. Волконский.

[39] Стр. 40. М. Д. Новицкая была любовницей Николая I.

[40] Стр. 41. Второй муж Дюр (М. Д. Новицкой) — статский советник Пащенко.

[41] Стр. 41. Ошибка: в 1830 году.

[42] Стр. 42. Воспоминания Панаевой подтверждаются многими свидетельствами современников о «холерных волнениях» в Петербурге. Случай, аналогичный эпизоду с «отравителем», описан: «Русская старина», 1884, № 11, стр. 402—405. Ср. также: «Русская старина», 1892, № 9, стр. 742—743; П. П. Каратыгин, Холерный год, СПб. 1887; С. Я. Гессен, Холерные бунты (1830—1832), М. 1932.

ГЛАВА ВТОРАЯ

[1] Стр. 42. В. В. Самойлов дебютировал в 1834 г. как оперный певец (в опере Мегюля «Иосиф Прекрасный»). С 1835 года он служит в составе труппы драматического театра, причем долгое время, из-за происков Гедеонова, на второстепенных ролях (см. «Русская старина», 1884, № 10, стр. 129—136).

[2] Стр. 43. Речь идет о Варваре Николаевне Асенковой, будущей воспитаннице И. И. Сосницкого, блестящей исполнительнице комедийных ролей. Некрасов посвятил ей стихотворение «Памяти Асенковой» (1855).

[3] Стр. 43. Об отношениях Н. В. Самойловой и В. Н. Асенковой см.: С. Бертенсон, Странички театрального прошлого (Из дневника правоведа тридцатых годов), Пг. 1916, стр. 23; «Воспоминания актера А. Н. Алексеева», М. 1894, стр. 32; А. И. Шуберт, Моя жизнь, СПб. 1911, стр. XXXVII—XXXVIII.

[4] Стр. 43. В. В. Самойлова дебютировала на сцене Александринского театра в Петербурге в 1841 г.

[5] Стр. 43. В. В. Самойлов получил образование в Петербургском горном кадетском корпусе и Лесном институте. Он по-другому рассказывает о причине своего поступления на сцену; по словам В. В. Самойлова, Николай I в беседе с его отцом (актером В. М. Самойловым) высказал пожелание увидеть на сцене его талантливых сыновей («офицеров всегда сделать можно, а артистов нет»). — «Русская старина», 1884, № 10, стр. 127—128.

[6] Стр. 44. В. В. Самойлов утверждает, что недоброжелательное отношение А. М. Гедеонова к его сестре, В. В. Самойловой, вызвано было тем, что она не принадлежала к числу выпускников театрального училища, которым А. М. Гедеонов оказывал покровительство: «...он притеснял всех тех, кто поступал не из школы; не я один подвергался его гонениям: Асенкова, Воробьева, обе сестры мои и многие другие не были счастливее меня» («Русская старина», 1884, № 10, стр. 132).

[7] Стр. 44. Печатая воспоминания Панаевой, редакция «Исторического вестника» снабдила этот фрагмент текста примечанием, сославшись на «вполне достоверные источники». В нем сказано, что В. В. Самойлова выполнила все-таки свое намерение и так и не вышла на сцену. Крупный штраф, наложенный на нее А. М. Гедеоновым за отказ участвовать в спектакле, был отменен благодаря вмешательству Николая I. Самойлова же, по мнению редакции, закончила артистическую карьеру не из-за разлада с директором театров, а «только оттого, что вышла замуж за гвардейского офицера Мичурина» («Исторический вестник», 1889, № 1, стр. 52). Оставила В. В. Самойлова сцену в 1853 г.

[8] Стр. 45. В. М. Самойлов погиб 11 июля 1839 г., возвращаясь на лодке из Сергиевской пустыни, где он гостил у настоятеля монастыря. Во время неожиданно разыгравшегося шторма лодку опрокинуло, и В. М. Самойлов утонул; тело его было выброшено на берег у Новой деревни (А. И. Вольф, Хроника петербургских театров. С конца 1826 до 1855 года, СПб. 1877, стр. 83; см. также некролог: В. М. Самойлов. — «Репертуар русского театра на 1839 год», т. 2, кн. 11, СПб, 1839).

[9] Стр. 46. Судьба А. Е. Мартынова в театральном училище складывалась трудно. Сначала он поступил в балетный класс Дидло, затем к декоратору Каноппи. Даже Я. Г. Брянский, обративший на него внимание, не вполне смог оценить масштабы этого могучего дарования, заметив (при передаче своего класса в руки П. А. Каратыгина): «Но, кажется, лучше ему ⟨Мартынову⟩ оставаться краскотером» (П. А. Каратыгин, Записки, т. 1, Л. 1929, стр. 375).

[10] Стр. 47. Этот невольный дебют А. Е. Мартынова состоялся в 1832 г. (см. «Северная пчела», 1860, № 205).

[11] Стр. 47. По свидетельству историка петербургских театров А. И. Вольфа, А. Е. Мартынов в 1835 г. вышел из театрального училища, распевая старую песенку выпускников:

Что-то будет, что-то будет,
И кому судьба присудит
Шестьсот девять получить. —

609 руб. ассигнациями — годовое жалованье выпускникам театрального училища, не проявившим особенных способностей и выступавшим на второстепенных ролях (А. И. Вольф, Хроника петербургских театров. С конца 1826 до начала 1855 года, СПб. 1877, стр. 47).

[12] Стр. 47. Воротников умер в 1840 г.

[13] Стр. 48. Из десяти пьес А. Н. Островского, поставленных на сцене Александринского театра при жизни Мартынова, он сыграл в восьми. Среди исполненных им ролей — Маломальский («Не в свои сани не садись»), Беневоленский («Бедная невеста»), Еремка («Не так живи, как хочется»), Коршунов («Бедность не порок»), Брусков («В чужом пиру похмелье»), Тихон («Гроза») и др. Островский видел в Мартынове одного из крупнейших представителей *«естественной и выразительной* игры на сцене» (А. Н. Островский, Полн. собр. соч., т. 12, М. 1952, стр. 66).

[14] Стр. 48. Имеется в виду первое представление «Грозы» в Петербурге на сцене Александринского театра 21 декабря 1859 г. в бенефис Ю. Н. Линской. Мартынов в этом спектакле играл роль Тихона. «И когда внесли утопленницу, — вспоминает последнюю сцену пьесы А. А. Стахович, — раздался раздирающий сердце вопль его:

«Катя! Катя!» — и проклятье матери в словах: «Матушка, вы ее погубили, вы, вы, вы...». Сейчас, почти через тридцать лет, мне холодно и жутко от одного воспоминания. Счастливы те, кто видел Мартынова» (А. А. Стахович, Клочки воспоминаний, М. 1904, стр. 306).

[15] Стр. 50. А. Е. Мартынов умер 16 августа 1860 г.

[16] Стр. 51. Речь идет о комедии «Старый друг лучше новых двух» (*С*, 1860, № 10).

[17] Стр. 51. «Сон на Волге» — подзаголовок пьесы А. Н. Островского «Воевода». Первая редакция «Воеводы» появилась в печати лишь несколько лет спустя (*С*, 1865, № 1).

[18] Стр. 51. Похороны А. Е. Мартынова 11 сентября 1860 г. превратились в многотысячную демонстрацию. Смерть великого артиста была воспринята общественностью России как большая национальная потеря.

[19] Стр. 52. В «Грозе» Ю. Н. Линская играла роль Кабанихи. «Холодом веяло от нее, от каждого ее слова и движения», — писал А. Ф. Кони, вспоминая премьеру «Грозы» в Александринском театре (А. Ф. Кони, А. Н. Островский. — В кн.: «Островский. К столетию со дня рождения», М. 1923, стр. 20).

[20] Стр. 53. Ревизия, о которой идет речь, была назначена в 1853 г.: хозяйственная часть была найдена «в страшном беспорядке. Деньги тратились нерасчетливо, ежегодные дефициты доходили до 400 000 рублей. Чиновники, сидевшие на тепленьких местечках, жили между тем крезами, наживали капиталы, и некоторые строили себе громадные дома в центре города. Отчетность велась кое-как и иногда по нескольку лет сряду не представлялась в контроль. Касса была почти всегда пуста, артисты по месяцам не получали жалованья» (А. И. Вольф, Хроника петербургских театров. С конца 1826 до начала 1855 года, СПб. 1877, стр. 166).

[21] Стр. 56. М. Тальони приехала в Петербург в 1837 г. и впервые выступила на сцене Большого театра 6 сентября 1837 г. в балете «Сильфида» Ж. Шнейцгоффера. Хореографическая партитура балета была специально для нее создана ее отцом, балетмейстером Ф. Тальони.

[22] Стр. 58. Намек на то, что Мила (Milà, наст. Dechamps) была фавориткой А. М. Гедеонова.

[23] Стр. 59. А. Я. Воробьева (жена певца О. А. Петрова) музыкальное образование получила в Петербургском театральном училище, но не у Кавоса, а в классе А. Сапиенца. Позднее проходила свои партии в операх «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» под руководством М. И. Глинки, который отзывался о ней как о «необыкновенно талантливой артистке». По свидетельству Мусоргского, Глинка писал контральтовые партии специально для «славной Анны Яковлевны Воробьевой-Петровой, первой и гениальной провозвест-

ницы гения Глинки» (М. П. Мусоргский, Избр. письма, М. 1953, стр. 183. См. также воспоминания А. Я. Воробьевой-Петровой. — «Русская старина», 1880, № 3, стр. 611—617).

[24] Стр. 60. Существует иная версия этого происшествия. Воробьевой поручили, из-за нехватки исполнителя, мужскую партию Рикардо в «Пуританах» Беллини. Она пыталась отказаться от выступления, жалуясь на болезнь горла; Гедеонов не принял отказа. А. Я. Воробьева блестяще спела партию Рикардо, но наутро проснулась без голоса и больше на сцене не выступала (М. Львов, О. А. Петров, М. — Л. 1946, стр. 17—18).

[25] Стр. 60. Имеется в виду опера Л. Керубини «Два дня». В России она пользовалась большим успехом и была известна под названием «Водовоз, или Двухдневное приключение».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

[1] Стр. 60. Некоторые из пьес и стихов К. А. Бахтурина пользовались в свое время успехом. К. А. Бахтурин известен как составитель плана либретто «Руслана и Людмилы». На его слова написан первый романс Глинки «Моя арфа».

[2] Стр. 61. Драма Н. В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», действительно, была поставлена в бенефис В. А. Каратыгина 15 января 1834 г. на сцене Александринского театра в Петербурге.

[3] Стр. 62. О литературных «средах» Н. В. Кукольника см. подробнее: *Панаев*, ч. 1, гл. 3.

[4] Стр. 62. Речь идет о Надежде Андреевне Дуровой, знаменитой участнице войн с Наполеоном в 1806—1807 и 1812—1814 гг., проявившей незаурядную храбрость, удостоенной нескольких воинских наград. Она выдавала себя за Александра Дурова, дворянина, сына помещика. По приказу Александра I, когда открылся обман, стала именоваться Александровым. В 1816 г. в чине штаб-ротмистра вышла в отставку. Н. А. Дурова — автор известных воспоминаний «Кавалерист-девица», вызвавших благожелательный отзыв Пушкина и опубликованных им в «Современнике» в 1836 г.

[5] Стр. 62. Неверно. С 1825 г. Верстовский был инспектором музыки, а с 1830 г. — инспектором репертуара дирекции московских театров (Большого и Малого). С 1848 по 1866 г. А. Н. Верстовский — управляющий конторой Дирекции императорских московских театров.

[6] Стр. 62. Н. В. Репина — жена А. Н. Верстовского, актриса и певица, пользовавшаяся большим и заслуженным успехом. Восторженные отзывы о ее игре оставил в своих театральных заметках и воспоминаниях С. Т. Аксаков, назвавший ее «украшением московской

комической оперы и водевиля» (С. Т. Аксаков, Собр. соч. в пяти томах, т. 4, М. 1966, стр. 76).

[7] Стр. 62. Ошибка. Н. В. Репиной, в год замужества А. Я. Панаевой, было 26 лет, а А. Н. Верстовскому — 38 лет.

[8] Стр. 63. Первоначально перевод «Отелло» был показан, по словам И. И. Панаева, В. Каратыгину, не одобрившему его. Тогда И. И. Панаев решил передать перевод Я. Г. Брянскому. Иную версию этого эпизода предлагает в своих воспоминаниях В. А. Панаев: И. Панаева уговорили отдать пьесу не Каратыгину, а Брянскому недоброжелатели Каратыгина («Русская старина», 1893, № 8, стр. 343).

[9] Стр. 63. Подробнее об этом см.: *Панаев*, стр. 56—62. Приятель И. И. Панаева, сверивший перевод с английским текстом, — востоковед М. А. Гамазов (см. его заметку в «Историческом вестнике», 1889, № 4, стр. 255—256).

[10] Стр. 63. Анна Яковлевна Григорьева (Брянская), впоследствии актриса Александринского театра.

[11] Стр. 63. Среди современников бытовало мнение, что в этом спектакле, состоявшемся в бенефис Брянского 21 декабря 1836 г., в роли Дездемоны выступала сама А. Я. Панаева. Историк петербургских театров А. И. Вольф писал, например: «Дочь Брянского дебютировала в роли Дездемоны и, конечно, не совладала вполне с нею, но местами у нее прорывалось много душевного жара. Красота дебютантки, ее выразительное смуглое лицо и огненные черные глаза подкупили, конечно, публику в ее пользу, и ее приняли прекрасно. Через несколько времени она вышла замуж за переводчика драмы» (А. И. Вольф, Хроника петербургских театров. С конца 1826 до начала 1855 года, СПб. 1877, стр. 51).

[12] Стр. 63. А. Я. Брянская вышла замуж за А. А. Краевского, в то время редактора «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» (1837—1838).

[13] Стр. 63. Речь идет об «Иване Сусанине» М. И. Глинки (заглавие «Жизнь за царя» было дано опере с целью придать ей верноподданнический характер), поставленном 17 ноября (9 декабря) 1836 г.; первые репетиции оперы относятся к началу 1836 г.

[14] Стр. 63. Е. Ф. Розен приступил к созданию либретто, когда музыка оперы в большей своей части была уже готова у композитора, и работа либреттиста носила, по сути дела, ремесленнический характер: «...ему надлежало, — по словам Глинки, — подделывать слова под музыку, требовавшую иногда самых странных размеров». Стихи Розена, по словам современников, были «варварски» бездарны. Попытки же Глинки обратить внимание на очевидные недостатки текста всякий раз вызывали энергичную отповедь барона в подобном роде: «Ви нэ понимает, это сама лутший поэзия» (М. Глинка, Записки,

Л. 1953, стр. 106). Замечание мемуаристки о ревнивом отношении Розена к триумфу Глинки совпадает с тем, что писал в начале 60-х годов И. И. Панаев в «Заметках нового поэта»: «Успех Глинки задел заживо автора либретто «Жизни за царя», барона Розена, который страшно обиделся тем, что все овации, вызовы, восторги относились к одному Глинке... Самолюбивый барон от всей души был убежден, что музыка в опере дело второстепенное, что либретто его — гениальное произведение, несравненно выше музыки, и что успех «Жизни за царя» принадлежит по справедливости более ему, барону Розену, чем Глинке» (*С*, 1861, № 12, стр. 240).

[15] Стр. 64. И слова, и сам тон отзыва о О. А. Петрове, приписываемые Панаевой Глинке, едва ли были возможны. Факты убеждают в том, что Глинка был доволен исполнением партии Сусанина уже на репетициях оперы (М. Глинка, Записки, Л. 1953, стр. 116). «Голос Петрова, — свидетельствует В. В. Стасов, — получил к этому времени все свое развитие и сделался тем великолепным «могучим басом», про который говорит Глинка» (В. В. Стасов, Осип Афанасьевич Петров, М. 1952, стр. 8).

[16] Стр. 64. Этот фрагмент воспоминаний неточен. Известно со слов Глинки, что первоначально романс был написан на слова А. Я. Римского-Корсака «Всегда, везде со мною ты». «Этот романс, — вспоминал М. Глинка, — написал я 20 или 21 мая того же 1838 г. в Новгороде-Северском... К этой музыке подобраны впоследствии слова Пушкина: «В крови горит» (М. Глинка, Записки, Л. 1953, стр. 128).

[17] Стр. 65. М. Глинка несколько раньше Панаевых обосновался в Париже. Он прибыл в Париж во второй половине июля 1844 г. Панаевы же отправились из Петербурга лишь осенью того же года. «В Париже нам случилось быть в одно время с Глинкою, — вспоминал И. И. Панаев. — Он был в болезненном, раздраженном состоянии; сначала Париж произвел на него неприятное впечатление» (*С*, 1861, № 12, стр. 240—241).

[18] Стр. 65. М. И. Глинка выехал из Парижа в Испанию в первой половине мая 1845 г., Панаевы в конце мая уже были в Петербурге.

[19] Стр. 65. 7 мая 1850 г. Д. В. Григорович писал М. П. Погодину: «Панаев едет в деревню, в Казань, Некрасов — в Токсово, жена Панаева — за границу» (Н. П. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XI, стр. 106). Осенью того же года Панаева вернулась в Петербург, о чем Некрасов сообщил П. В. Анненкову 30 сентября 1850 г. (*Некрасов*, т. X, стр. 155; см. также письмо В. П. Боткина в книге «П. В. Анненков и его друзья», СПб. 1892, стр. 560).

[20] Стр. 66. М. И. Глинка жил в Варшаве с июня 1849 г. до на-

чала сентября 1851 г. По всей вероятности, Панаева застала М. И. Глинку в один из тех жесточайших приступов «хандры», которая преследовала его с момента приезда в Варшаву, о чем он вспоминает в своих «Записках». Весной 1851 г. после перенесенной болезни это состояние еще более обострилось (см.: М. Глинка, Записки, Л. 1953, стр. 208—210).

[21] Стр. 67. Жена наместника Польши фельдмаршала И. Ф. Паскевича Эриванского, Е. А. Паскевич (урожденная Грибоедова) была двоюродной сестрой автора «Горя от ума».

[22] Стр. 69. С. В. Шумский упорным трудом преодолел эти дефекты дикции. Он был одним из любимейших учеников М. С. Щепкина, ценимых великим актером именно за свое исключительное трудолюбие и преданность искусству. Характер разговора, передаваемого Панаевой, близок к мысли письма М. С. Щепкина С. В. Шумскому (март 1848 г.): «Знаю, что труда было много: но что же достается даром и что ж бы значило искусство, если бы оно доставалось без труда? Пользуйся случаем, трудись, разрабатывай данные богом способности по крайнему своему разумению; не отвергай замечаний, а вникай в них глубже» (М. С. Щепкин, Записки. Письма. Современники о М. С. Щепкине, М. 1952, стр. 250—251).

[23] Стр. 70. Неточность. В семье М. С. Щепкина воспитывались дети П. Е. Барсова, с которым М. С. Щепкина связывала давняя дружба. С 1808 по 1816 гг. М. С. Щепкин был актером в труппе братьев Барсовых (в Курске), затем в течение нескольких лет играл с П. Е. Барсовым в Харькове, Киеве и других городах юга России. П. Е. Барсов скончался вскоре после переезда М. С. Щепкина в Москву, оставив семью без средств к существованию.

[24] Стр. 70. Мать и отец М. С. Щепкина (Мария Трофимовна и Семен Григорьевич) были крепостными курского помещика, графа Г. С. Волькенштейна. В доме Волькенштейнов Мария Трофимовна была сенной девушкой графини (М. С. Щепкин, Записки. Письма. Современники о М. С. Щепкине, М. 1952, стр. 59).

[25] Стр. 71. В 1839 г. А. А. Краевский начал издавать «Отечественные записки». И. И. Панаев, имевший обширнейший круг литературных знакомств и связей, во многом способствовал привлечению в журнал новых творческих сил, выступая своего рода посредником между А. А. Краевским и московскими литераторами. А. А. Краевский высоко ценил участие Панаева в издании журнала (см. письмо А. А. Краевского Панаеву (осень 1839 г.): *Панаев*, стр. 189—190).

[26] Стр. 71. Каролина Карловна Павлова, поэтесса и переводчица.

[27] Стр. 71. Встреча И. И. Панаева с В. Г. Белинским произошла 14 апреля 1839 г. Знакомство А. Я. Панаевой с Белинским состоялось в доме М. С. Щепкина 15 апреля 1839 г. (Ю. Оксман, Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского, М. 1958, стр. 194—195).

Белинский, впервые посетив Панаевых 16 апреля того же года, стал часто бывать у них.

[28] Стр. 71. Об отношении Белинского к Панаевой, во время их жизни в Петербурге, вспоминал В. А. Панаев: «Белинский в это-то время любил поболтать с молодою женою Ивана Ивановича и поддразнивать ее, как ребенка, потешаясь проявлениями ее наивности» («Русская старина», 1893, № 9, стр. 478).

[29] Стр. 72. Белинский в это время редактировал «Московский наблюдатель», скупо субсидировавшийся его издателем Н. С. Степановым. В письме Н. В. Станкевичу 29 сентября — 8 октября 1839 г. Белинский писал: «Еще в посту я вздумал бросить «Наблюдатель», который давал мне слишком мало выгод, брал все мое время и был причиною ужаснейших огорчений... владелец его, Степанов, хотел угодить и нашим и вашим, то есть получать прибыль от журнала и не лишить свою типографию других работ, дававших ему верную выгоду, — и погубил и то и другое» (*Белинский*, т. XI, стр. 398—399). И. И. Панаев свидетельствует, что Н. С. Степанов платил Белинскому «помесячно (да и то неаккуратно) какие-то ничтожные деньги за редакцию» (*Панаев*, стр. 183).

[30] Стр. 72. Еще до знакомства с Белинским, в 1838 г., И. И. Панаев предложил А. А. Краевскому, занятому подготовкой издания «Отечественных записок», кандидатуру Белинского для руководства критическим отделом журнала. Краевский отдал тогда предпочтение В. С. Межевичу. После знакомства с Белинским И. И. Панаев вновь начинает подготавливать почву для переезда Белинского в Петербург. 20 июня 1839 г., отвечая на письмо И. И. Панаева о согласии Белинского сотрудничать в критическом отделе «Отечественных записок», А. А. Краевский приглашает Белинского в Петербург, гарантируя ему заработок в размере 3500 руб. ас. в год (*Панаев*, стр. 187—188; Ю. Оксман, Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского, М. 1958, стр. 198).

[31] Стр. 72. В публикации «Исторического вестника» мемуаристкой допущена ошибка. Имея в виду старшую дочь С. Т. Аксакова — Веру Сергеевну, Панаева называет ее Марьей. М. С. Аксаковой было в то время 8—9 лет.

[32] Стр. 74. По всей вероятности, встреча с Гоголем, о которой пишет Панаева, состоялась осенью 1839 г. после возвращения Гоголя из-за границы в конце сентября 1839 г.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

[1] Стр. 74. Панаевы приехали в Москву 13 апреля 1839 г., а в июле этого года отправились в Казанскую губернию на раздел имения А. В. Страхова. По воспоминаниям В. А. Панаева, двоюродного

брата И. И. Панаева, наследников было 8 человек, они уже съезжались дважды, но так и не пришли к соглашению. На этот раз съезд был последним: срок, установленный для раздела наследства, истекал. Впечатления от этой поездки положены в основу рассказа И. И. Панаева «Раздел имения» («Отечественные записки», 1840, № 2).

[2] Стр. 75. Деревня Нармонка, Тетюшского уезда, Казанской губернии.

[3] Стр. 75. Ошибка. Имена сверстников С. Т. Аксакова — Александра и Ивана Панаевых, так же, как и он, увлеченных литературой, — упоминались не в «Семейной хронике», а в «Воспоминаниях» С. Т. Аксакова, в главах «Гимназия» и «Университет». В «Приложениях» к «Семейной хронике» и «Воспоминаниям» (М. 1856 и др. изд.) были опубликованы оглавления отдельных номеров рукописных журналов: «Аркадские пастушки» (1804) и «Журнал наших занятий» (1806), а также статьи Николая и Александра Панаевых и стихотворения Ивана Панаева тех лет.

[4] Стр. 75. «Благонамеренный» — журнал, издававшийся А. Е. Измайловым в 1818—1826 гг. как орган печати Вольного общества любителей российской словесности, наук и художеств. Журнал не имел строгой программы, четкого политического и литературного направления. Литературный отдел нередко пополнялся случайными произведениями самих подписчиков.

[5] Стр. 76. Подробную характеристику В. И. Панаева см. на стр. 158—159 наст. изд.

[6] Стр. 76. Имеется в виду В. И. Синельников, богатый помещик, отличавшийся феноменальной скупостью и редким самодурством. Спустя несколько лет после описываемых событий имение его было взято в опеку за поступки В. И. Синельникова «вопиюще безнравственного характера», а сам он удален из своего имения («Русская старина», 1893, № 8, стр. 336).

[7] Стр. 77. Случаи жестоких расправ крепостных крестьян с помещиками, о которых пишет Панаева, подтверждаются документальным материалом: отчетами III Отделения о внутреннем положении и крестьянском движении в стране. 1839 год, особенно лето этого года (время поездки Панаевых в Казанское имение), был отмечен взрывом крестьянских волнений. В отчете III Отделения за 1839 г. писалось, что Россия «представляла в продолжении целого лета ряд происшествий, дотоле беспримерных». Вспыхнувшие во многих губерниях (в том числе и в Казанской) пожары молва объясняла тем, что поджоги производят помещики «для разорения своих крестьян», назначенных быть вольными по случаю бракосочетания великой княжны Марии Николаевны или быть отданными ей в приданое. «Крестьяне, убежденные в том, что поджигают, кидались на первого, кто подавал сомнение, били и арестовывали сельских писарей, приказных

голов, становых приставов. Одного бурмистра избили и привязали к лошадиному хвосту. Исправника Карсунского уезда бросили в огонь. В помещичьих имениях происходило то же: один помещик жестоко избит, другой брошен в огонь вместе с управляющим отчиною» («Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг.». Сборник документов, М. 1961, стр. 345). Как явствует из отчета, случай сожжения помещика своими крепостными имел место не в Казанской, а в Симбирской губернии, но был очень характерен для этой поры (ср. материалы отчета по Тамбовской губернии. — Там же, стр. 347—348). В течение 1839 г. были убиты крестьянами восемь помещиков и один управляющий.

[8] Стр. 78. Речь идет о братьях Крониде и Валериане Александровичах Панаевых. В «Воспоминаниях» одного из них, В. А. Панаева, с большой симпатией рисуется облик и характер совсем еще юной в то время жены И. И. Панаева («Русская старина», 1893, № 8).

[9] Стр. 82. Панаевы вернулись в Москву в первых числах октября 1839 г., в конце октября они уже уехали в Петербург.

[10] Стр. 82. Ошибка. Панаева говорит об Александре Михайловне Щепкиной, средней дочери М. С. Щепкина, умершей в 1841 г. от туберкулеза легких. Более точен И. И. Панаев, описывающий в своих воспоминаниях встречу с семейством Щепкиных в июне 1839 г.: «Старшая дочь Щепкина, болезненная и слабая, почти не выходила из своей комнаты; вторая... уже дебютировала с успехом на московской и на разных провинциальных сценах... Меньшая дочь Щепкина была еще ребенком» (*Панаев*, стр. 168). Младшая дочь М. С. Щепкина, Вера, родилась в 1830 г.

[11] Стр. 82. Имеется в виду А. М. Щепкина. См. прим. 10 к наст. главе.

[12] Стр. 82. Фекла Михайловна Щепкина в сентябре 1846 г. обвенчалась с П. П. Барсовым, воспитывавшимся в семье Щепкиных.

[13] Стр. 83. Белинский выехал с Панаевыми из Москвы в 20-х числах октября 1839 г. В доме Панаевых в Петербурге он провел более трех месяцев, лишь в начале февраля 1840 г. переехав к П. Ф. Заикину.

[14] Стр. 84. См.: *Панаев*, ч. 2, гл. VI.

[15] Стр. 84. А. В. Кольцов в свой последний приезд в Петербург останавливался у Белинского с 15 октября по 25 ноября 1840 г.

[16] Стр. 84. Речь идет о намерении Белинского издать стихотворения А. В. Кольцова. Кольцов в переписке с Белинским в августе 1840 г. предложил на год отложить это издание. Известно также, что в 1840 г. Белинский подготовил к печати пять песен из «Сборника русских народных песен, собираемых А. В. Кольцовым» (Белин-

ский, Статьи и материалы, изд-во Ленинградск. гос. университета. Ред. Н. И. Мордовченко, Л. 1949, стр. 126—146).

[17] Стр. 85. См. также в воспоминаниях И. И. Панаева: «Князь Одоевский... принимал каждого литератора и ученого с искренним радушием и протягивал дружески руку всем выступавшим на литературное поприще без различия сословий и званий. Одоевский желал все обобщать, всех сближать и радушно открыл двери свои для всех литераторов» (*Панаев*, стр. 89).

[18] Стр. 85. В. А. Жуковский, посетивший Воронеж в июле 1837 г., дважды виделся с Кольцовым и осматривал с ним достопримечательности города.

[19] Стр. 86. После дуэли с бароном Э. де Барантом, сыном французского посла в Петербурге, М. Ю. Лермонтов был приговорен к вторичной ссылке на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк, готовившийся к военным операциям. Лермонтов выехал из Петербурга на Кавказ в начале мая 1840 г.

[20] Стр. 86. Неверно. М. Н. Катков к этому времени уже был знаком с М. Л. Огаревой, первой женой Н. П. Огарева. (См.: *Белинский*, т. XI, стр. 422, 424, 471.)

[21] Стр. 87. М. Н. Катков пробыл за границей около трех лет — с октября 1840 г. до января 1843 г.

[22] Стр. 87. В прижизненном издании «Воспоминаний» Панаевой, как было отмечено К. Чуковским (*Панаева*, стр. 404), приводился недостаточно верный текст замечаний цензора Красовского. Текст был исправлен К. Чуковским по публикации П. К. Щебальского «Материалы для истории русской цензуры» («Беседы в обществе российской словесности при Московском университете», вып. 3, М. 1871, стр. 42—45). По этой публикации он приводится и в наст. изд. В. Н. Олин принес жалобу попечителю С.-Петербургского учебного округа на цензора Красовского за запрещение его стихотворения «Стансы к Элизе», переведенного им «из Вальтер-Скоттовой поэмы-баллады под заглавием «Замок Литтелькот» (там же, стр. 42—43). Цензурный комитет ответил В. Н. Олину следующее: чтение «Стансов к Элизе» «могло возбудить в читателях, особливо молодых, нечистые чувствования, которые, как известно, запрещаются седьмою заповедию и осуждаются Спасителем в Евангелии св. Матфея (гл. 5, ст. 28). Такое чтение должно было произвесть большой соблазн, особенно в Страстную неделю, в которую автор мог уже сии коротенькие стихи распустить по получении позволения цензуры на напечатание их: а известно, как строго запрещены в слове божием соблазны» (там же, стр. 45).

[23] Стр. 89. Панаевы, А. А. Краевский, Н. Н. Тютчев поселились в доме купца Лопатина, близ редакции «Отечественных записок», на

углу Невского и Фонтанки. В этот же дом 15 октября 1842 г. переехал Белинский.

[24] Стр. 89. Для Белинского игра в преферанс была отдыхом от изнуряющей непосильной работы и одиночества. «Играл он плохо, — вспоминал И. С. Тургенев, — но с тою же искренностью впечатлений, с тою же страстностью, которые ему были присущи, что бы он ни делал!» (*Тургенев*, Сочинения, т. XIV, стр. 49).

[25] Стр. 89. См.: *Панаев*, стр. 242.

[26] Стр. 90. Обычными партнерами Белинского по карточной игре были И. И. Маслов, А. Я. Кульчицкий, Н. Н. Тютчев, К. Д. Кавелин, И. И. Панаев, М. А. Языков.

[27] Стр. 90. В то время, о котором идет речь, могли быть известны лишь семь глав повести В. А. Соллогуба «Тарантас», опубликованные в «Отечественных записках» (1840, № 10). Отдельное издание повести вышло в свет в 1845 г.

[28] Стр. 90. «Графа Соллогуба, — свидетельствует также Д. В. Григорович, — недолюбливали в кругу литераторов; виной был его характер, отличавшийся крайнею неровностью в обращении: сегодня — запанибрата, завтра — как бы вдруг не узнает и едва протягивает руку» (*Григорович*, стр. 113—114).

[29] Стр. 91. О К. А. Булгакове, блестящем гвардейском офицере, очень одаренном человеке, и о последних годах его жизни см. воспоминания К. А. Бороздина, написанные по горячим следам мемуаров Панаевой («Исторический вестник», 1889, № 6).

ГЛАВА ПЯТАЯ

[1] Стр. 94. Литературная деятельность И. С. Тургенева началась значительно раньше. Как поэт-лирик он дебютировал в апрельской книжке «Современника» (1838) П. А. Плетнева; с 1841 г. он выступает в «Отечественных записках» с новыми стихами («Старый помещик», «Баллада»), благожелательно отмеченными позднее Белинским.

[2] Стр. 95. В ночь на 19 мая 1838 г. пароход «Николай I», на борту которого находился Тургенев, сгорел близ Травемюндского порта. С этим событием были связаны оскорбительные для Тургенева слухи о его поведении во время пожара. «Рассказывали тогда, со слов свидетелей общего бедствия, — писал П. В. Анненков, — что он потерял голову от страха, волновался через меру на пароходе, взывал к любимой матери и извещал товарищей несчастия, что он богатый сын вдовы, хотя их было двое у нее, и должен быть для нее сохранен» (*Анненков*, стр. 380). Это обвинение Тургенев публично опроверг в письме редактору «С.-Петербургских ведомостей» (июль 1868 г.), не отрицая, однако, душевного смятения, ужаса смерти, охватившего тогда его, девятнадцатилетнего юношу, на горящем в

море пароходе (см.: *Тургенев*, Сочинения, т. XV, стр. 147—148). Имеется дневниковая запись Е. В. Сухово-Кобылиной, сделанная под впечатлением рассказа Тургенева и вскоре после события, о котором идет речь (*ЛН*, т. 76, стр. 330—341). Некоторыми деталями, драматическими подробностями она напоминает рассказ Тургенева, продиктованный им Полине Виардо в 1883 г., — «Пожар на море» (*Тургенев*, Сочинения, т. XIV, стр. 186—202) и не содержит в себе ничего, компрометирующего Тургенева. Версия, передаваемая Панаевой, согласуется с письмом В. П. Тургеневой сыну, написанном по следам событий («Тургеневский сборник», Пг. 1915, стр. 32—33).

[3] Стр. 96. Подобного рода сцены, очевидно, были характерны для отношений Белинского и Тургенева в начале их знакомства. Ср. свидетельство современника: «Тургенев смотрел на всех свысока, и в манерах его обращения с людьми было заметно вначале некоторое фатовство. Это, конечно, не могло нравиться тому кружку, где он появился, и Белинский, по природной своей прямоте, не терпящий ничего деланного и искусственного, стал без церемонии замечать Тургеневу при всяком подходящем случае о том, что могло коробить присутствующих, конечно, если не было при этом не интимных людей» («Воспоминания» В. А. Панаева. — «Русская старина», 1901, № 9, стр. 486).

[4] Стр. 96. «Репутация победителя на всех рынках, ристалищах и аренах света», по свидетельству П. В. Анненкова, действительно, занимала Тургенева в годы молодости (*Анненков*, стр. 335). Некрасов также отмечал тягу Тургенева к аристократическим кругам, связывая ее с предрассудками его воспитания. См. замечание Некрасова по поводу Тургенева, отраженное в записной книжке А. Н. Пыпина 9 марта 1877 г.: «Разница с Тургеневым: «я с барами хотел быть барин, хотя не был по природе барин; но я же мог подраться с кем попало в ресторане Лерхе, — Тургенев бы повесился от этого; он к Белинскому поедет в белых перчатках, его тянуло к какой-нибудь аристократической барыне, а я бы не пошел туда, разве если б можно было выиграть тысяч пять шутя» (*ЛН*, т. 49—50, стр. 194). Ср. аналогичную мысль Некрасова о Тургеневе, записанную А. С. Сувориным (Г. В. Краснов, Из записок А. С. Суворина. — «Прометей», 1969, № 7, стр. 288).

[5] Стр. 97. «Петербургские углы» написаны Некрасовым позднее, в 1843/44 гг. В 1845 г. опубликованы в сб. «Физиология Петербурга», изданном Некрасовым.

[6] Стр. 97. По свидетельству М. Гамазова, он познакомил Некрасова, по его просьбе, с И. И. Панаевым вскоре после приезда Некрасова в Петербург из провинции («Исторический вестник», 1889, № 4, стр. 255—256).

[7] Стр. 99. Некрасов был талантливым литературным критиком и рецензентом. Об этом не раз говорил Белинский. «Я нисколько не ослеплен объемом моего таланта, — писал он К. Д. Кавелину в декабре 1847 г. — Вот, например, Некрасов — это талант, да еще какой! Я помню, кажется, в 42 или 43 году он написал в «Отечественных записках» разбор какого-то булгаринского изделия с такою злостью, ядовитостью, с таким мастерством — что читать наслажденье и удивленье» (*Белинский*, т. XII, стр. 456. Ср. также письмо Белинского к И. С. Тургеневу от 1/13 марта 1847 г. — там же, стр. 344).

[8] Стр. 100. Не точно. Б. М. Маркевич начал литературную деятельность в конце 40-х годов; в 60-х годах он сотрудничал в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике» Каткова.

[9] Стр. 101. И. И. Лажечников приехал в Петербург в ноябре 1842 г. Он познакомился с Белинским еще в 1823 г., когда в качестве директора училищ Пензенской губернии ревизовал чембарское училище, где Белинский учился. Сблизился Лажечников с Белинским в Москве, в 30-х годах (И. Лажечников, Заметки для биографии Белинского. — «Московский вестник», 1859, № 17).

[10] Стр. 101. Белинский был в отъезде три месяца — со 2 июня до первых чисел сентября 1843 г. (*Белинский*, т. XII, стр. 163, 171).

[11] Стр. 102. Венчание Белинского с М. В. Орловой происходило 12 ноября 1843 г. в Семеновской церкви при Строительном училище.

[12] Стр. 102. Эти сведения неточны. Еще в конце мая 1843 г., перед своим отъездом в Москву, Белинский снял новую квартиру, которую прежде занимал А. А. Краевский. Она находилась в том же доме Лопатина, что и старая холостяцкая квартира Белинского; этим, видимо, объясняется ошибка Панаевой.

[13] Стр. 104. Упреки подобного рода несправедливы. Друзья Белинского, которых имеет в виду Панаева, — Герцен, Боткин, Анненков, — не раз приходили к нему на помощь (ср. письма Белинского к В. П. Боткину, П. В. Анненкову. — *Белинский*, т. XII, стр. 319—320, 324, 337, 341—342).

[14] Стр. 104. В. С. Межевич стал редактировать «Ведомости С.-Петербургской городской полиции» сразу же по приезде в Петербург, в начале 1839 г.

[15] Стр. 105. Факты неточны. Речь идет не о журнале «Пантеон», или точнее: «Пантеон русского и всех европейских театров» (издавался в 1840—1841 гг. В. П. Поляковым под ред. Ф. А. Кони), а о журнале — «Репертуар русского театра», ежемесячном театральном журнале, издававшемся в 1839—1841 гг. И. П. Песоцким, под ред. В. С. Межевича. В 1842 г. «Репертуар русского театра» слился с журналом «Пантеон русского и всех европейских театров» и получил наименование «Репертуар русского и Пантеон всех европейских теат-

ров». В дальнейшем название менялось: в 1843 г. — «Репертуар русского и Пантеон иностранных театров», затем — «Репертуар и Пантеон» (1844—1846), «Репертуар и Пантеон театров» (1847) и пр. Редактировали журнал: в 1842 г. — Ф. В. Булгарин, в 1843—1846 гг. — В. С. Межевич, в 1847—1856 гг. — Ф. А. Кони. А. А. Григорьев сотрудничал в журнале лишь в 1845—1846 гг. К. Чуковский высказывает предположение, что Панаева имеет в виду артиста и водевилиста П. И. Григорьева (*Панаева*, стр. 408).

[16] Стр. 106. По-видимому, «западничеством» А. А. Григорьева Панаева считает его увлечение в 40-х годах идеями утопического социализма Ш. Фурье, масонством, преклонение перед Ж. Санд. С конца 40-х годов и в особенности в 50-х годах, в так называемой «молодой редакции» «Москвитянина», А. А. Григорьев выступает как сторонник славянофильских идей.

[17] Стр. 108. Мемуаристка ошибается, связывая с В. С. Межевичем повесть И. И. Панаева «Тля» («Отечественные записки», 1843, т. XXVI). Против Межевича был направлен очерк Панаева «Русский фельетонист» («Отечественные записки», 1841, т. XV), в котором есть и деталь, отмеченная Панаевой, — привычка героя постоянно поправлять очки (см. об этом в прим. И. Ямпольского к «Литературным воспоминаниям» И. И. Панаева, стр. 364). Этот очерк вызвал ответный выпад Межевича («Северная пчела», 1841, № 254 от 12 ноября).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

[1] Стр. 110. С Полиной Виардо Гарсиа Тургенев познакомился 1/13 ноября 1843 г. в Петербурге. Виардо приезжала в Россию подряд два сезона — в 1843/44 и 1844/45 гг. Первые ее выступления в России прошли с огромным успехом. А. Григорьев посвятил ей восторженное стихотворение «Чадо пламенного юга». Тургенев впервые услышал ее в роли Розины в «Севильском цирюльнике» Россини, исполнение которой, по мнению современников, было подлинной вершиной ее искусства.

[2] Стр. 111. Мать Тургенева скончалась в ноябре 1850 г. в Москве. О ее смерти и о хлопотах по поводу наследства Тургенев сообщал П. Виардо (*Тургенев*, Письма, т. I, стр. 410—411, 416, 418, 506—509; т. II, стр. 389—390).

[3] Стр. 112. Речь идет о приезде П. Виардо в Россию в сезон 1852/53 гг., когда она пела в Петербурге и в Москве.

[4] Стр. 112. Тургенев, «по высочайшему повелению» высланный в 1852 г. в свое родовое имение в с. Спасское (см. прим. 15 к гл. X), тайно, под чужим паспортом, приезжал весной 1853 г. в Москву для свидания с П. Виардо. Его поездка в Москву тщательно скрывалась даже от близких друзей (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 139. См. так-

же: И. М. Гревс, История одной любви. И. С. Тургенев и Полина Виардо, М. 1927). В Петербурге на этот раз Тургенев не был.

[5] Стр. 114. См. прим. 13 к гл. V.

[6] Стр. 115. Белинского в эту пору в Петербурге не было. С начала июня по первую половину августа 1844 г. он жил на даче в пригороде Петербурга, в Лесном. Неподалеку снимал дачу Некрасов. Тургенев жил в Парголове с июня по август 1844 г.

[7] Стр. 118. О похожем случае вспоминает и П. В. Анненков, полагая, что Тургенев не чувствовал никакой вины «за проделки подобного рода» (*Анненков*, стр. 384—385; см. также: *Фет*, стр. 34).

[8] Стр. 121. 7-я строфа из «Современной песни» Д. Давыдова.

[9] Стр. 121. Панаевы уехали из Петербурга в последних числах сентября 1844 г. 3 октября они были в Берлине.

[10] Стр. 122. В тексте «Воспоминаний» было: поэт В. По предположению К. Чуковского (*Панаева*, стр. 410), автор имеет в виду поэта Н. М. Сатина, которому в то время делали операцию ног. Огарев летом писал друзьям: «Мы живем в Берлине ради операции, которую будут делать Сатину...» («Русская мысль», 1890, № 9, стр. 7).

[11] Стр. 124. Встреча Панаевых с В. П. Боткиным и Н. П. Огаревым в Париже подтверждается воспоминаниями П. В. Анненкова. Рассказывая об оживленном обществе, собиравшемся летом 1845 г. в подмосковном селе Соколове, он пишет о том, что кругу близких друзей «недоставало двух весьма крупных членов его, В. П. Боткина и Огарева. Оба они жили за границей, в Париже... по рассказам Панаева, тоже недавно возвратившегося оттуда...» (*Анненков*, стр. 268).

[12] Стр. 125. Мемуаристка, несомненно, ошибается, принимая случайного спутника-итальянца за Джузеппе Гарибальди. Гарибальди не мог быть в это время в Париже. С 1835 г. он 12 лет прожил в Южной Америке, почти непрерывно участвуя в сражениях: сначала во главе партизанских отрядов за независимость Риу-Грандской республики, затем, в описываемое Панаевой время, возглавляя прославленный Итальянский легион, боровшийся за свободу Уругвайской республики. Только 15 апреля 1848 г. Гарибальди отплыл из Уругвая в Италию, охваченную революционным движением (см.: Дж. Гарибальди, Мемуары, М. 1966).

[13] Стр. 127. О Толстых, соседях Панаевых по казанскому имению, подробнее см. в гл. VIII.

[14] Стр. 128. Панаевы вернулись в Петербург в 20-х числах мая 1845 г.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

[1] Стр. 131. Герцен, переехавший в Петербург в мае 1840 г., в начале 1841 г. был вновь отправлен в ссылку в Новгород по обвинению «в распространении вредных слухов для правительства» («Былое

и думы», ч. 4, гл. XXVI). О роли Панаевой в возвращении Герцена из новгородской ссылки рассказывается в воспоминаниях В. А. Соллогуба. Он пишет, как, благодаря участию, принятому в судьбе Герцена А. Я. Панаевой, «одной из самых красивых женщин Петербурга», «с большим жаром» поведавшей ему историю осуждения Герцена, он принял на себя роль посредника в передаче императрице письма жены Герцена с просьбой о помиловании. После этого Герцену было разрешено проживать с семьей в Москве (В. А. Соллогуб, Воспоминания, М. — Л. 1931, стр. 300—301).

[2] Стр. 131. Имеется в виду Каролина Карловна Павлова, поэтесса и переводчица.

[3] Стр. 133. Н. Х. Кетчер жил в Петербурге с осени 1843 до середины 1845 г. Об этом периоде «страдальческой жизни» (И. Панаев) Кетчера см. подробнее: *Панаев*, стр. 239—240; *Герцен*, т. 9, стр. 223—254.

[4] Стр. 136. Панаева переехала к Грановским 11 августа 1845 г. «Грановская мне предложила, — писала Панаева Белинскому 11 августа 1845 г., — во время отсутствия Jeannot жить у ней, и я переезжаю к ним сегодня же» («В. Г. Белинский и его корреспонденты», М. 1948, стр. 220).

[5] Стр. 136. Профессор Московского университета, реакционер и карьерист Н. И. Крылов был женат на сестре Е. Ф. Корша Любови Федоровне и жестоко с ней обращался. В сентябре 1846 г. под влиянием К. Д. Кавелина, близко наблюдавшего семейную жизнь Крыловых, Любовь Федоровна решилась наконец оставить мужа. Эта история получила широкий общественный резонанс; Кавелин, Корш, Редкин и Грановский подали просьбу об удалении Крылова из университета. В знак протеста против того, что Крылов был оставлен в Московском университете, Кавелин и Редкин подали в отставку.

[6] Стр. 138. Здесь очевидные неточности. А. М. Щепкина, о которой идет речь, умерла в 1841 г. (см. прим. 10 к гл. IV), а сын М. С. Щепкина, Д. М. Щепкин — талантливый молодой ученый, математик, археолог, искусствовед, умер в 1857 г.

[7] Стр. 140. Литературная деятельность П. В. Анненкова началась в 1840 г. Познакомившись перед отъездом за границу с Белинским, Анненков присылал ему оттуда «Письма из-за границы», печатавшиеся в «Отечественных записках» в 1841—1843 гг. Всего было опубликовано 13 писем, первое имеет дату: «Гамбург, 12 ноября 1840 года», последнее — «Париж, 9 марта 1843 года». Вторая поездка Анненкова за границу вызвала 9 «Писем из Парижа», опубликованных «Современником» в 1847—1848 гг.

[8] Стр. 140. Успех «Физиологии Петербурга» (1845) побудил Некрасова к подготовке нового издания. Альманах «Петербургский сборник» был издан в 1846 г. и стал крупным событием в русской

литературе 40-х годов. «Таких альманахов, как «Петербургский сборник», — писал Белинский, — у нас еще не бывало» (*Белинский*, т. IX, стр. 475).

[9] Стр. 141. В «Петербургском сборнике» были опубликованы: «Капризы и раздумья» Искандера (Герцена), «Парижские увеселения» И. Панаева, «Мартингал (из записок гробовщика)» В. Ф. Одоевского, «Мой autographe» В. А. Соллогуба, «Макбет. Трагедия Шекспира» в переводе А. Кронеберга. В число «других литераторов», кроме А. Кронеберга, входили Достоевский (роман «Бедные люди»), проф. А. В. Никитенко (статья «О характере народности в древнем и новейшем искусстве»), А. Майков (поэма «Машенька» и два стихотворения), Некрасов (стихотворения: «В дороге», «Пьяница», «Отрадно видеть...», «Колыбельная песня») и Белинский (статья «Мысли и заметки о русской литературе»).

[10] Стр. 141. Вклад Тургенева в сборник был более значителен. Помимо «Помещика» Тургенев отдал в «Петербургский сборник» рассказ «Три портрета» и два стихотворения: «Тьма (из Байрона)» и «Римская элегия» Гете (XII)».

[11] Стр. 142. Автор имеет в виду «Воспоминания о Белинском» И. Панаева (*Панаев*, стр. 308—309). См. об этом также: Ф. М. Достоевский, Собр. соч., т. 12, М. — Л. 1929, стр. 29—32; *Григорович*, стр. 89—90.

[12] Стр. 143. Первый визит Достоевского к Панаевым состоялся 15 ноября 1845 г. Хозяйка дома произвела большое впечатление на Достоевского. «Вчера, — писал он брату 16 ноября 1845 г., — я в первый раз был у Панаева и, кажется, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя» (Ф. М. Достоевский, Письма, т. 1, М. — Л. 1928, стр. 85). См. также его письмо М. М. Достоевскому от 1 февраля 1846 г. (там же, стр. 87). По словам А. Г. Достоевской, «увлечение Панаевой было мимолетно, но все же это было единственным увлечением Достоевского в его молодые годы. В доме у них, где к Федору Михайловичу начали относиться насмешливо, неглупая и, по-видимому, чуткая Панаева пожалела Достоевского и встретила за это с его стороны сердечную благодарность и нежность искреннего увлечения» (Л. Гроссман, Путь Достоевского, Л. 1924, стр. 121).

[13] Стр. 143. Знакомство Тургенева с Достоевским состоялось в начале ноября 1845 г. «Тургенев, — писал Достоевский, — с первого раза привязался ко мне такою привязанностию, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек?.. характер неистощимо-прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе» (Ф. М. Достоевский, Письма, т. 1, М. — Л. 1928, стр. 84). Впоследствии, когда характер их отношений резко изменился, Белинский не раз «бранил Тургенева, что он раз-

дражает Достоевского и подзадоривает больного человека» («В. Г. Белинский в воспоминаниях современников», М. 1962, стр. 601).

[14] Стр. 143. Намек на Д. В. Григоровича, который жил в то время в одной квартире с Достоевским (см.: *Григорович*, стр. 86—93).

[15] Стр. 145. По всей вероятности, здесь имеется в виду эпиграмма («Послание Белинского к Достоевскому», 1846), сочиненная Тургеневым и Некрасовым:

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ

и т. д.

[16] Стр. 145. То есть с Д. В. Григоровичем. См. прим. 14 к наст. главе.

[17] Стр. 145. Об исключительном читательском и коммерческом успехе «Петербургского сборника» Белинский сообщал в письме к Герцену от 26 января 1846 г.: «Альманах Некрасова дерет: больше 200 экземпляров продано с понедельника (21 января по пятницу 25-е)». А спустя месяц, занятый хлопотами по подготовке собственного альманаха («Левиафан»), снова возвращается к этой мысли: «Только три книги на Руси шли так страшно: «Мертвые души», «Тарантас» и «Петербургский сборник». Эх, как бы моя попала в четвертые!» (*Белинский*, т. XII, стр. 261, 263).

[18] Стр. 146. Мысль издать разнообразный по жанрам и содержанию, но непременно солидный альманах не раз высказывалась Белинским. «К Пасхе я издаю толстый, огромный альманах», — пишет он Герцену в начале января 1846 г. и через некоторое время снова повторяет: «А что мой альманах должен быть слоном или левиафаном, это так... Мне рисковать нельзя; мне нужен успех верный и быстрый» (*Белинский*, т. XII, стр. 254, 265). Альманах не был издан; часть материалов, предназначавшихся для него, была передана Белинским в «Современник» (см. прим. 6 к гл. VIII).

[19] Стр. 147. Публичные лекции Т. Н. Грановского по истории средних веков читались им в Московском университете с 23 ноября 1843 г. по 22 апреля 1844 г. и пользовались у слушателей огромным успехом. «Заключение первого курса было для него ⟨Грановского⟩ настоящей овацией, вещью неслыханной в Московском университете», — писал Герцен в «Былом и думах» (ч. 4, гл. XXIX). По словам Чаадаева, лекции Грановского имели «историческое значение».

[20] Стр. 149. Здесь допущена существенная хронологическая неточность. Осенью 1844 г. Панаевы должны были уехать за границу. Некрасов же приехал в Москву весной 1846 г., чтобы отправиться на отдых в имение Толстых.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

[1] Стр. 150. Летом 1846 г. (в мае — июне) Панаевы и Некрасов гостили в имении Г. М. Толстого Ново-Спасском, Казанской губернии. Имение Панаевых находилось по соседству.

[2] Стр. 151. Этот рассказ Панаевой не подтверждается фактами. Еще в марте 1846 г., то есть, по крайней мере, за месяц до приезда Панаева в Москву, Белинский писал Герцену: «Насчет путешествия с Михаилом Семеновичем, — кажется, что поеду. Мне обещают денег, и, как получу, сейчас же пишу, что еду» (*Белинский*, т. XII, стр. 267). 26 апреля он выехал в мальпосте вместе с Некрасовым в Москву (там же, стр. 274), а 16 мая началась не двухмесячная, как полагает Панаева, а гораздо более продолжительная (около 5 месяцев) поездка по маршруту гастролей М. С. Щепкина. Лишь 12 октября они вернулись в Москву.

[3] Стр. 154. Как явствует из автобиографической записи Некрасова (1872), во время пребывания в имении Г. М. Толстого было принято лишь принципиальное решение издавать журнал (мысль о «Современнике» пришла значительно позднее) и обсужден вопрос о денежных средствах, необходимых для начала такого издания; инициатива, судя по словам Некрасова, принадлежала именно ему: «Я возбуждал вопрос об издании журнала. Дело остановилось за деньгами. Панаев заявил, что у него есть 25 000 рублей свободного капитала. Толстой обещал ссудить также 25 000. Тогда я поспешил в Петербург. Журнал «Сын отечества» умирал, издатель его Масальский был в это время в Ревеле. Я ездил к нему, но дело ни к чему не привело, тогда я пошел к Плетневу — издателю «Современника», начатого Пушкиным в 1836-м году. Плетнев легко согласился, уступил мне и Панаеву журнал, написал контракт с каждого подписчика давать Плетневу рубль, а если журнал прекратится вследствие явного нарушения цензурных правил, то мы ему платим 30 000 р. неустойки» (*Некрасов*, т. XII, стр. 14). О первоначальном намерении Некрасова приобрести журнал «Сын отечества» см.: Ф. М. Достоевский, Письма, т. 1, М. — Л. 1928, стр. 93.

[4] Стр. 154. Некрасов уехал в Петербург из Ново-Спасского в июле 1846 г.

[5] Стр. 155. Текст письма, как установлено Ю. Г. Оксманом, представляет собой несомненную мистификацию, создающую лишь «видимость документальности». Белинского в это время в Петербурге не было, а из делового письма Некрасова он еще до своего возвращения из поездки со Щепкиным знал о том, что Панаев в Петербурге и, следовательно, занят делами «Современника» (см.: Ю. Г. Оксман, Переписка Белинского. — *ЛН*, т. 56, М. 1950, стр. 221—222). Вопрос об апокрифичности письма был в общей форме впервые по-

ставлен в кн.: В. Е. Евгеньев-Максимов, «Современник» в 40—50-х годах, Л. 1934, стр. 45.

[6] Стр. 156. Речь идет о материалах, собранных Белинским для несостоявшегося альманаха «Левиафан». Некрасов в сентябре 1846 г. писал Белинскому: «Мы заплатим Вам за все статьи, имеющиеся для Вашего альманаха, и за те, кои будут для него доставлены, хорошие деньги, и это будет Ваш барыш с предполагавшегося альманаха...» (*Некрасов*, т. X, стр. 53). В числе материалов, переданных Белинским в «Современник», были: «Обыкновенная история» Гончарова, «Доктор Крупов» и «Сорока-воровка» Герцена, «Из записок артиста» М. С. Щепкина, «Взгляд на юридический быт деревни России» Кавелина и др.

[7] Стр. 157. 23 октября 1846 г. И. И. Панаев подписал нотариальный договор с П. А. Плетневым об условиях аренды «Современника». Изложение содержания договора см.: В. Евгеньев, Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова в связи с историей его журналов. — «Голос минувшего», 1915, № 9, стр. 39—40. См. также: В. Е. Евгеньев-Максимов, «Современник» в 40—50-х годах, Л. 1934, стр. 36—38.

[8] Стр. 157. А. В. Никитенко, профессор русской словесности в Петербургском университете, литературный критик, в то время цензор Петербургского цензурного комитета, состоял в 1847—1848 гг. официальным редактором «Современника». Положение редактора de jure его не устраивало. 5 февраля 1847 г. он записал в своем дневнике: «Мне слишком тяжело находиться в постоянной борьбе с издателями, которых в свою очередь может тяготить мое влияние. Они, вероятно, рассчитывали найти во мне слепое орудие и хотели самостоятельно действовать под прикрытием моего имени. Я не могу на это согласиться» (*Никитенко*, т. 1, стр. 301). В апреле 1848 г. Никитенко отказался от обязанностей редактора «Современника»; редактором журнала стал И. И. Панаев.

[9] Стр. 159. Намек на А. В. Кольцова. См. прим. 18 к гл. IV.

[10] Стр. 159. В. И. Панаев, в прошлом литератор, был в то время крупным чиновником, директором канцелярии Министерства императорского двора. Отрицательно оценивая поэзию Пушкина и других крупных поэтов 20—30-х годов — Баратынского, Дельвига, Кюхельбекера, — он особенно нетерпим был к современной литературе, развивавшейся под большим влиянием идей Белинского и творчества Гоголя. Мнения В. И. Панаева о Гоголе, передаваемые автором мемуаров, подтверждаются воспоминаниями С. Т. Аксакова: «Вот, например, Владимир Иванович Панаев, тоже старый мой товарищ, литератор и член Российской академии, с которым, разумеется, я никогда о Гоголе не рассуждал, вдруг спрашивает меня при многих свидетелях: «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и

неестественное?» (С. Т. Аксаков, История моего знакомства с Гоголем, М. 1960, стр. 25).

[11] Стр. 163. Автор неточно передает факты. А. Ф. Писемский был командирован в составе литературно-этнографической экспедиции, организованной Морским министерством, «в Астраханскую губернию и к прочим побережьям Каспийского моря», но не по рекомендации И. И. Панаева, а по предложению должностного лица. В экспедиции Писемский пробыл, как можно судить из «Дела о командировании литераторов в разные края России для собирания сведений по морской части относящихся», значительно больше времени, чем полагает Панаева: с 9 января по 9 ноября 1856 г. (А. Ф. Писемский, Письма, М. — Л. 1936, стр. 613). Серия очерков, содержащая богатый материал, собранный Писемским во время экспедиции, печаталась в журнале «Морской сборник» в 1857 г.

[12] Стр. 165. Герцен пробыл в Петербурге с 4 по 14 октября 1846 г., занимаясь хлопотами о снятии с него полицейского надзора и получении заграничного паспорта.

[13] Стр. 167. Неточность. Роман И. А. Гончарова «Обыкновенная история» был опубликован не в февральском, а в мартовском и апрельском номерах «Современника» за 1847 г.

[14] Стр. 169. Литературный дебют П. В. Анненкова как беллетриста (печататься он начал значительно раньше; см. прим. 7 к гл. VII) относится к 1847 г., когда в майском номере «Современника» была опубликована его первая повесть «Кирюша». Впоследствии в «Современнике» появились и другие произведения Анненкова-прозаика: «Она погибнет!» (1848, № 8), «Странный человек» (1851, № 5). Беллетристические опыты Анненкова не имели успеха.

[15] Стр. 169. Белинский уехал за границу 5 мая 1847 г., а вернулся в конце сентября этого года.

[16] Стр. 170. История цензурных мытарств с «Иллюстрированным альманахом» такова. 26 февраля 1848 г. «Альманах» был разрешен к печати цензором А. Очкиным. Редакция «Современника», опасаясь правительственных репрессий в связи с событиями французской революции 1848 г., предоставила альманах на просмотр одному из членов «Бутурлинского комитета» (иначе: «Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений», «Комитет 2-го апреля») — статс-секретарю Дегаю. Тот также не нашел в нем ничего противоцензурного. Однако цензурный комитет и вслед за ним министр народного просвещения 20 октября 1848 г. все-таки запретили альманах (В. Е. Евгеньев-Максимов, «Современник» в 40—50-х годах, Л. 1934, стр. 252—253). И. И. Панаев понес серьезные материальные убытки в связи с этим запрещением.

[17] Стр. 171. Подлинный тираж «Современника» был таков: в 1847 г. у «Современника» было 2000 подписчиков, в 1848 г. — 3000, а в 1849 г. — 2400.

[18] Стр. 173. Ошибка: в 1847 г. Гоголя не было в Петербурге. Впервые на эту ошибку указал, еще в процессе печатания мемуаров, исследователь творчества Гоголя В. Шенрок («Исторический вестник», 1889, № 5, стр. 477—478). Описываемый эпизод относится к осени 1848 г., но встреча произошла не у Панаевых, а на квартире А. А. Комарова, близкого знакомого Белинского: Гоголь во время приездов в Петербург часто бывал у него. Во встрече, которая состоялась по инициативе самого Гоголя, участвовали, кроме других приглашенных, Гончаров, Григорович, Некрасов, Дружинин, И. Панаев. Белинского, разумеется, на этом вечере быть не могло: за несколько месяцев перед тем он скончался.

[19] Стр. 173. Письмо Белинского к Гоголю, замечательный памятник русской революционно-демократической мысли, было написано в иное время — в 1847 г. в Зальцбрунне — и по иному поводу — как ответ на письмо Гоголя из Франкфурта (около 8—20/VI 1847 г.), вызванное появлением рецензии Белинского на «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя (*С*, 1847, № 2). Подробнее об истории создания письма см.: К. П. Богаевская, Письмо Белинского к Гоголю (*ЛН*, т. 56, стр. 513—569); Ю. Г. Оксман, Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ. — В кн.: Ю. Г. Оксман, От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева, Саратов, 1959, стр. 203—245.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

[1] Стр. 174. С М. В. Буташевичем-Петрашевским Достоевский познакомился весной 1846 г.; в кружок Петрашевского вошел в 1847 г. (см.: Н. Ф. Бельчиков, Достоевский в процессе петрашевцев, М. 1971).

[2] Стр. 174. По-видимому, автор имеет в виду статью Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (*С*, 1847, № 1). Впервые Белинский отозвался о «Двойнике» очень благожелательно в развернутой рецензии на «Петербургский сборник» («Отечественные записки», 1846, № 3). Вернувшись спустя год к этому произведению, Белинский развил те критические положения, которые были бегло намечены им в первом отклике на повесть. Отмечая, что в этом произведении автор «обнаружил огромную силу творчества», что «характер героя принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, какими только может похвалиться русская литература», Белинский вместе с тем увидел в повести «страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком собственных сил».

Как на существенный недостаток повести Белинский указывал на ее «фантастический колорит» (*Белинский*, т. X, стр. 40—41). Еще более резкой критике была подвергнута в этой же статье повесть Достоевского «Господин Прохарчин»: «В ней сверкают яркие искры большого таланта, но они сверкают в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю... Сколько нам кажется, не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде... как бы это сказать? — не то умничанья, не то претензии...» (там же, стр. 41).

[3] Стр. 174. Автор устанавливает слишком прямолинейные связи между разрывом Достоевского с кругом «Современника» и статьями Белинского. Конфликт назревал исподволь, признаки его появились уже в конце 1846 г., дело осложнялось еще и тяжелым материальным положением Достоевского, которому приходилось искать помощи у А. Краевского, издателя «Отечественных записок».

[4] Стр. 174. См. прим. 5 к гл. VII.

[5] Стр. 175. Вероятно, речь идет о романе Э. Сю «Berger de Kravan» («Пастух Кравана», 1848), запрещенном в России. В 1849—1850 гг. в «Современнике» были опубликованы «Признания» («Confidences») Ламартина. Некрасов писал 30 января 1848 г. А. В. Никитенко: «Не может же наш журнал вовсе не знакомить своих читателей с произведениями иностранных литератур. Итак, уж если переводить, то, конечно, Ламартина, чем кого другого. Имя это и у нас не опальное, и притом «Записки Ламартина», по всей вероятности, наделают шуму во всей Европе...» (*Некрасов*, т. X, стр. 107).

[6] Стр. 175. Имеется в виду цензор А. Л. Крылов.

[7] Стр. 175. Панаева вспоминает здесь «Примечание для гг. цензоров «Современника» к роману «Три страны света», составленное в сентябре 1848 г. ею и Некрасовым. В этом документе давались следующие гарантии относительно «благонадежности» будущего романа: «В этом романе *более* лиц добрых и благородных, чем дурных... Все лучшие качества человека: добродетель, мужество, великодушие, покорность своему жребию представлены в лучшем свете и увенчаются счастливой развязкой. Напротив, *порок решительно торжествовать не будет*» (*Некрасов*, т. XII, стр. 41).

[8] Стр. 175. По воспоминаниям А. С. Суворина, Некрасов говорил, что в работе над романами «Три страны света» и «Мертвое озеро» принимали участие также «Григорович, Дружинин и другие» («Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников», М. 1971, стр. 343).

[9] Стр. 176. Роман «Три страны света» пользовался большим успехом у читателей. После публикации в «Современнике» (1848, № 10—12; 1849, № 1—5) он трижды выходил при жизни Некрасова отдельными изданиями: в 1849, 1851 и 1872 гг.

[10] Стр. 176. Это утверждение противоречит раннему и, по всей вероятности, более достоверному рассказу А. Я. Панаевой, который был воспроизведен А. М. Скабичевским в биографическом очерке о Некрасове (1879): «По свидетельству Авд. Як. Головачевой (бывшей Панаевой), писание «Трех стран света» происходило так: сначала Н. А. Некрасов с г-жой Панаевой составили общими совещаниями сюжет романа, а потом распределили, какую кому из них писать главу, и у г-жи Головачевой есть том «Трех стран света», в котором обозначено, что было написано ею и что Некрасовым. Из этих отметок видно, что все, касающееся интриги и вообще любовной части романа, принадлежит перу г-жи Панаевой; Некрасов же на свою долю избрал детальную аксессуарную часть, комические сцены, черты современной жизни и описание путешествий Каютина» (А. Скабичевский, Соч., т. II, СПб. 1895, стр. 268—269).

[11] Стр. 176. Роман «Мертвое озеро» был опубликован в «Современнике» в 1851 г. (№№ 1—10). Вероятно, со слов Панаевой Скабичевский писал о работе над этим произведением: «Что же касается «Мертвого озера», то Некрасову принадлежит в нем лишь один сюжет, в составлении которого он принимал участие вместе с г-жой Панаевой, и много что две-три главы. А затем Некрасов захворал, слег в постель и решительно отказался продолжать роман» (А. Скабичевский, Соч., т. II, СПб. 1895, стр. 269).

[12] Стр. 177. Возможно, что это бурное объяснение Достоевского с Некрасовым было связано с публикацией второй части статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года», которая должна была появиться в мартовском номере «Современника» за 1848 г. и где была дана резко отрицательная, ироническая оценка повести Достоевского «Хозяйка» и высказано сомнение относительно истинных достоинств таланта ее автора. «Что это такое, — писал Белинский, — злоупотребление или бедность таланта, который хочет подняться не по силам и потому боится идти обыкновенным путем и ищет себе какой-то небывалой дороги? Не знаем; нам только показалось, что автор хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши сюда немного юмору в новейшем роде и сильно натеревши все это лаком русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное...» (*Белинский*, т. X, стр. 351). См. также письмо Белинского к П. В. Анненкову 15 февраля 1848 г. (там же, т. XII, стр. 467). «Пасквиль в стихах» — вероятно, эпиграмма, написанная Тургеневым и Некрасовым (см. прим. 15 к гл. VII).

[13] Стр. 177. Это произошло в ночь с 22 на 23 апреля 1849 г.; в ту же ночь был арестован и Достоевский.

[14] Стр. 177. Неточность: А. В. Никитенко отказался от обязанностей редактора «Современника» в апреле 1848 г. См. прим. 8 к гл. VIII.

[15] Стр. 177. «Издатели были призваны 1 ноября в III Отделение, — пишет М. К. Лемке, — и выслушали выговор» (М. К. Лемке, Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., СПб. 1908, стр. 201). Этот эпизод отражен в поэтических произведениях Некрасова — «Суд» (1867) и «Недавнее время» (1871).

[16] Стр. 179. М. Н. Лонгинов, известный библиограф и историк литературы, одно время бывший в приятельских отношениях с Тургеневым, Боткиным, Панаевым и другими писателями 40—50-х годов, переводил для сцены комедии и водевили, драмы (в соавторстве с К. А. Тарновским), в 50-е годы в «Современнике» печатались его стихотворные опыты под псевдонимом «Скорбный поэт». В свое время пользовались известностью стихи Лонгинова фривольного содержания, распространяемые в списках и изданные в Карлсруэ (1863); это издание он впоследствии скупал и уничтожал. Либерально настроенный в 40—50-е годы, заявлявший себя защитником свободы печати и непримиримым врагом цензуры, Лонгинов в пореформенный период выступал как воинствующий реакционер. Деятельность его на посту начальника Главного управления по делам печати (1871—1875) отличалась фанатической нетерпимостью. Так, он собирался наложить запрет на русский перевод Дарвина (см. «Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинизме» А. К. Толстого); применял в широких размерах практику сожжения книг. В 1873 г. по его распоряжению были сожжены сочинения Радищева, в 1874 г. — книга Скабичевского, в которой говорилось о Герцене, и т. д. Возмущаясь ренегатством Лонгинова, Тургенев в одном из писем называл его «сугубым мерзавцем» (*Тургенев*, Письма, т. X, стр. 152).

[17] Стр. 181. Повесть А. В. Дружинина «Полинька Сакс» опубликована в «Современнике» не в 1848, а в 1847 г. (№ 12).

[18] Стр. 182. См. прим. 15 к гл. VII.

[19] Стр. 184. Литературный фонд («Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым») был создан именно по инициативе А. В. Дружинина. «Мысль об основании фонда, наподобие того, который уже около ста лет существовал в Лондоне, пришла ему давно, раньше, чем кому-нибудь из его сверстников», — свидетельствует Тургенев (*Тургенев*, Сочинения, т. XV, стр. 45).

[20] Стр. 187. В эти годы Тургенев, действительно, обращался к А. Краевскому с предложением напечатать в его журнале свои произведения (см. письмо к А. А. Краевскому от 14/26 ноября 1848 г. — *Тургенев*, Письма, т. I, стр. 312). В 1847 г. Тургенев опубликовал в «Отечественных записках» повесть «Бретер», в 1849 г. — пьесу «Холостяк». В последующие годы он также печатался в журнале А. А. Краевского.

[21] Стр. 187. Из переписки Тургенева с Боткиным и Некрасовым известно, что Тургенев давал обещание выплачивать пенсию дочери

Белинского. «Я обещал ей (М. В. Белинской) когда-то давать ежегодно Ольге, — сообщал он В. П. Боткину в июле 1855 г. — Я не отказываюсь — но теперь мои обстоятельства такие, что я не могу это сделать тотчас» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 290). Возможно, пенсия выплачивалась какое-то время. Некрасов писал Тургеневу в сентябре 1857 г.: «Дочери Белинского уже 15 лет, у ней и у матери ничего нет, кроме скудного жалованья и твоей пенсии» (*Некрасов*, т. X, стр. 361).

[22] Стр. 189. Хронологическое несоответствие: Панаева гостила у Грановских осенью 1852 г., то есть за три года до смерти Т. Н. Грановского (см.: «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, М. 1897, стр. 430).

[23] Стр. 193. Речь идет о 1853 г. Весной Некрасов почувствовал сильное недомогание. «Кажется, приближается для меня нехорошее время, — сообщает он в письме к Тургеневу от 17 ноября 1853 г., — с весны заболело горло, и до сей поры кашляю и хриплю — и нет перемены к лучшему, грудь болит постоянно и не на шутку» (*Некрасов*, т. X, стр. 197—198).

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

[1] Стр. 194. По воспоминаниям А. А. Фета, его знакомство с Панаевой и кругом «Современника» произошло в конце 1853 г., когда он служил в лейб-уланском полку близ Петербурга (см.: *Фет*, стр. 32—33). А. В. Дружинин в своем дневнике записал, что 5 декабря 1853 г. во время обеда у Панаева он «нашел несколько новых лиц», среди них «поэта Фета 〈...〉 коренастого армейского кирасира, говорящего довольно высоким слогом» (*Дружинин*, л. 239).

[2] Стр. 194. Об отношении Тургенева к Фету Панаева пишет неточно. Тургенев восхищался поэзией Фета и в то же время оценивал ее очень строго, откровенно высказывая Фету свои мнения о его стихах (см.: *Тургенев*, Письма, т. II, стр. 163—165, 198—201, 268—269, 291).

[3] Стр. 194. Инициатива нового издания стихотворений Фета принадлежала Тургеневу. В начале 1855 г. он писал поэту от имени «дружеского кружка» (Некрасова, Панаева, Дружинина, Анненкова, Гончарова): «...мы предлагаем поручить нам новое издание ваших стихотворений, которые заслуживают самой ревностной очистки и красивого издания...» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 268—269). Затем к редактированию стихов Фета Тургенев привлек В. П. Боткина. По этому поводу Фет вспоминал: «Конечно, я усердно благодарил кружок, и дело в руках его под председательством Тургенева закипело. Почти каждую неделю стали приходить ко мне письма с подчеркну-

тыми стихами и требованиями их исправлений. Там, где я не согласен был с желаемыми исправлениями, я ревностно отстаивал свой текст, но по пословице: «один в поле не воин» — вынужден был соглашаться с большинством, и издание из-под редакции Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько и изувеченным» (*Фет*, стр. 104—105).

[4] Стр. 194. Строки из стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...» (1843).

[5] Стр. 194. Эта книга сохранилась. В настоящее время она находится в Государственной Третьяковской галерее.

[6] Стр. 194. В 1852 г. в «Русском инвалиде» (№№ 52—54, 62—67, 80, 87—92) было напечатано историческое исследование Н. В. Гербеля «Изюмский слободской казачий полк», вышедшее в том же году отдельным изданием. Этому предшествовало издание стихотворения Гербеля «На двухсотлетие Изюмского гусарского полка» с историческими комментариями (СПб. 1851), рецензировавшееся в «Современнике» (1851, № 8).

[7] Стр. 195. Воспроизведенный диалог вызывает сомнение. Гербель, судя по публикациям, из немецких поэтов переводил в то время только Шиллера и Гете.

[8] Стр. 195. Стихотворный перевод Гербеля «Слова о полку Игореве» назывался «Игорь, князь Северский» (1-е изд., СПб. 1854).

[9] Стр. 196. О М. А. Языкове, своем товарище по Благородному пансиону, И. И. Панаев писал в «Литературных воспоминаниях» (см. в них гл. II, VII, IX).

[10] Стр. 196. Не совсем точно. И. И. Панаев вспоминал, что Языков, получив рукопись «Обыкновенной истории» от Гончарова, «прочел несколько страничек, которые ему почему-то не понравились, и забыл о ней». «Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив: «кажется, плоховато, не стоит печатать». Но Некрасов взял эту рукопись у Языкова, прочел из нее несколько страниц и, тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому, который уже просил автора, чтобы он прочел сам» (*Панаев*, стр. 308).

[11] Стр. 197. Рассказ Панаевой неточен. «Петербургские углы» был написаны в 1843 г., когда Белинский уже был знаком с Некрасовым. Их первые встречи относятся ко второй половине 1841 г. (см.: Ю. Оксман, Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского, М. 1958, стр. 279—280).

[12] Стр. 198. Речь идет о стихотворении «Размышления у парадного подъезда» (1858).

[13] Стр. 198. Министром государственных имуществ в 1857—1858 гг. был М. Н. Муравьев, прославившийся подавлением польских

восстаний в 1830—1831 и 1863 гг., за что получил прозвище «Вешателя».

[14] Стр. 199. Некрасов писал о себе: «Хорошая память всю жизнь составляла одно из главных моих качеств» (*Некрасов*, т. XII, стр. 15). А. А. Буткевич, сестра поэта, также подтверждает этот факт: «Память у него была удивительная, он записывал *одним словечком* целый рассказ и помнил его всю жизнь по одному записанному слову» (*ЛН*, т. 49—50, стр. 178).

[15] Стр. 199. Тургенев «по высочайшему повелению» был арестован 16 апреля 1852 г. и подвергнут заключению на «съезжей 2-й Адмиралтейской части». Николай I распорядился: «...посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину под присмотр» («Русская мысль», 1906, кн. II, отд. VII, стр. 21). Поводом для этого послужило тургеневское «Письмо из Петербурга» о смерти Гоголя («Московские ведомости», 1852, № 32, 13 марта. Датировано 24 февраля 1852 г. Подпись «Т . . . . ъ»), запрещенное петербургским цензурным комитетом для публикации в «С.-Петербургских ведомостях». Главная же причина ареста и ссылки, о чем писал сам Тургенев, — отрицательная оценка в высших правительственных сферах «Записок охотника»: «Хотели подвергнуть запрету все, что говорилось по поводу смерти Гоголя, — и кстати обрадовались случаю наложить вместе с тем запрещение на мою литературную деятельность» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 395).

[16] Стр. 199. Е. М. Феоктистов писал Тургеневу 25 февраля 1852 г., на следующий день после похорон Гоголя: «Вся Москва решительно была на похоронах. Огромная университетская церковь не вмещала народу — кроме Назимова (попечителя Московского учебного округа. — *Г. К.*), Закревский и пр. были в полных мундирах — также профессора, которые некоторое время несли гроб и передали его потом студентам и прочему народу» (*ЛН*, т. 58, стр. 743. См. также воспоминания А. А. Харитонова: «Русская старина», 1894, № 4). Генерал-губернатор А. А. Закревский доносил шефу жандармов А. Ф. Орлову: «В день погребения народу было всех сословий и обоего полу очень много, а чтобы в это время все было тихо, я приехал сам в церковь» («Красный архив», 1925, т. 2, стр. 301).

[17] Стр. 200. Ходатайства друзей Тургенева (Анненкова, Панаева, А. К. Толстого), самого писателя (см. его письмо к вел. кн. Александру Николаевичу от 27 апреля 1852 г.) оказались безуспешными. Тургенев оставался под арестом до 16 мая 1852 г.

[18] Стр. 200. Тургеневу разрешено было вернуться в Петербург 16 ноября 1853 г. По распоряжению Николая I за ним сохранялся «строжайший надзор» («Всемирный вестник», 1907, № 12, стр. 60—61). Друзья Тургенева, опасаясь новых репрессий, советовали ему немедленно покинуть Спасское-Лутовиново. П. В. Анненков писал

Тургеневу 18 ноября 1853 г. из Петербурга: «Что вы будете делать, я не знаю, но желал бы, в случае если решитесь на поездку, и советовал бы приехать прямо сюда, не останавливаясь в Москве или как можно менее останавливаясь. Примите этот совет *непременно* в соображение. ⟨...⟩ Впрочем, на что бы вы ни решились, я вам скажу одно: надо быть осторожным и осмотрительным в форме, в вольности, в минутных делах, так как в сущности вы никогда не можете быть виноваты» (*ИРЛИ*, ф. 7, ед. хр. 7). Аналогичное письмо Тургеневу направил А. К. Толстой (см.: А. К. Толстой, Собр. соч. в 4-х томах, т. 4, «Художественная литература», М. 1964, стр. 69—70).

[19] Стр. 200. Главы из второй части «Мертвых душ» Д. А. Оболенский читал по списку, подготовленному для издания С. П. Шевыревым. Чтения проходили в феврале — марте 1853 г. Они имели определенную цель: воздействовать на власти, снять цензурный запрет на издание сочинений Гоголя. Д. А. Оболенский вспоминал: «В это время приехал в Петербург Щепкин, московский актер, и я доставил ему случай читать разные пьесы Гоголя у великого князя, великой княгини Елены Павловны. Надо было многих заинтересовать в этом деле, чтобы достигнуть какого-нибудь результата. Сам я достал рукопись глав II тома «Мертвых душ», и читал их, где только мог, и везде старался опровергнуть то превратное мнение, которое распространяли злонамеренные люди о покойном Гоголе» (Д. А. Оболенский, Воспоминания, т. I, ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 1, ед. хр. 167, л. 90).

[20] Стр. 201. Так была названа редакцией «Современника» повесть Толстого «Детство», напечатанная не в октябрьской, а в сентябрьской книжке журнала под инициалами «Л. Н. Т.».

[21] Стр. 201. Повесть «Детство» вызвала сочувственные отклики многих литераторов (см.: Н. Н. Гусев, Лев Николаевич Толстой, Материалы к биографии с 1828 по 1855 год, Изд. АН СССР, М. 1954, стр. 395—397). Тургенев был тогда в ссылке, но он полностью разделял высокую оценку таланта Толстого. Тургенев писал Некрасову 28 октября 1852 г. из Спасского-Лутовинова: «Ты прав — этот талант *надежный* ⟨...⟩. Пиши к нему — и поощряй его писать. Скажи ему, если это может его интересовать — что я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 79, см. также стр. 152).

[22] Стр. 201. Такого рода суждения Тургенева не подтверждаются другими источниками.

[23] Стр. 202. Мемуаристка неточно воспроизводит мысли Тургенева. Сразу после кончины Гоголя Тургенев писал Полине Виардо: «Для нас он был более чем только писатель: он раскрыл нам нас самих. Он во многих отношениях был для нас продолжателем Петра

Великого. Быть может, эти слова покажутся вам преувеличенными, внушенными горем. Но вы не знаете его; вам известны только самые незначительные из его произведений, и если б даже вы знали их все, то и тогда вам трудно было бы понять, чем он был для нас. Надо быть русским, чтобы это почувствовать» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 394, перевод с франц., см. также стр. 281, 282).

[24] Стр. 203. Явное искажение тургеневских взглядов. Тема России, ее народа волновала Тургенева так же, как и Некрасова. Защищая «гоголевское направление» от эстетских нападок А. В. Дружинина, Тургенев писал в июне 1855 г. В. П. Боткину: «Бывают эпохи, где литература не может быть *только* художеством — а есть интересы высшие поэтических интересов. Момент самопознания и критики так же необходим в развитии народной жизни, как и в жизни отдельного лица...» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 282).

[25] Стр. 204. Первый перевод «Записок охотника» на французский язык сделал Эрнест Шаррьер в 1854 г. под заглавием: «Воспоминания знатного русского барина, или Картина современного состояния дворянства и крестьянства в русских провинциях». Тургенев, недовольный произвольными дополнениями и искажениями переводчиком своего текста, написал по этому поводу открытое письмо редактору «Journal de St. Pétersbourg» (см.: *Тургенев*, Сочинения, т. XV, стр. 127—132).

[26] Стр. 204. Панаева была в Париже в мае — июне 1857 г., когда И. Делаво работал над переводом «Записок охотника» совместно с Тургеневым (изданы в Париже в 1858 г.).

[27] Стр. 205. И. Делаво занимался переводами с русского языка, сотрудничал в «Revue des deux Mondes», опубликовал там статьи о Некрасове, Тургеневе, Писемском, Герцене и др., вел в «Современнике» «Парижские письма». По словам Фета, «этот француз, получивший основательное классическое образование, настолько же отличался любознательностью, как и примерно скромностью» (*Фет*, стр. 148). Теплый отзыв о Делаво, после его кончины, содержится в письме В. П. Боткина Д. П. Боткину из Парижа от 12 декабря 1862 г.: «Хороший, тихий, безобидный был он человек. Я знал его больше двадцати пяти лет и был с ним в самых близких отношениях. Такие потери тяжелы и невознаградимы» (*ГБЛ*, ф. 258, папка 6614, ед. хр. 7).

[28] Стр. 206. О болезненном состоянии А. А. Иванова, его недоверчивости и в то же время доброжелательности писали и другие лица, встречавшиеся в это время с художником. Тургенев в воспоминаниях о А. А. Иванове писал: «Долгое разобщение с людьми, уединенное житье с самим собою, с одной и той же постоянной, неизменной мыслью, наложило на Иванова особую печать; в нем было что-то мистическое и детское, мудрое и забавное, все в одно и то

же время; что-то чистое, искреннее и скрытное, даже хитрое. С первого взгляда все существо его казалось проникнуто какою-то недоверчивостью, какою-то то суровой, то заискивающей робостью; но когда он привыкал к вам — а это происходило довольно скоро, — его мягкая душа так и раскрывалась» (*Тургенев*, Сочинения, т. XIV, стр. 87. См. также: П. М. Ковалевский, Стихи и воспоминания, СПб. 1912, стр. 227—229).

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

[1] Стр. 207. Речь идет о Николае Николаевиче Тютчеве и Михаиле Александровиче Языкове.

[2] Стр. 207. «Контора агентства и комиссионерства» была открыта Тютчевым и Языковым в октябре 1846 г. Языков, по свидетельству В. П. Боткина, «внес 15 тысяч рублей серебром обеспечения» («П. В. Анненков и его друзья», СПб. 1892, стр. 524). В 1847—1850 гг. контора, в частности, рассылала заказчикам журнал «Современник». Контора не принесла ожидаемых доходов, хотя в первые годы, по словам Некрасова, Языков и Тютчев «преуспевали понемногу» (*Некрасов*, т. X, стр. 116). По мнению К. Чуковского (*Панаева*, стр. 424), в романе «Три страны света» (3-я глава VI части) изображено «крушение» конторы Тютчева и Языкова.

[3] Стр. 209. Неверно. В конце 1850 г. из конторы ушел Тютчев. Языков подыскал другого компаньона: П. В. Зиновьева, богатого новгородского помещика, знакомого Тургенева. Контора просуществовала до конца 1850-х гг.

[4] Стр. 209. Тургенев и его друзья в неудачах комиссионеров больше винили Языкова. Тургенев писал П. В. Анненкову, что Языков «сам перед Тютчевым кругом виноват» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 194). В. П. Боткин — о том же Анненкову: «Языков нашел себе другого товарища; но от этого дела конторы пойдут, конечно, не лучше. Этого очень и очень жаль; но надобно признаться, что результат лежал в самом устройстве дела. Бедный Тютчев работал как лошадь, но какое дело может быть успешным с таким товарищем, как наш милейший и бесценный Языков?» («П. В. Анненков и его друзья», СПб. 1892, стр. 564). Некрасов также уверял своих корреспондентов в пунктуальности, деловитости Тютчева (*Некрасов*, т. X, стр. 117—118, 140). Однако недоверие Панаевой к Тютчеву тоже не лишено оснований (см. прим. 6 к наст. главе).

[5] Стр. 210. Тютчев управлял имениями Тургенева с весны 1852 г. до сентября 1853 г.

[6] Стр. 210. Жалобы Тургенева на Тютчева часто встречаются в его письмах разным адресатам. Д. Я. Колбасину Тургенев писал 29 августа 1853 г.: «Вы увидите, что мои дела в большом упадке

денежном — хотя и не в расстройстве. Тютчев честнейший человек — но совершенно непрактический» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 177). То же в письмах Тургенева П. В. Анненкову от 1 сентября 1853 г.: «...Тютчев от меня отходит. При всей своей отличной честности, это человек самый непрактический — и в два года довел дело до того, что доходов моих (за исключением платежа в опекунский совет) *не хватало на его жалованье* — а на мой прожиток не приходилось ни копейки» (там же, стр. 180). Приехавший в имения Тургенева Д. Я. Колбасин писал ему 14 октября 1853 г. из Кадного: «...я действительно нахожу, что жители здешние в сильнейшем запущении, и для того, чтобы оно сравнялось хоть несколько с соседними, по количеству дохода, мне, если только Вам будет угодно, не один раз придется посетить Кадное» (*ИРЛИ*, ф. 7, ед. хр. 143).

[7] Стр. 211. Такого разговора не могло быть. Тургенев приехал в Петербург в декабре 1853 г., когда Тютчев уже не был управляющим его имениями.

[8] Стр. 211. После отстранения Тютчева Тургенев пригласил для ведения хозяйственных дел Д. Я. Колбасина, но вскоре отказался от его услуг. Управляющим имениями стал Н. Н. Тургенев, дядя писателя.

[9] Стр. 211. Анненков, находившийся в дружеских отношениях и с Тургеневым и с Тютчевым, был обеспокоен самой формой конфликта. Он писал 8 октября 1853 г. Тургеневу: «Я изумлен был разрывом Вашим с Тютчевым, но разрыв ничего — всего важнее procedes ⟨образ действия⟩, и об нем-то хотелось бы знать от вас. Если procedes был человечен, то и ничего, если не человечен, то хоть мильон раз будь прав — все не прав» (*ИРЛИ*, ф. 7, ед. хр. 7).

[10] Стр. 212. Панаева верно передает общий характер взаимоотношений молодого Тургенева и Анненкова. Анненков, вспоминая свои встречи с Тургеневым в 1850—1851 гг., писал: «Мы были тогда далеко не друзьями; одно время он даже положительно возымел отвращение ко мне, благодаря моей нескрываемой подозрительности к каждому его слову и движению и особенно к тем, которым он хотел придать вид искренности и увлечения. Я был груб и неправ перед ним; он мстил мне насмешками и эпиграммами, что было только неприятно по радости, которую доставляло общим противникам нашим. Только после многих годов сменяющегося благорасположения и холодности мы поняли, что есть какая-то непреодолимая связь, мешающая нам разойтись в разные стороны» (*Анненков*, стр. 548). В то же время Тургенев ценил эстетические вкусы Анненкова, его литературные мнения, отдавал ему на суд свои произведения (см.: *Тургенев*, Письма, т. I, стр. 275, т. II, стр. 64—65; «Русское обозрение», 1894, октябрь, стр 488—492, 495—497).

[11] Стр. 213. Право на издание сочинений Пушкина купил в мае 1851 г. брат П. В. Анненкова — И. В. Анненков. Он писал П. В. Анненкову 12 мая 1851 г.: «Между прочим Некрасов предлагает мне быть со мною в доле и говорит, что это есть отличнейшее предприятие и весьма выгодное; но я не желал бы с Некрасовым иметь дело, только потому, впрочем, что он, как человек безденежный, не принесет мне пользы, особенно если будет нанят, кроме его, редактор» (Б. Л. Модзалевский, Пушкин, «Прибой», Л. 1929, стр. 384). Редактором издания Некрасов советовал взять С. С. Дудышкина. И. В. Анненков предложил редактирование, критический разбор сочинений поэта, составление его биографии своему брату. П. В. Анненков вспоминал: «...Издание, разумеется, очутилось на моих руках. Страх и сомнение в удаче обширного предприятия, на которое требовались, кроме нравственных сил, и большие денежные затраты, не покидал меня и в то время, когда уже, по разнесшейся вести о нем, я через Гоголя познакомился с Погодиным, а через Погодина с Бартеневым (П. Ив.), Нащокиным и другими лицами, имевшими биографические сведения о поэте. Вместе с тем я принялся за перечитку журналов 1817—1825 годов» (*Анненков*, стр. 544—545).

[12] Стр. 213. Так назывался рассказ П. В. Анненкова, см. прим. 14 к гл. VIII.

[13] Стр. 214. Вряд ли Тургенев мог так несправедливо упрекать Анненкова, тем более, что он помогал ему в работе над биографией Пушкина. Тургенев писал Анненкову 28 октября 1852 г.: «Я понимаю, как Вам должно быть тяжело так дописывать биографию Пушкина — но что же делать? Истинная биография исторического человека у нас еще не скоро возможна, не говоря уже с точки зрения цензуры, но даже с точки зрения так называемых приличий ⟨...⟩ Вероятно, под влиянием великого истинно древнего по своей строгой и юной красоте пушкинского духа Вы написали славную, умную, теплую и простую вещь. Мне очень хочется дослушать ее до конца» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 78—79). Возможно, в этой части воспоминаний Панаевой отразилось мнение Некрасова по поводу оформления издания Пушкина (см., например, письмо Некрасова Тургеневу от 22 октября 1854 г. — *Некрасов*, т. X, стр. 211). В целом Некрасов оценивал труд Анненкова положительно (там же, т. IX, стр. 369—371).

[14] Стр. 214. И. В. Анненкову не были чужды литературные интересы. Им написаны «История лейб-гвардии конного полка от 1731 до 1848» в 4-х тт., (1849), неоконченные воспоминания о Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров («Наша старина», 1917, № 3). Убеждая брата взяться за издание Пушкина, И. В. Анненков писал ему 12 мая 1851 г. следующее: «Успеху предприятия способствовать будут новые, не бывшие в печати сочинения Пуш-

кина. Твое резкое суждение, что их нет, — несправедливо. Я нашел около 50 стихотворений, достойных печати и от которых Некрасов и Боткин были в восторге, когда я им читал» (Б. Л. Модзалевский, Пушкин, «Прибой», Л. 1929, стр. 385).

[15] Стр. 215. Как заметил К. Чуковский, «стиль разговора Некрасова с Анненковым передан неверно: они никогда не говорили друг другу «ты» (*Панаева*, стр. 425).

[16] Стр. 215. Условия, кроме денежных, на каких были предоставлены пушкинские материалы Анненкову Ланскими, неизвестны. Одним из источников, которым располагал издатель, были, в частности, воспоминания В. А. Соллогуба, в которых говорилось о пасквильных анонимных письмах в последние годы жизни поэта. «Начатое письмо» Пушкина «какому-то своему другу» неизвестно.

[17] Стр. 216. По мнению Н. О. Лернера, этот эпизод может относиться к 1833 г., к продаже пушкинского стихотворения «Гусар» (А. С. Пушкин, Полное собр. соч. под ред. С. А. Венгерова, т. VI, СПб. 1915, стр. 437).

[18] Стр. 216. Неверно. Труд Анненкова был встречен весьма одобрительно в литературных кругах России. Тургенев писал 14 февраля 1855 г. М. Н. и В. П. Толстым: «Биография Пушкина производит самое отрадное впечатление — и отовсюду слышатся самые лестные отзывы труду Анненкова» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 261. Свод отзывов см. в упоминавшейся кн. Б. Л. Модзалевского, стр. 317—334). Л. Н. Майков вспоминал: «Среди однообразия тогдашней литературы такою свежестью пахнуло от этих красиво напечатанных страниц, на которых читатели, рядом с давно знакомыми и любимыми произведениями славного поэта, встретили новые, дотоле неизвестные в печати откровения его музы и затерянные в старых журналах яркие блестки его гениального дарования и могучего ума! Какою драгоценностью казались сведения о жизни и творчестве Пушкина, собранные во введении, которое автор-издатель скромно назвал «Материалами» для биографии поэта!» (Л. Майков, Пушкин, СПб. 1899, стр. 318—319). Друзья Анненкова 17 февраля 1855 г. преподнесли ему экземпляр первого тома сочинений Пушкина с надписью: «Автору образцовой биографии Пушкина и добросовестному издателю сочинений великого нашего поэта — Павлу Васильевичу Анненкову...», с подписями: «Иван Тургенев, Александр Дружинин, Михаил Михайлов, Михаил Авдеев, Алексей Писемский, А. Майков, Г. Геннади, В. Гаевский, Е. Корш, М. Языков, А. Жемчужников, гр. Алексей Толстой, Арапетов, Я. Полонский» (книга хранится в Гос. Литературном музее в Москве).

[19] Стр. 217. Разговоры эти были вызваны, по-видимому, запрещением пьесы к постановке сразу же после ее публикации, к тому же с цензурными изъятиями («Москвитянин», 1850, № 6).

[20] Стр. 217. Предложение о сотрудничестве было сделано Островскому через Тургенева. Он писал драматургу 10 февраля 1855 г.: «...по поручению редакторов «Современника», обращаюсь к Вам с вопросом: не хотите ли Вы поместить Вашу последнюю комедию у них в журнале — они примут ее с радостью и предлагают Вам за нее 250 руб. серебр.» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 257).

[21] Стр. 217. Обед в честь Островского состоялся 14 февраля 1856 г.

[22] Стр. 218. Недоброжелатели драматурга обвиняли его в том, что он якобы замалчивает участие провинциального актера Д. Горева в создании комедий «Семейная картина» и «Свои люди — сочтемся». Ложную версию о соавторстве печатно поддержали В. Р. Зотов («С.-Петербургские ведомости», 1856, №№ 96, 165) и фельетонист «Ведомостей московской городской полиции» (1856, №№ 97, 135). Островский ответил на это «Литературным объяснением» («Московские ведомости», 1856, № 80, *С*, 1856, № 8). Под «литературным Добчинским» Панаева, возможно, подразумевает Д. В. Григоровича. Он враждебно относился к Островскому, объясняя именно его влиянием отрицательные отзывы о своих произведениях в журнале «Москвитянин». После критики 2-й части «Рыбаков» («Москвитянин», 1853, № 11) Григорович писал И. И. Панаеву: «Естественно, что все это писано под влиянием Островского, этого страшного авторитета шайки «Москвитянина», а Островский находится, в свою очередь, под влиянием Садовского, которому, как сказывают злые языки, — обязан он всеми своими комедиями» (*ГПБ*, ф. 560, оп. 1, ед. хр. 5).

[23] Стр. 219. Ю. Г. Оксманом установлено, что Панаева описывает спектакль, поставленный Александринским театром 26 октября 1855 г. (см.: *Тургенев*, Сочинения, т. III, стр. 395). Впервые «Завтрак у предводителя» был поставлен в 1849 г.

[24] Стр. 219. Впервые «Провинциалка» была поставлена в Москве, в Малом театре 18 января 1851 г. в бенефис М. С. Щепкина. В Петербурге, в Александринском театре премьера «Провинциалки» состоялась 22 января 1851 г.

[25] Стр. 220. Ошибка мемуаристки: это — эпизод из пьесы Тургенева «Нахлебник», также ставившейся в бенефис М. С. Щепкина в Москве 30 января 1862 г.

[26] Стр. 220. Ошибка. Островский приехал в Петербург 7 февраля 1856 г., после окончания Крымской войны. Целью его приезда было установить связь с «Современником» и решить вопрос о своем участии в литературной экспедиции на Волгу (см. прим. А. И. Ревякина в кн. «А. Н. Островский в воспоминаниях современников», «Художественная литература», М. 1966, стр. 545—546). Следовательно, воспроизводимого ниже диалога быть не могло.

[27] Стр. 221. Этот эпизод произошел в середине июня 1854 г.

[28] Стр. 221. Речь идет о профессоре Военной академии Д. А. Милютине, ставшем в ноябре 1861 г. военным министром.

[29] Стр. 222. Такого распоряжения найти не удалось, хотя деятельность Милютина не противоречит утверждению Панаевой. Милютин всячески пытался уберечь «военное ведомство» от влияния революционных идей. Вспоминая 1861—1862 гг., он писал: «Между молодыми офицерами было немало увлеченных теми либеральными теориями, которые открыто проповедовались в то время и в печати, и со школьной кафедры, и в кружках, собиравшихся около пропагандистов революции» (*ГБЛ*, ф. 169, папка 9, ед. хр. 26). В секретном циркуляре от 8 июля 1862 г. Милютин приказывал «сделать строгий осмотр библиотек, как офицерских, так и солдатских», «не позволять даже держать, особенно в солдатских библиотеках, книг предосудительного содержания (там же, папка 10, ед. хр. 5).

[30] Стр. 223. О чем идет речь, неизвестно. Известен другой факт: Д. А. Милютин отклонил просьбу Чернышевского (в июне 1862 г.) передать ротмистра Люлецкого, оскорбившего О. С. Чернышевскую и ее сестру, на суд офицерского общества (см. «Звенья», III—IV, стр. 577—582).

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

[1] Стр. 224. Д. В. Григорович так описывает обитателей дачи Г. А. Кушелева-Безбородко в Полюстрове: «Сюда по старой памяти являлись родственники и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Все это размещалось по разным отделениям обширного, когда-то барского, дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином. 〈...〉 Во время поездки в Париж граф Кушелев, узнав о намерении Дюма сделать путешествие по России, пригласил его, проездом, остановиться у него в Полюстрове» (*Григорович*, стр. 160).

[2] Стр. 224. Знакомство А. Дюма с Некрасовым и И. И. Панаевым произошло по инициативе Григоровича. Григорович писал, что Дюма «рад был встрече со мной и просил дать ему случай познакомиться с кем-нибудь из настоящих русских литераторов. Я назвал ему Панаева и Некрасова, живших тогда на даче между Петергофом и Ораниенбаумом. Он радостно принял предложение к ним ехать» (*Григорович*, стр. 160).

[3] Стр. 225. В этом фрагменте воспоминаний Панаевой много неточного и вымышленного. Ряд фактов, приводимых мемуаристкой, отрицал Д. В. Григорович (см.: *Григорович*, стр. 161). Более точно обстоятельства визита Дюма к Панаевым описаны И. И. Панаевым

в фельетоне «Петербургская жизнь»: «Я еще не видел его, но уж издали слышал его звучный, веселый голос, его громкий и добродушный смех. В эту минуту мы оканчивали наш обед на широкой, зеленой (немного, впрочем, спаленной солнцем) площадке сада, и когда Дюма (ехавший из Петергофа, где он обедал, в Ораниенбаум) показался из-за деревьев, высокий, полный, дышащий силой, весельем и здоровьем, с шляпою в руке ⟨...⟩ мы (три или четыре литератора, тут бывшие) отправились к нему навстречу» (*С*, 1858, № 7, стр. 83—84).

[4] Стр. 225. Художник Жан-Пьер Муане, друг А. Дюма (см. *ЛН*, т. 31—32, стр. 534—536).

[5] Стр. 229. В книге «Impressions de voyage. En Russie» (Paris, 1858) А. Дюма писал: «Госпожа Панаева — женщина тридцати или тридцати двух лет, с очень выразительной красотой; она — автор нескольких повестей и романов, которые изданы под псевдонимом Станицкий» (цит. по приложению к кн.: Д. В. Григорович, Литературные воспоминания, Л. 1928, стр. 479. Перевод В. Комаровича).

[6] Стр. 231. Неточность: А. Дюма уехал из Петербурга 22 июля 1858 г., а фельетоны Панаева публиковались в июльской (ценз. разр. 30 июня 1858 г.) и августовской (ценз. разр. 31 июля 1858 г.) книжках «Современника».

[7] Стр. 231. Обострение болезни Некрасова относится к более раннему времени — 1855—1856 гг. 30 июня — 1 июля 1855 г. Некрасов писал Тургеневу о своем здоровье: «А оно крайне худо — и, право, брат, без фразы могу сказать, что едва ли не всего кислее в жизни и смерти — это медленное умирание, в котором я маюсь» (*Некрасов*, т. X, стр. 222). В. П. Боткин, у которого Некрасов жил летом 1855 г. на даче под Москвой, даже считал, что тот «вряд ли поправится» (Письмо В. П. Боткина Д. П. Боткину от 25 июля 1855 г. — *ГБЛ*, ф. 258, папка 6614, ед. хр. 1).

[8] Стр. 232. А. К. Воронцова-Дашкова после смерти И. И. Воронцова-Дашкова (1854) вышла замуж за барона де Пойли. Панаева допустила две неточности. Умерла А. К. Воронцова-Дашкова в 1856 г. в возрасте 37 лет; Некрасов написал стихотворение «Княгиня» (*С*, 1856, № 4) до кончины графини (см.: М. Гин, От факта к образу и сюжету, «Советский писатель», М. 1971, стр. 89).

[9] Стр. 232. Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840).

[10] Стр. 233. Барон де Пойли мог узнать о стихотворении Некрасова из «Impressions de voyage. En Russie» Дюма, который считал, что его соотечественник оклеветан, а «поэт, как и все, был введен в заблуждение». Событие, описываемое мемуаристкой, вероятно, происходило в 1859 г., уже после публикации путевых очерков Дюма (см. их текстологическую историю, установленную М. П. Алексеевым в

кн. «Временник пушкинской комиссии. 1969», «Наука», Л. 1971, стр. 20—21). Это подтверждается и письмом И. А. Гончарова П. В. Анненкову от 20 мая 1859 г.: «А вот Вам нечто свеженькое и любопытное о Некрасове. Дюма в своих записках рассказал содержание того стихотворения Некрасова, где описана история Воронцовой-Дашковой, и, должно быть, не очень ловко выразился о французе, который был в связи с графинею, да еще, может быть, сослался на Некрасова. Я сам не читал и не знаю, но знаю только, что француз этот счел себя обиженным и *нарочно приехал сюда* требовать у Некрасова удовлетворения» (И. А. Гончаров, Собр. соч. в 8 томах, т. 8, Гослитиздат, М. 1955, стр. 323).

[11] Стр. 237. Н. И. Костомаров приезжал в Петербург летом 1858 г. Ссылку за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе, тайной политической организации, он отбывал с 1847 по 1855 гг.

[12] Стр. 240. Толстой приехал в Петербург в ноябре 1855 г. из Севастополя, где он служил в действующей армии и принимал участие в обороне города. Отставку от военной службы Толстой получил в ноябре 1856 г.

[13] Стр. 241. Тургенев и Толстой были в то время в дружеских отношениях, хотя нередко расходились во взглядах. Тургенев писал о Толстом Анненкову 9 декабря 1855 г.: «Вы не можете себе представить, что это за милый и замечательный человек — хоть он за дикую ревность и упорство буйволообразное получил от меня название Троглодит. Я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 328). А. В. Дружинин записывал в дневнике: «...Толстой и Тургенев спорили чуть не до слез...» (запись 28 декабря 1855 г.), «...Тургенев спорил с Толстым, по обыкновению» (3 января 1856 г.). Молодой Толстой удивлял Тургенева, его друзей самонадеянностью, независимыми мнениями, поведением. В дневнике Дружинина отмечены обычные темы их споров. Во время обеда у Некрасова 7 декабря 1855 г. «Толстой вел себя милейшим троглодитом, башибузуком и редифом. Он не знал, например, что значит цензурный комитет и какого он министерства, затем объявил, что не считает себя литератором и т. д. Мы приехали к больному Тургеневу и там сей лаз (кавказец, живущий в Крыму. — *Г. К.*) объявил, что удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою» (Дружинин, лл. 441, 453, 455). Панаева подметила в конфликтных разговорах, по существу, те же особенности, которые были очевидны и для друзей Тургенева. «Мне становятся понятны вечные споры Толстого с Тургеневым, — писал Дружинин 11 января 1856 г. — Сам Тургенев сознается, что в нем живет фраза. И кажется мне, — он не знает сам, до какой степени порабощен он гнилою, состарившеюся фразою!

Нет в нем серьезной строгости, практичности духа и спокойной широты в убеждениях» (*Дружинин*, л. 460; см. также: *Фет*, стр. 106—107).

[14] Стр. 242. И. И. Панаев напечатал в «Современнике» цикл очерков «Хлыщи» (1856).

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

[1] Стр. 242. Речь идет о поездке Панаевой за границу в 1856 г. Некрасов в то время обращался и к другим врачам. Сохранилась история его болезни (с 1840 по 1856 г.), записанная со слов Некрасова доктором Паульсоном 9 августа 1856 г. Паульсон в своих рекомендациях также советовал Некрасову сменить петербургский климат (см. *ГБЛ*, ф. 195, папка 5769, ед. хр. 1/3).

[2] Стр. 242. Некрасов в письме от 10 сентября 1856 г. шутливо объяснял сестре: «Вот выгода не знать ни одного языка: я заговорил на всех вдруг. Как — это другое дело! Но понимают, причем нужно соблюдать только одно правило: держать кошелек постоянно открытым» (*Некрасов*, т. X, стр. 293).

[3] Стр. 243. Фет приехал в Рим позже, в конце октября 1856 г., после настойчивых приглашений Некрасова (*Некрасов*, т. X, стр. 300).

[4] Стр. 243. История поездок Некрасова за границей излагается Панаевой неверно. Из Рима Некрасов уехал 9(21) января 1857 г. один, без Панаевой, в Париж к Тургеневу. 14(26) февраля 1857 г. Некрасов вернулся в Рим, 3(15) марта того же года он приехал в Неаполь. 26 марта (7 апреля) 1857 г. Некрасов писал Тургеневу: «Я вчера воротился в Рим, хочу здесь посмотреть Пасху — и поеду в Париж. В Неаполе прожил я три недели очень хорошо...» (*Некрасов*, т. X, стр. 326). 11 (23) апреля 1857 г. Некрасов уехал во Флоренцию, а около 20 апреля (1 мая) снова приехал в Париж. Туда же приехала и Панаева. Из Парижа в Россию они уехали вместе — между 15 и 20 июня 1857 г.

[5] Стр. 243. Некрасов был в Лондоне в первой половине 1857 г. 26 мая 1857 г. он писал Тургеневу в Лондон: «Правду сказать, в числе причин, по которым мне хотелось поехать, главная была увидеть Герцена, но, как кажется, он против меня восстановлен — чем, не знаю, подозреваю, что известной историей огаревского дела. Ты лучше других можешь знать, что я тут столько же виноват и причастен, как ты, например» (*Некрасов*, т. X, стр. 340). Действительно, Герцен считал, что Некрасов виновен в присвоении денег из огаревского наследства (см. гл. XV наст. воспоминаний и прим. к ней, а также: Я. З. Черняк, Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве, М. — Л. 1933). По свидетельству

Н. А. Огаревой (Тучковой), Тургенев уговаривал Герцена встретиться с Некрасовым, но безуспешно (Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания, М. 1959, стр. 288—289). Некрасов скрывал свою неудачную поездку в Лондон (см.: Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов, Воспоминания, т. 2, «Художественная литература», М. 1967, стр. 97).

[6] Стр. 244. По мнению К. Чуковского (*Панаева*, стр. 428), речь идет о княжне Е. Н. Мещерской. С ней Тургенев познакомился до приезда Некрасова в Париж. Тургенев писал Л. Н. Толстому из Парижа 8 декабря 1856 г.: «Я познакомился здесь со многими русскими и французами; но симпатических натур нашел весьма мало. Есть одна княжна Мещерская — совершенная гетевская Гретхен — прелесть — да, к сожалению, по-русски не понимает ни слова ⟨...⟩. А мила она так, что и описать нельзя» (*Тургенев*, письма, т. III, стр. 55. См. там же, стр. 74).

[7] Стр. 246. Толстой приехал в Париж 9(21) февраля 1857 г.

[8] Стр. 248. Панаева ошибается: ссора Тургенева и Толстого, чуть не кончившаяся дуэлью, произошла позднее — в 1861 г., в Степановке, в имении Фета (*Фет*, стр. 370—375; *Анненков*, стр. 470—472). Некрасов и Панаева не были свидетелями этой ссоры.

[9] Стр. 248. Некрасов в Париже продолжал лечение, начатое в Италии. 7(19) мая 1857 г., на третий день после приезда в Париж, он писал И. А. Панаеву: «...к сентябрю я непременно ворочусь в Россию; правду сказать, уехал бы и теперь, потому что для здоровья жить здесь не стоит, да живу для очистки совести, лечит меня теперь доктор Райе, весьма умный и знаменитый» (*Некрасов*, т. X, стр. 337. См. там же, стр. 338, 339).

[10] Стр. 249. В декабре 1855 г. был упразднен тайный «Комитет 2-го апреля» (см. прим. 16 к гл. VIII) и принято решение пересмотреть цензурный устав 1828 г.

[11] Стр. 249. Некрасов и Панаева приехали из-за границы сразу на дачу (близ Петергофа) 28 июня 1857 г. Толстой вернулся в Петербург 30 июля и уехал в Ясную Поляну 6 августа 1857 г.: в эту неделю он бывал на даче у Некрасова и Панаевых.

[12] Стр. 249. Некрасов, вернувшись из-за границы к делам «Современника», писал в Париж Тургеневу: «...Все то же идет в отношении цензуры и даже начало несколько поворачивать вспять. Уже задерживаются статьи — за мрачное впечатление и т. п., то есть произвол личности опять входит в свои права» (*Некрасов*, т. X, стр. 345).

[13] Стр. 250. Речь идет о статье К. Д. Кавелина «О новых условиях сельского быта» (*С*, 1858, № 4), являющейся частью его «Записки об освобождении крестьян» (1855), нелегально распространявшейся в России. Статья была опубликована анонимно. Введение и

заключение к ней написал Чернышевский. Частичная публикация «Записки» Кавелина в «Современнике» не означала сближения революционно-демократической и либеральной позиций по крестьянскому вопросу. Кавелин в письме М. Н. Каткову от 10 марта 1858 г., задолго до выхода в свет книжки «Современника», так объяснял историю этой публикации: «Чернышевский раз приходит ко мне и просит моего проекта эмансипации. Я ему его дал и прибавил, что дарю ему в литературную собственность. Чернышевский, не сообразив моих отношений к Некрасову et cetera ⟨и прочее⟩, тиснул целые из него выдержки в «Современнике» без моего имени. Дело было сделано, и мне осталось только покраснеть за мою неосторожность ⟨...⟩. Знай я, что Чернышевский так распорядится, я бы поступил иначе, ибо с Некрасовым и Панаевым не могу принять никакой солидарности» («Записки отдела рукописей» Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина, вып. VI, М. 1940, стр. 62. Уточнено по рукописи: *ГБЛ*, ф. 120, папка 4, ед. хр. 4). Кавелину тогда льстило появление в печати «Записки», он этому фактически не препятствовал. Позже он стал отрицать свое соучастие в публикации и в письме от 12 апреля 1885 г. В. И. Семевскому утверждал, что она была сделана якобы без его «согласия и ведома» («Русская старина», 1886, январь, стр. 132). Цензурные предостережения, вызванные статьей «О новых условиях сельского быта», получили отклик в «Колоколе» Герцена (*Герцен*, т. XIII, стр. 300—305).

[14] Стр. 250. Публикация «Записки» повлияла на служебную карьеру К. Д. Кавелина. Он писал в 1885 г.: «Записка» эта определила мою жизнь и судьбу. За напечатание отрывков из нее ⟨...⟩ надо мной произведено Долгоруким следствие, и я удален от покойного наследника. Придворная гниль на меня рассвирепела, и покойный государь выдал меня ей с головою» (Архив АН СССР в Москве, ф. 489, оп. 3, ед. хр. 316).

[15] Стр. 250. Имеются в виду Редакционные комиссии при Главном комитете по крестьянскому вопросу, созданные в 1858 г. для рассмотрения материалов, подготовленных губернскими комитетами и для выработки проекта реформы. Умеренно-либеральную позицию в комиссиях занимали Н. А. Милютин, Я. А. Соловьев, Ю. Ф. Самарин и др.; консервативно-крепостническую — князь Паскевич, граф Шувалов и др.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

[1] Стр. 251. В июльских письмах 1855 г. Тургенев характеризовал книгу Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» как «поганую», «гнусную мертвечину» (*Тургенев*, Письма, т. II, стр. 293, 297).

[2] Стр. 254. Возможно, речь идет о рассказах «Донос» или «Делец» (см.: *Добролюбов*, т. 8). Письмо Добролюбова И. И. Панаеву неизвестно.

[3] Стр. 254. Добролюбов тогда учился в Главном педагогическом институте.

[4] Стр. 255. Некрасов в 1855—1857 гг. вел в «Современнике» раздел «Заметки о журналах».

[5] Стр. 256. Добролюбов так описывал свое переселение к Некрасову: «Я устроился вместе с ним вот каким манером. Ему для себя нужна была комната еще, а возле его квартиры была квартирка в три комнаты. Он взял ее, отделил для себя одну комнату, а две другие предложил мне. Я, разумеется, охотно согласился, и теперь за 15 рублей в месяц я имею квартиру с отоплением и отчасти с мебелью» (*Добролюбов*, т. 9, стр. 317).

[6] Стр. 258. 23 января 1862 г. И. А. Пиотровский просил Некрасова выдать ему авансом 300—400 руб. с обязательством расплатиться статьями до мая месяца и тут же сообщал: «Обилие срочной работы, а также неустроенные дела не позволили мне отработать у вас взятые мною деньги во время моего крепостного заключения в Кронштадте...» (цит. по статье Б. Ф. Егорова «И. А. Пиотровский — ученик Чернышевского и Добролюбова». — «Н. А. Добролюбов. Статьи и материалы», Горький, 1965, стр. 222). Некрасов вновь выдал Пиотровскому 200 руб. серебром «до июня 1862 года» (там же, стр. 222—223). В феврале 1862 г. Некрасов обратился в Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым с просьбой об оказании помощи Пиотровскому, но получил отказ (см. «Некрасовский сборник», Пг. 1918, стр. 62). На новую просьбу Пиотровского (о которой, видимо, и пишет А. Я. Панаева) Некрасов ответил мотивированным отказом (см. письмо Некрасова Пиотровскому от 16—17 марта 1862 г. — *Некрасов*, т. X, стр. 467—468, дата этого письма установлена в вышеназванной статье Б. Ф. Егорова, стр. 224).

[7] Стр. 259. Добролюбов не мог присутствовать при этой сцене. Он умер в ноябре 1861 г. Пиотровский застрелился 18 марта 1862 г.

[8] Стр. 260. На попечении Добролюбова после смерти родителей остались два брата — Иван и Владимир; младшая сестра Екатерина была взята на воспитание в семью нижегородского губернского прокурора.

[9] Стр. 261. Владимир Добролюбов приехал в Петербург в конце августа 1858 г. Добролюбов занимался с ним несколькими предметами и иностранными языками. М. Шемановский, вспоминая эти занятия, писал 11 мая 1860 г. Добролюбову: «Все так же ли ты его мучишь французским языком, как и при мне? Не годишься ты быть учителем, нет в тебе терпения — *ожесточения, вот, много*!» («Литературный критик», 1936, № 2, стр. 143).

[10] Стр. 261. «Свисток» — сатирическое приложение к «Современнику», выходившее в 1859—1862 гг. Некрасов в автобиографических заметках писал: «Свисток» придумал, собственно, я, а душу ему, конечно, дал Добролюбов...» (*Некрасов*, т. XII, стр. 24).

[11] Стр. 261. Неточно. В Старой Руссе Добролюбов жил с конца июня до начала августа 1858 г.

[12] Стр. 265. Панаева преувеличивает благосклонное отношение А. В. Головнина к литераторам. А. В. Никитенко, часто сталкивавшийся с Головниным в служебной сфере, характеризует его как фальшивого, изворотливого, искавшего популярности человека. На первом же заседании Главного управления по делам печати, где он председательствовал, «министр объявил, что государю угодно, чтобы *цензура усилила свою бдительность и строгость против периодической литературы.* В этом смысле уже даны цензорам циркуляры» (*Никитенко*, т. II, стр. 254). Головнин, заигрывая с литераторами, издателями журналов, обращался к ним за различными советами. 31 декабря 1861 г. Головнин писал А. А. Краевскому, издателю «Отечественных записок»: «Потрудитесь сообщить мне ряд вопросов, вроде следующих, и затем каждую неделю сообщать подобные: можно ли печатать о пользе для государства гласности бюджета, в каком духе печатать о переселении болгар, можно ли печатать о пользе большей веротерпимости» (*ГПБ*, ф. 391, ед. хр. 289).

[13] Стр. 266. Головнин занимал должность управляющего министерством народного просвещения с декабря 1861 по апрель 1866 г.

[14] Стр. 267. Имеется в виду А. О. Студенский, секретарь Чернышевского с октября 1860 г.

[15] Стр. 268. Вскоре после прихода Добролюбова в «Современник» Некрасов писал 25 декабря 1857 г. Тургеневу: «Читай в «Современнике» «Критику», «Библиографию», «Современное обозрение», ты там найдешь местами страницы умные и даже блестящие: они принадлежат Добролюбову, человек очень даровитый» (*Некрасов*, т. X, стр. 375).

[16] Стр. 270. Иван Добролюбов переехал в Петербург в августе 1860 г., когда Н. А. Добролюбов был за границей.

[17] Стр. 270. В. И. Добролюбов переехал в Петербург из Нижнего Новгорода в январе 1859 г.

[18] Стр. 270. До отъезда Добролюбова за границу у него жил только младший брат, Владимир (см. прим. 9 к наст. главе). Во время пребывания Добролюбова за границей в воспитании мальчиков самое деятельное участие принимала А. Я. Панаева. Чернышевский писал Добролюбову 12 сентября 1860 г.: «Авдотья Яковлевна нянчится с Вашими братьями так, как могла бы заботиться разве очень добрая сестра» (*Чернышевский*, т. 14, стр. 408). В письме Добролюбову (февраль 1861 г.) Панаева сообщала о своем вмешатель-

стве «в обращение» В. И. Добролюбова с детьми: «Факты будут за меня: даже если бы и оказались против меня, я все-таки не буду раскаиваться, что взяла детей от В. И. Сегодня еду в театр с ними, они Вам посылают поклон» («Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1961, стр. 449).

[19] Стр. 271. Имя этого литератора не установлено.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

[1] Стр. 272. По всей вероятности, речь идет о Е. Я. Колбасине, страстном поклоннике Тургенева, активно сотрудничавшем в то время в критическом отделе «Современника». К тому же Е. Колбасин был уязвлен иронической рецензией Добролюбова «Литературные деятели прежнего времени» Е. Колбасина. СПб. 1859» (*С*, 1860, № 1), в которой Добролюбов намекал на подобострастное отношение Е. Колбасина к Тургеневу. Е. Колбасин писал 1 февраля 1860 г. П. В. Анненкову: «Дайте мне знать, когда будет обед, или какое-нибудь другое собрание у Некрасова: я приду и предложу Добролюбову принести мне извинение в присутствии всех. Он наверное там будет. Я все ожидаю Тургенева, но не лучше ли будет обделать все это до его приезда, потому что он косвенным образом тоже задет этою рецензией, следовательно, без его вмешательства надо проучить нелитературного рецензента» (*ИРЛИ*, ф. 7, ед. хр. 50). Е. Колбасин содействовал обострению конфликта между Тургеневым и редакцией «Современника» (см. письмо Е. Колбасина Тургеневу от 23 октября 1860 г. — *Тургенев*, Письма, т. IV, стр. 502—503).

[2] Стр. 273. По-видимому, со статьей Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» Тургенева познакомил Некрасов. Вероятно, именно о ней идет речь в недатированном письме Некрасова Чернышевскому: «Я прочитал статью и отдал ее Тургеневу» (*Некрасов*, т. X, стр. 413). П. М. Ковалевский вспоминал, что Некрасов послал Тургеневу «корректурные листы, предоставляя указать места неприятные и обещая их сгладить или совсем выбросить» (П. М. Ковалевский, Стихи и воспоминания, СПб. 1912, стр. 284). Бекетов был против публикации статьи Добролюбова. В записке Добролюбову от 19 февраля 1860 г. он писал: «Напечатать так, как она вылилась из-под вашего пера, по убеждению, значит, обратить внимание на бесподобного Ивана Сергеевича, да и не поздоровилось бы и другим» («Заветы», 1913, № 2, стр. 96).

[3] Стр. 274. Письмо Некрасова неизвестно.

[4] Стр. 275. Письмо с таким текстом неизвестно. Познакомившись со статьей Добролюбова, Тургенев писал Некрасову: «*Убедительно тебя прошу*, милый Некрасов, *не печатать этой статьи*: она, кроме

неприятностей, ничего мне наделать не может, она несправедлива и резка — я не буду знать, куда деться, если она напечатается» (*Тургенев*, Письма, т. IV, стр. 41).

[5] Стр. 276. В период обострения идейных разногласий в «Современнике» между либеральной частью редакции и революционно-демократической И. И. Панаев примыкал к Некрасову. Это вызвало нападки на Панаева со стороны Анненкова, Дружинина, Тургенева. Анненков стал обвинять Панаева в «пошлости и лжи» («Труды публич. библиотеки СССР имени Ленина», вып. III, 1934, стр. 95). В «Библиотеке для чтения», возглавлявшейся Дружининым, был напечатан фельетон, задевавший честь Панаева, Некрасова, Панаевой («Библиотека для чтения», 1861, № 2). А. Н. Плещеев по этому поводу писал в марте 1861 г. А. В. Дружинину: «Но зато уж выходка о дружбе Панаева с Некрасовым в фельетонной статейке «Библиотеки», по моему мнению, в высшей степени неприлична. Вводить в литературу семейные отношения и бросать грязью в женщину — недостойно честного человека. И это не мое только мнение» («Письма к А. В. Дружинину», М. 1948, стр. 262). Отзывы Тургенева о Панаеве см. в его «Литературных и житейских воспоминаниях» (*Тургенев*, Сочинения, т. XIV, стр. 33, 71—72).

[6] Стр. 277. Некрасов, отстаивая статью Добролюбова, тогда еще надеялся на возвращение Тургенева в «Современник». Он писал 1 января 1861 г. Добролюбову: «Что Тургенев на всех нас сердится, это не удивительно — его подбивают приятели, а он таки способен смотреть чужими глазами. Вы его, однако, не задевайте, он ни в чем не выдерживает долго — и придет еще к нам (если уж очень больно не укусим), а в этом-то и будет Ваше торжество, да и лично мне не хотелось бы, чтоб в «Современнике» его трогали» (*Некрасов*, т. X, стр. 438).

[7] Стр. 278. Это утверждение Панаевой не соответствует действительности. Роман «Накануне» был обещан Тургеневым Каткову и напечатан в его журнале «Русский вестник» (1860, № 1, 2).

[8] Стр. 278. Новая редакция статьи Добролюбова была представлена цензору Ф. Рахманинову, сменившему, по настоянию цензурного комитета, В. Бекетова. «Я ее переделал, — писал Добролюбов С. Т. Славутинскому, — и представил опять в цензуру; благодаря тому, что у нас цензор теперь другой, она пропущена. Впрочем, вторая половина получила совсем другой характер ⟨. . .⟩. Что делать...» (*Добролюбов*, т. 9, стр. 409). В этой редакции статья была напечатана в «Современнике» (1860, № 3) под названием «Новая повесть г. Тургенева».

[9] Стр. 279. В «Колоколе» (1859, лист 44) была напечатана статья Герцена «Very dangerous!!!». В ней Герцен допустил несправедливые выпады против революционно-демократической публицистики «Совре-

менника» и, в частности, намекая на Добролюбова, развенчивавшего либеральные иллюзии обличительства, писал: «Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до *Станислава на шею*!» (*Герцен*, т. XIV, стр. 121).

[10] Стр. 279. Неверно. Упадок «Колокола», вызванный оторванностью русской революционной эмиграции от революционного движения па родине, разногласиями в самой эмиграции, а также затуханием революционной ситуации в России, относится к более позднему времени (примерно с 1863 г.).

[11] Стр. 279. Совершенно необоснованный намек на Тургенева, который к тому же приехал в Лондон 20 мая (1 июня) 1859 г., когда статья «Very dangerous!!!» была уже напечатана в «Колоколе» (1 июня 1859 н. ст.). Герцен писал еще 8(20) мая 1859 г. М. К. Рейхель: «Жду с нетерпением, когда вы получите 44 «Колокол», там моя исповедь о *войне* ⟨. . .⟩ и головомойка «Современнику» (*Герцен*, т. XXVI, стр. 267).

[12] Стр. 279. С объяснением к Герцену ездил Н. Г. Чернышевский. Официально местом поездки был назван Париж. О ее целях знали только Некрасов, И. И. Панаев, Добролюбов и, возможно, Панаева. (Подробнее см. статью Б. П. Козьмина «Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон в 1859 году и его переговоры с А. И. Герценом» — в кн.: Б. Козьмин, Литература и история, М. 1969).

[13] Стр. 279. Генерал-адъютант А. Е. Тимашев в 1856—1861 гг. был начальником штаба корпуса жандармов и управляющим III Отделением.

[14] Стр. 280. Тургенев работал в то время над романом «Отцы и дети». Г. З. Елисеев вспоминал: «...задолго до появления нового романа на страницах «Русского вестника» в литературных кружках стали ходить слухи, что Тургенев, разошедшийся тогда с Некрасовым и сильно недолюбливавший Чернышевского и особенно Добролюбова, пишет новый роман, чтобы осмеять направление «Современника», главным героем выведен один из редакторов «Современника», именно Добролюбов, остальные лица взяты из его поклонников в среде молодого поколения...» («Шестидесятые годы», М. — Л. 1933, стр. 272). И. И. Панаев, имея в виду Тургенева и его единомышленников, еще до выхода романа «Отцы и дети» писал, что они «уверили себя, что Добролюбов принадлежал к нигилистам из нигилистов» (см.: *Тургенев*, Сочинения, т. VIII, стр. 590).

[15] Стр. 281. Речь идет о судьбе огаревского наследства. Запутанные расчеты между Огаревым и его первой женой М. Л. Огаревой, непримиримость сторон привели к тому, что их денежные, материальные отношения решались в судебном порядке. По процессу

(1849—1851) был удовлетворен иск Огаревой. Процесс в корыстных целях использовали лица, которым, при участии Панаевой, представлявшей сторону Огаревой, было передоверено ведение этого дела. Одним из них оказался дальний родственник И. И. Панаева Н. С. Шаншиев (см.: Я. З. Черняк, Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве, М. — Л. 1933, стр. 337—513). На основании непроверенных слухов Огарев обвинял Некрасова как «сподвижника» Панаевых в своем деле. Чернышевский вспоминал: «Огарев и Герцен, у которого он жил тогда, вообразили, что плут, в управление которому были отданы поместья, был приискан в поверенные Огаревой Некрасовым и что он подставное лицо, которому Некрасов предоставил лишь маленькую долю выгоды от денежных операций, основанных на управлении имуществом Огаревой, а главную долю берет себе сам Некрасов. При уважении, каким пользовался тогда Герцен у всех просвещенных людей в России, громко высказываемое им обвинение Некрасова в денежном плутовстве ложилось очень тяжело на репутацию Некрасова» (*Чернышевский*, т. I, стр. 734; см. также письмо Огарева Герцену от 23 августа 1849 г.: *ЛН*, т. 61, стр. 791). О «лютой враждебности Огарева» писал и Некрасов (см.: *Некрасов*, т. X, стр. 341). Упомянутое Панаевой письмо Огарева Кавелину неизвестно.

[16] Стр. 281. В 1841 г. Огарев выдал вексель М. Л. Огаревой на 500 тыс. рублей ассигнациями, в 1846 г. он заменил его заемными письмами на 300 тыс. рублей ассигнациями. Доверенность на имя Панаевой была выслана по ее просьбе (см.: Я. З. Черняк, Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве, стр. 69—72, 375).

[17] Стр. 281. Неточно. Огарев задумал уехать из России еще в 1849 г. (см. *ЛН*, т. 61, стр. 792). Помимо политических причин на это решение также повлияли неофициальный брак Огарева с Н. А. Тучковой и неудачная попытка получить согласие на развод от М. Л. Огаревой. Огарев уехал в Лондон, к Герцену в марте 1856 г. из Петербурга.

[18] Стр. 282. Поверенным Огарева был Н. Х. Кетчер. Т. Н. Грановский в этой истории посредничал между противными сторонами, но действий, о которых сообщает Панаева, не предпринимал.

[19] Стр. 282. Неточно. В 1856 г., спустя три года после смерти М. Л. Огаревой, ее племянник М. М. Каракозов и Н. П. Огарев предъявили иск к Шаншиеву и Панаевой на деньги, которые по первому процессу были взысканы с Огарева в пользу М. Л. Огаревой, но не дошли до нее.

[20] Стр. 282. Некрасов писал в декабре 1860 г. Н. А. Добролюбову, что «по делу Огарева» им было уплачено из средств «Современника» 12 тыс. рублей серебром (*Некрасов*, т. X, стр. 432). Свое

поведение в «огаревском деле» Некрасов объяснил в одном из писем 1857 г. А. Я. Панаевой: «...Довольно того, что я до сих пор прикрываю тебя в ужасном деле по продаже имения Огарева. Будь покойна: этот грех я навсегда принял на себя и, конечно, говоря столько лет, что сам запутался каким-то непонятным образом (если бы кто в упор спросил: «каким же именно?», я не сумел бы ответить, по неведению всего дела в его подробностях), никогда не выверну прежних слов своих наизнанку и не выдам тебя. Твоя честь была мне дороже своей и так будет...» (*Некрасов*, т. X, стр. 365). Некрасов вмешался в ход второго судебного процесса, заставив Н. С. Шаншиева принять условия поверенного Н. П. Огарева Н. М. Сатина (см.: *Чернышевский*, т. XIV, стр. 416).

[21] Стр. 283. Панаева упрощает конфликт между издателями «Колокола» и «Современника», сводя разногласия общественно-политического характера к личной неприязни. Добролюбов и Некрасов, чьи суждения вспоминает Панаева, в то время упрекали Герцена, его «Колокол» за либеральные отступления, зная, каким авторитетом пользовался он у передовой части русского общества. Добролюбов писал в дневнике 5 июня 1859 г.: «Однако хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности!.. Я лично не очень убит неблаговолением Герцена, с которым могу померяться, если на то пойдет, но Некрасов обеспокоен, говоря, что это обстоятельство свяжет нам руки, так как значение Герцена для лучшей части нашего общества очень сильно» (*Добролюбов*, т. 8, стр. 570).

[22] Стр. 284. Такое письмо неизвестно.

[23] Стр. 284. Неверно. Полемика с Добролюбовым была продолжена Герценом в статье «Лишние люди и желчевики» (1860). В ней же содержались необоснованные намеки на участие Некрасова в афере вокруг «огаревского наследства». Аналогичные выпады против Некрасова были также в статье Герцена «Стихи и проза Некрасова» (1866).

[24] Стр. 284. Панаева имеет в виду Тургенева.

[25] Стр. 284. Долг с семьи Добролюбовых был снят в 1857 г.

[26] Стр. 285. Добролюбов выехал за границу в середине мая 1860 г.

[27] Стр. 285. В то время в Петербурге находился только один брат Добролюбова, Владимир (см. прим. 18 к гл. XIV).

[28] Стр. 286. Панаева, очевидно, объединяет события 1860 и 1861 гг. Добролюбов вернулся в Россию из-за границы в июле 1861 г., в августе того же года он приехал в Петербург. Панаева же в 1861 г. еще раз ездила за границу.

[29] Стр. 286. Письма Добролюбова к А. Я. Панаевой неизвестны.

[30] Стр. 287. Панаева возвратилась в Петербург в октябре 1861 г.

[31] Стр. 290. Мать Добролюбова, З. В. Добролюбова, дочь настоятеля Нижегородской церкви, умерла в 1854 г. Добролюбов, действительно, очень тяжело пережил ее смерть. Он писал в дневнике: «Мое положение так горько, так страшно, так отчаянно, что теперь ничто на земле не утешит меня. Самая сильная радость обратится у меня в печаль...» (*Добролюбов*, т. 8, стр. 462).

[32] Стр. 292. По свидетельству А. Н. Пыпина, Добролюбов был для Чернышевского «самой горячей привязанностью, на которую возлагал он самые широкие надежды» (*ГПБ*, Архив Н. А. Добролюбова, ед. хр. 156).

[33] Стр. 293. Ошибка. Новая квартира была подыскана В. И. Добролюбовым до возвращения Добролюбова в Петербург. В. И. Добролюбов писал 9 июля 1860 г. Добролюбову за границу: «...я снова принялся искать квартиру и нашел на Литейной, в доме Юргенсона, через дом от Некрасова, в третьем этаже, пять окон на улицу...» («Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 годах», т. I, М. 1890, стр. 571).

[34] Стр. 300. Имеется в виду полемика Чернышевского с Е. Ф. Зариным, высказывавшим сомнение в самостоятельности суждений покойного Добролюбова (см. его статью «Небывалые люди». — «Библиотека для чтения», 1862, №№ 1, 2). Чернышевский дал отповедь Зарину в статье «В изъявлении признательности» (*С*, 1862, № 2). Полемика вокруг Добролюбова вспыхнула также после выступления Чернышевского 2 марта 1862 г. с воспоминаниями о Добролюбове (см. прим. 5 к гл. XVI).

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

[1] Стр. 300. Вероятно, речь идет о Д. Я. Колбасине, поверенном в делах Тургенева, проживавшем в то время в Петербурге.

[2] Стр. 301. Панаев, действительно, отличался слабохарактерностью. Об этом не раз говорил и Некрасов, иногда в резкой форме (см.: *Некрасов*, т. X, стр. 308, 312, 344). В. А. Панаев писал о И. И. Панаеве: «По характеру это был человек мягкого и горячего сердца, искренний, с детской душой, баснословною непрактичностью...» («Русская старина», 1901, № 9, стр. 501). Тяжелые переживания Панаева были вызваны многими причинами: политической борьбой вокруг «Современника», недружелюбным отношением Тургенева и его друзей (см. прим. 5 к гл. XV), болезненным состоянием, личными обстоятельствами и пр. А. В. Никитенко, встретивший Панаева в день его неожиданной смерти, записал о нем в дневнике: «Жалуется на своих сотоварищей-литераторов и журналистов...» И в

следующей дневниковой записи: «...он укорял за их безалаберность и крайний образ мыслей. Я подивился такой скромности и умеренности суждений» (*Никитенко,* т. II, стр. 258).

[3] Стр. 303. Панаев скончался 18 февраля 1862 г.

[4] Стр. 303. Панаева ошибочно соединяет в один литературный вечер два. Некрасов читал стихотворения Добролюбова 2 января 1862 г. в зале 1-й гимназии на вечере в пользу бедных учащихся; Чернышевский — воспоминания о Добролюбове — 2 марта 1862 г. на вечере в зале Руадзе в пользу Литературного фонда. На этом же вечере Некрасов прочел стихотворение М. Михайлова «Белое покрывало» (перевод из М. Гартмана).

[5] Стр. 304. Имеется в виду вечер 2 марта 1862 г. (см. Г. В. Краснов, Выступление Н. Г. Чернышевского с воспоминаниями о Н. А. Добролюбове 2 марта 1862 г. как общественное событие. — Сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.», «Наука», М. 1965).

[6] Стр. 304. «Северная пчела» напечатала отчет о вечере 13 марта 1862 г.; «Библиотека для чтения» посвятила вечеру две статьи: «Пестрые заметки» П. Боборыкина (1862, № 2) и «Современные поминки по друзьям» (1862, № 3). В. С. Курочкин полемизировал с ними пародией «Цепочка и грязная шея (сцены из современной комедии)», введя в нее героев «Горя от ума» Грибоедова. Панаева приводит название пародии по изданию «Собрания стихотворений» В. С. Курочкина 1869 г.

[7] Стр. 304. На первой странице первого тома собрания сочинений Н. А. Добролюбова в 4-х томах (СПб. 1862) было напечатано: «Авдотье Яковлевне Панаевой. Ваша дружба всегда была отрадою для Добролюбова. Вы с заботливостью нежнейшей сестры успокаивали его, больного. Вам он вверял свои последние мысли, умирая. Признательность его друзей к Вам за него должна выразиться посвящением этой книги Вам. *Н. Чернышевский*».

[8] Стр. 305. К. Чуковский верно отметил «пристрастное отношение Панаевой к знаменитому роману Тургенева» (*Панаева*, стр. 433). В романе «Отцы и дети» отразился конфликт между приверженцами старых принципов жизни и новым разночинским поколением. Писарев писал: «...все наше молодое поколение с своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих лицах этого романа» (Д. И. Писарев, Соч. в 4-х томах, т. II, Гослитиздат, М. 1955, стр. 7). Произведение Тургенева толковалось многими критиками и читателями полемически, пристрастно, его принимали то с восторгом, то с негодованием (см. комментарии А. И. Батюто: *Тургенев*, Сочинения, т. VIII, стр. 589—611). Реакционная публицистика (Аскоченский, Катков и др.) использовала роман «Отцы и дети» в борьбе с «нигилизмом». Демократическая критика, защищая «нигилизм»,

по-разному оценила роман. Д. И. Писарев и его единомышленники встретили роман одобрительно. Редакция «Современника» восприняла роман как дискредитацию разночинцев, революционных демократов, личности Добролюбова (см. прим. 14 к гл. XV). В статье М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени» (*С*, 1862, № 3) роман рассматривался как клевета на молодое поколение.

[9] Стр. 306. Роман «Новь» был опубликован значительно позднее — в 1877 г.

[10] Стр. 307. Роман «Отцы и дети» появился в «Русском вестнике» (1862, № 2, ценз. разр. 28 февраля). Тургенев приехал из-за границы 26 мая 1862 г. и пробыл в Петербурге неделю.

[11] Стр. 307. Данных, подтверждающих этот факт, нет.

[12] Стр. 307. Поводом для ложных слухов о растрате Некрасовым денег Тургенева (им верил и Н. В. Успенский, см. его кн. «Из прошлого», М. 1889, стр. 20) могла послужить следующая история: Некрасов занял у Герцена деньги для приобретения «Современника». Во время его пребывания в Лондоне (в 1857 г.) Герцен напомнил ему через Тургенева об этом долге. Некрасов ответил Герцену: «Я не сделал с Вами своевременно расчета частию по затруднению сношений с Вами, а главное — по беспечности, в которой признаю себя виновным перед Вами. В 1850 году Тургенев привез мне из-за границы записку Вашу о передаче остальных денег ему. С Тургеневым я имел постоянные счеты, по которым постоянно мои деньги приходились за ним, поэтому долг *ему* не беспокоил меня, и я до настоящей минуты оставлял это дело нерешенным, думая, что ответственностию обязан уже не Вам» (*Некрасов*, т. X, стр. 342). Эта часть письма неточно была передана Герценом Тургеневу, что восстановило Тургенева против Некрасова. См. его письмо к Герцену от 10 (22) июля 1857 г. (*Тургенев*, Письма, т. III, стр. 131) и объяснение Некрасова (*Некрасов*, т. X, стр. 347—349). Но вскоре инцидент был исчерпан. Тургенев писал Некрасову 12 (24) августа 1857 г.: «... я никогда не думал подозревать тебя — а приписал все это недоразумение (которое, признаюсь, меня несколько взволновало) — твоей небрежности ...» (*Тургенев*, Письма, т. III, стр. 144). См. также: К. Чуковский, Люди и книги шестидесятых годов, Л. 1934, стр. 152—153.

[13] Стр. 308. Тургенев приехал в Лондон 12 (24) мая 1857 г., Некрасов — 3 (15) июня. В Париж они возвратились вместе.

[14] Стр. 311. Фельетоны А. В. Дружинина (некоторые из них — в соавторстве с Некрасовым и др.) под названием «Сантиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам» печатались в 1850 г. (*С*, №№ 7, 8, 12). Пародийное, иногда мелочное, описание нравов литературной среды, быта нередко задевало известных литераторов, журналистов. М. Н. Лонгинов вспоминал, как он и

И. И. Панаев были шокированы фельетонами Дружинина: «Мы стали пробегать статью и, признаюсь, пришли в некоторое и даже немалое смущение. Новость подобного явления была слишком неожиданна; мы нашли шутку переходящею границы и beaucoup trop crue ‹слишком много›, как говорят французы, опасаясь потом повода придирки других журналов ‹...›. Оба мы, несмотря на наше расположение к веселым шуткам, энергически запротестовали против печатания такого рода статей. Огромные корректурные листы третьей части «Чернокнижникова» для № 9 были уже принесены, но выход ее в свет был остановлен» (А. В. Дружинин, Собр. соч., т. VIII, СПб. 1867, стр. XII). Последующие попытки Дружинина сделать Чернокнижникова героем «карикатурного» романа оказались неудачными. В дневнике от 8 мая 1853 г. он записывал: «Что мне, между прочим, делать с Чернокнижниковым, который лежит, ожидая радостного утра? В основание этого романа положено много моих лучших воспоминаний, веселой бедности, дней melés de pluie et du soleil ‹дождливых и солнечных, попеременно›, беспутных приключений, святой дружбы и шатания по черным лестницам. Как-то жаль пустить все это в карикатурный роман, предназначенный для потехи. А делать что-нибудь серьезное из этих блистательных воспоминаний, впадешь во что-нибудь чувствительное, и вся юношеская, воздушная сторона улетит навеки» (*Дружинин*, л. 142). В 1855 г. Дружинин и Григорович решили возобновить фельетоны с Иваном Чернокнижниковым, с намерением «изобразить в живописном юмористическом роде» историю летней поездки в Москву к Боткину, в Спасское-Лутовиново к Тургеневу и другие места. Тургенев и Боткин не одобрили этой идеи. Фельетоны Дружинина, предназначенные для «С.-Петербургских ведомостей», остались незаконченными.

[15] Стр. 311. «Полинька Сакс» напечатана в 1847 г. (*С*, № 12).

[16] Стр. 312. Тургенев жил в Петербурге в октябре — первой половине ноября 1850 г. Зиму он прожил в Москве. В. П. Боткина в 1850 г. в Петербурге не было.

[17] Стр. 312. М. Н. Лонгинов возглавил цензурное ведомство (Главное управление по делам печати) лишь в 1871 г. и не мог запрещать печатать фельетоны Дружинина, умершего в 1864 г. Поводом для этого утверждения Панаевой была отрицательная реакция Лонгинова на фельетоны Дружинина в 1850 г. (см. прим. 14 к наст. гл.).

[18] Стр. 314. Спор Некрасова с Тургеневым и Боткиным воспроизведен мемуаристкой неточно. В начале 50-х годов между ними еще не могло быть такого полемического разговора о поэзии. Тургенев писал 14 ноября 1847 г. Белинскому, что стихотворение Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...» его «совершенно с ума

свело; ...денно и нощно твержу я это удивительное произведение — и уже наизусть выучил» (*Тургенев*, Письма, т. I, стр. 264). По его словам, «под впечатлением» стихотворения Некрасова «Блажен незлобивый поэт» он написал статью о Гоголе, не пропущенную цензурой (см. там же, т. II, стр. 48—49). Высоко ценил Тургенев в то время и другие «реальные» стихи Некрасова: «Орина — мать солдатская», «Поэт и гражданин», «Замолкни, муза мести и печали. . .». Панаева более точна в пересказе суждений В. П. Боткина: он не раз упрекал Некрасова в «дидактиве». Те стихи, которые с восторгом принимал Тургенев («То сердце не научится любить. . .»), не признавал Боткин (см. его письмо к Некрасову от 7 декабря 1855 г. — «Голос минувшего», 1916, № 9, стр. 176—177).

[19] Стр. 315. Сказка фольклорного происхождения с «бродячим сюжетом».

[20] Стр. 315. Едва ли такая тирада могла быть произнесена Боткиным. Западнические взгляды Боткина не уничтожили в нем патриотических чувств. В 1855 г. Боткин писал Дружинину: «В гоголевском направлении русский человек впервые взглянул себе прямо в лицо, не прикрашенное разными европейскими косметиками». «Московских господ» Боткин упрекал за то, что они лишены национального «народного нерва» («Письма к А. В. Дружинину», М. 1948, стр. 40, 60). Поражение России в Крымской войне еще более обострило его внимание к русским вопросам. В письме 1857 г. к Л. Н. Толстому он писал: «Нет, я слишком чувствую внутренние, живые силы России, чтоб отрицать в ней способность творчества, я слишком хорошо знаю Вас, чтобы не верить более в возможность русской поэзии» (Л. Н. Толстой, Переписка с русскими писателями, М. 1962, стр. 156). Боткин, как либерал, приветствовал крестьянскую реформу «сверху», но в ней ожидал обновления России. «С тех пор, как я прочел в «Nord» рескрипт и распоряжение о комитетах, — писал он 6 февраля 1858 г. А. А. Фету, — в занятиях моих произошел решительный перелом, — уже ни о чем другом не думается и не читается, и постоянно переносишься мыслию в Россию. Да, и даже вечная красота Рима не устояла в душе, когда заговорило в ней чувство своей родины» (*Фет*, стр. 232).

[21] Стр. 316. М. И. Михайлов в 1861 г. ездил за границу для напечатания прокламации «К молодому поколению», вернулся он в Россию в июле (см. комментарии Ю. Д. Левина — «Литературный архив», 6, стр. 193—194).

[22] Стр. 316. О каком переводе Михайлова из Гейне пишет Панаева — сказать трудно. В 1861—1863 гг. его переводы из Гейне в «Современнике» не появлялись. Переводы С. Сераковского из Мицкевича неизвестны.

[23] Стр. 317. Михайлов был арестован за составление и распространение революционных прокламаций в ночь на 14 сентября 1861 г.

[24] Стр. 317. Сераковский был повешен 15 июня 1863 г. за участие в польском восстании.

[25] Стр. 317. См. прим. 29 к гл. XI.

[26] Стр. 317. Против материалистических, революционно-демократических идей «Современника» выступали в те годы ряд журналов либерально-охранительного направления: «Отечественные записки» Краевского, «Русский вестник» Каткова, «Библиотека для чтения» Дружинина, «Время» М. М. и Ф. М. Достоевских. Чернышевский отвечал им в статьях «Полемические красоты» (1861), «В изъявление признательности» (1862) и др. Однако главным противником «Современника», революционно-демократических изданий оставалось правительство, цензурное ведомство. А. В. Никитенко доказывал в докладной записке, что «настоящее молодое поколение большею частью воспитывается на идеях «Колокола», «Современника» и довершает свое воспитание на идеях «Русского слова» ⟨...⟩ Направлению, в котором они издаются, должны быть положены преграды» («Русский архив», 1895, кн. II, стр. 226, 228). В ноябре 1861 г. «Современник» получил третье предостережение. В декабре 1861 г. цензурный комитет дал такую характеристику «Современнику»: «Статьи «Современника» по-прежнему в религиозном отношении лишены всякого христианского значения, в законодательном — противоположны настоящему устройству, в философском — полны грубого материализма, в политическом — одобряют революции, отвергают даже умеренный либерализм, в социальном — представляют презрение к высшим классам общества, странную идеализацию женщины и крайнюю привязанность к низшему классу» (цит. по ст. В. Евгеньева-Максимова «Цензурные мытарства Н. Г. Чернышевского». — «Звезда», 1939, № 12, стр. 169). В обзоре «повременных изданий», составленном III Отделением к итогам 1861 г., указывалось, что «Современником» «распоряжается преимущественно Чернышевский, известный своими коммунистическими убеждениями. Значительная часть прочих сотрудников «Современника» обнаруживает... радикальные убеждения и явную склонность к материализму и отрицанию веры» (Н. М. Чернышевская, Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского, М. 1953, стр. 233).

[27] Стр. 318. Наивысший тираж «Современника» — 7125 экз. приходился на 1861 г. (см. *ЛН*, т. 49—50, стр. 101—102).

[28] Стр. 318. 28 мая 1862 г.

[29] Стр. 320. Очевидец этих событий, Л. Ф. Пантелеев писал: «В крупных пожарах у нас народ всегда склонен видеть злодейский умысел. На этот раз народный голос главным образом завинял в под-

жогах студентов. Говорю главным образом, потому что по старой традиции завиняли поляков» (Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, М. 1958, стр. 277). Пожары в Петербурге в мае 1861 г. использовались правительством в провокационных целях; реакционной прессой распространялись ложные слухи, что в поджогах виноваты студенты, поляки, так называемые нигилисты. Военный министр Д. А. Милютин одобрительно относился к происходившим самосудам. Он вспоминал: «Студентов заподозрили и в поджогах, и в подметных письмах; им сделалось уже опасным появляться на улице в прежней своей форменной одежде, которую многие еще донашивали. Были случаи, что ради этой одежды бывшие студенты Петербургского университета (да и в других университетских городах) подвергались побоям от народа» (*ГБЛ*, ф. 169, п. 9, ед. хр. 26). В. И. Ленин писал: «...есть очень веское основание думать, что *слухи о студентах-поджигателях распускала полиция.* Гнуснейшее эксплуатирование народной темноты для клеветы на революционеров и протестантов было, значит, в ходу и в самый разгар «эпохи великих реформ» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 29).

[30] Стр. 323. Речь идет о Чернышевском, который был арестован 7 июля 1862 г. «Современник» по «высочайшему повелению» был приостановлен 19 июня 1862 г.

[31] Стр. 324. По мнению К. Чуковского, Некрасов «назначил столь малую сумму, чтобы не привлекать излишнего внимания властей к написанному в крепости роману Чернышевского» (*Панаева*, стр. 435).

[32] Стр. 326. Этому рассказу противоречат воспоминания Е. Ф. Литвиновой. По ее свидетельству, Некрасов отдал чиновнику, нашедшему рукопись, столько, сколько обещал в объявлении, — 50 рублей (Е. Литвинова, Воспоминания о Некрасове — «Научное обозрение», 1903, № 4, стр. 138).

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

[1] Стр. 327. К. Чуковский уточнил: «Первым произведением Слепцова были его путевые очерки «Владимирка и Клязьма», напечатанные в «Русской речи» (1861). В «Современнике» он дебютировал «Письмами об Осташкове» (*Панаева*, стр. 435—436).

[2] Стр. 327. Окончание «Писем об Осташкове» было напечатано позднее (*С*, 1863, № 6).

[3] Стр. 327. «Казаки» — так в журнальной публикации именовался рассказ «Свиньи»; «Ночлег» — Панаева имеет в виду рассказ «Постоялый двор».

[4] Стр. 327. Общественные связи Слепцова в Петербурге были широки и разнообразны. Кроме «Современника», он сотрудничал в

«Очерках» Г. З. Елисеева, в «Северной пчеле», в журналах «Женский вестник», «Дело», «Отечественные записки», «Искра» (о петербургском периоде жизни и деятельности Слепцова см. статьи А. Коркина в «Ученых записках Пятигорского пединститута», т. 15, 1957, т. 21, 1960). Мать Слепцова — Ж. А. Слепцова — вспоминала: «Постоянно небогатые женщины в черных бурнусах и черных башлыках ходили к нему за советами, как устроить мастерские и женские переплетные, являлись студенты и заведующие бесплатными школами, прося устроить литературные вечера с его участием; некоторые из этих вечеров, действительно, имели большой успех, так как Слепцов превосходно читал; при его чтении зала всегда была полна и вечера давали много сбора» («Русская старина», 1890, январь, стр. 235—236).

В агентурном донесении о литературном вечере 18 февраля 1864 г., где Слепцов читал «Питомку», говорилось: «Чтение Слепцова не понравилось публике, многие выходили во время самого чтения, под конец аплодировали громко какие-то очень молодые люди и уже взрослые гимназисты» (ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 1986). Агент сообщал, что Слепцов «знаком со многими студентами, к которым привились убеждения» писателя «как чисто народные, русские, не испорченные влиянием аристократизма» (т а м ж е).

[5] Стр. 328. По другим источникам, эти лекции читались женщинам — участницам «Знаменской коммуны», о которой Панаева пишет далее. Среди лекторов были также известные ученые, публицисты. «В нашем же общежитии, — вспоминала А. Г. Маркелова, — была задумана и сделана первая попытка чтения научных лекций женщинам. Лекции были частные и читались не в нашем общежитии, а в знакомых нам домах поочередно. Лекторами вызвались быть Слепцов, Головачев (секретарь и сотрудник «Современника»), профессора Сеченов, Хлебников, один артиллерийский полковник и другие» (*ЛН*, т. 71, стр. 444—445).

[6] Стр. 330. Коммуна не должна была ограничиваться чисто экономическими целями. Слепцов пытался организовать ее на социалистических началах. Участница коммуны Е. И. Жуковская писала, что он «задумал осуществить фаланстер Фурье, но, поняв, что сразу рубить прежние формы общежития невозможно, он решил вести дело постепенно, с лицами, которых ему удастся убедить в удобстве коммунистических принципов. Он решил начать с простого городского общежития и потом постепенно превращать его в настоящий фаланстер» (Е. И. Ж у к о в с к а я, Записки, Л. 1930, стр. 156). Слепцовская коммуна создавалась также под влиянием романа Чернышевского «Что делать?» и социалистических идей, пропагандировавшихся во многих статьях «Современника» (см. «Воспоминания» Г. З. Елисеева. — «Шестидесятые годы», М. — Л. 1933, стр. 485—493; статью

К. Чуковского «История Слепцовской коммуны». — К. Чуковский, Собр. соч., т. 5, М. 1967).

[7] Стр. 331. Среди посещавших коммуну были несколько приверженцев «учения о нигилизме» — Г. В. Лермантов, Н. А. Серов, Н. С. Славутинский, — писатель и актер И. Ф. Горбунов, поэт Д. Минаев, сотрудник «Современника» В. Бессонов, писатели А. И. Левитов, Н. В. Успенский и др. (см. статью и публикацию материалов о «Знаменской коммуне» М. Л. Семановой. — *ЛН*, т. 71, стр. 440, 452).

[8] Стр. 331. Кроме названных Панаевой лиц, в состав коммуны входили: В. Н. Языков, шурин Слепцова, переводчицы М. Н. Коптева (будущая жена Артура Бенни), Е. И. Ценина (будущая жена Ю. Г. Жуковского), «нигилистки» А. Г. Маркелова и Е. А. Макулова (см. *ЛН*, т. 71, стр. 440).

[9] Стр. 332. По свидетельству Е. И. Жуковской, Панаеву на этом вечере встретил и представил сам Слепцов (Е. И. Жуковская, Записки, Л. 1930, стр. 179).

[10] Стр. 333. Такое запрещение последовало в 1864 г.

[11] Стр. 333. Докторская степень была присвоена Н. П. Сусловой за диссертацию «Прибавления к физиологии лимфатических сердец» (СПб. 1868).

[12] Стр. 333. В период пребывания в медико-хирургической академии Суслова была тесно связана с демократической молодежью, около нее группировались «нигилистки» (см. *ЛН*, т. 71, стр. 452). С 1865 г. Суслова находилась под надзором полиции. Панаева неточно назвала второй рассказ Сусловой; его название — «Фантазерка» (*С*, 1864, № 9).

[13] Стр. 334. М. А. Бокова, благодаря брату — В. А. Обручеву, была близка к демократическому движению. Докторскую степень она получила в Цюрихском университете за диссертацию «О кератите» (1871).

[14] Стр. 334. С. В. Ковалевская занимала должность профессора Стокгольмского университета с 1884 г.

[15] Стр. 335. Тенденциозные, искаженные описания быта коммуны появлялись часто, и во время ее существования (с сентября 1863 до июня 1864 г.), и позднее. См. фельетон «Блестки и изгарь» («Домашняя беседа», 1863, вып. 45 от 9 ноября), романы «Некуда» Н. С. Лескова, «Панургово стадо» В. В. Крестовского, воспоминания Н. В. Успенского «Из прошлого» и др.

[16] Стр. 335. Из коммуны выбыли Е. И. Ценина и М. Н. Коптева. Причины распада коммуны заключались не только в экономических неурядицах: в силу объективных условий она не смогла воплотить в жизнь социалистические принципы. Ж. А. Слепцова справедливо

писала: «Общий труд не привился, он был еще не современен, да и полиция стала небывалую диковинку преследовать, так дело тем и кончилось» (*ЛН*, т. 71, стр. 441).

[17] Стр. 337. Как установлено К. Чуковским, вечер происходил в рождество 1863 г. в зале коммуны (см.: К. Чуковский, Собр. соч., т. 5, стр. 334—335). Вероятно, на этот вечер Слепцов пригласил И. Ф. Горбунова: «Вы мне сказали, что на 2-й день праздника, то есть в четверг, вы свободны вечером, по этому случаю я, рассчитывая на вашу доброту, назначил в этот день чтение. Если вы не придете, то погубите нас. Чтение будет у нас. Читать будут: Салтыков, С. В. Максимов, Курочкин, вы и я. Кроме того, играть будут Серов с женою» (Сочинения И. Ф. Горбунова, т. III, ч. 1—4, СПб. 1907, стр. 73). Об этом же вечере есть воспоминания А. М. Скабичевского: «Концерт продолжался не менее трех часов, но из всего содержания его у меня только и осталось в памяти исполнение Серовым в четыре руки, вместе со своей супругой, увертюры из оперы «Робеспьер», да изображение генерала Дитятина И. Ф. Горбуновым, которого я в первый раз тогда услышал не на сцене, а в частном кружке» (А. М. Скабичевский, Литературные воспоминания, ЗИФ, М. — Л. 1928, стр. 228).

[18] Стр. 339. В 1866 г. издавались сочинения Слепцова в 2-х томах, куда вошел и роман «Трудное время».

[19] Стр. 343. 4 апреля 1866 г. было совершено покушение на Александра II. Слепцова арестовали 30 апреля 1866 г., освободили 18 июня 1866 г. (см. *ЛН*, т. 71, стр. 466, 471).

[20] Стр. 345. Более точно: в февральской книжке за 1871 г.

[21] Стр. 345. Речь идет о преобразованных «Отечественных записках», которые перешли в 1868 г. от А. А. Краевского к Некрасову. В редакцию «Отечественных записок» вошли некоторые ведущие сотрудники закрытого в 1866 г. журнала «Современник».

[22] Стр. 346. В 1873 г. у Слепцова была обнаружена язва прямой кишки, по совету доктора П. И. Бокова в том же году он уехал в Тифлис. В 1875 г. Слепцов вернулся с Кавказа в Москву.

[23] Стр. 346. Намек на репрессии после 4 апреля 1866 г.

[24] Стр. 348. Ошибка. Слепцов умер 23 марта 1878 г.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

[1] Стр. 349. Такого диалога быть не могло. Решетников принес рукопись «Подлиповцев» в «Современник» в начале 1864 г., когда он уже служил в Петербурге (с августа 1863 г.) и печатался в «Северной пчеле».

[2] Стр. 350. Решетников не был семинаристом: он окончил Пермское уездное училище.

[3] Стр. 351. Имеется в виду биографический очерк Г. И. Успенского «Федор Михайлович Решетников», опубликованный в «Сочинениях Ф. М. Решетникова». Изд. К. Т. Солдатенкова, М. 1874, т. I. Успенский писал там о Решетникове: «Он был угрюм, неразговорчив, необщителен, порой груб... От всех он сторонился, смотрел волком, ко всему и всем был подозрителен, редко-редко добродушная улыбка осветит это угрюмое лицо...» (стр. 52).

[4] Стр. 352. Это письмо не сохранилось, но, по всей вероятности, именно его цитировал Г. Успенский в некрологе, посвященном Решетникову: «Я приехал в Петербург нищим, надеясь помещать свои сочинения в каком-либо журнале... Я чувствую, что могу написать хорошее, но меня некому поддержать». Далее Решетников писал о замысле «Подлиповцев», его героях, о назначении литературы: «Наша литература должна говорить правду... *Вы не поверите, я даже плакал, когда передо мной очерчивался образ Пилы во время его мучений...*» («Отечественные записки», 1871, отд. II, № 4, стр. 419, 435).

[5] Стр. 352. Первое печатное произведение Решетникова — описание библиотеки пермской казенной палаты — появилось в «Пермских губернских ведомостях» (1861, 29 декабря).

[6] Стр. 355. См. гл. XIV «Воспоминаний».

[7] Стр. 358. Решетников женился в 1865 г. на акушерке С. С. Каргополовой.

[8] Стр. 359. Решетников умер 9 марта 1871 г.

[9] Стр. 359. М. Е. Салтыков учился в Царскосельском лицее в 1838—1844 гг.

[10] Стр. 359. В «Библиотеке для чтения» (1841, т. 45) было напечатано стихотворение Салтыкова «Лира» (о Пушкине).

[11] Стр. 360. Повесть появилась в «Отечественных записках» (1848, № 3) и вызвала оживленные отклики в оппозиционных и консервативных кругах. Агент III Отделения, литератор М. Гедеонов сделал вывод, что «вся повесть написана в самом разрушительном духе» (см.: С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, Гослитиздат, М. 1951, стр. 288).

[12] Стр. 360. «Губернские очерки» печатались в «Русском вестнике» в 1856—1857 гг., отдельным изданием вышли не в 1858, а в 1857 г.

[13] Стр. 360. В то время Салтыков служил вице-губернатором в Твери.

[14] Стр. 360. По утверждению С. Макашина, этот эпизод относится к концу 1862 или к началу 1863 г. и связан с запрещением очерков Салтыкова «Глуповское распутство» и «Каплуны» («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1957, стр. 682).

[15] Стр. 361. Ошибка: в 1863 г. Салтыков не служил. Речь может идти о более раннем времени приезда.

[16] Стр. 361. В образе Иудушки Головлева отразились некоторые черты Дмитрия Евграфовича Салтыкова, старшего брата писателя (см. «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1957, стр. 682).

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОМАШНЕЙ ЖИЗНИ Н. А. НЕКРАСОВА

[1] Стр. 364. Вероятно, Валериану Александровичу и Ипполиту Александровичу.

[2] Стр. 366. В «Современнике» за 1847 г. известны только три рецензии Некрасова (см.: В. Боград, Журнал «Современник», 1847—1866. Указатель содержания, М. — Л. 1959).

[3] Стр. 369. Типография Э. Праца, где печатался в те годы «Современник», находилась на Мойке, около Цепного моста. Некрасов и Панаевы жили тогда на Фонтанке, 16, в доме Урусовой.

[4] Стр. 370. Такие письма неизвестны.

[5] Стр. 371. Стихотворение 1855 г.

[6] Стр. 373. См. прим. 20 к гл. XVI.

[7] Стр. 376. О последствиях дела Петрашевского для «Современника» в «Воспоминаниях» ничего не говорится. К. Чуковский считал, что эти страницы не попали в печатный текст по цензурным соображениям (*Панаева*, стр. 439).

[8] Стр. 376. По делу Петрашевского были арестованы Ф. М. Достоевский, А. Н. Плещеев, А. И. Пальм, С. Ф. Дуров и др. Некрасов писал в поэме «Недавнее время» (1871):

Помню я Петрашевского дело, —
Нас оно поразило, как гром,
Даже старцы ходили несмело,
Говорили негромко о нем.
Молодежь оно сильно пугнуло,
Поседели иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.
Вряд ли были тогда демагоги,
Но сказать я обязан, что все ж
Приговоры казались нам строги,
Мы жалели тогда молодежь.

[9] Стр. 376. Речь идет о художнике С. М. Воробьеве и его брате — Ксенофонте.

[10] Стр. 377. См. прим. 16 к гл. VIII.

[11] Стр. 378. В первоначальном тексте этот лакей ошибочно назван Семеном. Ошибка мемуаристки исправлена С. А. Рейсером (*ЛН*, т. 49—50, стр. 572) и К. Чуковским (*Панаева*, стр. 439).

[12] Стр. 381. Некрасов писал Тургеневу в марте 1849 г.: «...В нынешнем году у нас подписка на все журналы хуже, вследствие того, что газеты политические в интересе повысились, а журналы по некоторым причинам стали скучны и пошлы до крайности. Так, у «Библиотеки для чтения» убыло 900 подписчиков, у Краевского — 500, у нас — 700. Дела наши не очень блистательны» (*Некрасов*, т. X, стр. 127—128).

[13] Стр. 382. См. гл. XIII «Воспоминаний».

[14] Стр. 382. По предположению С. П. Шестерикова, Панаева «имеет в виду известного беллетриста и поэта Александра Степановича Афанасьева-Чужбинского» (*ЦГАЛИ*, ф. 338, оп. 2, ед. хр. 19).

[15] Стр. 386. Этот же эпизод В. А. Панаев передает в своих воспоминаниях в другой версии: «Во время нашего разговора легендарный человек Некрасова, Василий, накрывал стол.

— Я-то лопнул, а вот он, — указывая на Василия, — так выиграл тысячу рублей, — смеясь, сказал Некрасов.

— Как, да разве и Василий стал играть в банк?

— Нет, братец, не то. Когда мы кончили игру и собирались ужинать, Василий пришел выметать карты на полу, да и поднял пачку в тысячу рублей, в бандероле, и стал спрашивать: кто обронил деньги? Один говорит: не я, другой: не я, третий: не мои, все и отказались. — Ну, говорю, Василий, коли не чьи, так, значит, твои. Кто их знает, быть может, и мои, на столе-то кучи пачек лежали» («Русская старина», 1901, № 9, стр. 498).

[16] Стр. 388. Сведения об «изрядном» капитале Некрасова сильно преувеличены. Это видно из его завещания (см.: *Некрасов*, т. XII, стр. 65—66). Главный источник доходов Некрасову давали издания его сочинений.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Анненков — П. В. Анненков, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1960.

Белинский — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений в тринадцати томах, Изд-во АН СССР, М. 1953—1959.

ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

Герцен — А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, Изд-во АН СССР, М. 1954—1965.

ГПБ — Рукописный отдел Гос. публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Григорович — Д. В. Григорович, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1961.

Добролюбов — Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений в девяти томах, «Худож. литер.», М.—Л. 1961—1964.

Дружинин — «Дневник А. В. Дружинина» (ЦГАЛИ, ф. 168, ед. хр. 108). Цитируется по тексту, подготовленному В. А. Ждановым.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом).

ЛН — «Литературное наследство», АН СССР.

Некрасов — Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем в двенадцати томах, Гослитиздат, М. 1948—1958.

Никитенко — А. В. Никитенко, Дневник в трех томах, Гослитиздат, М. 1956.

Панаев — И. И. Панаев, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1950.

Панаева — А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания, Гослитиздат, М. 1956.

С — «Современник».

Тургенев, Сочинения. Письма — И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах, Изд-во АН СССР, М.—Л. 1961—1967.

Фет — А. А. Фет, Мои воспоминания, ч. I, М. 1890.

Чернышевский — Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, Гослитиздат, М. 1939—1953.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ *

---

* В указатель включены имена личные, названия литературных произведений, статей, журналов, встречающиеся в тексте воспоминаний, во вступительной статье и примечаниях. Ссылки на страницы вступительной статьи и примечаний набраны курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены.

СОДЕРЖАНИЕ

Авдотья Яковлевна
Панаева
(Головачева)

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор
К. Нещименко

Художественный редактор
А. Виноградов

Технический редактор
О. Ярославцева

Корректоры Р. Пунга и А. Юрьева

Сдано в набор 25/IV 1972 г.
Подписано к печати 6/X 1972 г.
Бумага типогр. № 1 84×108¹/₃₂ — 15,25 печ. л.
25,62 усл. печ. л. 27,87+1 вкл.+
альбом =28,72 уч.-изд. л.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 159
Цена 1 р. 34 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой
«Союзполиграфпрома» при
Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли г. Ленинград, Л-52,
Измайловский проспект, 29.



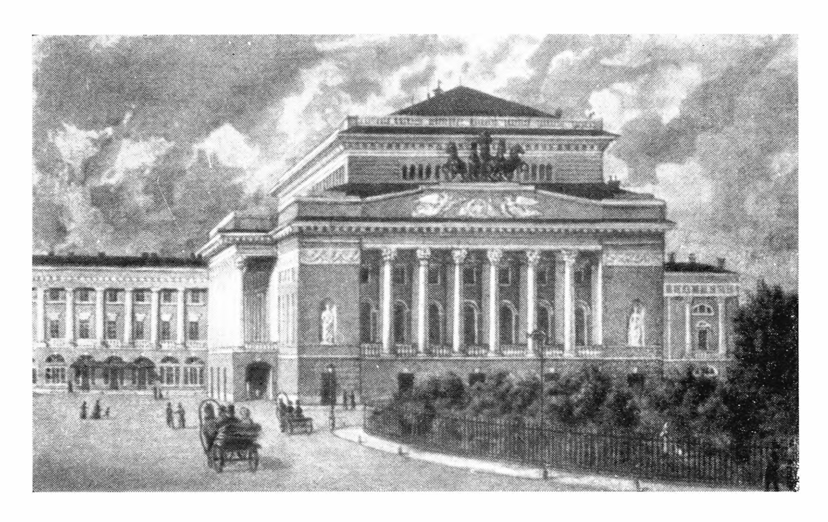
А. Я. Панаева.

Акварель неизвестного художника 1850-х годов.



А. Я. Панаева.

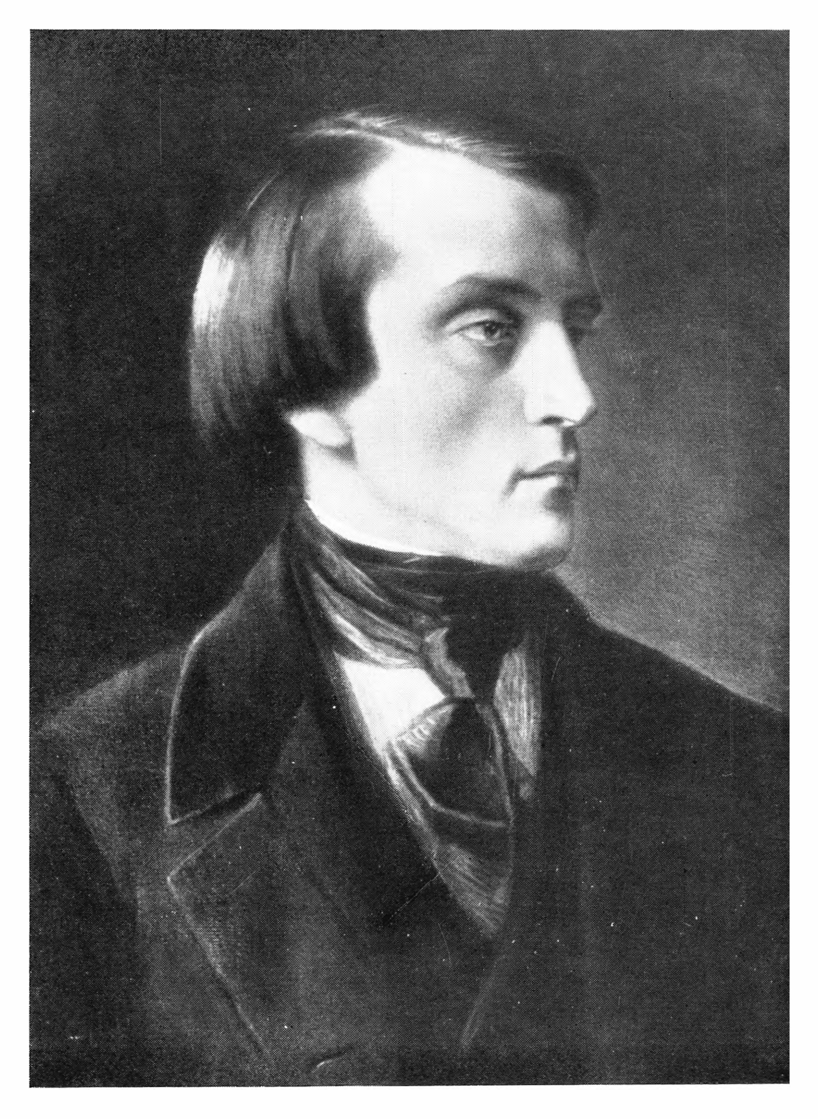
Рисунок К. Брожа.



Александринский театр в Петербурге.
Литография 1840-х годов.



В. А. Каратыгин.



В. Г. Белинский.

С портрета К. Горбунова.



Н. А. Некрасов.

Фотография 1861 года.



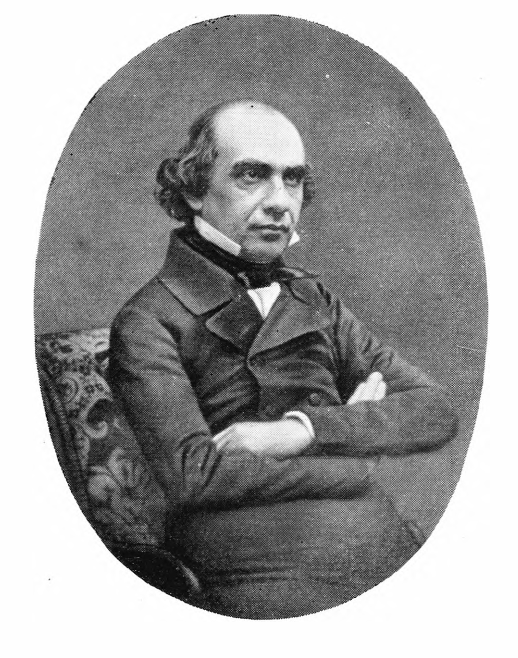
М. И. Глинка.

Фотография 1853 года.



И. И. Панаев.

Литография П. Бореля



Т. Н. Грановский.

Литография П. Бореля



А. И. Герцен.

Фотография с лондонской гравюры 1850-х годов.

Литейный проспект в Петербурге.
Дом, в котором помещалась редакция журнала «Современник».
Акварель Ф. Баганца 1860—1880-х годов.



ПЕТЕРБУРГСКІЙ

СБОРНИКЪ,

ИЗДАННЫЙ

Н. НЕКРАСОВЫМЪ.

НѢКОТОРЫЯ СТАТЬИ ИЛЛЮСТРИРОВАНЫ.

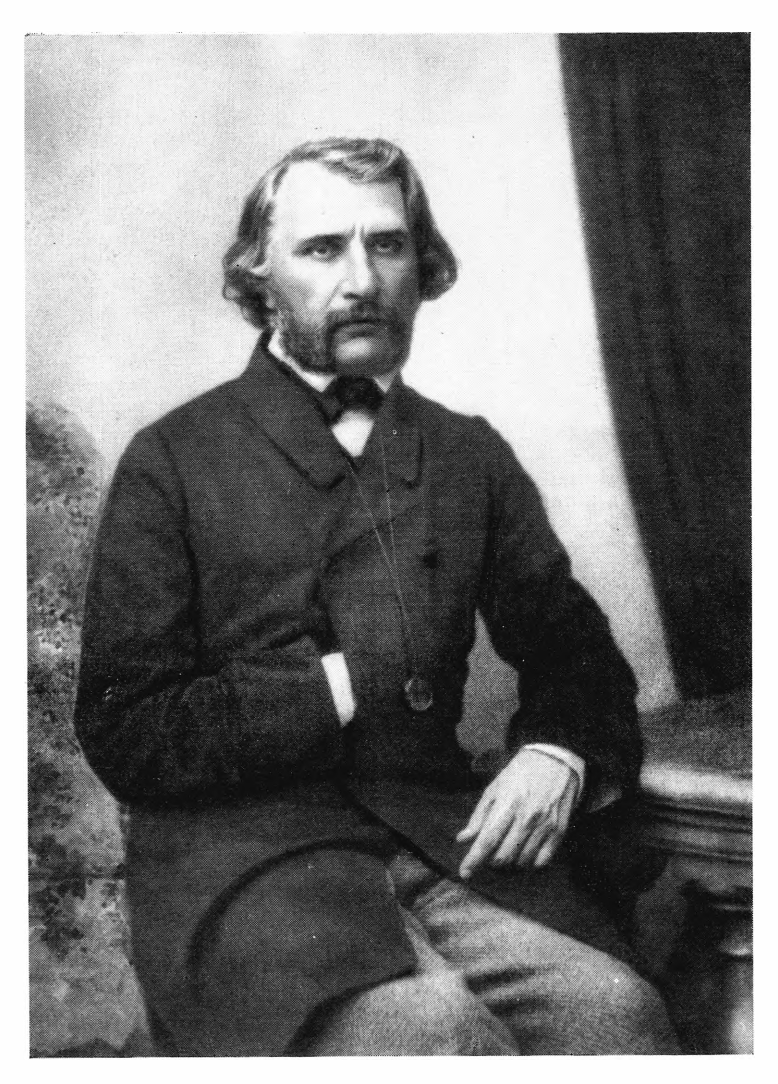
В. Г. БѢЛИНСКІЙ. | Н. А. НЕКРАСОВЪ.
Ѳ. М. ДОСТОЕВСКІЙ. | А. В. НИКИТЕНКО.
ИСКАНДЕРЪ. | КН. В. Ѳ. ОДОЕВСКІЙ.
А. Н. КРОНЕБЕРГЪ. | И. И. ПАНАЕВЪ.
А. Н. МАЙКОВЪ. | ГР. В. А. СОЛЛОГУБЪ.
И. С. ТУРГЕНЕВЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА.

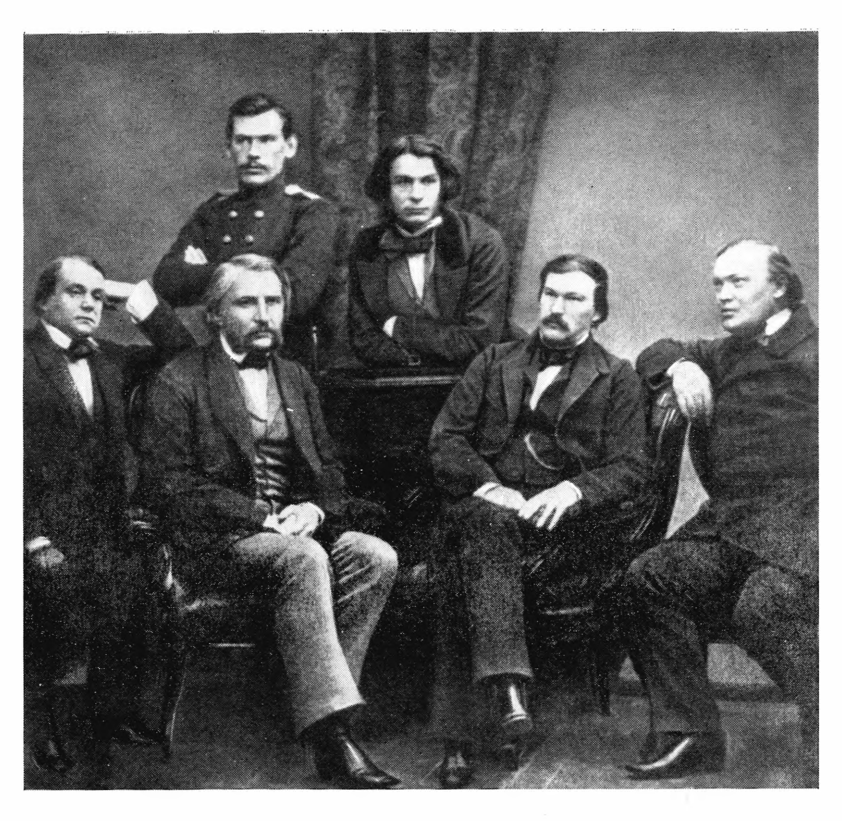
1846.

«Петербургский сборник».
Титульный лист издания 1846 года.



И. С. Тургенев.

Литография П. Бореля. 1859 год.



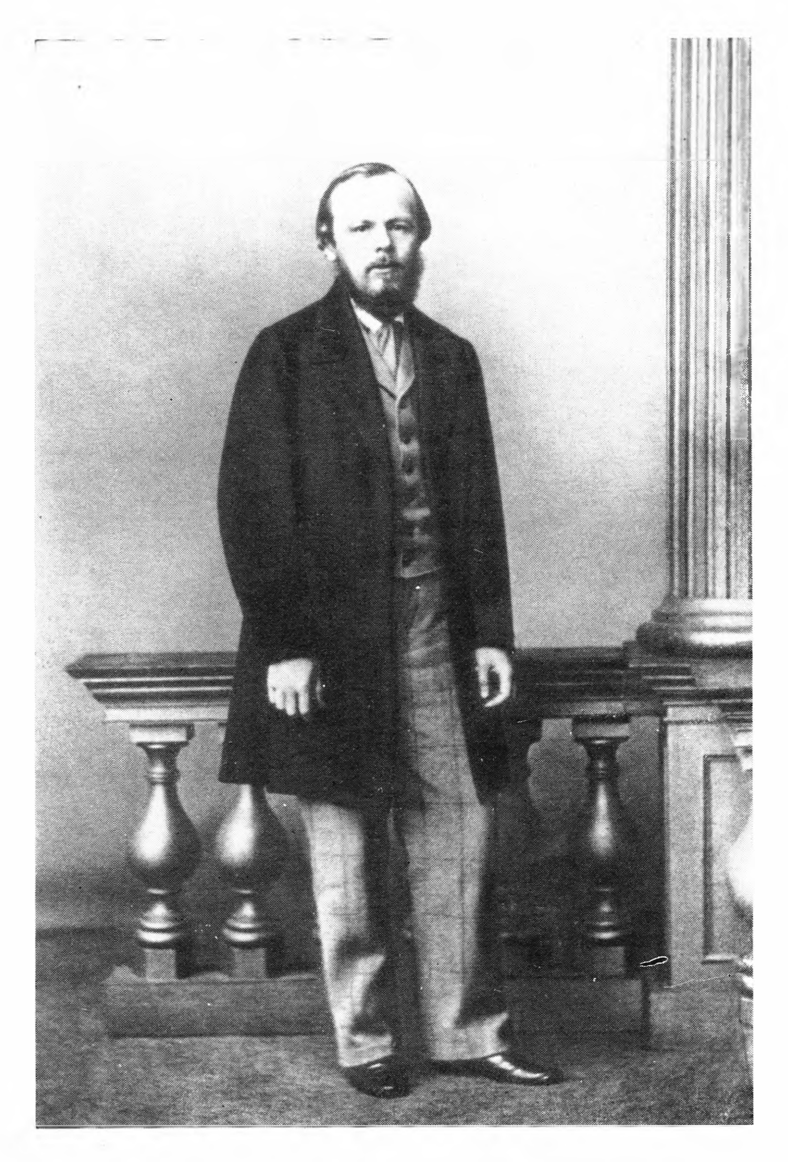
И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский.
Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович.

Фотография 1856 года.



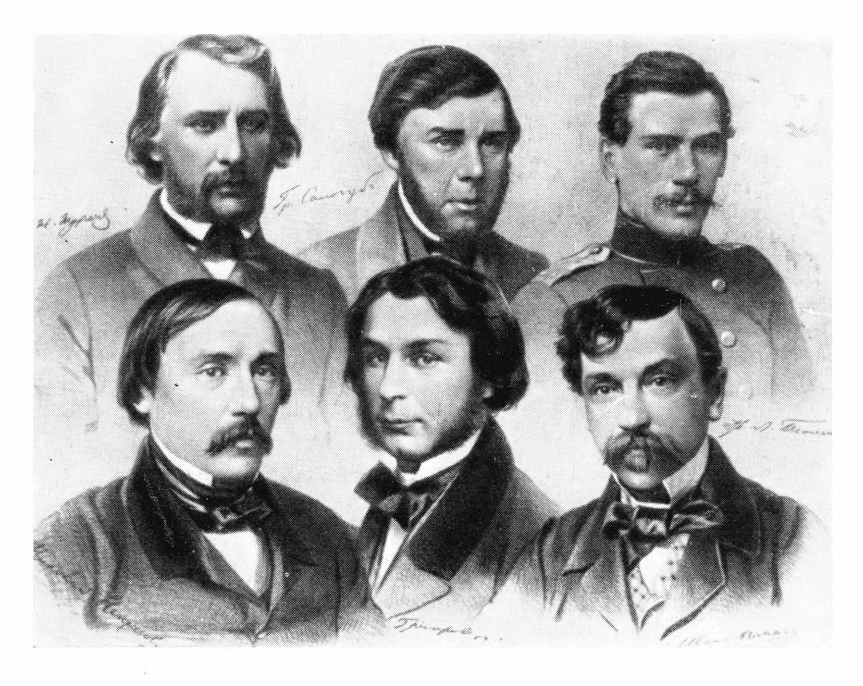
Л. Н. Толстой.

Фотография 1856 года.



Ф. М. Достоевский.

Фотография 1860 года.



«Русские современные писатели»
(И. С. Тургенев, В. А. Соллогуб, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, Д. В. Григорович, И. И. Панаев).

Литография В. Томма. 1857 год.

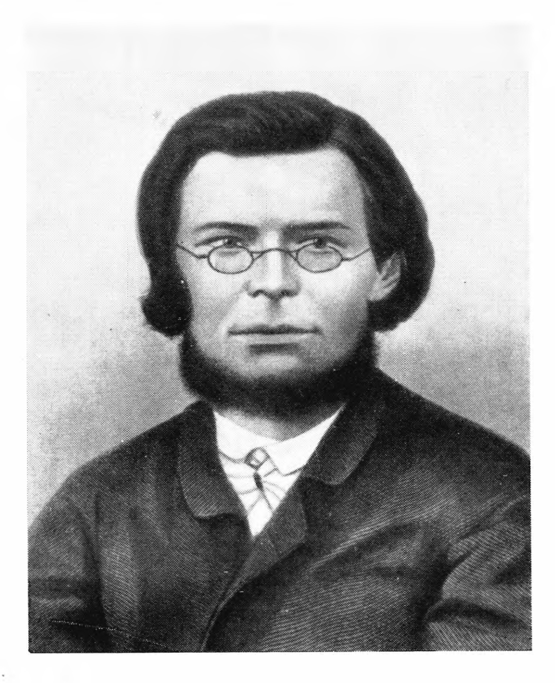
Н. А. Добролюбов.
Литография П. Бореля



Н. Г. Чернышевский.
Фотография 1859 года.



В. А. Слепцов.
Фотография.



Ф. М. Решетников.
Фотография с гравюры неизвестного художника.